Цена 90 коп.

Индекс 70331

Читайте:

ЗНАМЯ 4
1988

Евгений ЗАМЯТИН. Мы. Роман

Константин СИМОНОВ. Глазами человека моего поколения

Вениамин КАВЕРИН. Силуэт на стекле. Повесть

Стихи
Евгения ЕВТУШЕНКО,
Михаила МАТУСОВСКОГО

Статьи Льва ГУМИЛЕВА «Биография научной теории, или Автонекролог», Евг. ШКЛОВСКОГО «О прозе молодых»

Знамя, 1988, № 3, 1—240.

ISSN 0130-1616

1988

Март

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с 1931 года

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Книга третья
МАРТ
1988

Москва
Издательство
«Правда»

Содержание

Константин Симонов

ГЛАЗАМИ ЧЕЛОВЕКА МОЕГО ПОКОЛЕНИЯ

(РАЗМЫШЛЕНИЯ О И. В. СТАЛИНЕ)

Последняя работа К. Симонова

Он не любил разговоров о том, как себя чувствует, а если они все-таки возникали, старался отшутиться; когда очень уж приставали с расспросами и советами — это ведь та ситуация, когда советы дают особенно охотно и настойчиво,— сердился. Но несколько раз при мне проговаривался — стало ясно, что он тяжело болен, что ему худо, что мысли у него о том, что его ждет, самые мрачные. Как-то пришлось к слову: «А я сказал врачам,— услышал я от него,— что должен знать правду, сколько мне осталось. Если полгода — буду делать одно, если год — другое, если два — третье...» Дальше этого, на более долгий срок он уже не загадывал, планов не строил. Разговор этот был в конце семьдесят седьмого года, жить ему оставалось меньше, чем два года...

Потом, разбирая оставшиеся после него рукописи, я наткнулся на такое начало (один из вариантов) задуманной пьесы:

«Белая стена, койка, стул, стол или медицинская табуретка. Всё.

Может быть, самое начало — разговор или с человеком, стоящим здесь, или — за кулису:

— До свидания, доктор. До понедельника, доктор.

А после этого прощания с доктором экспозиция:

— Так я остался один до понедельника. Чувствовал я себя, в общем, неплохо. Но оперироваться было надо. Это, в сущности, как поединок, как дуэль. (...) Не через полгода, так через год. Так мне сказали врачи, вернее, врач, перед которым я поставил этот вопрос прямо,— я люблю ставить такие вопросы прямо. И он, по-моему, тоже был к этому склонен. Как быть? Чем мне это грозит? Решились на поединок. Но положение не такое, чтобы сразу и на стол. Можно было подождать несколько дней. Он хотел сделать сам, уезжал на несколько дней. Дело не горело, надо было просто решиться. Горело решение, а не операция. А меня это устраивало. Раз так, раз или да или нет, или выдержать все это или не выдержать, то надо что-то еще успеть. Вот что? Весь вопрос состоял в этом.

Жена согласилась. Мы откровенно с ней поговорили, как всегда. Она тоже считала, что только так. И от этого, конечно, мне было легче. А вот что? Что успеть? Состояние духа не такое, чтобы начинать что-то новое. А вот биография, с которой ко мне приставали, действительно не написана. Вот ее и надо, наверное, сделать. Пусть останется хотя бы черновик — в случае чего. А нет — будет достаточно времени, чтобы переписать набело».

Со странным чувством читал я это — словно Симонов угадал свой конец, как все будет, перед каким выбором он будет стоять. Или напророчил себе все это. Нет, конечно, врачи не сказали ему, каким временем он располагает, да и вряд ли они знали, какой срок ему отмерен. Но так уж случилось, что скверное самочувствие заставило его выбирать, что важнее всего, что делать в первую очередь, чему отдать предпочтение, и выбор этот, как намечалось и в пьесе, пал на произведение, представлявшее и расчет с собственным прошлым.

Даже в последний год жизни фронт намеченных и начатых работ был у Симонова очень широк. Он принялся за сценарий художественного фильма о

пути одного танкового экипажа в последний год войны — ставить картину должен был Алексей Герман. Госкино СССР приняло заявку Симонова на документальный фильм о маршале Г. К. Жукове. Для им же предложенной серии телевизионных передач «Литнаследство» Симонов намеревался сделать ленту о Серафимовиче — военном корреспонденте во время гражданской войны. На основе бесед с кавалерами трех орденов Славы задумал книгу о войне — какой она была для солдата, чего ему стоила. И подобного же рода книгу на основе бесед с известными полководцами. А может быть,— он этого еще не решил,— надо делать не две, говорил он мне, а одну книгу, соединяющую и сталкивающую оба взгляда на войну — солдатский и маршальский. Он хотел написать еще несколько мемуарных очерков о людях литературы и искусства — вместе с уже опубликованными должна была в конечном счете получиться цельная книга воспоминаний.

Работоспособность и упорство Симонова известны, он и в больницу брал с собой рукописи, книги, диктофон, но болезни все больше давали себя знать, сил становилось меньше и меньше, пришлось одну за другой задуманные и даже начатые работы «консервировать», откладывать до лучших времен, до выздоровления. А часть их была кому-то обещана, включена где-то в планы, он говорил об этих работах в интервью, на читательских конференциях, что для него было равносильно взятому на себя обязательству.

Кроме только что перечисленных, были задуманы еще два произведения, о которых Симонов особо не распространялся, публично не говорил. Но когда почувствовал себя совсем скверно, когда решил, что из того, что мог и хотел сделать, пришел час выбирать самое важное, он стал заниматься именно этими двумя замыслами, которые много лет откладывал и откладывал, то ли считая, что еще не готов к столь сложной работе, то ли полагая, что время для них еще не приспело, а это все равно работа «в стол».

В феврале — апреле 1979 года Симонов продиктовал тот текст, который ныне публикуется,— первую часть книги о Сталине. Однако это книга не только о Сталине, но и о себе. Рукопись вобрала в себя в трансформированном виде идею, пафос и отчасти материал задуманной писателем пьесы «Вечер воспоминаний». Впрочем, написано было лишь несколько вариантов одной, первой сцены, все остальное — заметки по поводу, в сущности, автобиографические заметки, и что из этого могло бы получиться — пьеса, сценарий или роман,— автору было неясно. Он еще не выбрал путь: «Для начала назовем это «Вечером воспоминаний», а подзаголовок пусть будет «Пьеса для чтения». А может быть, это окажется и не пьеса, а роман, только немного непривычный. Не тот, в котором я буду рассказывать о себе, а тот, в котором будет сразу четыре моих «я». Нынешний «я» и еще трое. Тот, каким я был в пятьдесят шестом году, тот, которым я был в сорок шестом году, вскоре после войны, и тот, которым я был до войны, в то время, когда я только-только успел узнать, что началась гражданская война в Испании,— в тридцать шестом году. Вот эти четыре моих «я» и будут разговаривать между собой. (...) Сейчас при воспоминании о прошлом мы никак не можем удержаться от соблазна представить себе, что ты знал тогда, в тридцатых или сороковых годах, то, что ты тогда не знал, и чувствовал то, что тогда не чувствовал, приписать себе тогдашнему сегодняшние твои мысли и чувства. Вот с таким соблазном я вполне сознательно хочу бороться, во всяком случае, попробовать бороться с этим соблазном, который часто сильнее нас. Именно поэтому, а не по каким-нибудь формалистическим или мистическим причинам я избрал эту несколько странноватую форму рассказа о теперешнем поколении».

Так обосновывается прием, который должен был стать инструментом историзма. Оглядываясь на прожитые годы, Симонов хочет быть справедлив — что было, то было, за прошлое — ошибки, заблуждения, малодушие — надо рассчитываться. Симонов судит себя строго — чтобы показать это, приведу два отрывка из его заметок к пьесе, они о том, к чему прикасаться особенно больно. И они имеют самое непосредственное отношение к той рукописи, которую он продиктовал весной 1979 года.

«...Нынешнему кажется, что он всегда считал преступлением то, что было сделано в сорок четвертом году с балкарцами, или калмыками, или чеченцами. Ему многое надо проверить в себе, чтобы заставить себя вспомнить, что тогда, в сорок четвертом или сорок пятом, или даже в сорок шестом, он думал, что так оно и должно было быть. Что раз он слышал от многих, что там, на Кавказе и в Калмыкии, многие изменили и помогали немцам, что так и надо было сделать. Выселить — и все! Ему не хочется вообще вспоминать сейчас о своих тогдашних мыслях на этот счет, да он и мало думал тогда об этом, по правде говоря. Даже странно подумать сейчас, что он мог тогда так мало думать об этом.

А тогда, в сорок шестом году, именно так и думал, не очень вникал в этот вопрос, считал, что все правильно. И только когда он сам сталкивался — а у него были такие случаи — с этой трагедией на примере человека, который всю войну провоевал на фронте, а после этого, высланный куда-то в Казахстан или Киргизию, продолжал писать стихи на родном языке, но не мог их печатать, потому что считалось, что этого языка больше не существует,— только в этом случае поднималось в душе какое-то не до конца осознанное чувство протеста».

Речь здесь идет о Кайсыне Кулиеве, и стоит, наверное, сказать справедливости ради и о том, как Симонов тогда выглядел в его глазах. Через много лет после этого, когда минули тяжкие времена для Кулиева и его народа, он писал Симонову: «Помню, как приходил к Вам снежным февральским днем 1944 года в «Красную звезду». На стене у Вас висел автомат. Это были самые трагические для меня дни. Вы это, конечно, помните. Вы отнеслись ко мне тогда сердечно и благородно, как полагается не только поэту, но и мужественному человеку. Я помню это. О таких вещах не забывают». Я привел это письмо, чтобы подчеркнуть строгость того счета, который предъявлял себе Симонов, он не хотел преуменьшать ту часть ответственности за происходившее, которая падала на него, не искал самооправданий. Он допрашивал свое прошлое, свою память без всякого снисхождения.

Вот еще один отрывок из заметок:

«— Ну, и как ты поступал, когда кто-то из тех, кого ты знал, оказывался там, и надо было ему помочь?

— По-разному. Бывало, что и звонил, и писал, и просил.

— А как просил?

— По-разному. Иногда просил войти в положение человека, облегчить его судьбу, рассказывал, какой он был хороший. Иногда было и так: писал, что не верю, что не может быть, чтобы этот человек оказался тем, за кого его считают, сделал то, в чем его обвиняют,— я его слишком хорошо знаю, этого не может быть.

— Были такие случаи?

— Случаи? Да, был один такой случай, именно так писал. А больше писал, что, конечно, я не вмешиваюсь, не могу судить, наверно, все правильно, но... И дальше старался написать все, что знал хорошего о человеке, для того, чтобы как-то помочь ему.

— А еще как?

— А еще как? Ну, бывало, что не отвечал на письма. Два раза не отвечал на письма. Один раз потому, что никогда не любил этого человека и считал, что вправе не отвечать на это письмо чужого для меня человека, о котором я, в общем, ничего не знаю. А в другой раз хорошо знал человека, даже на фронте с ним был вместе и любил его, но когда его во время войны посадили, поверил в то, что за дело, поверил в то, что это могло быть связано с разглашением каких-то секретов того времени, о которых не принято было говорить, нельзя было говорить. Поверил в это. Он мне написал. Не ответил, не помог ему. Не знал, что ему писать, колебался. Потом, когда он вернулся, было стыдно. Тем более что другой, наш общий товарищ, о котором принято считать, что он пожиже меня, потрусливее, как выяснилось, и отвечал ему, и помогал всем, чем мог,— слал посылки и деньги».

Симонов не стал кончать пьесу — можно только догадываться, почему: ви-

димо, дальнейшая работа над ней требовала преодоления прямого автобиографизма, надо было создавать персонажей, строить сюжет и т. д., а судя по заметкам и наброскам, главным объектом этих нелегких размышлений о суровом, противоречивом времени, о порожденных им мучительных конфликтах и деформациях был он сам, его собственная жизнь, его причастность к тому, что происходило вокруг, его личная ответственность за беды и несправедливости прошлого. Создавая пьесу, он все это словно бы отодвигал, отстранял от себя. А в книге о Сталине все это было уместно, даже необходимо, эта книга не могла для Симонова не стать книгой и о себе, о том, как он тогда воспринимал происходящее, за что отвечает перед своей совестью — иначе в его глазах работа лишалась нравственного фундамента. В публикуемой рукописи рассказано, конечно, не обо всем. Не успел автор написать, как было им задумано, о тяжелых событиях сорок девятого года, за пределами рукописи осталось и то дурное для него время после смерти Сталина, когда у себя дома, в кабинете он повесил его фотографию. Непросто давалась ему затем переоценка прошлого — и общего, и своего собственного. В день своего пятидесятилетия он говорил на юбилейном вечере в ЦДЛ: «Я хочу просто, чтобы присутствующие здесь мои товарищи знали, что не все мне в моей жизни нравится, не все я делал хорошо,— я это понимаю,— не всегда был на высоте. На высоте гражданственности, на высоте человеческой. Бывали в жизни вещи, о которых я вспоминаю с неудовольствием, случаи в жизни, когда я не проявлял ни достаточной воли, ни достаточного мужества. И я это помню». Будем помнить и мы, как нелегко и непросто человеку себя судить. Лейтмотив книги Симонова — расчет с прошлым, покаяние, очищение, и это выделяет, возвышает ее над многими мемуарными сочинениями о сталинском времени.

Нужно иметь в виду, что публикуемые записи — только первая часть задуманной Симоновым книги. Вторую часть — «Сталин и война» — он, увы, написать не успел. Сохранились собиравшиеся им не один год подготовительные материалы — заметки, письма, записи бесед с военачальниками, выписки из книг,— иные из них представляют самостоятельную ценность. И для того, чтобы правильно понять первую часть, надо знать, куда во второй хотел двигаться дальше автор, в каком направлении. В одной из папок с подготовительными материалами есть листок с вопросами, касающимися начала Великой Отечественной, вопросами, которые Симонов, приступая к работе, сформулировал для себя (и для бесед с военачальниками),— они дают некоторое представление о том круге проблем, которому должна была быть посвящена вторая часть:

«1. Было или не было происшедшее в начале войны трагедией?

2. Нес ли Сталин за это наибольшую ответственность по сравнению с другими людьми?

3. Было ли репрессирование военных кадров в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах одной из главных причин наших неудач в начале войны?

4. Была ли ошибочная оценка Сталиным предвоенной политической обстановки и переоценка им роли пакта одной из главных причин наших неудач в начале войны?

5. Были ли эти причины единственными причинами неудач?

6. Был ли Сталин крупной исторической личностью?

7. Проявлялись ли в подготовке к войне и в руководстве войной сильные стороны личности Сталина?

8. Проявлялись ли в подготовке к войне и в руководстве ею отрицательные стороны личности Сталина?

9. Какая другая концепция в изображении начала войны может существовать, кроме как периода трагического в истории нашей страны, когда мы были в отчаянном положении, из которог вышли ценой огромных жертв и потерь, благодаря неимоверным и героическим усилиям народа, армии, партии?»

Почти каждый из этих вопросов стал затем для Симонова темой серьезного исторического исследования. Так, например, в сделанном в 1965-м и опубликованном лишь в прошлом году докладе «Уроки истории и долг писателя» (отсылаю читателей к журналу «Наука и жизнь», 1987, № 6) обстоятельно и всесторонне проанализированы тяжелые последствия для боеспособности Красной Армии массовых репрессий тридцать седьмого — тридцать восьмого годов. В прошлом же году в журнале «Знание — сила» (№ 11) напечатан не опубликованный в свое время по не зависящим от автора причинам обширный фрагмент «Двадцать первого июня меня вызвали в Радиокомитет...» из комментария к книге «Сто суток войны», в котором тщательно рассматривается военно-политическая ситуация предвоенных лет, ход подготовки к надвигающейся войне, роль, которую сыграл в этом деле советско-германский пакт.

Отношение Симонова к Сталину, которое, конечно, не сводится к ответу на вопрос — был ли Сталин крупной исторической личностью,— в самом главном определилось тем, что он услышал на XX съезде партии и узнал потом, занимаясь историей и предысторией Великой Отечественной войны (второе было не менее важно для него, чем первое). Не стану характеризовать это отношение своими словами, оно выразилось и в трилогии «Живые и мертвые», и в комментарии к фронтовым дневникам «Разные дни войны», и в письмах читателям. Воспользуюсь одним из писем Симонова, отобранных им в качестве материала для работы «Сталин и война»:

«Я думаю, что споры о личности Сталина и о его роли в истории нашего общества — споры закономерные. Они будут еще происходить и в будущем. Во всяком случае, до тех пор, пока не будет сказана, а до этого изучена вся правда, полная правда о всех сторонах деятельности Сталина во все периоды его жизни.

Я считаю, что наше отношение к Сталину в прошлые годы, в том числе в годы войны, наше преклонение перед ним в годы войны,— а это преклонение было, наверно, примерно одинаковым и у Вас, и у Вашего начальника политотдела полковника Ратникова, и у меня,— это преклонение в прошлом не дает нам права не считаться с тем, что мы знаем теперь, не считаться с фактами. (...)

В одном месте моей книжки (речь идет о романе «Солдатами не рождаются».— Л. Л.) один из ее героев — Иван Алексеевич — говорит о Сталине, что это человек великий и страшный. Я думаю, что это верная характеристика и, если следовать этой характеристике, можно написать правду о Сталине. Добавлю от себя: не только страшный — очень страшный, безмерно страшный. Подумать только, что и Ежов, и этот выродок Берия — все это были только пешки в его руках, только люди, руками которых он совершал чудовищные преступления! Каковы же масштабы его собственных злодеяний, если мы об этих пешках в его руках с полным правом говорим как о последних злодеях?»

Это письмо Симонов написал в 1964 году. И в последующие пятнадцать лет, когда публичный разговор о преступлениях Сталина стал невозможен, когда даже решение XX съезда партии о культе личности и его последствиях поминалось все реже и реже, Симонов и в своих выступлениях, и в письмах повторял то, что сказано в этом письме, не отступил, не попятился. Весной 1979 года, в те дни, когда он диктовал «Глазами человека моего поколения», он писал читателю: «...Хочется надеяться, что в дальнейшем время позволит нам оценить фигуру Сталина более точно, поставив все точки над «и» и сказав все до конца и о его великих заслугах, и о его страшных преступлениях. И о том, и о другом. Ибо человек он был и великий и страшный. Так считал и считаю».

Мы сегодня не можем принять эту формулу: «великий и страшный». Быть может, доживи Симонов до наших дней, он нашел бы более точную. Но и тогда она не была для него безусловной. Тот же Иван Алексеевич из «Солдатами не рождаются», размышляя в связи со словами Толстого: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды» о Сталине, ее опровергает.

Из подготовительных материалов ко второй части книги Симонова наибольший интерес и ценность представляют записи его бесед с Г. К. Жуковым и некоторыми другими военачальниками. Большая часть записей бесед с маршалом Советского Союза Г. К. Жуковым включена писателем в мемуарный очерк «Заметки к биографии Г. К. Жукова», опубликованный в прошлом году в «Военно-историческом журнале», записи бесед с А. М. Василевским и И. С. Исаковым печатаются здесь как приложение к рукописи первой части книги. Обращают на себя

внимание откровенность и доверительный тон собеседников писателя. Они рассказывали ему и то, что, по понятным обстоятельствам, не могли тогда написать в собственных мемуарах. Эта откровенность объяснялась их высоким уважением к творчеству и личности Симонова.

А. М. Василевский однажды назвал Симонова народным писателем СССР, имея в виду не несуществующее звание, а народный взгляд на войну, который выражен в творчестве Симонова. «Очень важно для нас,— писал Василевский Симонову,— и то, что все Ваши всенародно известные и безоговорочно любимые творческие труды, касаясь почти всех важнейших событий войны, преподносятся читателю наиболее капитально, а главное — строго правдиво и обоснованно, без каких-либо попыток в угоду всяким веяниям послевоенных лет и сегодняшнего дня отойти от порой суровой правды истории, на что, к сожалению, многие из писателей и особенно нашего брата, мемуаристов, по разным причинам идут так охотно».

И. С. Исаков, человек литературно одаренный, сам — что в данном случае существенно — прекрасно владевший пером, писал Симонову в связи с керченской катастрофой: «Был свидетелем такого, что если напишу, не поверят. Симонову — поверили бы. Ношу в себе и мечтаю когда-либо рассказать Вам».

Историю бесед с И. С. Исаковым рассказал сам Симонов в предисловии к письмам адмирала, переданным им в ЦГАОР Армянской ССР,— стоит ее воспроизвести здесь:

«Ивану Степановичу хотелось, чтобы автор, продолжая работать над своим романом, знал больше, чем знает. (...) Едва-едва успев почувствовать себя немного лучше, Иван Степанович пригласил меня приехать к нему в Барвиху. (...) Он сказал, что считает своим долгом поделиться со мной теми впечатлениями, которые сложились у него в результате многих встреч со Сталиным, происходивших в разные годы. «Все мы люди — смертны, но я, как видите, ближе к этому, чем Вы, и мне хотелось бы, не откладывая, рассказать Вам то, что я считаю важным, о Сталине. Думаю, что и Вам пригодится, когда Вы будете дальше работать над своим романом или романами. Не знаю, когда я напишу об этом сам и напишу ли вообще, а у Вас это будет записано и, значит, цело. И это тоже важно». (...) Разговор продолжался несколько часов, и мне самому пришлось, наконец, прервать этот разговор, потому что я почувствовал, что мой собеседник находится в опасном для него состоянии крайнего утомления».

Остается сказать, что и беседы, записанные Симоновым, и «Глазами человека моего поколения», как и полагается воспоминаниям, субъективны,— это скорее свидетельские показания, чем исторический приговор. Симонов отдавал себе в этом ясный отчет и хотел, чтобы так его понимали и читатели. Среди записей, сделанных им в больнице в последние дни жизни, есть и такая: «Может быть, назвать книгу «В меру моего разумения». Он хотел подчеркнуть, что на объективную истину не претендует.

Но это ни в коей мере не умаляет ценности публикуемых материалов. Одна из главных задач, стоящих сегодня перед нами, без решения которой мы не сможем двинуться вперед в осмыслении прошлого,— ликвидировать создавшийся в последние десятилетия дефицит фактов и правдивых свидетельств.

Публикуемые тексты, находившиеся в архиве К. М. Симонова, который хранится в его семье, к печати не были подготовлены. Продиктованную первую часть книги автор, к сожалению, даже не успел или уже не смог вычитать и выправить. В публикуемой рукописи сохраняются даты диктовок, чтобы таким образом напоминать читателям, что автору не удалось завершить работу над текстом. При подготовке публикации были исправлены явные ошибки и оговорки, неверно понятые при переводе с диктофона на бумагу слова и фразы.

Л. ЛАЗАРЕВ

23 февраля 1979 года

Прежде всего следует сказать, что рукопись, к работе над которой я сегодня приступаю, в ее полном виде не предназначается мною для печати, во всяком случае, в ближайшем обозримом будущем. В полном виде я намерен сдать ее на государственное архивное хранение с долей надежды на то, что и такого рода частные свидетельства и размышления одного из людей моего поколения смогут когда-нибудь представить известный интерес для будущих историков нашего времени. Что же касается тех или иных частей этой будущей рукописи, то я заранее не исключаю того, что у меня может появиться и желание, и возможность самому успеть увидеть их опубликованными.

В прошлом году минуло четверть века со дня смерти Сталина, а между тем мне трудно вспомнить за все эти теперь уже почти двадцать шесть лет сколько-нибудь длительный отрезок времени, когда проблема оценки личности и деятельности Сталина, его места в истории страны и в психологии нескольких людских поколений так или иначе не занимала бы меня — или непосредственно, впрямую, в ходе собственной литературной работы, или косвенно в переписке с читателями, в разговорах с самыми разными людьми на самые разные темы, не так, так эдак приводивших нас к упоминаниям Сталина и к спорам о нем.

Из сказанного следует, что Сталин — личность такого масштаба, от которой просто-напросто невозможно избавиться никакими фигурами умолчания ни в истории нашего общества, ни в воспоминаниях о собственной своей жизни, которая пусть бесконечно малая, но все-таки частица жизни этого общества.

Я буду писать о Сталине как человек своего поколения. Поколения людей, которым к тому времени, когда Сталин на XVI съезде партии ясно и непоколебимо определился для любого из нас как первое лицо в стране, в партии и в мировом коммунистическом движении, было пятнадцать лет; когда Сталин умер, нам было тридцать восемь. В этом году, когда ему было бы сто, нам станет шестьдесят четыре.

Говоря о своем поколении, я говорю о людях, доживших до этих шестидесяти четырех лет: репрессии тридцать шестого — тридцать восьмого годов сделали в нашем поколении намного меньше необратимых вычерков из жизни, чем в поколениях, предшествовавших нам; зато война вычеркивала нас через одного, если не еще чаще.

Поэтому оговорка первая: говоря как человек своего поколения, я имею в виду ту меньшую часть его, которая пережила Сталина, и не могу иметь в виду ту большую часть своего поколения, которая и выросла и погибла при Сталине, погибла если и не с его именем на устах, как это часто говорится в читательских письмах, которые я получаю, то, во всяком случае, в подавляющем большинстве с однозначной и некритической оценкой его действий, какими бы они ни были. И многое из того, о чем мне предстоит писать, они бы с порога не приняли — и за год, и за день, и за час до своей смерти.

Оговорка вторая: в своем поколении 1915 года рождения я принадлежу к очень неширокому, а точнее, наверное, даже к весьма узкому кругу людей, которых обстоятельства их служебной и общественной деятельности несколько раз довольно близко сводили со Сталиным. Я с двумя своими ныне покойными товарищами по работе на протяжении нескольких часов был на приеме у Сталина в связи с делами Союза писателей; один раз говорил с ним по телефону по вопросу, касавшемуся лично моей литературной работы; несколько раз присутствовал на заседаниях Политбюро, посвященных присуждению Сталинских премий и продолжавшихся каждый раз несколько часов. В этих обсуждениях участвовали и писатели, в том числе и я. Я слышал не только последнее выступление Сталина на XIX съезде партии, но и его, очевидно, самое последнее выступление на пленуме ЦК после этого съезда. Довелось мне потом много часов провести в Колонном зале, близко видя и мертвого Сталина в гробу, и людей, проходивших мимо этого гроба. В результате этого у меня отчасти были записаны, отчасти остались в памяти некоторые непосредственные впечатления, игравшие и продолжающие играть свою роль в моем восприятии личности и деятельности этого человека.

Оговорка третья. Как журналист и литератор, на протяжении сорока лет, неизменно, почти без исключений работавший над темою войны, прежде всего Великой Отечественной, я по ходу своей работы постоянно соприкасался с теми или иными сторонами вопроса о роли Сталина в Великой Отечественной войне, о причинах наших поражений и источниках наших побед, о мере внезапности войны и о мере нашей готовности или неготовности к ней. Работа над трилогией «Живые и мертвые», а затем над комментариями к моим дневникам военных лет подвела меня к теме: Сталин и война — в упор, вплотную. Я не считал себя вправе писать во втором романе трилогии «Солдатами не рождаются» глав, связанных с прямым появлением Сталина, без того, чтобы составить себе возможно более ясное представление и о восприятии Сталина, и об отношении к нему — прежде всего именно как к человеку, до войны занимавшемуся военными вопросами, а в ходе войны ставшему Верховным главнокомандующим, — со стороны людей, сведущих в военном деле, знающих, чем была Великая Отечественная война, игравших в ней видную роль и в силу этого неоднократно или многократно имевших дело со Сталиным.

В течение нескольких лет работы над романом «Солдатами не рождаются» я разговаривал на эти темы со сведущими военными людьми, записывал после этих разговоров их воспоминания, их высказывания, а также в дополнение к этому иногда и собственные, возникавшие у меня соображения, — разумеется, четко отделяя одно от другого. Я продолжал заниматься этим и в дальнейшем, уже закончив роман «Солдатами не рождаются» и работая на протяжении десяти лет с некоторыми перерывами над комментариями к своим дневникам «Разные дни войны». И многие причины, и многие следствия происходивших в годы войны событий были связаны с личностью Сталина, с характером его руководства войною. Для того, чтобы прийти к собственным выводам по целому ряду вопросов, которые я затрагивал в комментариях к дневникам, мне было необходимо, насколько я только мог, широко познакомиться с теми мнениями, которые сложились по этим вопросам у военных людей. Это были, разумеется, люди разных поколений, что я считаю необходимым оговорить, но выводы из всего услышанного и сопоставленного делаю я сам, человек своего поколения, само собой разумеется, всецело берущий собственные выводы на собственную ответственность.

И, наконец, оговорка четвертая. Сколько бы я ни получал читательских писем за последние двадцать лет со времени начала публикации трилогии «Живые и мертвые» и по сей день от читателей моих книг о войне, если не каждое третье, то по крайней мере каждое четвертое письмо так или иначе, в том или ином повороте касалось темы: Сталин и война. На многие письма я отвечал, с одними соглашался, с другими спорил, но так или иначе я двадцать лет имел дело с непрекращающимся потоком информации о том, как самые разные люди — разных общественных положений, поколений, профессий — смотрят на эту тему: Сталин и война. В данном случае поводом для их высказываний были мои книги, но они были только поводом, а не причиной для размышлений. Причиной для размышлений была реальная история нашего общества перед войной, во время войны и после нее. И этот двадцатилетний, непрекращающийся поток информации все на ту же самую тему оказывал и продолжает оказывать влияние на меня, было бы странно, если бы это было иначе, — и это найдет свое отражение в рукописи, к которой я приступаю.

По всем этим причинам, которые отмечены в моих четырех оговорках, содержание рукописи может оказаться, с одной стороны, уже, а с другой стороны, наоборот, шире ее названия «Глазами человека моего поколения».

* * *

Обращаясь к давнему прошлому, к своей юности и молодости, труднее всего совладать с соблазном привязать свои нынешние мысли к тогдашним, оказаться в результате прозорливее, чувствительнее к ударам времени, критичнее к происходящему — короче говоря, умнее, чем ты был на самом деле. Всеми силами постараюсь избежать этого соблазна. Чуркой в те молодые годы я, очевидно, не был, но вспомнить какие-нибудь свои заслуживающие внимания размышления о Сталине в те годы не могу. Политических разговоров, которые велись в семье в моем присутствии, почти не помню. Глухо помню в тот период, когда мой отчим был преподавателем тактики в Рязанской пехотной школе, оттенок недовольства деятельностью Троцкого в качестве наркомвоенмора. Помню, что в нашей семье он не нравился. Допускаю, что это было связано с его отношением к служившим в Красной Армии военспецам, к числу которых принадлежал и мой отчим. Помню, что приход Фрунзе на место Троцкого был встречен хорошо, помню, как были огорчены потом его смертью. Замена его Ворошиловым была воспринята с некоторым удивлением и недовольством, — видимо, среди таких людей, как мой отчим, существовало мнение, что на опустевшее после смерти Фрунзе место наркомвоенмора следовало назначить более значительного и более военного, чем Ворошилов, человека. Кто имелся в виду — не знаю, но оттенок такой в домашних разговорах существовал.

Впечатление от смерти Ленина в семье было очень сильное, глубокое и горестное. Может быть, оно еще было усилено и тем обстоятельством, что в тот год мы были в Москве, отчим проходил переподготовку на высших педагогических курсах и в качестве курсанта этого военного учебного заведения стоял в караулах во время похорон Ленина. Помню, что в семье были слезы. Ощущения того, что на смену Ленину пришел Сталин, ни у меня, тогдашнего мальчишки, ни в нашей семье не было. Троцкого не любили, о борьбе с его сторонниками-троцкистами слышали и знали, тем более что борьба эта происходила и в армии, отзвуки ее наиболее непосредственно доходили до отчима. К троцкистам относились отрицательно, а к борьбе с ними как к чему-то само собой разумеющемуся. Но представления о Сталине как о главном борце с троцкизмом, сколько помню, тогда не возникало. Где-то до двадцать восьмого, даже до двадцать девятого года имена Рыкова, Сталина, Бухарина, Калинина, Чичерина, Луначарского существовали как-то в одном ряду. В предыдущие годы так же примерно звучали имена Зиновьева, Каменева, позже они исчезли из обихода. Понимание того, что Сталин во главе всего, что происходит, сложилось где-то между началом коллективизации, первой пятилеткой и XVI съездом партии, который застал меня в седьмом классе школы, как тогда говорилось, в седьмой группе.

С той жестокой действительностью, которая много лет спустя была определена формулой «годы необоснованных массовых репрессий», я столкнулся очень рано, в двенадцатилетнем возрасте, в 1927 году, когда этих массовых репрессий еще не было. Мы с матерью и моею двоюродной сестрой гостили под Кременчугом в селе Потоки у жившей там двоюродной сестры моего отчима, фамилия ее была Каменская, звал я ее тетя Женя, отчества не помню. Тетя Женя была человеком добрым и деятельным, вполне практичным и в то же время, как показала ее дальнейшая судьба, благородным. Она жила там, в Потоках, в своем небольшом домике вместе с безнадежно больным мужем Евгением Николаевичем Лебедевым. Он был уволенным еще до первой мировой войны в отставку генерал-лейтенантом царской армии и уже много лет лежал неподвижно с парализованными ногами, а тетя Женя ходила за ним. Она была уже немолода, но все-таки на много лет моложе его, и, очевидно, некогда в том, что она согласилась быть при нем, парализованном, в качестве не столько жены, сколько сиделки, имели место свои практические соображения. Но когда все переменилось, перевернулось, она не бросила бедного старика и продолжала нести свой крест. Старик, кажется, был из числа офицеров либерального толка, неподвижность свою переносил мужественно и с достоинством, на судьбу не жаловался и на Советскую власть не ворчал. Был хорошо образован, и мне, двенадцатилетнему мальчишке, было интересно слушать его, о чем бы он ни брался рассказывать. Я это хорошо помню, хотя я, о чем он рассказывал, в памяти не сохранилось.

И вот однажды я, мама и моя двоюродная сестра отправились в лес за грибами, как водится, минут через пятнадцать выяснилось, что дома что-то забыли — не то какой-то мамин платок или кофточку, не то еще что-то, и, разумеется, как самого младшего за этим погнали обратно меня. Я постучал к тете Жене, но мне открыла не она, а какой-то незнакомый человек, пропустивший меня в комнату и закрывший за мной

дверь. В комнате был еще другой человек — в тот момент, когда я вошел, он, приподняв матрас, на котором неподвижно лежали парализованные ноги старика, заглядывал куда-то между этим верхним матрасиком и пружинным матрасом — не то чего-то искал, не то хотел что-то там поправить — этого я не разобрал, только понял, что что-то случилось, и случилось необычное. Уже поняв это, я все-таки по инерции спросил у стоявшей тут же, около кровати, тети Жени про ту вещь, которую забыла мама, где она, и сказал, что мне нужно ее взять и бежать обратно, но прежде чем она успела ответить, человек, который впустил меня в дом, показал мне на стул и сказал: «Ты посиди, мальчик, посиди и подожди». Я ответил что-то вроде того, что меня же будет ждать мама. «А будет ждать мама, она придет за тобой сюда. Посиди», — он показал мне стул не грубо, но властно, так, что я понял, что надо сесть, и послушался его. А еще несколькими минутами позже понял все, что происходило, потому что старик Лебедев, остановившийся на полуслове, когда я вошел (а я еще через дверь слышал, что он что-то громко говорит), поняв теперь, что меня оставили здесь, продолжал, не обращая внимания на мое присутствие, договаривать то, что он начал. Двое людей в штатском, пришедшие производить у него обыск, хотя и предъявили ему свои документы, но ордера на производство обыска не предъявили, и он ругательски ругал их за самоуправство, грозил, что будет жаловаться, стыдил, горячился, и тетя Женя, кажется, довольно равнодушная к обыску, больше всего боялась, что у него от волнения будет удар, и успокаивала его, как могла, но из этого ничего не выходило. Люди, пришедшие с обыском, продолжали делать свое дело, пересматривали одну за другой, лист за листом книжки, стоявшие на этажерке, лежавшие на столе, заглядывали под клеенки, под вышивки, лежавшие на полочках. Старик, прислонившись к стене, полулежа на кровати, продолжал ругать их, а я сидел на стуле и смотрел на все это.

Через час ко мне присоединилась моя двоюродная сестра, которую послала обеспокоенная моим отсутствием мама. Ее посадили на другой стул. Потом появилась мама, ее посадили на третий. Обыск в конце концов закончился, и, ровным счетом ничего так и не взяв с собой, производившие его люди ушли. Вели они себя сдержанно, не отругивались, может быть, потому, что имели дело со старым и парализованным человеком, но все, вместе взятое, осталось в памяти как что-то долгое и тягостное. Кто его знает, может быть, это была чья-то, как мы теперь говорим, самодеятельность. Евгений Николаевич, как он и обещал, написал и послал жалобу, но возымела ли она результат, я не слышал. Правда, в последующие годы его больше никто не беспокоил, и он через несколько лет умер там, в Потоках, о чем мы узнали из письма, потому что сами больше там не бывали.

Я записал случившееся таким, каким оно осталось в детской памяти, думаю, без преувеличений. В памяти это осталось не как встреча с чем-то ужасным, или трагическим, или потрясшим меня. В душе было не потрясение, а сильное удивление: я вдруг столкнулся с чем-то, казалось бы, совершенно не сочетавшимся с той жизнью, какой жила наша семья...

Годом позже в Саратов, где к этому времени служил мой отчим в школе переподготовки командиров запаса, до нас дошло известие, что сослан в Соловки один из дальних родственников отчима, из тех, что называют седьмая вода на киселе, муж сестры его шурина или что-то в этом роде, я всегда в таких случаях путаюсь. Отчим еще с мировой войны не любил и, пожалуй, даже презирал этого своего дальнего родственника. Будучи сам боевым офицером, пять раз раненным, отравленным газами и много раз награжденным за личную храбрость, отчим не мог простить, что тот — тоже офицер — ухитрился так и не попасть на фронт и всю войну прослужить где-то по провиантской части, и называл его за это «мучным кирасиром». «Мучной кирасир» был, в представлениях нашей семьи во всяком случае, довольно заядлым антисоветчиком, но, насколько я помню разговоры того времени, попал в Соловки он не только и не столько за это, сколько за участие в каких-то валютных делах вкупе с другими, более заметными лицами, посаженными по одному делу с ним. К происшедшему, как это ему было свойственно, отчим отнесся однозначно и бескомпромиссно. Жене сосланного посочувствовал как женщине, а о самом пострадавшем отозвался как о человеке, который получил то, что ему причиталось. Сказано это было другими словами, но смысл был именно таков.

Была в разгаре первая пятилетка, у нас в школе были кружки по изучению обоих вариантов — и основного, и оптимального — пятилетнего плана; я увлекался этим куда больше, чем школьными предметами. Недалеко от Саратова, на Волге, гремело строительство Сталинградского тракторного, в самом Саратове строили комбайновый завод и одновременно с этим быстро построили для нужд Сталинградского тракторного маленький завод тракторных деталей — все это, вместе взятое, сыграло свою роль в том, что, вопреки мнению отчима, через которое переступить мне было не так-то просто, и при нейтралитете матери, я после седьмой группы школы вместе с половиной своих одноклассников пошел в ФЗУ.

Принимали нас по тогдашней системе ЦИТа — Центрального института труда, — мы выполнили какие-то тесты, и по результатам этих тестов определялась наша будущая специальность. Мне выпало быть токарем, и с осени тридцатого года я начал учиться во 2-м механическом ФЗУ на токаря, а несколькими месяцами позже начал проходить практику как ученик токаря на расположенном тут же по соседству с ФЗУ небольшом заводе «Универсаль», изготовлявшем американские патроны для токарных станков. Одни ребята работали вместе со мной, другие — на других заводах, на «Двигателе Революции» — котельном заводе, на заводе тракторных деталей. Специальность токаря давалась мне с трудом, руки у меня оказались отнюдь не золотые. Некоторая дополнительная сложность заключалась еще и в том, что большую часть нашего курса ФЗУ составляли воспитанники детских домов, а нас, как называли нас — домашних, было сравнительно немного. Успевать лучше их в теоретических дисциплинах не было доблестью, а вот отставать от них на производстве для меня как для «домашнего» мальчика значило попасть в число презираемых белоручек, а я этого не хотел и поэтому старался как мог.

Курс ФЗУ был тогда двухлетний, и весною тридцать первого года передо мной стояла уже довольно близкая перспектива — перейти на второй год обучения и начать получать зарплату уже не по первому, а по второму разряду, почти вдвое больше. Это было существенно для бюджета нашей семьи, жившей, как говорится, впритирку, без единой лишней копейки. Стремление не оплошать на производственной практике и получить второй разряд было связано и с затянувшимся взаимонепониманием с отчимом. Он считал — так я думаю, хотя не говорил с ним на эту тему, — что, женившись на моей матери, тем самым взял на себя обязательство довести до конца мое образование, чтоб я кончил девятилетку, кончил вуз и стал инженером. Он хотел этого и только этого, отчасти, может, еще и потому, что сам в свое время, окончив реальное училище, надеялся после него получить высшее техническое образование, но это у него не получилось, и он, совершенно не думавший раньше о военной профессии, из-за отсутствия денег на дальнейшее образование оказался в юнкерском училище. В общем, почти весь тот год, что я учился в ФЗУ, ничего, кроме «здравствуй» и «прощай», я от него не слышал. Он не мог мириться ни с моим непослушанием, ни с моим решением. При том, что он затаенно любил меня, а я так же затаенно любил его.

Мы жили в казенном военном доме в двух смежных комнатах, в квартире с общей кухней, где жили еще в двух комнатах еще двое соседей с женами, тоже военные. Однажды вечером, не очень поздно — но мы уже легли спать, свет в доме уже не горел, мы все, сколько помню себя, рано ложились спать, в десять часов, — к нам в дверь постучали. Мать была нездорова, болела, лежала с небольшой температурой. Отчим открыл дверь; услышав голоса, проснулся и я. Я спал за шкафами в первой, проходной, комнате. Мне никогда не приходило в голову, что это может быть у нас, но это было у нас дома, — происходил обыск. Я зажег свет, вскочил босиком с постели и увидел троих незнакомых мне людей и отчима — наспех, но одетого. Он, как уже потом сказала мне мать, не открывал дверь до тех пор, пока не оделся, так и сказал: «Пока не оденусь — не открою». И оделся — сапоги, бриджи, гимнастерка с ремнем, — оделся так, как ходил всегда. Тоже потом уже сказала мне

мать — в дверь долго стучали, не желая ждать, пока отчим одевается, но я, очевидно, не сразу проснулся, спал крепким мальчишеским сном. Когда я вскочил, то увидел, что отчим, надев очки и вооружившись вдобавок лупой, — после отравления газами у него было плохо со зрением и он часто добавлял к очкам еще и лупу, — стоял и читал бумажку — ордер на обыск. Прочел — и отдал. Он был спокоен. Мать тоже. Надев халат, она стояла в дверях в соседнюю комнату.

— А ты ложись, — сказал отчим строго, как он обычно говорил с матерью. — Тебе тут нечего делать. Ты больна — и лежи.

Но мать так и не легла, только села на стул и так и просидела много часов.

Обыск длился очень долго, вели его аккуратно, так тщательно, что смотрели все подряд в обеих комнатах, даже мои тетрадки ФЗУ по технологии металлов, школьные тетрадки, оставшиеся от седьмого класса, и бесконечные мамины письма — она любила много писать и любила, чтоб ей много писали все родные и знакомые. По-моему — но не поручусь за память, — это было где-то в апреле, светлело не так еще рано, а когда кончился обыск, было совсем светло, значит, он продолжался по крайней мере часов шесть, если не больше.

Когда обыск кончился и люди, которые производили его, забрав пачку бумаг и писем и, кажется — хотя, может быть, я и ошибаюсь, — составив какой-то список взятого, собрались уходить, мне показалось, что уже все кончилось, — один из них вынул из кармана бумагу и предъявил ее отцу. Теперь это был уже ордер не на обыск, а на арест. В тот момент я этого не подумал, но потом понял, что, значит, арест предполагался с самого начала, независимо от результатов обыска. На мать было тяжело смотреть, хотя она была женщина с сильным характером, видимо, сказалось то, что она была больна, просидела всю эту ночь на стуле с температурой, ее всю трясло. Отчим был спокоен. Прочитав — опять-таки с лупой — бумажку, которую ему предъявили, вынув для этого из кармана гимнастерки лупу, удостоверившись в том, что это действительно ордер на арест, он коротко поцеловал мать, сказал ей, что вернется, как только выяснится, что произошло недоразумение. Молча, но крепко пожал мне руку и ушел вместе с арестовавшими его людьми.

А мы с матерью остались. Ее продолжало трясти, она не любила выражения слабости ни в себе, ни в других и стыдилась того, что ее трясет и что она не может ничего с собой поделать. Потом легла в кровать и, посмотрев на часы, сказала: «Ты сам согрей себе там кашу и чай, тебе скоро надо идти, а то опоздаешь в ФЗУ». Я сказал, что не пойду, останусь с нею. Она сказала, что я должен пойти, она быстрее придет в себя, если останется одна, а мне нужно идти и нужно там, в ФЗУ, сразу же сказать о том, что произошло у нас дома, — иначе это будет трусостью с моей стороны, если я не скажу.

Недоразумение не выяснилось — ни в этот день, ни через неделю, ни через месяц. Я сказал о том, что произошло у меня дома, в ФЗУ и продолжал учиться и работать. Ко мне продолжали относиться так же, как относились, как будто ничего не произошло, только о заявлении в комсомол, о котором я как раз в те дни договорился и собирался подать, сказали, чтоб я подождал с этим, пока не освободят моего отчима. Сказали, как я сейчас понимаю, деликатно, тогда мне казалось, что именно так только и могли сказать. Я ни минуты не сомневался, что это недоразумение и что мой отчим вернется, хотя знал, что после процесса промпартии у нас в Саратове было арестовано какое-то количество людей из числа старой интеллигенции и вообще так называемых «бывших», в том числе, помнится, еще один бывший офицер той же военной школы, где служил отчим. Но это для меня не связывалось одно с другим: кого-то другого могли арестовать, кто-то другой мог быть в чем-то виноват так же, как те люди из промпартии, а с моим отчимом этого быть не могло, с ним могло быть только недоразумение.

Если в ФЗУ, где я учился, к тому, что произошло в нашей семье, отнеслись спокойно и по-доброму, то в военной школе, где преподавал и был на самом хорошем счету отчим, все произошло наоборот. Думаю, что при всей суровости и даже жестокости того и последующего времени в данном случае, как и во многих других, все-таки, наверное, многое

или хотя бы что-то зависело и от людей, которым приходилось непосредственно решать такие вопросы. Командир и комиссар школы распорядились немедленно выселить семью арестованного комбата А. Г. Иванишева из занимаемого ею казенного помещения. На второй день, когда я пришел из ФЗУ, мать сказала, что ей показали подписанную ими бумажку о том, чтоб она к следующему дню освободила квартиру. Она хотела ехать к ним, порывалась, — соседи отговорили. Может быть, и не отговорили бы, но она еще продолжала болеть. Это сыграло свою роль.

На следующее утро явился, не помню уж, командир или младший командир с красноармейцами. Вещей из своих двух комнат мы никуда не забирали, и нам было сказано, что или мы их заберем, или их без нас вынесут, а комнаты опечатают. Помогли соседи: то, что можно было перенести к ним, перенесли к ним, что-то поставили по стенам в прихожей, то, что не влезло в прихожую, мешало ходить там, очевидно, оставалось выносить во двор. Мать махнула рукой и сказала, чтоб выносили во двор. Вещей у нас, по счастью, было немного: обеденный стол, несколько ломберных стульев, две этажерки для книг, два шкафа для одежды, кровать и так называемый гинтер, на котором спал я, — офицерский складной сундучок времен первой мировой войны, соединявший в себе и маленький сундук, и узкую раскладную койку. Шкафы и обеденный стол вытащили на улицу, остальное как-то разместилось в передней и у соседей, которые приютили нас, пока мы не найдем какой-нибудь комнаты, где могли бы дальше жить.

Мать осталась лежать у соседей, а я пошел искать комнату, снабженный добрыми советами соседок. Пошел на так называемые Саратовские горы через Глебычев овраг в верхнюю часть города, на окраину его, тогда выглядевшую как взбиравшаяся в гору деревня. Там, по сведениям соседок, вдовы — хозяйки этих домиков — иногда сдавали комнаты. Да я и сам тоже знал это, потому что, когда учился в школе и у нас был бригадный метод, при котором мы помогали друг другу готовить уроки, ходил туда, на горы, помогать готовить уроки кому-то из нашей бригады — девочке, родители которой снимали комнату вот в таком частном доме. Мне повезло: походив там по улице, я через какой-нибудь час или два нашел хозяйку, которая была готова сдать нам одну из двух комнат своего домика, даже довольно большую, в которой могли поместиться наши немногочисленные вещи. Мы переночевали эту ночь у соседей, а утром опять-таки кто-то из соседей достал грузовик и помог нам погрузить на него вещи — большего сделать не мог, ему надо было идти на службу. У матери все еще была температура, я упросил ее остаться еще до следующего дня у соседей, обещав, что я все сделаю сам.

Так и поступили. Правда, мне не повезло, потому что в этот день пошел дождь, дорога раскисла. Там, где стояло наше нынешнее жилье, дорога поднималась круто в гору и начиная с какого-то места была уже немощеной, грузовик забуксовал и дальше ехать не мог. Шофер помог выгрузить вещи на землю и уехал, посочувствовав мне. У него вышло то казенное время, которое ему дали для этой поездки, и он ничего не мог сделать сверх того, что сделал. А я постепенно перетащил на себе на один квартал вверх весь наш скарб. Как ни странно, доволок на спине и пустые платяные шкафы. Было мне тогда, весной 31-го года, пятнадцать с половиной лет, был я худой и отнюдь не богатырского сложения малый, но самому себе на удивленье оказался довольно жилистым и вещи перетащил, хотя и запомнил этот день надолго, пожалуй, на всю жизнь. Запомнил без злобы, даже с некоторым самодовольством, что вот справился с тем, с чем не приходилось справляться, и так, как не ожидал сам от себя. Обида была, но больше за мать. Она потом сколько ни вспоминала эту историю, никогда не могла простить выселения тем людям, от которых оно зависело. Наверное, поэтому из-за ее обиды так с юности и помню фамилии обоих этих людей, забыв сотни других имен и фамилий. Но называть их здесь не хочу. Судьба одного из них спустя шесть лет, в тридцать седьмом году, завершилась трагически, о чем я узнал еще на двадцать лет позже. Судьбы другого не знаю и не хочу брать греха на душу.

Если мне не изменяет память, почти все то лето я работал. В ФЗУ продолжались и занятия, и практика на заводе, каникул, как в школе, не

было, был только недолгий отпуск. Помнится, после этого отпуска мне присвоили второй разряд, и я стал получать не семнадцать, как вначале, а не то тридцать два, не то тридцать четыре рубля, что было нам тогда с матерью очень кстати.

Тюрьма, в которой сидел отчим, была на одной из улиц где-то недалеко от центра города, свиданий с ним не давали, потому что он находился под следствием, но передачи принимали,— два раза в неделю. Обычно передачи носила мать, но иногда носил и я. Как все это происходило, совершенно не запомнилось, видимо, потому, что все было просто и без проволочек, которые, наверное, запомнились бы.

Мать, поправившись, сразу и вполне взяла себя в руки и договорилась об устройстве с первого сентября на преподавательскую работу, преподавать не то французский, не то немецкий язык — она владела обоими. До этого год или два она по настоянию отчима не работала, у него на этот счет были свои, достаточно домостроевские взгляды. И хотя при одном его заработке мы жили в обрез, он предпочитал это: зарабатывать на жизнь считал всецело своей обязанностью, обязанностью матери — готовить, содержать в порядке дом и воспитывать сына, а моей — учиться.

Хотя мать и договорилась об устройстве на работу, это не значило, что она перестала верить в скорое возвращение отчима. Во всяком случае, вслух никаких сомнений на этот счет она не высказывала, наоборот, уверенно говорила, что, если он вернется до того, как она начнет работать, она все равно на работу поступит, на этот раз он ее не отговорит. А если он вернется после того, как она уже начнет работать, то работы не бросит, как бы он на нее за это ни сердился. Короче, его возвращение она под сомнение не ставила, хотя, может быть, оттенок излишней уверенности и отсутствие всяких сомнений предназначались для меня, но, кажется, она и на самом деле в глубине души не сомневалась, что раньше или позже недоразумение, как она продолжала все это называть, непременно выяснится.

Помню вечер, кажется, в самом конце августа. Лето кончалось, но было очень жарко и душно. После того, как я пришел с работы и мы поужинали, мать сказала, чтоб я вынес коврик во двор под дерево около нашего домика, мы посидим там, а то в комнате чересчур душно.

Я сделал, как она велела, мы сидели во дворе и о чем-то разговаривали, как вдруг калитка открылась и во двор вошел отчим — такой же, как всегда, обычный — в фуражке, в форме, со шпалами на петлицах и с наганом на боку. Он обнял и поцеловал вскочившую ему навстречу мать, поцеловал меня, что бывало очень редко. Я не сразу понял, что было в нем непривычным, вроде все, абсолютно все было как всегда. Потом сообразил: у него было зимнее, белое, а не летнее, бурое от загара после постоянных выездов на занятия в поле, лицо.

Не помню, какие разговоры были в тот вечер, сразу после его возвращения, и какие потом. Твердо запомнилось только два разговора, точнее две темы, потому что подробностей, конечно, не помню. Узнав о том, как нас в срочном порядке вышвырнули из казенной квартиры, отчим глубоко оскорбился за мать и сказал о начальнике и комиссаре школы, что они поступили по-свински. Когда он говорил о ком-то или кому-то, что тот поступил по-свински, это было выражением его самого крайнего возмущения. Слов этих обратно он никогда не брал, о сказанном не жалел, наоборот, если приходилось возвращаться в воспоминаниях, даже спустя много лет, к чьему-то возмутившему его поступку, жестко, в тех же самых выражениях повторял свою оценку. Так это бывало и раньше, и так это было и потом — всю его жизнь.

О том, как он провел в тюрьме четыре месяца, в подробностях, во всяком случае при мне, не рассказывал. Может быть, что-нибудь и говорил без меня, отвечая на вопросы матери, а при мне не говорил. При мне рассказал только о допросах, сказав, что все выдвинутые против него нелепые, как он выразился, обвинения были одно за другим полностью сняты. Рассказал, что, вызывая его на допросы, очевидно, не всегда понимали, с кем имеют дело, и считали, что если в течение десятка часов не будут давать ему спать при очень ярком свете, от которого у него начинали болеть глаза, то в конце концов добьются от него той дурацкой лжи о себе и о других, которую, по так и оставшимся для него

непонятным причинам, зачем-то хотели от него услышать. Но, разумеется, не дождались, заключил он.

Думаю, что, не рассказывая при мне ничего другого, это — о допросах — он рассказал при мне намеренно, в воспитательных целях, о которых он ни при каких случаях не забывал, считая их своим главным долгом по отношению к пасынку, ответственность за воспитание которого он взял на себя с четырех лет. Со мной в детстве, хотя и не слишком часто, случалось, что я лгал матери и ему. Он этого никогда не прощал и навсегда запоминал каждый такой случай. Очевидно, он и сейчас, даже когда речь шла о достаточно драматических для него обстоятельствах, не пренебрег возможностью преподать мне урок, что лгать не следует ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, как бы к этому ни вынуждали.

На следующий день или через день после возвращения он явился к начальнику школы, не знаю, какой там произошел разговор, но в том, что отчим высказал начальнику школы в соответствующих выражениях свою оскорбленность за то, как обошлись с матерью, нисколько не сомневаюсь. Тогда меня не посвящали в эти подробности, единственное, что я слышал от отчима насчет начальника школы, что с этим человеком или в подчинении у этого человека он далее служить не будет. Других подробностей я не знаю, очевидно, как я сейчас понимаю, была медицинская комиссия, а за ней — демобилизация из армии. Чисто медицинских оснований для этого было достаточно и раньше, учитывая и последствия ранения, и состояние зрения. Допускаю, что были и другие причины — может быть, столкновение с начальником школы. Во всяком случае, отчим принял решение — а решения его всегда были безапелляционными — оставить Саратов, переезжать в Москву. Жить временно у его родной сестры на Петровке — она обещала для этого временно перегородить свою комнату — и идти преподавать на военную кафедру в одном из московских вузов. Отчим об этом говорил с абсолютной уверенностью, так что остается предполагать, что последние аттестации перед демобилизацией открывали полную возможность для такой работы, а то, что произошло в предшествующие месяцы этой весны и лета, было положено считать не бывшим,— очевидно, так.

Примерно через месяц после этого мы перебрались в Москву, я поступил доучиваться на второй курс ФЗУ точной механики имени Мандельштама, а отчим приступил к работе преподавателем военной кафедры Индустриального института имени Карла Либкнехта на Разгуляе — почему-то всегда вспоминаю об этом, когда езжу в находящееся теперь неподалеку, за два квартала, издательство «Художественная литература».

Спрашиваю сейчас себя: наложило ли какой-то след все происшедшее тогда, тем летом, в Саратове на мое общее восприятие жизни или, если угодно, на психологию пятнадцати-шестнадцатилетнего подростка? И да, и нет! Самое главное, с отчимом все в конце концов получилось так, как оно и должно было быть. Он — мерило ясности и честности для меня с первых детских лет — таким мерилом и остался, и люди, которые с ним имели дело, убедились в этом, то есть что-то самое главное оказалось правильным. И в трудные для нас месяцы почти все люди, с которыми мы сталкивались и имели дело, отнеслись к нам хорошо — и это все тоже оказалось правильным, таким, каким мы и могли ожидать. Рассказ отчима о допросах, кончившихся для него благополучно, потому что он был человеком очень сильным, цельным, оставил в душе осадок какого-то неблагополучия, ощущения, что с другим человеком в этих обстоятельствах могло выйти по-другому, другой человек мог не выдержать того, что выдержал он. Эта тревожная нота осталась в памяти, наверное, отчетливей и существенней, чем тот некрасивый поступок начальства, который отчим коротко назвал «свинским поведением».

А кроме всего другого, пришло еще ощущение некоторого, может быть, неосознанного возмужания, я оказался на что-то способным в критических обстоятельствах, хотя бы на то переселение, которое я совершил отчасти на собственном горбу. Отчим не хвалил меня за это, вообще не любил хвалить меня, но я, хотя он по-прежнему был недоволен тем, что я учусь и собираюсь продолжать учиться в ФЗУ, почувствовал, что он стал спокойнее относиться к этому. Видимо, после того, как я провел

с матерью четыре месяца без него, отчим признал мое право на самостоятельность решений, и это смягчило его недовольство моим выбором жизненного пути, хотя недовольство все равно осталось, еще долго оставалось. В общем, происшедшее немножко поглубже ткнуло меня носом в жизнь, и это было жестокое, но благо, если говорить о духовном развитии начинающего жизнь человека.

Таким же жестоким благом были для меня месяц или полтора, которые я два года спустя провел в больнице в Москве на Собачьей площадке, в больнице, превращенной в изолятор для больных брюшняком. Брюшняк этот — так запомнилось мне с тех времен — был занесен в Москву как одно из последствий голода 33-го года на Украине. В Москву тянулись спасавшиеся от голода люди, приезжали, скапливались на вокзалах — это было одной из причин эпидемии брюшняка, — так я об этом слышал тогда в больнице.

Я лежал в палате для тяжелых, пятеро из нас умерли, трое выжили. В первые дни один из потом умерших рассказывал об этом голоде в полубреду, рассказывал горячечно, но понятно. Он был из подобранных на вокзале. Конечно, и в Саратове я жил не в безвоздушном пространстве, в городе не было и того, и другого, и третьего, к карточкам была уже привычка нескольких лет. Еда в той заводской столовой, где мы обедали, учась в ФЗУ, была странно запомнившейся: в тот год, когда не было многого другого, хорошо уродилась на Нижней Волге соя, которую там вдруг стали культивировать, и мы ели каждый день эту сою — и в виде супов, и в виде котлет, и в виде киселей. Но с прямым рассказом о том, что такое голод, с прямым видением его последствий я столкнулся лишь тогда, в 33-м году, в больнице, жизнь сунула меня носом в это только там. И это запомнилось и тоже было какою-то жестокою частицей возмужания.

Возвращаясь в воспоминаниях к саратовским годам — к тридцатому, к тридцать первому, — вспоминаю какие-то подробности, говорящие мне сейчас о том, что в воздухе витало разное. Запомнилась какая-то частушка того года: «Ой, калина-ка́лина, шесть условий Сталина, остальные — Рыкова и Петра Великого». Я ее петь — не пел, но слышать — слышал. Значит, кто-то ее пел, как-то она переносилась. Было в воздухе такое, было и другое. Помню кем-то, кажется, в ФЗУ показанную мне бумажку, вроде листовочки, — трудно сейчас сообразить, просто ли это было рисовано от руки, или переведено в нескольких экземплярах через копирку, или сделано на гектографе, — но ощущение какой-то размноженности этого листочка осталось, во всяком случае. На листке этом было нарисовано что-то вроде речки с высокими берегами. На одном стоят Троцкий, Зиновьев и Каменев, на другом — Сталин, Енукидзе и не то Микоян, не то Орджоникидзе — в общем, кто-то из кавказцев. Под этим текст: «И заспорили славяне, кому править на Руси». Впрочем, может быть, я и ошибаюсь, может, этот листок показывали мне не в ФЗУ, а еще раньше, в школе. Но было тогда и такое, тоже существовало в воздухе. Но запомнилось как смешное, а не как вошедшее в душу или заставившее задуматься.

Не знаю, как другие, а от меня в те годы такое отскакивало. Я был забронирован от этого мыслями о Красной Армии, которая в грядущих боях будет «всех сильнее», страстной любовью к ней, въевшейся с детских лет, и мыслями о пятилетке, открывавшей такое будущее, без которого жить дальше нельзя, надо сделать все, что написано в пятилетнем плане. Мысли о Красной Армии и о пятилетке связывались воедино капиталистическим окружением: если мы не построим всего, что решили, значит, будем беззащитны, погибнем, не сможем воевать, если на нас нападут, — это было совершенно несомненным. И, может быть, поэтому когда я слышал о борьбе с правым уклоном, кончившейся в тогдашнем моем представлении заменой Рыкова Молотовым, то казалось ясным, что с правым уклоном приходится бороться, потому что они против быстрой индустриализации, а если мы быстро не индустриализируемся, то нас сомнут и нечем будет защищаться, — это самое главное. Хотя в разговорах, которые я слышал, проскальзывали и ноты симпатии к Рыкову, к Бухарину, в особенности к последнему, как к людям, которые хотели, чтобы в стране полегче жилось, чтоб было побольше всего, как к радетелям за сытость человека, но это были только ноты, только какие-то отзвуки чужих мнений. Правота Сталина, который стоял за быструю индустриализацию страны и добивался ее, во имя этого спорил с другими и доказывал их неправоту, — его правота была для меня вне сомнений и в четырнадцать, и в пятнадцать, и в шестнадцать лет.

Не знаю, как для других моих сверстников, для меня 1934 год почти до самого его конца остался в памяти как год самых светлых надежд моей юности. Чувствовалось, что страна перешагнула через какие-то трудности, при всей напряженности продолжавшейся работы стало легче жить — и духовно, и материально. Я ощущал себя причастным к этой жизни, потому что у меня было ощущение, что я работал почти всю пятилетку, ведь ФЗУ — это были и занятия, и четыре часа ежедневной работы. Потом, окончив ФЗУ, я одно время работал на авиационном заводе, а после него токарем в механической мастерской тогдашней кинофабрики «Межрабпомфильм». Это была маленькая мастерская, восемь человек, один токарный станок, находившийся в моем распоряжении, разнообразная и поэтому интересная работа. Кроме того, я за год до этого начал всерьез писать стихи, очень плохие, но мною воспринимавшиеся уже как нечто серьезное, связанное со всей моей будущей жизнью.

Среди других стихов я под влиянием прошлогодних поездок писателей по Беломорско-Балтийскому каналу и вышедших после этого очерков, книг и пьес написал неумелую поэму «Беломорканал» — о перековке уголовного элемента. Несколько кусочков из этой поэмы у меня после того, как я ее долго носил в литконсультацию, взяли для сборника молодых, выпускавшегося этой консультацией в Гослитиздате. Вдобавок в свой очередной отпуск я получил командировку и некоторое количество денег от массового сектора работы с начинающими авторами, существовавшего в Гослитиздате, и поехал по этой командировке в качестве молодого рабочего автора — а у меня действительно уже был трехлетний рабочий стаж — на Беломорканал для того, чтобы посмотреть самому то, что там происходило, и, может быть, наново написать свою поэму, из которой сколько-нибудь удачными — я уже и сам понимал это — получились только отдельные кусочки.

И строительство Беломорканала и строительство канала Москва — Волга, начавшееся сразу же после окончания первого строительства, были тогда в общем и в моем тоже восприятии не только строительством, но и гуманною школою перековки людей из плохих в хороших, из уголовников в строителей пятилеток. И через газетные статьи, и через ту книгу, которую создали писатели после большой коллективной поездки в 33-м году по только что построенному каналу, проходила главным образом как раз эта тема — перековки уголовников. О людях, сидевших за всякого рода бытовые преступления, писалось гораздо меньше, хотя их было много, но они как-то мало интересовали и журналистов, и писателей. Сравнительно мало писалось и о работавших на строительстве бывших кулаках, высланных из разных мест страны на канал, хотя их там тоже было много, не меньше, чем уголовников, а, наверное, больше. Чуть побольше — эта тема не обходилась — писали о бывших вредителях, которые занимали различные инженерные посты на стройке. По уделяемому им вниманию они занимали второе место после уголовников. Но как бы то ни было, все это подавалось как нечто — в масштабах общества — весьма оптимистическое, как сдвиги в сознании людей, как возможность забвения прошлого, перехода на новые пути. Старые грехи прощались, за трудовые подвиги сокращали сроки и досрочно освобождали, и даже в иных случаях недавних заключенных награждали орденами. Таков был общий настрой происходящего, так все это подавалось, и я ехал на Беломорканал смотреть, не как сидят люди в лагерях, а на то, как они перековываются на строительстве. Звучит наивно, но так оно и было.

Строительство канала уже было закончено, во всяком случае его первая очередь, достраивались различные дополнительные объекты — на них работали еще десятки тысяч людей. Достраивались дороги, разрастались подсобные хозяйства, убирались следы строительства, благоустраивалась местность. Я попал на канал именно в это время и большую часть месяца, который у меня был, провел на одном из лагерных пунктов, где работали главным образом люди, так или иначе причастные в прошлом

к уголовщине. Меня пристроил на дополнительную койку в своей отгороженной от общего барака каморке начальник КВЧ — культурно-воспитательной части — лагерного пункта, москвич, заключенный, так же, как и все другие на этом лагерном пункте. Не знаю, какая у него была статья, скорее всего политическая, 58-я, наверное, антисоветская агитация, — статья, по которой в то время попадали в лагеря люди, причастные или считающиеся причастными к троцкистской и вообще левой оппозиции. Про статью я его не спрашивал, что он заключенный, понял не сразу, потому что он вел себя как опытный партийный агитатор. Был это симпатичный тридцатилетний человек, судя по всему, имевший большое и благотворное влияние на тот уголовный и полууголовный элемент, который составлял рабочий класс этого лагпункта.

Мною особенно никто не интересовался, мне было без малого девятнадцать лет, по виду я мало чем отличался от других находившихся там людей — разве что был одним из самых молодых. Когда же случайно узнавали, что я молодой рабочий автор и пишу стихи, то относились ко мне сочувственно и даже отчасти покровительственно — мол, давай, давай, напиши о нас, — сроки у людей там были небольшие, работали они добросовестно, делая их еще короче, надеясь на скорое освобождение. Допускаю, что я был поглощен своим, поэмой, стихами, вообще был еще, как говорится, молод и глуп, но из этой странной, на нынешний взгляд, лагерной командировки я вернулся без ощущения тяжести на душе. Наоборот, с готовностью писать заново поэму о перековке людей трудом, с ощущением, что я пусть недолго, но своими глазами видел, как это реально происходит, и с верою в то, что, наверное, так оно и должно быть, — какой же другой путь, кроме работы, которая списывает с человека его прошлые грехи, может существовать в таком обществе, как наше?

С вредителями из инженерной элиты мне сталкиваться самому не доводилось, но я знал от одной из знакомых нашей семьи, что человек, за которого она несколько лет назад вышла замуж, в прошлом военный инженер и по стечению обстоятельств при Временном правительстве чуть ли не последний комендант Зимнего дворца, будучи арестован по 58-й статье и получив по ней не то восемь, не то десять лет, проработав два или три года на Беломорканале главным инженером одного из узлов канала и блестяще выполнив свои инженерные задачи, был освобожден и теперь как вольнонаемный поехал главным инженером на какой-то еще больший строительный узел канала Москва — Волга. Такого рода сведениями были дополнены мои личные впечатления от поездки.

То, что происходило на XVII съезде партии, как будто свидетельствовало о правильности моих юношеских радужных взглядов: бывшие оппозиционеры каялись, признавали свои ошибки, им предоставляли возможность для этого, публиковали их заявления, прощали, принимали обратно в партию, — в общем, верили людям, и это создавало атмосферу и единства, и общей целеустремленности, и веры в будущее страны и свершение всех намеченных планов.

Тому, в чьей памяти не остался декабрь 34-го года, наверное, даже трудно представить себе, какой страшной силы и неожиданности ударом было убийство Кирова. Во всей атмосфере жизни что-то рухнуло, сломалось, произошло нечто зловещее. И это ощущение возникло сразу, хотя люди, подобные мне, даже не допускали в мыслях всего, что могло последовать и что последовало затем. Было что-то зловещее и страшное и в самом убийстве, и в том, что оно произошло в Смольном, и в том, что туда сорвался и поехал из Москвы Сталин, и в том, как обо всем этом писали, и как хоронили Кирова, и какое значение все это приобрело.

Я не представлял себе тогда реального места Кирова в партии, знал, что он член Политбюро, и только. Он для меня не стоял в ряду таких имен, как имена Калинина, Ворошилова или Молотова. Но когда его убили, это имя — Киров — вдруг стало для меня, как и для других, какой-то чертой, до которой было одно, а после стало другое. Словно в воздухе повисло что-то такое, что должно было разразиться, чем — неизвестно, но чем-то разразиться. Мы в силу возраста и опыта своего не были и не могли быть пророками, не могли предвидеть будущее, но факт остается фактом: с убийством Кирова в сознание нашего поколения

вошел элемент чего-то трагического. Это трагическое не только произошло, но оно еще и нависло где-то в будущем. Думаю, что я не пишу сейчас неправды; думаю, что это, может быть, тогда бы по-другому сформулированное ощущение было, и если говорить о моем поколении тогдашних девятнадцатилетних, было не только у меня.

А два или три месяца спустя вдруг началась совершенно непонятная для меня тогда, не до конца понятная по своей специфической направленности даже и сейчас высылка из Ленинграда всякого рода «бывших», в том числе таких «бывших», которые, собственно говоря, никакими «бывшими» никогда и не были, а просто-напросто носили аристократические и дворянские фамилии.

27 февраля 1979 года

То, что произошло с так называемыми «бывшими» в Ленинграде, коснулось и нашей семьи: там жили почти все мои родственники со стороны матери — три ее родные сестры, два моих двоюродных брата и двоюродная сестра.

Мать была самой младшей в семье. Ее самая старшая сестра, старше ее на пятнадцать лет, Людмила Леонидовна, была замужем за артиллерийским полковником, происходившим из семьи обрусевших немцев, за Максимилианом Генриховичем Тидеманом. Помню по детским годам, как старшая тетка, склонная к юмору, в послереволюционные годы посмеивалась над своей немецкой фамилией, которую иногда запросто переделывали из Тидеман — в Ти́деман, в Ты-деман или в Ты-демон, и говорила про свое семейство: «Мы Ты-демоны», или просто: «Мы демоны». Юмора она не теряла до конца жизни (умерла она уже за восемьдесят лет, живя в Москве), но жизнь ей выпала нелегкая: у мужа ее, командовавшего артиллерийским полком, на фронте обострился давний туберкулез, и он умер в шестнадцатом году, в разгар войны. Полк, с которым он уходил на фронт, стоял до этого не то в Рязани, не то под Рязанью, и тетка с тремя детьми осталась там, в Рязани. И это, вероятно, во многом определило и мою собственную жизнь, потому что мать, оставшись одна, после того как мой родной отец пропал без вести на фронте, тут же переехала из Петрограда в Рязань, где жила тетка. Тетка потом вместе со своими детьми вернулась в Ленинград, где жили остальные сестры, а мать так и осталась в Рязани, выйдя замуж за моего отчима.

К 35-му году, о котором идет речь, уже не было в живых ни бабки моей, умершей в 1922 году, ни деда, который умер еще раньше, в 1911 году, — в Ленинграде жили три сестры матери. Людмила Леонидовна, имевшая педагогическое образование и работавшая на Петроградской стороне в здании, если мне не изменяет память, бывшего училища правоведения, где помещалась школа-интернат для дефективных детей; там же, при этом интернате, она и жила. В предыдущие годы, приезжая в Ленинград, я часто бывал у нее. У нее, как я говорил, было трое детей. Двоюродный брат Андрей был старше меня на три года, двоюродная сестра Маруся — на восемь, а старший двоюродный брат Леонид — на десять лет. К 35-му году все они были самостоятельные люди: Маруся работала учительницей, Андрей начинал как архитектор, работал в ленинградском Гипрогоре — Государственном институте проектирования городов, а Леонид, человек блестящих способностей, химик, был начальником одного из главных цехов на заводе «Красный треугольник».

Жили в Ленинграде еще две мои тетки — на двенадцать и на тринадцать лет старше матери — Софья Леонидовна и Дарья Леонидовна. Тетя Долли (в противоположность матери и остальным, вполне демократически настроенным теткам она любила, чтобы ее звали не Дарья, а, как это было принято в таких семьях до революции, Долли) была старой девой и притом еще калекою: когда-то в детстве от испуга у нее отнялась одна сторона тела, было искривлено плечо, на ноге она носила ортопедический ботинок и сильно хромала. Все это в семейных анналах было записано как вина моего деда — человека, в гневе бывавшего невоздержанным и в приступе такого гнева вогнавшего в паралич чем-то взбесившую его девочку. Не знаю уж, как это было на самом деле, но примерно так, не очень ясно, рассказывала мне об этом мать, не оправдывая деда, которого сама она очень любила — может быть, и потому, что к ней, к са-

мой младшей, моложе других на двенадцать лет, он относился совсем по-другому, чем к старшим,— любила, но не оправдывала, а говорила все это в объяснение характера тети Долли — желчного и язвительного. Советскую власть тетя Долли не любила, не скрывала этого и спорила об этом с сестрами. Она была догматически религиозна, по-моему, не столько из собственной веры в бога, сколько в пику и назло родственникам и окружающим; была религиозна не только догматически, но даже агрессивно. Она приезжала к нам в Рязань, когда мне было лет двенадцать, и богословские споры с ней окончательно выбили из меня веру в бога, и главным следствием ее религиозных поучений было то, что я перестал ходить в церковь, впрочем, одновременно с родителями. Процесс расставания с верой в бога происходил в семье параллельно у всех троих — у матери, отчима и у меня.

В общем, тетя Долли была человеком несчастным, озлобленным и вопреки своей вере в бога скептическим. Насколько я помню, в последние годы своей жизни в Ленинграде она вообще постриглась в монахини. Монастырей тогда не было, но были какие-то потайные религиозные общины вот таких одиноких монашек, общавшихся друг с другом.

Приезжая в Ленинград вдвоем ли с матерью, или один — бывало и так,— я в те юношеские годы должен был обязательно хотя бы один раз зайти к тете Долли. Шел я туда с неохотой, но это считалось обязательным еще и потому, что именно тетя Долли до последнего дня жила вместе с умиравшей бабушкой и оставалась жить именно в той комнате, в которой та умерла. К тете Долли я заходил один раз или два — после приезда и перед отъездом, по обязанности. В дружной и насмешливой семье Тидеманов бывал с удовольствием, но больше всего времени проводил и обычно жил у третьей своей тетки Софьи Леонидовны на Суворовском проспекте; у нее была там большая светлая комната, много книг, и я спал у нее за книжными шкафами, отгораживавшими кушетку от ее стародевичьей узкой кровати.

Софья Леонидовна была не похожа ни на кого другого из Оболенских. Людмила Леонидовна и моя мать были очень красивы в молодости и остались по-своему красивыми и в старости, у тетки Долли было лицо калеки, но при этом сохранившее следы тонкой, как иногда об этом говорят, породистой красоты, а Софья Леонидовна, которой в тридцать пятом году было пятьдесят восемь лет, была пожилая, курносая, круглолицая, веселая и бесконечно обаятельная русская женщина с крепкими, прочными руками, ногами, широкими плечами, с доброй улыбкой, веселым смехом и открытой душою — не просто открытой, а распахнутой навстречу людям. Глядя на нее, так и казалось, что она должна была быть матерью многих детей и бабкой многих внуков, но неизвестно, как и почему она в молодости не вышла замуж, а потом привыкла быть старой девой. Почему не вышла замуж — об этом никогда не говорили ни с ней, ни о ней за глаза. Должно быть, ее внешность очень уж выбивалась из круга представлений о привлекательности, существовавших в том обществе, в котором она росла в юности, а приданого за нею в семье деда, человека с княжеским титулом, но всю жизнь служившего и щепетильного, дать не могли. Так это мне представлялось, когда думал о судьбе этой своей любимой тетки. Но в те годы, что я ее помню — а хорошо помню я ее, когда ей начало идти к пятидесяти,— несчастной она себя ни с какой стороны не чувствовала, наоборот, была самым веселым, жизнерадостным человеком среди своих сестер. Получив педагогическое образование, занялась библиотечным делом и долгие годы заведовала библиотекой где-то там у себя на Суворовском проспекте, неподалеку от дома. Увлекалась всякими нововведениями и вообще жила и дышала этим, общалась с читателями, советовала, составляла круг чтения, увлеченно рассказывала об этом — вообще очень любила людей, читавших книжки и ценивших книжки. Отчасти за это любила и меня. Самые последние годы, перед высылкой из Ленинграда, она перешла — не знаю уж по какой причине — работать в библиотеку Института растениеводства, работала там в институте у Вавилова на Невском и даже рассказывала мне о нем что-то интересное, но что, я не запомнил.

Когда у нее бывали отпуска, обычно приезжала гостить к нам. Если у нас не хватало денег на то, чтоб я поехал в Ленинград, добавляла на дорогу в одну сторону, чтоб я все-таки смог приехать и пожить у нее. Она, видимо, как-то удовлетворяла свои неосуществленные материнские чувства в отношении к своей племяннице и племянникам, последние годы в особенности ко мне. Может, потому, что она была ближе с матерью, чем с другими сестрами, а может, потому, что я был самый младший из всех ее племянников и дольше всех оставался для нее ребенком.

В тридцать четвертом году я ее не видел, последний раз видел в тридцать третьем, когда приезжал в Ленинград, жил у нее и именно там, у нее в комнате, сочинил первые, казавшиеся мне серьезными стихи — сонеты о Ленинграде, написанные под влиянием книжки сонетов Жозе Мария Эредиа, вышедшей у нас в переводах Глушкова-Олерона и почему-то произведшей на меня сильное впечатление.

И вот зимой тридцать пятого года мы узнали из писем, полученных уже не из Ленинграда, а из Оренбурга, что все — за одним исключением — наши родные, жившие в Ленинграде, высланы в Оренбургскую область или край — не помню, как тогда это называлось. Выслали и тайную монашку, не любившую Советскую власть тетю Долли; выслали любившую Советскую власть и начиная с семнадцатого года преданно помогавшую ей на своей скромной библиотечной работе тетю Соню; выслали и крутую и властную, бестрепетно и преданно работавшую с дефективными детьми тетю Люлю; выслали молодую советскую учительницу, мою двоюродную сестру Марусю; начинающего одаренного архитектора Андрея. Оставили в Ленинграде только старшего сына Людмилы Леонидовны — Леонида Максимилиановича. Старший сын старшей из сестер, он по традиции был назван Леонидом в честь деда, а уж немецкое отчество ему досталось от отца. Его отстоял завод «Красный треугольник»: кто-то на заводе, а может быть, и не только на заводе встал на дыбы, заявил, что такого блестящего специалиста, как он, завод терять не может, и мой самый старший двоюродный брат Леонид — при своем княжеском происхождении по матери и немецкой фамилии и отчестве по отцу — остался работать у себя на «Красном треугольнике» в Ленинграде. В начале войны Леонид пошел в ленинградское ополчение, как командир запаса был назначен командиром роты. Погиб в бою от смертельной раны в живот. Его младший брат Андрей работал в Оренбургской области, куда его выслали, по своей специальности, хотя не помню, сразу ли это произошло, но потом было именно так,— в сорок первом году попал в армию и всю войну прошел солдатом без единой царапины. Их мать, Людмилу Леонидовну, вместе с моей старшей двоюродной сестрой Марусей и с ее дочкой Наташей, которая уехала вместе с ней в ссылку ребенком, в разгар войны мне, к тому времени ставшему довольно известным писателем и военным корреспондентом, удалось после восьми лет высылки перетащить в Москву, где в 1955 году Людмила Леонидовна еще успела встретить свое восьмидесятилетие в кругу оставшихся в живых своих родичей.

А две другие мои тетки погибли там, куда их выслали, погибли не сразу, а в конце тридцать седьмого — в тридцать восьмом году, когда их, живших там в ссылке, кому-то понадобилось еще и посадить в тюрьму, где обе они умерли. Не знаю, могу только догадаться, как это вышло,— может быть, одна из сестер, не питавшая нежности к Советской власти, что-то кому-то сказала, а вторую забрали потому, что она ее сестра,— не знаю, может быть, так, а может быть, и не так.

Но это все было потом. А тогда, в тридцать пятом году, мать, узнав из писем, что сестры высланы так же, как и многие другие уже старые люди, которых она с юных лет знала по Петербургу, опечаленно сидя вечером со мной и с отчимом, вдруг сказала, хорошо помню это: «Если бы я тогда, как Люля, вернулась из Рязани в Петроград, конечно, я сейчас была бы вместе с ними».

Я помню, как меня поразило тогда то, как она это сказала. Сказала с каким-то ощущением своей вины за то, что она не с ними, что ее миновала та чаша, которая не миновала их, ее сестер. Потом спросила отчима: «Может быть, и отсюда нас будут высылать?» — сказала «нас» не как о семье, а имея в виду себя, свое происхождение и свою девичью фамилию Оболенская.

— Ну что же, будут высылать — поедем! — сказал отчим, сразу отсекая то, что отторженно от него подумала мать о самой себе.

Когда мать что-то еще добавила на ту же тему, рассердился и стал, как это с ним бывало, сразу резок, почти груб, сказал что-то вроде того, что довольно болтать языком, придумывать то, чего пока нет. Если о чем-нибудь надо думать, то надо будет думать о том, чем мы сможем помогать им. Людмиле Леонидовне помогать — это дело ее сына, а вот Софье и Дарье Леонидовне придется помогать нам, больше некому, и надо подумать, чем мы сможем помогать, в каком размере, как это можно будет сделать и когда.

Помню этот разговор, но не помню своего собственного душевного состояния. Знаю, что я не мог быть к этому равнодушен, хотя бы потому, что одну из трех теток очень любил. Когда узнал, что ее там, в ссылке, посадили, а потом от нее перестали приходить всякие известия, и через кого-то нам сообщили, что она умерла неизвестно где и как, без подробностей, помню, что у меня было очень сильное и очень острое чувство несправедливости совершенного с нею, именно с нею, больше всего с нею. Это чувство застряло в душе и — не боюсь этого сказать — осталось навсегда в памяти как главная несправедливость, совершенная государственной властью, Советской властью по отношению лично ко мне, несправедливость горькая из-за своей непоправимости, потому что, будь тетя Соня жива, первой из всех людей, кому мне довелось помогать, когда я смог что-то сделать и чем-то помочь, была бы именно она, мне не пришло бы в голову помогать никому, прежде чем я не помог бы ей. Все так. И в то же время не могу вспомнить, что же я думал тогда, как рассуждал, как объяснял для себя происшедшее. Лес рубят — щепки летят, так, что ли? Может быть, было отчасти что-то похожее на это самоуспокоение, сейчас кажущееся гораздо более циническим, чем оно ощущалось тогда, когда революция, переворот всей жизни общества, был еще не так далеко, на памяти, и когда без этого выражения вообще редко обходилось в разговорах на разные такого рода драматические темы.

Отчим был последователен. Разговаривать на эти темы он не желал, а помогать считал нашим общим долгом. Помню, как туда в тридцать пятом — тридцать шестом годах, уже не помню, в самый ли Оренбург или в какой-то из городов Оренбургской области стали посылаться вещи, посылки и деньги.

Как раз тридцать пятый год был последним годом, когда я хорошо по тому времени зарабатывал. Я поступил в Вечерний рабочий литературный университет, созданный по инициативе Горького, по вечерам занимался, а днем работал в тот год на кинофабрике «Техфильм». Работа была сдельная, мы оборудовали лихтваген. Заработок, который я получал, позволял не только вносить свою долю в общий семейный котел, но выделять еще и какие-то деньги для посылки теткам вместе с теми деньгами, которые могли наскрести отец и мать. Так было до следующего года, когда я перешел на дневное отделение, работу оставил, печататься по-настоящему еще не начал, дела мои в материальном отношении стали намного хуже, и свою лепту в помощь теткам я вносил уже и меньше, и реже — когда что-то вдруг печатал и получал за это деньги.

Не могу утверждать с точностью, по-моему, мать ездила навещать теток два раза — и в тридцать шестом, и в тридцать седьмом годах, но, может быть, память меня подводит, и это было только один раз. Тогда, если так, то скорее это было, пожалуй, уже в тридцать седьмом году. Во всяком случае, сама эта поездка была уже после нескольких происходивших в Москве процессов, после того как уже началось то, что потом было названо «необоснованными массовыми репрессиями». Поездка эта воспринималась драматически отчимом, многими, очевидно, в глубине души и самой матерью, но она твердо решила поехать, увидеть сестер. В ответ на доводы отчима, который боялся за нее и говорил, что, может быть, правильнее продолжать делать то, что мы делаем, — писать, помогать, как можем, материально, — чем ехать с перспективой в дальнейшем лишиться этой возможности помогать, она сказала, что все-таки она поедет, потому что если не поедет, то перестанет быть самой собой, что она не может не поехать. Вот пишу это и не могу точно вспомнить, один или два раза она ездила. Если два, то первая поездка была в начале 36-го года, когда общая атмосфера еще не стала такой, какой она стала впоследствии, и к этой поездке не относились те драматические разговоры, которые я вспоминаю.

Помню, как мать вернулась из этой поездки тридцать седьмого года — измученная, печальная, усталая от дороги и жизни там, где она была, но при этом не потеряв надежд на будущее. Видимо, ей казалось, может быть, именно потому, что сестры ее жили очень плохо и тяжело, что уже ничего худшего, чем случилось с ними, случиться не может. Но будущее показало, что может случиться и худшее. И случилось это, как я уже сказал, потом, позже, в разгар всего того, что было закручено в тридцать шестом году и раскрутилось с такой страшной силой в конце тридцать седьмого. Я помню только свои чувства, связанные с происшедшим с тетками, а никаких действий, поступков не помню, очевидно, никакие поступки и действия были в то время или невозможны, или казались невозможными, а точнее, и казались, и на самом деле были невозможными и поэтому просто-напросто не очень-то приходили в голову, мне, во всяком случае.

Что еще добавить связанного с атмосферой тех лет и с моим восприятием этой атмосферы, а может, точнее сказать, с отсутствием нормального, с нашей нынешней точки зрения, ее восприятия? Скажу только о том, что было как-то связано с моим собственным непосредственным жизненным опытом, если это можно назвать опытом для того времени.

Среди молодых, начинающих литераторов, к которым примыкала и среда Литературного института, были аресты, из них несколько запомнившихся, в особенности арест Смелякова, которого я чуть-чуть знал, больше через Долматовского, чем напрямую. Было арестовано и несколько студентов в нашем Литературном институте. На старшем курсе считавшийся немножко странным и чуть-чуть юродствующим, но едва ли не самым способным, Александр Шевцов, затем Поделков. На нашем — один парень, который не запомнился ничем — ни стихами, ни поведением своим в институте, не запомнился мне и фамилией, дальнейшей судьбы его так и не знаю, может быть, она впоследствии оказалась и не самой худшей из судеб, но, во всяком случае, не литературной. Был арестован и поэт с нашего курса Валентин Португалов, поклонник Багрицкого, ездивший к нему, еще когда тот жил в Кунцеве, совсем мальчик, — изящный, тонкий, красивый юноша, писавший тогда довольно вычурные, не нравившиеся мне стихи. С ним я встретился только двадцать с лишним лет спустя, когда он приехал в Москву с Колымы, где сначала отбыл срок, а потом остался работать, собирал там фольклор, переводил, писал, приехал в Москву с книгой стихов — очень крепкий на вид, квадратный, бывалый человек с кирпичным северным загаром. Он выпустил книгу стихов — мужественных, северных и по теме, и по звуку своему, и работал потом на Высших литературных курсах. Хотя на вид был очень крепок, умер рано, лет в пятьдесят. Видимо, все-таки прожитая жизнь сделала свое дело, хотя он никогда ни на что не жаловался в разговорах. Как-то однажды, когда мы с ним сидели, занимались подготовкой к печати его книги, вдруг назвал мне продолжавшего здравствовать человека, в свое время своим заявлением на его счет посодействовавшего его отъезду на Колыму. Сказал об этом человеке с полупрезрением, с полупониманием, что, наверное, тому действительно померещилось что-то неподходящее в том, что говорил он, Португалов, во время их разговоров между собою с глазу на глаз. Хотя ничего особенного Португалов не говорил, и все это не стоило выеденного яйца и не заслуживало того, чтобы писать кудато. А тот посчитал, что заслуживало, и написал. Мог не писать. Однако написал. Допускаю даже, что полагал, что делает доброе дело, что это его обязанность.

Как ни странно может это показаться, но сейчас, оглядываясь на те годы, я не помню, чтобы у меня возникало хотя бы подобие мыслей, что кто-то в том институте, где я учился, мог написать про кого-то — про меня или про другого — заявление. Вот не приходило тогда в голову это, да и все тут. И спустя семь или восемь лет, в разгар войны, я, уже бывалый и опытный человек сравнительно с тем временем, о котором пишу сейчас, оглушенно слушал ничем, никакими обстоятельствами и внешними причинами не вызванную, просто вырвавшуюся из души отчаянную исповедь одного из бывших студентов Литинститута, у которого в те го-

ды, оказывается, был посажен отец, чего я не знал, и которого «сговорили» сообщать о настроениях и разговорах в институте, то есть о наших разговорах. Этот человек был предельно искренним со мной, когда исповедовался, ничто не вынуждало на эту исповедь, просто в разгар войны у меня дома, куда он пришел, ему стало нестерпимо стыдно за какой-то кусок жизни, вот за этот, и он, говоря, конечно, правду — убежден в этом! — говорил мне, что он, наверное, просто что-то бы сделал с собой, если бы из-за того, что он записывал, сообщал, кто-то пострадал, но, к его счастью, никто не пострадал, может быть, потому что он ничего особенного не записывал и не мог записывать, но сам этот факт в его жизни для него остается ужасным. Но этот разговор был во время войны, а разговор с Португаловым уже после смерти Сталина, а тогда, в тридцать пятом и в тридцать шестом годах, мне не приходило в голову, что кого-то из нас могут сговаривать писать про то, о чем мы говорим друг другу, и про наши настроения. Не приходило в голову, да и все.

Впервые жизнь меня с чем-то похожим столкнула и заставила думать об этом позже, летом тридцать седьмого года.

Летом тридцать седьмого года Владимир Петрович Ставский — в то время секретарь Союза, уделявший довольно значительное внимание нашему Литературному институту, поддержал идею нескольких прозаиков — наших студентов Льва Шапиро, Всеволода Саблина и Зиновия Фазина поехать по местам событий гражданской войны на Северном Кавказе и написать коллективную документальную книжку о Серго Орджоникидзе. Мои товарищи привлекли к этому делу и меня — уж не помню, то ли потому, что я хотел попробовать свои силы в прозе, то ли полагая, что в такой книжке могут оказаться уместными и стихи об Орджоникидзе, и, по их мнению, я мог их написать, — в общем, я вошел в эту тройку четвертым.

Ставский не только одобрял идею, но и помогал нам, сводил нас даже на московскую квартиру к тогдашнему секретарю — не то Северо-Кавказского, не то Ростовского обкома — Евдокимову, с которым вместе участвовал когда-то в гражданской войне. Мы несколько часов просидели у этого хмурого, мрачноватого человека, как мне казалось, думавшего о чем-то другом, далеком, не то угрюмого, не то подавленного чем-то, но при этом, откликаясь на воспоминания Ставского, тоже вспоминавшего какие-то интересные для нас подробности того времени.

Все было решено, и мы должны были уже ехать, когда вдруг меня после занятий вызвали к Ставскому, сказали, чтоб я немедленно шел к нему в Союз писателей. Членом Союза я тогда еще не был, был просто студентом, автором нескольких циклов стихов, напечатанных в разных журналах, и одной поэмы.

— Ну, рассказывай, что ты там за несоветские разговоры ведешь в Литинституте. Собираешься ехать писать об Орджоникидзе, а в разговорах восхваляешь белогвардейщину, — примерно так начал Ставский, а я буквально онемел от неожиданности, потому что никаких несоветских разговоров ни с кем не вел, никакой белогвардейщины не восхвалял и вообще не понимал, что произошло.

— Вот я имею такие сведения о тебе, — сказал Ставский, — давай выкладывай правду — это единственный способ разговора, который у тебя со мной возможен.

Но хотя я был совершенно огорошен этим началом, на самом деле единственный способ говорить правду значил начисто отрицать то, о чем меня спрашивал Ставский, то, что ему кто-то наговорил про меня, причем мне даже в голову не приходило, кто.

Разговор продолжался минут десять, может быть, пятнадцать, и кончился тем, что я так и не признал того, чего не мог признать, не рассказал того, чего не мог рассказать, потому что этого не было, а Ставский рассердился и сказал, что раз так, то те трое поедут, а ты не поедешь. Нечего тебе писать об Орджоникидзе, раз ты не хочешь даже здесь со мной начистоту разговаривать. Пропагандирует, понимаешь, контрреволюционные стихи, а собирается ехать по следам Орджоникидзе. Это он сказал уже под конец, вслед мне.

Я вышел от него подавленный всем этим, чтобы в следующий раз увидеть его в Монголии, на Халхин-Голе, через два года, в роли человека, который впервые в моей жизни вывез меня, как говорится, под огонь или, во всяком случае, в зону огня и несколько дней там, на передовой, обращался со мной, как грубоватая, но заботливая нянька.

Но это все было потом, а в тот день было именно так, как я вспоминаю, хотя, может быть, я вспоминаю и не совсем те слова, которые были сказаны, слова на самом деле были, может быть, немного другие, мягче или грубее. Гораздо точнее вспоминается душевное состояние. Оно было тяжелым, очень тяжелым, а в голове крутилась последняя фраза Ставского, наводившая на какую-то, еще не пойманную мною мысль, фраза о том, что я хвалю контрреволюционных поэтов. Вдруг я вспомнил — меня осенило — вспомнил два или три разговора, совсем недавние, в последние вечера с нашим новым руководителем семинара, недавно пришедшим и разговаривавшим по душам то с одним, то с другим из нас, очевидно, знакомясь с нами, так мы это понимали.

Я в то время увлекался Киплингом, напечатал в «Молодой гвардии» несколько своих переводов из Киплинга, считалось, что удавшихся мне. И вдруг я вспомнил, что последний, кажется, второй по счету разговор с этим нашим руководителем семинара где-то на скамейке, в скверике перед домом Герцена, начался со стихов Киплинга, с того, почему они мне нравятся. Мне они нравились своим мужественным стилем, своей солдатской строгостью, отточенностью и ясно выраженным мужским началом, мужским и солдатским. Когда я сказал, за что и почему мне нравится Киплинг, он стал меня спрашивать: а как я отношусь к Гумилеву. К Гумилеву я относился довольно равнодушно, из акмеистов любил Мандельштама. У Гумилева мне нравилось несколько стихотворений, а вообще его стихи казались мне по сравнению с Киплингом более эстетизированными, менее солдатскими и менее мужественными. В общем, Киплинг заслонил для меня Гумилева, хотя, казалось бы, по моим вкусам поэтика Гумилева должна была бы мне нравиться. Дальше, после этого разговора о Гумилеве («Ну, это напрасно, что вам не нравится, не привлек вас к себе Гумилев, хотя он и контрреволюционер, но поэт, и как поэт он вам не может не нравиться»), началось чтение стихов Гумилева, которые мой собеседник помнил наизусть. Что-то я знал, что-то я не знал, что-то мне понравилось, что-то я вспомнил из того, что мне нравилось и раньше — «Заблудившийся трамвай», «Леопард», еще что-то, уже не помню что, — и я сказал о том, что мне, конечно, нравятся эти стихи Гумилева, но я больше все-таки люблю Киплинга.

Вот примерно и весь разговор, который мог вызвать ту, последнюю фразу Ставского, брошенную мне вдогонку. Никакого другого разговора ни с кем другим не было. Просто-напросто не было. Значит, этот человек, новый руководитель семинара, совершил подлость, сказал не то, что было на самом деле. Ведь он сам пристал ко мне с Гумилевым, сам говорил мне, что он, хотя и контрреволюционер, но хороший поэт, сам читал мне его стихи, сам меня вызвал на то, чтобы я сказал, что, да, у Гумилева есть, конечно, хорошие стихи, хотя я все-таки больше люблю Киплинга.

Зачем же он все это рассказал Ставскому совсем не так, как это было на самом деле? Он, сам втянувший меня в этот разговор, рассказал о нем так, что Ставский вызвал меня, требовал, чтобы я признался в каких-то несоветских разговорах, и в результате не поверил мне и исключил меня из поездки с товарищами на Северный Кавказ, куда я так хотел ехать. Зачем ему это понадобилось? Выслужиться, что ли, он хотел, показать, какой он бдительный, или ему еще зачем-то понадобилось наговорить на меня, но почему, я ему ничего плохого не сделал, он ко мне как будто бы хорошо относился.

У нас после этого было, к счастью, всего одно семинарское занятие, но я не мог себя заставить смотреть на этого человека. мне было тяжело его видеть. Я поспешил поскорее уйти, чтобы он не успел заговорить со мной. Потом я, думая об этой, хорошо и надолго запомнившейся мне истории, видел в ней провокацию, при помощи которой он, очевидно, укреплял или хотел укрепить свое собственное положение, в чем-то несчастный, очевидно, или в чем-то запутавшийся человек, вдобавок ко всему еще и тяжелобольной, еле передвигавшийся. Больше я его не видел. Когда мы вернулись к занятиям осенью, он исчез, был арестован и, наверное, умер где-то там. Я никогда больше не слыхал ни от кого его фамилии.

Вот так странно год от года чему-то учила, а в чем-то запутывала нам мозги жизнь.

Мы уже давно мыкались по разным снимаемым нашей семьей комнатам, снимали мы их у тех, кто уезжал куда-то работать по броне. В квартире сестры отчима и ее родственников, где мы жили первую зиму после переезда в Москву, был арестован брат ее мужа. Снова арестован, первый раз его арестовывали еще в тридцатом году, раньше, чем отчима, и через несколько месяцев так же, как и отчима, освободили, но он был довольно крупный военный, по званию комкор, первый советский атташе в Турции, профессор военной академии и однокашник Тухачевского по пажескому корпусу—кажется, так.

В двадцатые годы, когда мы иногда наезжали в Москву на неделю или на полторы и примащивались на это время у тетки—других возможностей не было,—я видел пришедшего в гости к Ивану Александровичу (ее деверя звали Иван Александрович) высокого и красивого Тухачевского.

Тогда Ивана Александровича выпустили, но в армию он не вернулся, вел в каком-то высшем учебном заведении уже как штатский человек курс экономической географии. Человек он был весьма образованный. Вдруг его во второй раз посадили. Было это до начала процесса над Тухачевским, Уборевичем и другими или после, я не помню, но примерно в это время. Мать огорчилась, говорила, что не может быть, чтоб Иван Александрович был в чем-то виноват, отчим угрюмо молчал, не желая вообще разговаривать на эти темы, а я, что думал я?

Так же, как большинство, наверное, людей, во всяком случае, большинство молодых людей моего поколения, я думал тогда, что процесс над Тухачевским и другими военными, наверное, правильный процесс. Кому же могло понадобиться без вины осудить и расстрелять таких людей, как они, как маршалы Егоров и Тухачевский, заместитель наркома, начальник Генерального штаба,—о других я имел меньше представления, чем о них, но они в моем юношеском сознании были цветом нашей армии, ее командного состава, кто бы их арестовал и кто бы их приговорил к расстрелу, если бы они были не виноваты? Конечно же, не приходилось сомневаться в том, что это был какой-то страшный заговор против Советской власти. Сомневаться просто не приходило в голову, потому что альтернативы не было—я говорю о том времени: или они виноваты, или это невозможно понять. Я считал, что они, наверное, виноваты, наверное, виноват и Иван Александрович, тогда, раньше, не был виноват и его выпустили, а теперь, когда не выпустили, значит, не выпустили потому, что он виноват. Отчима же тогда выпустили, раз он был ни в чем не виноват. Сейчас он работает на своей военной кафедре в институте, ничего с ним не происходит.

Впрочем, об этом было немножко страшно думать, страшно было приближаться к этой теме, потому что с кем-то, где-то все чаще и чаще происходило то, что с Иваном Александровичем, но это были только отзвуки, это были люди, которых я не знал, о которых не имел представления.

Вот так смутно—кое-что подробно, кое-что с провалами—вспоминается мне это время, которое, наверное, если быть честным, нельзя простить не только Сталину, но и никому, в том числе и самому себе. Не то, что ты сделал что-то плохое сам, пусть ты ничего плохого не сделал, во всяком случае, на первый взгляд, но плохо было уже то, что ты к этому привык. Для тебя, двадцатидвухлетнего-двадцатитрехлетнего человека, в тридцать седьмом — тридцать восьмом годах то, что происходило, и то, что кажется сейчас неимоверным и чудовищным, постепенно как бы входило в некую норму, становилось почти привычным. Ты жил среди всего этого, как глухой, словно ты не слышал, что вокруг все время стреляют, убивают, вокруг исчезают люди. Как будто это могло быть объяснимо, хотя это было необъяснимым. Наверное, разбираясь в тогдашних представлениях людей моего поколения, вернее, пробуя в них разобраться, и прежде всего, конечно, в своих собственных представлениях, надо провести какие-то грани между в одних случаях полною верою в правильность происходившего, а в других — полуверою, инстинктивными сомнениями — бо́льшими и меньшими.

В военный процесс я верил, ничего другого, кроме того, что так оно и было в действительности, представить себе не мог. Публичные процессы

вызывали чувство некоторой оторопи—от той готовности все рассказать о себе и все признать, которая переходила из показания в показание. Вроде бы странно и сомневаться в том, что́ говорят о себе эти люди,— все это, в общем, выстраивалось в казавшуюся по тем временам довольно стройной и последовательной картину. И в то же время почему же все-таки все они признавались, все считали себя виноватыми, никто не отрицал своей вины или, наоборот, никто не настаивал на том, что он считал себя вправе поступать так, как он поступал?

К одним людям—таким, как Зиновьев,—у меня, например, было чувство какой-то давней неприязни, может быть, это шло от моих ленинградских впечатлений и разговоров, потому что в Ленинграде он оставил о себе особенно плохую память. К Бухарину, в какой-то мере к Рыкову было, наоборот, какое-то застарелое чувство приязни, в особенности к первому из них. Я помнил его заключительное слово после обсуждения доклада о поэзии на 1-м съезде писателей. Мы, будущие студенты Литинститута, получили входные билеты на хоры, каждый на какое-то одно заседание. Я получил на это. Сначала на Бухарина наскакивали наши поэты, и мне это нравилось; говорили хлестко, смело, задиристо—это было мне по душе. Но когда выступил с ответным словом Бухарин, он тоже говорил хлестко, смело и задиристо, и мне это тоже было по-человечески по душе, мне понравилось, как он заключал прения после доклада. Он был редактором «Известий» в бытность мою в Литинституте, он печатал там стихи некоторых литинститутских поэтов. Два раза печатал и мои стихи. Его самого я не видел, ходил в отдел литературы и искусства.

Один раз должен был увидеть—Бухарин прочитал какие-то новые, отданные мной в «Известия» стихи, заинтересовался ими, хотел со мной поговорить, и мне назначили час встречи, которая, конечно же, меня очень интересовала. Так как я перед этим условился с матерью, что приду к ней именно в этот час, то я забежал к ней заранее и оставил ей записочку. Но встреча не состоялась, Бухарин был чем-то занят или куда-то уехал, я его так больше и не видел. А эту свою записку я увидел у матери в сорок четвертом году, когда она вернулась из Молотова, куда увозила с собой часть моего юношеского литературного архива и все, что я ей писал когда бы то ни было. Я как-то зашел к ней, и она, перебирая мои старые письма, сказала вдруг: «Вот тут одна записочка, я хотела с тобой посоветоваться. Я ее берегла, но может быть, это не нужно».

Записочка была самая простая, записка начинающего поэта, студента, который должен был увидеться с редактором большой газеты, заинтересовавшейся его стихами. Но в свете того, что потом произошло с Бухариным, записка выглядела страшновато. Тогда у матери, в сорок четвертом году, я даже вздрогнул, когда прочитал ее и подумал, что она вот так с тридцать пятого или с начала тридцать шестого года и лежала у матери, ездила с ней в Молотов. Я писал в записке, помню ее наизусть: «Милая мамочка, я не приду, меня вызывают ровно на пять часов к Николаю Ивановичу Бухарину. Зачем—пока не могу тебе сказать, пока это секрет, скажу потом. Сын». Вот и вся записка. Секрет же состоял в том, что я еще не говорил матери, что отдал в «Известия» новые стихи и их вроде бы собираются напечатать, как и два раза до этого. Хотел сделать ей сюрприз.

Записку эту я тогда, в сорок четвертом году, конечно, порвал. Я к тому времени уже обстрелянный, побывавший на двух войнах—сначала на маленькой, потом на большой—человек, подполковник, награжденный орденом боевого Красного Знамени, военный корреспондент, писатель, написавший «Жди меня», и «Русские люди», и «Дни и ночи», получивший две Сталинские премии,—задним числом с ужасом думал: ну, а случись такие обстоятельства, что еще тогда, в тридцать шестом, тридцать седьмом, тридцать восьмом годах, кто-то бы заглянул в материнский архив и увидел эту записку,—пойди объясни по тому времени, что это у тебя за секреты насчет Бухарина. В те времена это могло бы кончиться плохо не только для печатавшего в «Известиях» свои стихи студента Литинститута, но и для его родителей. Да и не только тогда, но и в сорок четвертом году, когда происходил мой разговор с матерью, когда я порвал эту записку, сунь в нее нос какой-нибудь худой человек—хорошего тоже было бы мало. Я ничего не сказал матери, только покачал головой. Она

в ответ тоже ничего не сказала, только пожала плечами, как бы говоря, что, наверное, она виновата, но привычка оставлять все целым, все, что я ей написал, для нее была сильнее всяких других мыслей или опасений.

Однако то, что я говорил только что о Зиновьеве, Бухарине, Рыкове, относится к каким-то очень индивидуальным оттенкам восприятия людей. Главные же сомнения стали возникать просто-напросто от массовости происходящего. Хотя надо учитывать, что это сейчас мы, вспоминая то время, говорим о массовых незаконных репрессиях, когда чем дальше, тем больше все происходило не в судах, а просто решалось где-то, в каких-то тройках, о которых кто-то и откуда-то слышал, и люди исчезали. И, конечно, я с моим кругозором, с тем, что я знал, с тем, кого знал,— я имел представление, может быть, о том, как исчезал один человек из очень, очень многих сотен, а про других я ничего не знал, так же, как другие не знали про других. Но даже при этом условии ощущение массовости происходящего возникало, возникало чувство, что все это быть не может правильным, происходят какие-то ошибки. Об этом иногда говорили между собой. Потом, когда Ежов стал из наркомвнудела наркомом водного транспорта, а затем и вовсе исчез, справедливость этих сомнений подтвердилась как бы в общегосударственном масштабе. Народное словечко «ежовщина» возникло не после XX съезда, как кажется иногда, наверное, людям других, куда более молодых поколений, оно возникло где-то между исчезновением Ежова и началом войны, возникло, когда часть исчезнувших стала возвращаться, возникло словно само собой, как из земли, и его не особенно боялись произносить и вслух, насколько мне помнится. Я думаю сейчас, что Сталин при той информации, которой он располагал, знал распространенность и обиходность этого слова, и за употребление его не было приказано взыскивать. Очевидно, так. Очевидно, Сталина с какого-то момента устраивало, чтобы все происшедшее в предыдущие годы связывалось поначалу с Ягодой, а потом главным образом с его преемником Ежовым. Его устраивало, что все это прикреплялось к слову «ежовщина».

Кстати говоря, вспоминая то время, нельзя обойти наших тогдашних представлений — издали, конечно, понаслышке — о Берии. Назначение Берии выглядело так, как будто Сталин призвал к исполнению суровых, связанных с такой должностью обязанностей человека из Грузии, которого он знал, которому он, очевидно, доверял и который должен был там, где не поздно, поправить сделанное Ежовым. Надо ведь помнить, что те, кто был выпущен между концом тридцать восьмого года и началом войны, были выпущены при Берии. Таких людей было много, я не знаю, каково процентное отношение в других сферах, но в «Истории Великой Отечественной войны» записано, что именно в эти годы, то есть при Берии, было выпущено более четверти военных, арестованных при Ежове. Так что почва для слухов о том, что Берия, восстанавливая справедливость, стремился поправить то, что наделано Ежовым, была. Почва была довольно основательная, и, наверное, большинству из нас, мне, во всяком случае, и во сне бы не приснилась тогда будущая деятельность Берии. Что он делал в Грузии до приезда в Москву в период «ежовщины», об этом я, например, в сколько-нибудь близких к действительности масштабах не имел ни малейшего представления.

Итак, в нашем сознании Сталин исправлял ошибки, совершенные до этого Ежовым и другими, всеми теми, кто наломал дров. Для исправления этих ошибок назначен был Берия. Когда уже при нем, при Берии, в тридцать девятом году были арестованы и исчезли Мейерхольд и Бабель, то скажу честно, несмотря на масштаб этих имен в литературе и в театре и на то потрясение, которое произвели эти внезапные—уже в это время—аресты, внезапные и, в общем, в этой среде уже единичные, именно потому, что они были единичные, и потому, что это было уже при Берии, который исправлял ошибки, совершенные при Ежове,—было острое недоумение: может быть, в самом деле вот эти люди, посаженные уже в тридцать девятом году, в чем-то виноваты? Вот другие, посаженные раньше, при Ежове, многие из них, наверное, были не виноваты, неизвестно, как все это было, но эти, которых при Ежове никто не трогал, а когда стали поправлять происшедшее, их вдруг арестовали, может, к этому были действительные причины?

Не знаю, как у других, у меня такие мысли были в то время, и я не вижу причин забывать о том, что они были. Это было бы упрощением сложности духовной обстановки того времени.

В конце лета тридцать восьмого года я стал членом Союза писателей. В этом году вышли сразу две, если не три, мои первые книжки, и вообще я почувствовал себя профессиональным литератором. Естественно, что к этому времени я больше знал, чем раньше, о том, что происходило в кругу литераторов, в том числе о событиях драматических.

Самым драматическим для меня лично из этих событий был совершенно неожиданный и как-то не лезший ни в какие ворота арест и исчезновение Михаила Кольцова. Он был арестован в самом конце тридцать восьмого года, когда арестов в писательском кругу уже не происходило, арестован после выступления в большой писательской аудитории, где его восторженно встречали. Прямо оттуда, как я уже потом узнал, он уехал в «Правду», членом редколлегии которой он был, и там его арестовали— чуть ли не в кабинете Мехлиса.

Мы все читали «Испанский дневник» Кольцова. Читали с гораздо большим интересом, чем что бы то ни было, кем бы то ни было написанное об Испании, в том числе даже чем корреспонденции Эренбурга. Об «Испанском дневнике» написали Фадеев и Алексей Толстой. Вторая книга готовилась к публикации в «Новом мире», была уже чуть ли не верстка ее, ее с нетерпением ждали. Кольцов был для нас в какой-то мере символом всего того, что советские люди делали в Испании. О том, что очень многие из наших военных, бывших в Испании, оказались потом арестованными—некоторые вышли на волю, а некоторые погибли,— я узнал значительно позже, а о Кольцове мы узнали тогда сразу же. Слух об этом, о его исчезновении распространился мгновенно. Ни понять этого, ни поверить в это—в то, что он в чем-то виноват, было невозможно или почти невозможно. И в общем, в это не поверили, надо сказать это так же без преувеличений, как я без преуменьшений говорил о других случаях, когда верили и легко верили.

Очень характерно, что с самого начала Великой Отечественной войны пошли слухи, что то на одном фронте, то на другом фронте, в том числе и на Карельском фронте, видели Кольцова, который освобожден, вернулся из лагерей и находится в действующей армии. Находились свидетели этого, вернее, якобы свидетели, которые кому-то говорили об этом, а кто-то говорил об этом еще кому-то, и эти слухи снова и снова возникали, доходили до нас, до меня, например, на протяжении первых двух лет войны. У этих слухов была своя основа: возвращение в действующую армию ряда военных людей, которые затем отличались на фронте, о них было глухо известно, что они исчезли в предвоенные годы, о возвращении их в армию до войны не знали, а во время войны их имена появились сначала в списках награжденных, позже в приказах. Слухи о появлении на фронте Кольцова отличались особым упорством, связанным с особой симпатией к нему, к его личности, к его роли в испанских событиях, и к его «Испанскому дневнику», и к невозможности поверить в то, что этот человек в чем-то виноват.

В сорок девятом году, когда мы ездили с первой делегацией деятелей советской культуры в Китай, Фадеев руководителем делегации, а я его заместителем, как-то поздно вечером в Пекине в гостинице Фадеев в минуту откровенности—а надо сказать, что на такие темы, как эта, он редко говорил, очень редко, со мной, пожалуй, только трижды—он после того, как я, не помню, по какому поводу, заговорил о Кольцове и о том, что так до сих пор и не верится, что с ним могло произойти то, что произошло, сказал мне, что он, Фадеев, тогда же, через неделю или две после ареста Кольцова, написал короткую записку Сталину о том, что многие писатели, коммунисты и беспартийные, не могут поверить в виновность Кольцова, и сам он, Фадеев, тоже не может в это поверить, считает нужным сообщить об этом, широко распространенном впечатлении от происшедшего в литературных кругах Сталину и просит принять его.

Через некоторое время Сталин принял Фадеева.

— Значит, вы не верите в то, что Кольцов виноват?—спросил его Сталин.

Фадеев сказал, что ему не верится в это, не хочется в это верить.

— А я, думаете, верил, мне, думаете, хотелось верить? Не хотелось, но пришлось поверить.

После этих слов Сталин вызвал Поскребышева и приказал дать Фадееву почитать то, что для него отложено.

— Пойдите, почитайте, потом зайдете ко мне, скажете о своем впечатлении, — так сказал ему Сталин, так это у меня осталось в памяти из разговора с Фадеевым.

Фадеев пошел вместе с Поскребышевым в другую комнату, сел за стол, перед ним положили две папки показаний Кольцова.

Показания, по словам Фадеева, были ужасные, с признаниями в связи с троцкистами, с поумовцами.

— И вообще чего там только не было написано, — горько махнул рукой Фадеев, видимо, как я понял, не желая касаться каких-то персональных подробностей. — Читал и не верил своим глазам. Когда посмотрел все это, меня еще раз вызвали к Сталину, и он спросил меня:

— Ну как, теперь приходится верить?

— Приходится, — сказал Фадеев.

— Если будут спрашивать люди, которым нужно дать ответ, можете сказать им о том, что вы знаете сами, — заключил Сталин и с этим отпустил Фадеева.

Этот мой разговор с Фадеевым происходил в сорок девятом году, за три с лишним года до смерти Сталина. Разговор свой со Сталиным Фадеев не комментировал, но рассказывал об этом с горечью, которую, как хочешь, так и понимай. При одном направлении твоих собственных мыслей это могло ощущаться как горечь оттого, что пришлось удостовериться в виновности такого человека, как Кольцов, а при другом — могло восприняться как горечь от безвыходности тогдашнего положения самого Фадеева, в глубине души все-таки, видимо, не верившего в вину Кольцова и не питавшего доверия или, во всяком случае, полного доверия к тем папкам, которые он прочитал. Что-то в его интонации, когда он говорил слова: «Чего там только не было написано», — толкало именно на эту мысль, что он все-таки где-то в глубине души не верит в вину Кольцова, но сказать это даже через одиннадцать лет не может, во всяком случае, впрямую, потому что Кольцов — это ведь уже не «ежовщина», Ежов уже бесследно убран, это уже не Ежов, а сам Сталин.

Почему я так долго говорю обо всем этом, самом тяжелом, трудно объяснимом и трудно переносимом даже в воспоминаниях, когда обращаюсь к годам своей юности? Ведь было тогда много и всякого другого, совершенно не похожего на все это, далекого от этого. Вот именно! В этом, очевидно, все дело, хотя многие страницы, написанные мною до сих пор, как бы входят в противоречие с началом этой рукописи, заявкой на рассказ или, вернее, на попытку анализа отношения человека, или людей моего поколения, к Сталину, не могу обойтись без этих страниц, ибо отсюда, с этого пункта, и начинаются противоречия внутренней оценки Сталина. Противоречия, где-то заложенные еще тогда, приглушенные, задавленные в себе в результате где-то трусости, где-то упорного переубеждения самого себя, где-то насилия над собой, где-то желания не касаться того, чего ты не хочешь касаться даже в мыслях. И все же первые корни двойственного отношения к Сталину — там, в тридцатых годах. Осознанные, неосознанные, полуосознанные, но все-таки где-то в душе произраставшие. А в полный рост эти противоречия не пошли, не дали ростков тогда не потому, что, как теперь часто говорят, мы ведь тогда этого не знали, это мы потом, после XX съезда, все узнали. Многое, конечно, узнали только после XX съезда, это верно. Но отнюдь не всё. Было и такое, о чем можно было и следовало думать до XX съезда, и оснований для этого было достаточно. Решимости не хватало куда больше, чем оснований.

Дело не в том, что ровно ничего не знали, а в том дело, что, ощущая и в какой-то мере зная о том дурном, что делается и только потом, не полностью и запоздало исправляется, а иногда и не исправляется вообще, гораздо больше знали о хорошем. Я сознательно употребляю эти два очень общие, неконкретные слова — «дурное» и «хорошее», потому что в другие не вместишь то, что под этим подразумевалось в то время.

Что же хорошее было связано для нас, для меня в частности, с именем Сталина в те годы? А очень многое, почти все, хотя бы потому, что к тому времени уже почти все в нашем представлении шло от него и покрывалось его именем. Проводимой им неуклонно генеральной линией на индустриализацию страны объяснялось все, что происходило в этой сфере. А происходило, конечно, много удивительных вещей. Страна менялась на глазах. Когда что-то не выходило — значит, этому кто-то мешал. Сначала мешали вредители, промпартия, потом, как выяснилось на процессах, мешали левые и правые оппозиционеры. Но, сметая все с пути индустриализации, Сталин проводил ее железной рукой. Он мало говорил, много делал, много встречался по делам с людьми, редко давал интервью, редко выступал и достиг того, что каждое его слово взвешивалось и ценилось не только у нас, но и во всем мире. Говорил он ясно, просто, последовательно; мысли, которые хотел вдолбить в головы, вдалбливал прочно, и, в нашем представлении, никогда не обещал того, что не делал впоследствии.

Мы были предвоенным поколением, мы знали, что нам предстоит война. Сначала она рисовалась как война вообще с капиталистическим миром — в какой форме, в форме какой коалиции, трудно было предсказать; нам угрожали даже непосредственные соседи — Польша, Румыния, Малая Антанта — это было до прихода Гитлера к власти, а на Дальнем Востоке — Япония. Мы знали, что находимся в капиталистическом окружении, так и было на самом деле, а постепенно, с оккупацией Японией Маньчжурии, с приходом к власти Гитлера, с созданием антикоминтерновского пакта, оси будущее проявилось еще более отчетливо. Очевидно, придется воевать с Японией и Германией, может быть, присоединившейся к ним Италией. Враждебной нам продолжала оставаться и Польша, хотя было непонятно, как она может оказаться на стороне Германии, и тем не менее она осталась враждебной нам вопреки логике.

На КВЖД твердой рукой был дан отпор китайским милитаристам. Мы этому сочувствовали еще мальчишками. На Хасане произошло столкновение с японцами, в котором мы не отступили. Тогда ходили слухи, что там поначалу все было не так хорошо, как об этом писали, но тем не менее мы там не отступили. Потом был Халхин-Гол, где уже мне довелось быть самому и многое видеть своими глазами. Некоторые разочарования были, что-то не совпадало с тем, чего я ожидал, в частности, японцы сначала били нас в воздухе, пока не появились наши новые самолеты, а главное, наши летчики с опытом боев в Испании, в Китае; поначалу не очень удачно действовала пехота, были случаи паники — этого я не застал, но об этом слышал. Однако танки наши там, на Халхин-Голе, оказались на высоте, в итоге на высоте оказалась и авиация, и, хотя осталось внутреннее ощущение, что наша пехота воевала там не лучше японской, в общем, в масштабах всего халхин-гольского конфликта японцы были разбиты наголову. Это было неопровержимым фактом, а за этим стояло многое из того, что делал Сталин для армии. То, что он занимался армией, вооружением ее, снабжением, отдавал ей много времени и сил, придавал ей должное значение, готовил страну к борьбе, вооруженной борьбе в трудных условиях, было для нас несомненно. Поэтому в итоге, несмотря на некоторые неприятные для нашего сознания неожиданности, мы высоко ценили его деятельность в этом направлении.

Вдобавок мы в Монголии выполнили свой интернациональный долг: договор, подписанный нами с монголами, был выполнен, мы обещали им помочь и помогли полною мерою. Это вызывало чувство удовлетворения. По нашим тогдашним представлениям, Сталин как руководитель нашей страны, ее вождь сделал все, что мог, все, что было практически возможно. Мы были убеждены, что если бы не комитет по невмешательству, если бы не блокада Испании, потворство вмешательству в ее дела немецких и итальянских военных контингентов, широкий ввоз из Германии и Италии артиллерии, танков, авиации, республика справилась бы с фашизмом. Мы, со своей стороны, были людьми с чистой совестью, мы сделали все, что могли. А персонифицируя все это, мы жили с ощущением, что Сталин сделал все, что мог, для спасения Испанской республики, для эвакуации испанских детей и сирот — в общем, с его именем было связано представление о неукоснительном исполнении нашего интернационального долга.

К этому кругу «хорошего», связанного в нашей жизни с тогдашними представлениями о Сталине, относилась еще и Арктика — спасение экипажа «Челюскина», высадка на Северном полюсе Папанина с товарищами, перелеты Чкалова и Громова. За организацией всего этого, за всеми этими смелыми предприятиями в нашем ощущении стоял Сталин, к нему приезжали, ему докладывали об этом. А связанные с этим торжества приобретали характер всенародный, и это сближало всех нас, за редким исключением, с в общем-то далекой, отъединенной фигурой Сталина. Мы не представляли себе возможности, самой возможности обвинений, выдвинутых впоследствии против Сталина в связи со смертью Кирова. Я их потом вместе со многими другими людьми слышал своими ушами с трибуны как подозрения почти несомненные, хотя впоследствии несомненность их, насколько я знаю, никому доказать так и не удалось. Этого всего мы себе не представляли даже как возможность. Но как Сталин шел за гробом Кирова — знали. Мы не знали того, что в действительности произошло в семье Сталина, не знали трагического поворота отношений его с женой, до нас не доходили слухи о нем как о виновнике ее смерти, но мы знали, что он шел за ее гробом, и сочувствовали его потере.

В своих выступлениях Сталин был безапелляционен, но прост. С людьми — это мы иногда видели в кинохронике — держался просто. Одевался просто, одинаково. В нем не чувствовалось ничего показного, никаких внешних претензий на величие или избранность. И это соответствовало нашим представлениям о том, каким должен быть человек, стоящий во главе партии. В итоге Сталин был все это вкупе: все эти ощущения, все эти реальные и дорисованные нами положительные черты руководителя партии и государства.

Очень было трудно при этом удержаться от соблазна перевалить на кого-то другого ответственность за плохое. В этом смысле Сталин был особенно последователен. Перегибы с массовой коллективизацией повлекли за собой статью «Головокружение от успехов», а «Головокружение от успехов» не только расширяло число виноватых, не только переводило все случившееся на совершенно иной уровень причинности, чем это можно было себе представить по масштабам случившегося, но и подталкивало людей вроде меня, далеких от понимания всех происходивших в деревне процессов, всей их сложности, к однозначному и полезному для авторитета Сталина решению: именно на том уровне, о котором он писал, и происходили эти ошибки. И если бы он не остановил, не спас от дальнейших ошибок, то они нарастали бы. Он выступал для нас в роли спасителя от ошибок, так же, как впоследствии он выступал в этой же роли, когда Ежова сменил Берия. Ежов исчез, а Сталин, как об этом доходили слухи до таких людей, как я, слухи отдаленные, неясные, где-то, кажется, на пленуме ЦК, очень жестко критиковал людей, которые были виноваты в перегибах, для обозначения которых так кстати появилось это слово «ежовщина». До такой степени кстати, что пустить его в оборот впору бы самому Сталину. Хотя, конечно, это было не так, и скорей всего это обозначение тех двух или трех лет, которые сами по себе составили короткую, но страшную эпоху, родилось сразу у многих людей и распространилось, как огонь по сухой траве, благодаря своей безотказной точности и простоте, соответствующей предыдущему, бывшему в ходу словесному обозначению, связанному с Ежовым, — «ежовые рукавицы». Об этих рукавицах писали, их рисовали, и довольно часто.

Сейчас мне думается, когда я вспоминаю то время, что раздувание популярности Ежова, его «ежовых рукавиц», его «железного» наркомства, наверное, нисколько не придерживалось, наоборот, скорее, поощрялось Сталиным в предвидении будущего, ибо, конечно, он знал, что должен когда-то наступить конец тому процессу чистки, которая ему как политику и человеку, беспощадно жестокому, казалась, очевидно, неизбежной; раз так, то для этого последующего периода наготове имелся и вполне естественный первый ответчик.

Но все это я думаю сейчас. Тогда не думал, даже не представлял себе, что когда-нибудь смогу это думать.

Пакт с немцами, приезд Риббентропа в Москву и все, с этим связанное, поначалу не внесли сколько-нибудь заметной трещины в мое представление о Сталине, хотя само это событие психологически, особенно после всего, что произошло в Испании, после открытой схватки с фашизмом, которая была там, тряхануло меня так же, как и моих сверстников, — многих, наверное, довольно сильно. Что-то тут невозможно было понять чувствами. Может быть, умом — да, а чувствами — нет. Что-то перевернулось и в окружающем нас мире, и в нас самих. Вроде бы мы стали кем-то не тем, чем были; вроде бы нам надо было продолжать жить с другим самоощущением после этого пакта.

Это первое ощущение и самоощущение, наверное, было бы для меня более резким, если бы в дни, когда все это происходило, я не оказался на Халхин-Голе в разгар нашего наступления и окружения японских войск. И дело не только в том, что душевные силы, интересы поглощало происходившее непосредственно там — это ведь было для меня как для начинающего военного корреспондента боевое крещение, связанное и с многократным видом смерти, достаточно ужасными картинами ее, и с моментами личной опасности. Но, кроме всего этого, было еще такое чувство — я потом о нем писал, стараясь точно выразить его, здесь хочу это повторить, — что вместе с этим пактом там, где-то далеко, отодвинулась опасность удара в спину. Обычное ощущение при жизни в Москве в эти годы, когда все нарастало ощущение предстоящей войны с фашистской Германией — мы как бы находились лицом к ней, она была перед нами, а Япония, маньчжурская граница, на которой беспрерывно происходили конфликты, Монголия, в которую японцы вторгались, вторглись в тридцать девятом году вовсе не в первый раз — до этого было несколько предыдущих проб, — все это там, за спиной. Нож в спину был там, угроза такого удара исходила от японцев. Когда мы были там, на Халхин-Голе, когда там шла война, эта возможность удара в спину ножом связывалась с Германией, этот удар ожидался с запада, уже это было у нас за спиной. И вот вдруг наступила странная, неожиданная, оглушающая своею новизной эра предстоящего относительного спокойствия: был заключен пакт о ненападении — с кем? — с фашистской Германией.

Когда началась война немцев с Польшей, все мое сочувствие так же, как и сочувствие моих товарищей по редакции военной газеты, где мы вместе работали, было на стороне поляков, потому что сильнейший напал на слабейшего и потому что пакт о ненападении пактом, а кто же из нас хотел победы фашистской Германии в начавшейся европейской войне, тем более легкой победы? Быстрота, с которой немцы ворвались и шли по Польше, огорошивала и тревожила.

Семнадцатого сентября тридцать девятого года заявление о вступлении наших войск в Западную Украину и Белоруссию в связи с развалом Польши как государства застало меня тоже еще на Халхин-Голе. За сутки до этого было, по-моему, самое крупное воздушное сражение над монгольской степью. В воздухе было несколько сотен самолетов. Впоследствии, в пятидесятом году, при встречах с Георгием Константиновичем Жуковым я, сам немножко стесняясь тогда того, что сейчас скажу, все-таки сказал ему правду, что после этих воздушных боев над Халхин-Голом я ни разу не видел в годы Великой Отечественной войны, чтоб в воздушном бою у меня над головой участвовало столько самолетов. А он усмехнулся и неожиданно для меня ответил: «А ты думаешь, я видел? И я не видел». Я вспомнил об этом к тому, что, хотя мы окружили, разбили, в общем, разгромили, это не будет преувеличением сказать, японцев на монгольской территории, но что будет дальше и начнется ли большая война с Японией, было неизвестно, как мне тогда казалось, можно было ждать и этого. А то, что там, в Европе, наши войска вступают в Западную Украину и Белоруссию, мною, например, было встречено с чувством безоговорочной радости. Надо представить себе атмосферу всех предыдущих лет, советско-польскую войну 1920 года, последующие десятилетия напряженных отношений с Польшей, осадничество, переселение польского кулачества в так называемые восточные кресы, попытки колонизации украинского и в особенности белорусского населения, белогвардейские банды, действовавшие с территории Польши в двадцатые годы, изучение польского языка среди военных как языка одного из наиболее возможных противников, процессы белорусских коммунистов. В общем, если вспомнить всю эту атмосферу, то почему же мне было тогда не радоваться тому, что мы идем освобождать Западную Украину и Западную Белоруссию?

Идем к той линии национального размежевания, которую когда-то, в двадцатом году, считал справедливой, с точки зрения этнической, даже такой недруг нашей страны, как лорд Керзон, и о которой вспоминали как о линии Керзона, но от которой нам пришлось отступить тогда и пойти на мир, отдававший Польше в руки Западную Украину и Белоруссию, из-за военных поражений, за которыми стояли безграничное истощение сил в годы мировой и гражданской войны, разруха, неприконченный Врангель, предстоящие Кронштадт и антоновщина, — в общем, двадцатый год.

То, что происходило, казалось мне справедливым, и я этому сочувствовал. Сочувствовал, находясь еще на Халхин-Голе и попав неделей позже, обмундированный по-прежнему в военную форму, с Халхин-Гола в уже освобожденную Западную Белоруссию. Я ездил по ней накануне выборов в народное собрание, видел своими глазами народ, действительно освобожденный от ненавистного ему владычества, слышал разговоры, присутствовал в первый день на заседании народного собрания. Я был молод и неопытен, но все-таки в том, как и чему хлопают люди в зале, и почему они встают, и какие у них при этом лица, кажется мне, разбирался и тогда. Для меня не было вопроса: в Западной Белоруссии, где я оказался, белорусское население — а его было огромное большинство — было радо нашему приходу, хотело его. И, разумеется, из головы не выходила еще и мысль, не чуждая тогда многим: ну а если бы мы не сделали своего заявления, не договорились о демаркационной линии с немцами, не дошли бы до нее, если бы не было всего этого, очевидно, связанного так или иначе — о чем приходилось догадываться — с договором о ненападении, то кто бы вступал в эти города и села, кто бы занял всю эту Западную Белоруссию, кто бы подошел на шестьдесят километров к Минску, почти к самому Минску? Немцы. Нет, тогда никаких вопросов такого свойства для меня не было, в моих глазах Сталин был прав, что сделал это. А то, что практически ни Англия, ни Франция, объявив войну немцам, так и не пришли полякам на помощь, подтверждало для меня то, что писалось о бесплодности и неискренности с их стороны тех военных переговоров о договоре, который мог бы удержать Германию от войны.

Вдобавок было на очень свежей памяти все недавнее: и Мюнхен, и наша готовность вместе с Францией, если она тоже это сделает, оказать помощь Чехословакии, и оккупация немцами Чехословакии, — все это было на памяти и все это подтверждало, что Сталин прав. Хотя все вроде было так, а все-таки что-то было и не так, какой-то червяк грыз и сосал душу. За этим стояло не до конца осознанное ощущение — очевидно, так, именно ощущение, а не концепция, — что мы из-за договора о ненападении в чем-то из кого-то одного стали кем-то другим. С точки зрения государства, самоощущения себя как человека этого государства, все вроде было правильно. С точки зрения самоощущения себя как человека той страны, которая была надеждой всего мира, вернее, не всего мира, а всех наших единомышленников в мире, главной надеждой в борьбе с мировым фашизмом — мы говорили тогда о мировом фашизме, он был для нас не только немецким, — было что-то не то. В этом прежнем самоощущении было что-то утрачено, потеряно. И я это чувствовал и знал, что это чувствуют другие.

Возвращаясь в мыслях к тому времени, к тогдашним психологическим ощущениям человека, в общем, сознательно поддерживавшего Сталина, а в то же время бессознательно что-то не принимавшего во всем этом, — думаю сейчас о самом Сталине. Как быть в этих обстоятельствах, когда, с одной стороны, Франция и Англия не хотели заключать к чему-то обязывающего не только нас, но и их серьезного военного договора, а с другой стороны, фашистская Германия предлагала пакт о ненападении и готова была при этом в случае войны с Польшей не переступать линии Керзона, не доходить до наших границ, а, наоборот, дать нам возможность дойти до этой линии, некогда предполагавшейся как справедливая граница между нами и Польшей?

Сталин решал, как быть. Решал сам. Он мог советоваться, спрашивать мнения, запрашивать данные — не знаю этих обстоятельств и не вхожу в них, — знаю одно: он к этому времени обеспечил себе такое положение в партии и в государстве, что если он твердо решал нечто, то на прямое сопротивление ему рассчитывать не приходилось, отстаивать свою правоту ему было не перед кем, он заведомо был прав, раз он принимал решение. Так вот, я задаюсь теперь вопросом — психологическим, — было ли у него внутреннее противодействие этому решению, было ли у него, хотя бы частично, ощущение того, что где-то в глубине души чувствовали мы: с этим решением мы становимся в чем-то другими, чем были?

2 марта 1979 года

Когда я задумываюсь над этим сейчас, мне начинает казаться, что такого рода ощущения у него могли быть. У меня нет никаких сомнений в том, что конечный этап отношений с гитлеровской Германией он представлял себе как схватку не на жизнь, а на смерть, схватку, которая должна была принести нам победу. И в чем-то он смотрел на пакт о ненападении так же, как и наши, как их тогда между собой называли мы — «заклятые друзья» — немецкие фашисты: это был шаг по пути к той будущей схватке, в которой не будет среднего выхода, будет или — или, в которой мы обязаны победить.

Мне почему-то кажется, что он мог вспоминать период борьбы за заключение Брестского мира, период, в который Ленин должен был вести жесточайшую борьбу внутри партии для того, чтобы доказать свою правоту и заключить этот мир. Сталин в этом не нуждался, он успел поставить себя в такое положение, когда собирать голоса в поддержку своего решения ему не приходилось, — в этом была разница. Но, может быть, от этого и чувство собственной ответственности было еще тяжелее. Решения, принимаемые при общем молчании или при равнозначном этому общему молчанию механическом одобрении, куда тяжелее, чем могут показаться с первого взгляда. В конце концов, если вдуматься, окончательные решения, принимаемые одним за всех, — самое трудное и самое страшное. Военные это знают лучше всего. Правда, у них это бывает вызвано прямой и объективной необходимостью самих условий войны. Сталин создал для себя подобную необходимость сам, шел к ней долгим и кровавым путем. И все же, говоря все это, я думаю: а не ставил ли он себя тогда, перед заключением пакта, мысленно на место Ленина в период Брестского мира? Своих умозрительно предполагаемых оппонентов — на место Бухарина и левых коммунистов или на место Троцкого? Не поддерживал ли он своей решимости мыслью, что этот похабный пакт — он вполне мог мысленно так называть его, особенно если вспоминал Ленина при этом, — ничем не хуже похабного Брестского мира, — что этот похабный пакт в сложившейся международной обстановке не менее необходим, чем похабный Брестский мир, хотя связан с идеологическими утратами, но утраты эти потом, когда в конце концов все кончится победой над фашизмом, нашей победой, а не чьей-либо еще, — эти утраты окажутся обратимыми, а сейчас этот пакт даст ту передышку, которая необходима для решения будущих задач. Наивно, конечно, пробовать думать за такого человека, как Сталин, пробовать представлять себе ход его мыслей — эти домыслы, разумеется, ни на чем ином, кроме интуитивной уверенности или допустимости, не основаны, и все же не могу отказаться от мысли, что в них есть какая-то своя логика.

* * *

Если говорить о собственной жизни, то с моей стороны будет правильно именно здесь пропустить семь лет, переброситься из августа и сентября тридцать девятого года в август и сентябрь сорок шестого, в послевоенное время. Все те проблемы, связанные с личностью Сталина, которые вставали передо мной и другими людьми моего поколения в первый период войны, на протяжении ее и после нее, и сразу, и спустя много лет, и до, и после XX съезда партии, — все это и составит в конце концов основное содержание, главную часть этой рукописи и будет связано не только с личными ощущениями того времени, но гораздо более с последующими размышлениями, связанными с работой над моими послевоенными книгами, над дневником писателя «Разные дни войны», и со всеми теми многочисленными беседами, которые я вел с многими людьми, каждый из которых по-своему и несравненно ближе, чем я, сталкивался в своей жизни с темою «Сталин и война», «Сталин и подготовка к войне», «Сталин

и начало войны». Это, собственно, и есть главный предмет и моего изучения, и моих размышлений. Он и будет главным содержанием рукописи.

Для того чтобы перейти к этому, мне кажется необходимым еще одно преддверие, кроме того первого преддверия, которое составил рассказ о моих юношеских представлениях о Сталине и обо всем, связанном с ним.

Таким вторым преддверием будут некоторые, не слишком многочисленные, но все-таки имевшие в моей жизни впечатления о личном общении со Сталиным, о Сталине вблизи, увиденном собственными глазами в буквальном смысле этого слова. Все эти личные впечатления связаны не с войной, а с литературой, хотя случалось, что и Сталину, и нам как его собеседникам в том или ином случае приходила в связи с литературой на память война. Об этом я тоже расскажу.

Прежде чем перейти к этой части своих воспоминаний и связанных с ними мыслей, несколько слов о моей предвоенной жизни и предвоенных ощущениях между осенью тридцать девятого года и июнем сорок первого. Я, может, еще буду возвращаться к этой поре в связи с главной темой своей рукописи, а здесь хочу сказать именно о себе самом в то время.

В Белостоке — не то в первый, не то во второй день заседаний народного собрания — я чуть было не повалился без сознания от внезапно вспыхнувшей высокой температуры — за сорок. Уже плохо соображавшего, меня доставил в госпиталь Евгений Долматовский и трогательно заботился обо мне, пока мог, пока сам находился в Белостоке. Госпиталь был на базе польского госпиталя, какой-то в моих смутных воспоминаниях наполовину наш, наполовину иностранный. Тогда, в тридцать девятом году, я во второй раз чуть не умер — такое сильное крупозное воспаление легких у меня было, температура сорок держалась недели три, если не больше. Через какое-то время, добившись командировки в «Красной звезде», до меня добралась мать, другая б, наверное, в той обстановке не добралась, но у нее был такой характер, что в подобных обстоятельствах она могла и стены прошибить. Когда я начал поправляться, температура наконец спала, оставалась только страшная слабость, мать добилась, чтоб меня отправили долечиваться в Москву. Из Белостока до Минска мы летели с ней на санитарном самолете, по-моему, на «Р-5», а от Минска ехали поездом. В Москве мне сначала резали руку, потому что на ней вздулась огромная флегмона после уколов камфары и кофеина, наверное, занесли какую-то инфекцию. Потом я еще лежал дома, приходил в себя, а затем еще с ватными ногами перебрался на отдых в дом творчества в Переделкине, — был там тогда маленький домик, впоследствии сгоревший.

Я рассказываю обо всем этом еще к тому, что происходившее в тот период установление Советской власти в республиках Прибалтики прошло как-то совершенно мимо меня и мимо моего сознания. Попал я в те края только после войны, в сорок седьмом году, и думал о том, как это все было там тогда, в тридцать девятом, уже задним числом, встречаясь с Вилисом Тенисовичем Лацисом, кое-что рассказывавшим мне о сложностях того времени с присущей ему строгой сдержанностью, соединенной с прямотой и органической нелюбовью к смягчению острых углов истории.

Психологически мимо меня прошло и начало финской войны. Скажу правду, было больше чувство неловкости перед уехавшими прямо оттуда, из дома творчества, где мы вместе жили, на эту войну товарищами — Горбатовым, Долматовским, Хацревиным, чем собственное желание оказаться на этой войне. Отвлекаясь от всего — от государственных задач, стратегии, необходимости предвидеть всю опасность ситуации, которая может сложиться в случае войны с немцами, — отвлекаясь от всего этого, было нечто, мешавшее душевно стремиться на эту войну Советского Союза с Финляндией так, как я стремился, даже рвался попасть на Халхин-Гол в разгар событий, которые могли перерасти в войну с Японией. Стратегия — стратегией, мысли о государственной необходимости и о будущей опасности ситуации не были чужды, как мне помнится, мне, во всяком случае, я стремился понять правильность происходящего или, точнее, его необходимость, а все-таки где-то в душе война с Японией была чем-то одним, а война с Финляндией — чем-то совсем другим.

В январе сорокового года были созданы двухмесячные курсы при академии Фрунзе по подготовке военных корреспондентов. Я был еще не совсем здоров, но на курсы эти пошел. Война с Финляндией к этому времени уже оказалась отнюдь не такой, какой, очевидно, многие поначалу ее себе представляли, в какой-то мере, наверное, и я, хотя к тому времени у меня, может быть, от отцовского воспитания плюс опыт Халхин-Гола уже укрепилось довольно стойкое противодействие шапкозакидательским настроениям и шапкозакидательским разговорам — они мне в ту пору претили, это я говорю, не преувеличивая. В чем-то я был еще наивен, в этом, пожалуй, уже нет. Финская война затягивалась, и молчаливо предполагалось, что, окончив в середине марта двухмесячные курсы, на которых мы много и усердно занимались основами тактики и топографии и учились владеть оружием, мы поедем как военные корреспонденты на фронт. Очевидно, на смену тем, кто поехал раньше, в том числе заменяя тех, кто уже погиб там к тому времени. На Халхин-Голе всех, как говорится, бог миловал, а здесь, на финской, трое писателей, работавших военными корреспондентами, погибли. На эту войну меня, как я уже говорил, не тянуло, но после Халхин-Гола я внутренне ощущал себя уже военным или, во всяком случае, причастным к армии человеком, и если б мир не был бы подписан как раз в день окончания нами курсов, конечно, оказался бы и на этой войне. Но она кончилась, кончилась в итоге удовлетворением именно тех государственных требований, которые были предъявлены Финляндии с самого начала, в этом смысле могла, казалось бы, считаться успешной, но внутренне все мы пребывали все-таки в состоянии пережитого страной позора, — с подобной прямотой об этом не говорилось вслух, но во многих разговорах такое отношение к происшедшему подразумевалось. Оказалось, что мы на многое не способны, многого не умеем, многое делаем очень и очень плохо. Слухи о том, что на сложившееся в армии положение вещей обращено самое пристальное внимание Сталина, что вообще делаются какие-то выводы из происшедшего, доходили и до таких людей, как я. А потом подтверждением этого стало снятие с поста наркома Ворошилова, назначение Тимошенко и очень быстро дошедшие слухи о крутом повороте в обучении армии, в характере ее подготовки к войне.

За этим последовало лето сорокового года, захват немцами Норвегии, Дании, Бельгии, Голландии, Дюнкерк, разгром и капитуляция Франции — все эти события просто не умещались сразу в сознании. Хотя французы и англичане не помогли Польше, хотя война в Европе была названа «странной», но того финала этой «странной» войны, который произошел, я думаю, у нас не ожидали ровно в такой же степени — а кто знает, может быть, даже и в большей, — чем там, на западе, где все это случилось.

То, что мы когда-нибудь будем воевать с фашистской Германией, для меня не составляло ни малейших сомнений. Начиная с тридцать третьего года, с пожара рейхстага, с процесса Димитрова, люди моего поколения жили с ощущением неизбежности столкновения с фашизмом. Испания еще более укрепила это ощущение, а пакт с немцами не разрушил его. Может быть, для кого-то и разрушил — не знаю. Для меня и для моих товарищей в тогдашней молодой литературе нет, не разрушил. Просто казалось, что это будет довольно далеко от нас, что до этого будет долго идти война между Германией, Францией и Англией, и уже где-то потом, в финале, столкнемся с фашизмом мы. Такой ход нашим размышлениям придал пакт. В этом сначала было нечто успокоительное. Финская война, со всеми обнаружившимися на ней нашими военными слабостями, заставила задним числом думать о пакте как о большем благе для нас, чем это мне казалось вначале. Тревожно было представить себе после финской войны и всего, на ней обнаружившегося, что мы — вот такие, какими мы оказались на финской войне в тридцать девятом году, — не заключили бы пакта, а столкнулись бы один на один с немцами.

Естественно, что случившееся во Франции только обострило это чувство и обострило многократно. То, что впереди война — рано или поздно, — мы знали и раньше. Теперь почувствовали, что она будет не рано или поздно, а вот-вот.

На курсы военных корреспондентов при Военно-политической академии, занятия на которых начались осенью сорокового года, а закончи-

лись в середине июня сорок первого года, когда нам, вернувшимся из лагерей, присвоили воинские звания,— я пошел с твердой уверенностью, что впереди у нас очень близкая война. В дальнейшем никакие перипетии отношений с немцами успокоения в мою душу не вносили — говорю о себе и говорю так, как оно было со мной. Сообщение ТАСС от 14 июня 1941 года, которое, как потом много об этом говорили, кого-то демобилизовало, а чью-то бдительность усыпило, на меня, наоборот, произвело странное, тревожное впечатление — акции, имеющей сразу несколько смыслов, в том числе и весьма грозный смысл для нас. А после вторжения немцев в Югославию у меня было ощущение войны, надвинувшейся совершенно вплотную. Я знал не больше других, никакими дополнительными сведениями я не располагал, но просто чувствовал, что иначе оно, наверное, не может быть теперь, после того, что случилось с Югославией.

Пьесу «Парень из нашего города», хотя она была о Монголии и о разгроме японцев, я абсолютно сознательно закончил тем, что ее герои уходят в бой. Кончил не апофеозом, который был на самом деле на Халхин-Голе, а тем моментом, когда самые ожесточенные бои еще продолжались и многое было впереди. Об этом же я говорил при обсуждении моей пьесы за несколько недель до войны, говорил о том, что при всех своих недостатках пьеса написана так, а не иначе, потому что не нынче-завтра нас ждет война. И когда война началась, в то утро ощущение потрясенности тем, что она действительно началась, у меня было, разумеется, как и у всех, но ощущение неожиданности происшедшего отсутствовало. Да, конечно, началась внезапно,— а как еще иначе ее могли начать немцы, которые именно так и действовали во всех других случаях прежде, именно так начали и в этот раз. Почему они, собственно говоря, могли начать как-то по-другому?

С такими мыслями и ощущениями, которые отнюдь не значили еще, что я ожидал того трагического поворота событий в первые же дни войны, какой произошел, этого я, разумеется, никак не ожидал, не отличаясь от подавляющего большинства других людей,— я поехал через два дня после начала войны на Западный фронт в качестве военного корреспондента армейской газеты.

Все, что было потом на войне, присутствует в моей книге «Разные дни войны», и то, что я еще буду писать на тему «Сталин и война», не что иное, как, по сути дела, дополнительный комментарий к этой книге, связанный с дополнительным и многолетним изучением и обдумыванием этой проблемы.

Сейчас, как я уже сказал в начале этой части своей рукописи, мне остается перешагнуть через всю войну, прямо в сорок шестой год.

После конца войны я вернулся в Москву не сразу, уже где-то в июне, близко к Параду Победы. Потом дважды ездил в Чехословакию, а вернувшись из второй поездки, узнал, что есть решение послать меня в составе группы журналистов в Японию с тем, чтоб мы, прикомандировавшись там к штабу Макартура, познакомились с обстановкой, а впоследствии освещали имевший состояться в Японии процесс над японскими военными преступниками. Поездка, судя по всему, предполагалась долгая и ехать не очень-то хотелось. Срок отъезда не был назначен, так же, как не был назначен, насколько я понимал тогда и понимаю сейчас, срок начала процесса, который мы обязаны были освещать. Группа наша состояла из Агапова, Горбатова, Кудреватых и меня, но в решении о нашей поездке не было записано, кто из нас должен возглавлять эту группу.

Я ждал, когда состоится премьера моей пьесы «Под каштанами Праги», появление которой мне казалось тогда важным — не только с личной, но и с политической точки зрения,— и над которой я, вернувшись с войны, работал буквально как батрак — и пока ее писал, и когда ее репетировали. Спешить с поездкой в Японию очень не хотелось. Была такая усталость после войны, что даже не хотелось новых впечатлений, на которые я был очень жаден тогда.

В общем, как-то так вышло, что, поскольку мы ехали все от разных газет (я — от «Красной звезды», Горбатов — от «Правды», Кудреватых и Агапов — от «Известий»), среди нас не было ответственного за поездку, сроки были не обозначены, отъезд все оттягивался и оттягивался — то по просьбе одного, то по просьбе другого. В конце концов в ноябре месяце мы дооткладывали поездку до того, что это дошло до Сталина. Он был на юге в отпуску, за него оставался Молотов и во время одного из его докладов по телефону Сталину тот вдруг спросил: «А как там писатели, уехали в Японию?» Молотов сказал, что выяснит, и, выяснив, сообщил, что нет, писатели пока еще не уехали в Японию. «А почему не уехали?— спросил Сталин.— Ведь решение Политбюро, если я не ошибаюсь, состоялось? Может быть, они не согласны с ним и собираются апеллировать к съезду партии?»

Так я впервые в своей личной судьбе столкнулся с той манерой шутить, которая была свойственна Сталину. О шутке его были немедленно поставлены в известность редактора всех трех газет, и ровно через неделю — за меньший срок в то время невозможно было успеть обеспечить намечавшуюся на полгода командировку достаточными запасами продуктов, а без продуктов в сложившейся тогда обстановке ехать в Японию было нельзя,— ровно через неделю мы сидели в прицепленном к поезду служебном вагоне и ехали во Владивосток.

Возвращались домой мы тоже поездом, шедшим из Владивостока, тоже в прицепленном к нему служебном вагоне, через четыре месяца, в апреле сорок шестого года. С нами во время командировки была стенографистка, и мои записи по Японии, большую половину которых составляли записи бесед, как выяснилось впоследствии, составили тысячу двести страниц на машинке. Но сам прочесть эти свои записи я сумел только через несколько месяцев, потому что где-то под Читой, на одной из станций, в вагон принесли телеграмму, подписанную тогдашним начальником Управления агитации и пропаганды ЦК Александровым. В телеграмме сообщалось, что я включен в делегацию советских журналистов на ежегодный съезд американских редакторов и издателей в Вашингтоне, состоящую из трех человек — Эренбурга, Галактионова и меня, и что мне следует пересесть с поезда — уже не помню сейчас, в Чите или в Иркутске,— на отправляющийся оттуда в Москву самолет, чтобы не опоздать к началу съезда. «Получение подтвердите»,— говорилось в телеграмме. Я подтвердил получение прямо на бланке телеграммы, которую забрал с собой принесший ее товарищ, которому, видимо, было заранее поручено все сделать, и вылезши, по-моему, все-таки в Чите, наскоро простившись с товарищами, попросив стенографистку в возможно более короткие сроки расшифровать мои японские записи, полетел в Москву на «дугласе», или точнее, на «ЛИ-2», которые мы делали во время войны по лицензии фирмы «Дуглас». Не знаю, был ли это рейсовый или специальный самолет, но к тому времени, когда я приехал на аэродром, он уже стоял там, и пассажиры, которым предстояло лететь на нем, ожидали посадки. Скорости были тогда не нынешние, и хотя летели мы безостановочно, только заправлялись и где-то по дороге сменили экипаж, все-таки это заняло около суток.

Прилетел я в Москву на следующий день в четыре часа дня, в редакции, куда я явился прямо с аэродрома, мне сказали, чтоб я звонил Лозовскому, который был тогда заместителем наркома иностранных дел — впрочем, это оговорка, потому что к тому времени наркомы уже стали министрами. От Лозовского, к которому я поехал, я узнал, что мне предстоит в шесть утра лететь в Берлин, а после того, как закончится разговор с ним, с Лозовским, предстоит идти к Молотову.

С Лозовским разговор был о Японии, о наших впечатлениях и первых выводах, разговор довольно длинный и подробный, на него заранее было отведено два часа, потому что в конце этих двух часов Лозовский, посмотрев на часы, сказал:

— А теперь вам пора идти к Вячеславу Михайловичу, у него вы узнаете все, что вам нужно знать о вашей предстоящей поездке.

У Молотова я пробыл тоже довольно долго, дольше, чем думал. Знаком я с ним не был, если не считать того, что во второй половине войны два или три раза был на приемах, которые он как нарком иностранных дел давал в особняке наркомата на Гранатном переулке главным образом для наших союзников, но с участием некоторого количества представителей нашей литературы и искусства. Знакомство ограничивалось рукопожатиями и самое большее — двумя-тремя словами, сказанными при этом.

Правда, в памяти сидела одна зарубка, связанная с именем Молотова, — зарубка в сугубо личном плане. Как это мне рассказал тогдашний редактор «Красной звезды» Ортенберг, в сорок втором году меня собрались было послать на несколько месяцев корреспондентом «Красной звезды» в Соединенные Штаты. В сами ли Соединенные Штаты или в действующие войска Соединенных Штатов, поскольку я был корреспондентом именно «Красной звезды», я так и не выяснил, могло быть и то, и другое, могло быть и то, и другое вместе. О том, что меня намерены послать, Ортенбергу сказал по телефону Молотов. Ортенберг подтвердил, что как редактор считает мою кандидатуру подходящей. Но день или два спустя Молотов снова позвонил ему и сказал, что, видимо, посылать меня в Америку не будут, потому что есть сведения, что я пью. Ортенберг попытался оспорить это, сказал, что хотя я и не трезвенник, но когда пью, ума не теряю, но Молотов остался при своем, я поехал не в Америку, а — не помню сейчас уже — не то на Карельский, не то на Брянский фронт, а вернувшись, узнал от Ортенберга о своем несостоявшемся путешествии в Америку. Ортенберг смеялся, говорил, что, пожалуй, это к лучшему, тем более что не только меня, но и вообще никого не послали, а для корреспондента «Красной звезды» здесь куда больше дела, чем там. У меня было двойственное чувство: не то, чтобы я так уж расстроился, но, с одной стороны, среди других поездок на фронт было бы интересно съездить и к американцам, в особенности, если бы удалось посмотреть, как они воюют, у меня было большое молодое любопытство к этому; с другой стороны, было досадно слышать о причине, по которой я не поехал. В своем самоощущении я твердо считал себя человеком, не способным пропить порученное ему дело — ни дома, ни за границей. А в общем, я отнесся к этому довольно равнодушно — нет так нет. Но мотивировку, по которой не поехал в Америку, конечно, запомнил. В дальнейшей моей жизни я сталкивался с разными, правда, не слишком частыми, потому что ездил я много, мотивировками того, чтобы не посылать меня куда-то, куда первоначально намечалось. Один раз, весной пятьдесят третьего года, в связи с предстоящей поездкой в Стокгольм возникла даже такая мотивировка, как чрезмерное преклонение перед Сталиным, проявившееся в написанной наполовину мною передовой «Литературной газеты». Но мотивировки, что меня лучше куда-то не посылать, потому что я человек пьющий, не возникало ни до, ни после, поэтому, наверное, она особенно и запомнилась.

К Молотову я относился с уважением, цельной личностью он мне кажется по сей день, при всем резком политическом неприятии многих его позиций. Уважение это было связано больше всего с тем, что Молотов на нашей взрослой памяти, примерно с тридцатого года, был человеком, наиболее близко стоявшим к Сталину, наиболее очевидно и весомо в наших глазах разделявшим со Сталиным его государственные обязанности.

В разное время как ближайшие сподвижники Сталина на нашей памяти возникали и другие люди — какое-то время таким человеком казался Ворошилов, какое-то время Каганович, какое-то время даже Ежов. Молотов при этом существовал неизменно как постоянная величина, пользовавшаяся — боюсь употребить эти громкие, слишком значительные слова, хотя в данном случае они близки к истине, — в нашей среде, в среде моего поколения, наиболее твердым и постоянным уважением и приоритетом. Так это было, во всяком случае, примерно до сорок восьмого года. К этому у меня лично добавлялось впечатление о его полете в Соединенные Штаты в сорок втором году, записанные мною рассказы летчика и штурмана об этом довольно тяжелом и опасном перелете, в котором Молотов сохранял неизменное спокойствие и мужество, замеченное этими людьми и оцененное ими по достоинству в разговорах со мной. А мужество и спокойствие перед лицом опасности были чертами, пожалуй, наиболее уважаемыми мною в людях.

Размышляя о Сталине, я, разумеется, еще не раз вернусь к этой фигуре, но почему-то мне хочется сказать уже здесь, заглянув на семь лет вперед, что Молотов, с которым я впервые подробно разговаривал в сорок шестом году, в пятьдесят третьем, когда умер Сталин, был, по моему глубокому убеждению, единственным из членов тогдашнего Политбюро, глубоко и искренне пережившим смерть Сталина. Этот твердокаменный человек был единственным, у кого слышались в голосе слезы, когда он говорил речь над гробом Сталина, хотя, казалось бы, именно у него было больше причин, чем у всех остальных, испытывать после ухода из жизни Сталина чувство облегчения, освобождения и возможности установления справедливости по отношению к нему самому, к Молотову. Вообще, это мне только сейчас пришло в голову, может быть, под впечатлением недавнего чтения сочинений Робеспьера, что Молотов был чем-то похож на этого деятеля Великой французской революции — так же бескорыстен, неподкупен, прямолинеен и жесток.

Молотов встретил меня с суховатой приветливостью, спросил, как я долетел, и сразу заговорил о предстоящей поездке. Не хочу брать на себя греха, не помню, произносилось ли в этом разговоре Молотовым имя Сталина, но из того, что он говорил и как он это говорил, в безличной форме даже, ясно было, что Сталин осведомлен об этой поездке. Молотов говорил, что поездке придается большое значение, что для нее предоставляются все возможности, что необходимо, считается необходимым использовать эти возможности широко, что смысл поездок не в том, чтоб принять участие в съезде редакторов и издателей, хотя и это существенно, а в том, чтобы потом возможно дольше поездить по Соединенным Штатам, где мы, очевидно, станем гостями госдепартамента, при этом использовать все возможности для того, чтобы разъяснять всем людям, с которыми мы будем встречаться, а желательно, чтобы их было как можно больше, что мы не хотим войны, что слухи, распространяемые об обратном, нелепы и провокационны, что установление мира и все, что ведет к его укреплению, есть для нас аксиома, которую только клеветники могут подвергать сомнениям. Повторив, что мы, очевидно, будем гостями госдепартамента, Молотов добавил, что, хотя госдепартамент будет, наверное, соответствующим образом обеспечивать нашу поездку, мы должны иметь возможность сохранять полную независимость во всех отношениях, в том числе и в материальном, для чего вынесено решение обеспечить нас не просто командировочными, а каждого из трех — достаточной суммой для того, чтобы в течение трех месяцев — а поездку желательно не сокращать по сравнению с этой наметкой — мы имели бы достаточно средств на все расходы, включая гостиницы, разъезды, ответные частные приемы и оплату за свой счет переводчиков, которые нам могут понадобиться или помимо тех, которые будут предоставлены госдепартаментом, или после того, как мы перестанем быть гостями госдепартамента и останемся на какое-то время в Соединенных Штатах по собственной инициативе как частные лица и будем нести все расходы. Сумма, которую назвал Молотов, не комментируя ее, даже поразила меня в первый момент своей величиной, — она свидетельствовала о том, что полной независимости нашего положения и отсутствию всяких затруднений в материальных вопросах придано в данном случае действительно важное значение.

В ходе разговора я — не знаю, какое лучше употребить выражение, — понял или почувствовал, что общая установка поездки, широта постановки вопроса, очевидно, исходят от Сталина. Молотов здесь говорит не только от себя, но и выполняя соответствующее поручение. Так я подумал тогда и имел основания убедиться в этом впоследствии, когда услышал из уст Сталина, как одновременно и жестоко, и болезненно он относился ко всему тому, что в сумме вкладывал в понятие «низкопоклонство перед заграницей». После выигранной войны, в разоренной голодной стране-победительнице это была его болевая точка.

3 марта 1979 года

Сказав мне, что Эренбург и Галактионов уже в Париже и послезавтра вылетают оттуда в Нью-Йорк, Молотов добавил: я должен, догнав их, лететь сразу вместе с ними. В решении этого не указано, сказал Молотов, но для вашего собственного сведения сообщаю, что руководителем делегации являетесь вы. Могут там, в США, возникнуть вопросы, серьезные вопросы, которых вы не сможете решить сами. В этих случаях через посольство и генконсульство для разрешения этих вопросов обращайтесь непосредственно к нам.

Я думал, что это конец разговора, но не спешил подняться из-за стола, потому что с того момента, как Лозовский сказал, что я должен буду

явиться к Молотову, у меня возникла идея — раз я оказался в Москве раньше своих товарищей и буду говорить с Молотовым, то непосредственно ему рассказать об одном остром и болезненном вопросе, о котором просил нас рассказать в Москве кому следует наш представитель в Контрольном Совете по Японии — генерал Деревянко. Но, оказывается, Молотов не собирался отпускать меня и стал сам расспрашивать меня о Японии. Вопросы, грубо говоря, были главным образом связаны с одной проблемой: мерой подлинной и мнимой демократизации и демилитаризации Японии, что преобладает в политике, проводимой в Японии штабом Макартура и вообще американцами. Как с этим обстоит по нашим впечатлениям? Я рассказал то, о чем мы много между собой говорили, о той, говоря в общих словах, опять же двойственности впечатлений, которая у нас сложилась.

Молотов слушал меня внимательно и благожелательно. Все это было так до тех пор, пока я заговорил о том, что у меня есть поручение — рассказать Молотову об одном факте.

— Чье? Какое поручение? — быстро спросил Молотов и что-то в его лице мгновенно переменилось.

Я сказал, что это поручение генерала Деревянко и что вопрос о котором идет речь, — изменение характера, сроков и норм снабжения того маленького контингента, батальона войск, который прибыл в распоряжение нашего члена Контрольного Совета, — требует неотложного решения, ибо та практика, которая существует, никуда не годится — не хочу здесь вдаваться в те подробности, которые я рассказал тогда Молотову, но говорил я об этом с горячностью, быть может, показавшейся излишней. Словом, я внес нечто личное в этот разговор, очевидно, так.

— Это не его дело — ставить такие вопросы через третьих лиц и заниматься частными ходатайствами, — жестко сказал Молотов о Деревянко, сказал со злобой. Я вдруг почувствовал какую-то непреодолимую грань между только что, пять минут назад сидевшим передо мной человеком и этим — ожесточенным и готовым к немедленному наказанию виновных в чем-то, не до конца понятом мною, но, видимо, абсолютно непоколебимо неприемлемом для него. На этой жесткой ноте разговор оборвался; Молотов встал, пожелал мне успешного выполнения поручения и простился со мной.

Через восемь часов после этого я был уже в самолете, летевшем в Берлин.

Описание нашей поездки в Соединенные Штаты опущу. То, что я пишу, и так слишком часто превращается в автобиографию, хотя в какой-то мере это, очевидно, неизбежно. Постараюсь, как в других таких случаях, и в связи с поездкой в Соединенные Штаты, в Канаду, а затем во Францию — все это слилось в одну поездку — коснуться только тех моментов, которые в моем сознании так или иначе связаны с главной темой этой рукописи, посвященной месту и роли Сталина в нашей жизни, и прежде всего в жизни моего поколения — и при его жизни, и после его смерти. Может быть, затем я найду более точную формулировку, но покуда остановлюсь на этой.

Во время поездки на бесконечно сменявших друг друга митингах, обедах, собраниях различных обществ, на пресс-конференциях нам задавали самые разные вопросы. Не слишком часто откровенно злые, иногда трудные для нас, иронические, забавные — в том числе и такие, смысл которых был не в том, чтобы что-то действительно узнать, а чтобы посмотреть, как мы выкрутимся из того сложного положения, в которое, как считалось и как оно иногда и действительно бывало, нас поставили.

Началось это с того, что, встретив наше появление аплодисментами на уже начавшемся к нашему приезду заседании издателей и редакторов в Вашингтоне, буквально через несколько минут у русских коллег попросили разрешения задать им несколько интересовавших аудиторию вопросов. Первым из этих вопросов был такой: «Скажите, а возможно ли у вас, в Советском Союзе, чтобы после очередных выборов господина Сталина сменил на посту главы правительства кто-нибудь другой, например, господин Молотов?» Я бы, тем более в ту минуту, наверное, не нашелся, что ответить. Эренбург нашелся. Чуть заметно кивнул мне, что отвечать будет он, усмехнулся и сказал: «Очевидно, у нас с вами разные политические взгляды на семейную жизнь: вы, как это свойственно ветреной молодости, каждые четыре года выбираете себе новую невесту, а мы, как люди зрелые и в годах, женаты всерьез и надолго». Ответ вызвал хохот и аплодисменты, американцы ценят находчивость, собственно, их и интересовало не то, что Эренбург ответит, а то, как он вывернется. Он сделал это с блеском. Дальнейшие вопросы мне не запомнились, видимо, в них не было ничего затруднительного для нас.

У меня, когда я был на западе Америки уже один, без Эренбурга, как-то спросили на пресс-конференции, читал ли я книгу Троцкого, в которой он излагает биографию Сталина? Я ответил, что нет, не читал. Тогда спросили, хотел бы я ее прочесть, эту книгу? Я сказал, что нет, не испытываю такого желания, потому что книги подобного сорта меня не интересуют. Тогда меня спросили, что я подразумеваю под «книгами такого сорта». Я ответил, что это те неспортивные книги, в которых человек, получивший нокаут и проигравший матч на первенство, начинает подробно описывать, как именно он его проиграл, и жалуется на происшедшее с ним. Ответ удовлетворил аудиторию. Пожалуй, дело было не только в проявленной мною в данном случае известной доле находчивости, а в чем-то более существенном для американцев в сорок шестом году.

Сталин был для них фигурой достаточно далекой, достаточно загадочной, во многих отношениях неприемлемой, но в то же время для многих из них — я говорю о тех американцах, которых вообще в какой-либо мере интересовали проблемы, связанные с нами, — Сталин был человеком, в двадцатые годы пославшим в нокаут такого, куда более известного в те времена в Америке, чем он, политического лидера, как Троцкий, а в недавние годы нокаутировавшего и Гитлера. Разумеется, с помощью их, американцев, их ленд-лиза, их поставок оружия, их бомбардировок Германии, их вторжения в Европу, но тем не менее в нокаут Гитлера отправил все-таки Сталин, окончательно и бесповоротно загнав его в Берлин, в бункер имперской канцелярии, где Гитлер кончил самоубийством.

Американцы резвились, задавая нам подобные вопросы. Резвились, имея в виду нас, людей, которые связаны иными нормами политического поведения, чем они сами, и не могут себе позволить каких-нибудь вольностей в разговорах о своем политическом строе и своих политических лидерах. Все эти подковырки относились и к нам, персонифицированному в нас троих следствию политических порядков, установленных Сталиным у нас на родине. Что же касалось первопричины, то есть самого Сталина, или дяди Джо, как его иногда там именовали, — если на его счет иногда и шутили в нашем присутствии, то, сколько мне помнится, никогда не перешагивали за те пределы, когда шутка могла прозвучать как национальное оскорбление, нанесенное нам неприемлемыми для нас выражениями в адрес главы нашего государства. Над чем-то подшучивали, реже иронизировали, сами слова «дядя Джо» были не столько фамильярностью, сколько свидетельством популярности Сталина, а вообще к нему относились очень серьезно, с долей благодарности за недавнее военное прошлое и с долей опаски за будущее, кто знает, что он может захотеть и на что он может пойти в будущем. Какую-то роль во всем этом, наверное, играло и то, что из засевшей в мозгах не только одних американцев «большой тройки» Рузвельт умер, Черчилль оказался не у власти, и только один Сталин был на своем посту.

Думаю, что тогда, к лету сорок шестого года, несмотря на фултонскую речь Черчилля, несмотря на начавшуюся с этой речи холодную войну, популярность Сталина была максимальной — не только у нас, но и во всем мире, по сравнению с любым другим моментом истории, через десятилетия которой проходило его имя. Сорок четвертый, сорок пятый, сорок шестой год, — можно даже, пожалуй, считать с сорок третьего, с пленения Паулюса и Сталинградской катастрофы немецкой армии, — это был пик популярности Сталина, носившей, разумеется, разные характеры, разные оттенки, но являвшейся политической и общественной реальностью, с которой нигде и никто не мог не считаться.

Печатая свои стихи после XX съезда и после того, как, встречаясь со многими военными людьми и работая над романом «Живые и мертвые», я в чем-то самом главном определил для себя свое понимание Сталина и свое отношение к нему, я больше не включал в книги тех нескольких стихотворений, в которых шла речь о Сталине или упоминалось его имя.

Я очень любил свои стихи «Речь моего друга Самеда Вургуна на обеде в Лондоне». На мой взгляд, это были одни из лучших моих стихов, написанных за всю жизнь, но, зная уже о Сталине все, что я узнал после пятьдесят шестого года, я не мог читать вслух конца этого стихотворения, где Сталин вставал как символ и образец интернационализма. Этот конец противоречил сложившимся у меня к этому времени представлениям о Сталине, а поправлять стихотворение, точнее, отсекать его конец считал безнравственным, и больше никогда его не печатал.

В начале ноября сорок первого года на Рыбачьем полуострове я, еще не зная о предстоящем параде на Красной площади, написал стихи «Суровая годовщина», начинавшиеся словами: «Товарищ Сталин, слышишь ли ты нас? Ты должен слышать нас, мы это знаем». Стихи эти целиком посвящены нашему тогдашнему отношению к Сталину и нашим, связанным с ним надеждам. Стихи были написаны очень далеко от Москвы, полного представления о том, что там, под Москвой, происходит, у меня не было,— в стихотворении выразилась тревога и обостренность всех чувств. Я и сегодня не стыжусь этих стихов, не раскаиваюсь в том, что написал их тогда, потому что они абсолютно искренне выражали мои тогдашние чувства, но я их не печатаю больше, потому что то чувство к Сталину, которое было в этих стихах, во мне раз и навсегда умерло. То значение, которое имел для нас Сталин в тот момент, когда писались эти стихи, мне не кажется преувеличенным в них, оно исторически верно. Но я уже не могу читать эти стихи с тем чувством, с которым я их писал, потому что я давно по-другому отношусь к Сталину. Вижу и великое, и страшное, что было в нем, понимаю на свой лад меру содеянного им — и необходимого, и ужасного, но ничего похожего на чувство любви к нему у меня не сохранилось. А ведь такого рода порывы были у меня, так же как у других людей, и они были настолько искренними, что можно их осуждать, но не пристало в них каяться.

В двух или трех других стихотворениях, написанных в разные годы, упоминалось имя Сталина, но стихи эти я не печатаю, так же как и десятки других своих старых стихов, потому что они не стоят того, чтобы их перепечатывать. Их мне нисколько не жаль, в противоположность стихам о Самеде Вургуне.

Но одно стихотворение, где есть имя Сталина, я печатал и продолжаю печатать точно в таком виде, в каком оно было написано. Все в нем сохранилось для меня так, как звучало и тогда, когда я писал это стихотворение, и тогда, когда происходило то, о чем оно написано. Я говорю о стихотворении «Митинг в Канаде», открывавшем в сорок восьмом году мою книгу «Друзья и враги». Напомню, что речь идет о зале, в первых рядах которого сидят люди, пришедшие, чтобы сорвать митинг:

Почувствовав почти ожог,
Шагнув, я начинаю речь.
Ее начало — как прыжок
В атаку, чтоб уже не лечь:
«Россия, Сталин, Сталинград!»
Три первые ряда молчат.
Но где-то сзади легкий шум,
И, прежде чем пришло на ум,
Через молчащие ряды
Вдруг, как обвал, как вал воды,
Как сдвинувшаяся гора,
Навстречу рушится «ура»!

Я написал в этих стихах о том, что в действительности было, и о том, как это было. Я могу и сегодня читать эти стихи, и не раз читал их, потому что выраженная в них подлинная часть истории, все то значение, которое слово «Сталин» имело для меня тогда рядом со словами «Сталинград» и «Россия», остались и по сегодня частью моего ощущения войны. У меня теперь другое, чем было тогда, понимание всего хода войны, меры ее внезапности и масштаба ее неудач, масштаба ответственности Сталина за эти неудачи и так далее, и тому подобное, о чем уже приходилось и еще, наверное, придется спорить много и долго со стремящимися пригладить все эти проблемы некоторыми историками Великой Отечественной войны. При этом, когда я вспоминаю войну и свое самоощущение на ней, я вспоминаю и эти собственные строчки, брошенные как вызов врагам и протянутые как рука друзьям там, в Америке, в сорок шестом году: «Россия, Сталин, Сталинград!». И когда я произношу их мысленно и когда я их произношу вслух, у меня не першит ни в душе, ни в горле. Может, это сейчас кому-то не нравится, но это так, как я говорю.

Кстати, если уже я повел об этом речь, хочется сказать, что люди, не читающие советскую литературу, в том числе статьи и очерки, написанные в годы жизни Сталина, склонны порой считать, что там были сплошные цитаты из Сталина, панегирики в его честь — к месту и не к месту. Но хочу заметить, что, во-первых, литература была большая и разная, люди писали по-разному, одни упоминали о Сталине некстати, другие — всуе, одни — чаще, другие — реже, и не из-за принципиально разного отношения к этой фигуре, а просто в силу собственного такта, собственной порядочности, собственного представления о должном и излишнем, о чести и лести. Что до меня, то о стихах я уже сказал. Перечитывая же свои военные корреспонденции, я даже с некоторым удивлением — мне задним числом казалось, что я упоминал имя Сталина чаще, — обнаружил, что за всю войну во всех очерках, корреспонденциях его имя возникает только три или четыре раза, и каждый раз к месту, если исходить из наших тогдашних взглядов на Сталина. А всуе — не грешен, не поминал, так же как и в многочисленных своих статьях на политические и литературные темы цитировал его только тогда, когда казалось это необходимым, а не по соображениям — как бы чего не вышло, как же это — одна, вторая, третья, четвертая статья, и все без цитаты из Сталина. Не помню ни того, чтобы самому приходилось мучиться над тем, как бы присобачить ни к селу, ни к городу такую цитату, не сталкивался и с такими требованиями редакторов. И у меня в данном случае нет ощущения своей особости, это вообще было не очень принято в литературе.

4 марта 1979 г.

После Соединенных Штатов, Канады и вновь Соединенных Штатов я до возвращения домой еще около месяца пробыл во Франции, так что вся моя поездка, начиная с Японии, растянулась на девять месяцев.

Во время пребывания в Париже, а потом и на юге Франции, я довольно много встречался с разными людьми из числа первой послереволюционной эмиграции. Правда, с наиболее оголтелыми представителями эмиграции мне не доводилось встречаться, для таких встреч не было ни причин, ни поводов — ни у них, ни у меня. Да и тогда, в сорок шестом году, фашиствующие эмигранты, поддерживавшие в годы оккупации Франции немцев, старались держаться подальше, залезали в углы и щели так, чтоб их было не слышно и не видно, — время не благоприятствовало какой бы то ни было публичности с их стороны. Но остальную русскую эмиграцию, которая в своем большинстве занимала антинемецкие позиции, и если не просоветские, то, во всяком случае, прорусские, — мне пришлось наблюдать довольно широко. Наша победа над фашизмом произвела в этой среде сильнейшее впечатление, это впечатление продолжало сохраняться, многие эмигранты участвовали в Сопротивлении, многие хотели ехать домой, на родину. Встречаясь даже с людьми, стоявшими в общем на правом фланге этой эмиграции, не понимавшими нас, непримиримо относившимися к нашему строю и к нашему образу жизни, не желавшими принимать советское гражданство, отказывавшимися от такой возможности, — я мог убедиться, что уважение к сделанному нашей страной в годы войны было в тот момент, пожалуй, почти всеобщим чувством.

В свое время я довольно подробно писал о наиболее интересных из этих встреч — о встречах с Буниным, с Тэффи и Адамовичем. И сейчас, заново вспоминая об этих встречах в связи с той темой, о которой я пишу, перебирая в памяти тогдашние разговоры, я не могу вспомнить ничего не только неуважительного, но сколько-нибудь двусмысленного, сказанного тогда такими людьми, как Бунин, в адрес Сталина. У Бунина, если попробовать коротко сформулировать мое ощущение его тогдашней позиции, несомненно, оставались счеты с советской властью, с советским строем, с советской литературой, счеты за прошлое, счеты, как впоследствии он подтвердил своими книгами, выпущенными в конце жизни, злые и непри-

миримые, но одновременно с этим в сорок шестом году Сталин был для него после победы над немцами национальным героем России, отстоявшим ее от немцев во всей ее единости и неделимости. Допускаю, что после этого национального подвига, совершенного Сталиным, Бунин смотрел на будущее выжидательно: не последует ли там, в России, при несомненном для Бунина единовластии Сталина, неких реформ, сближающих нынешнее с прошлым,— чем черт не шутит! Человеку, подряд более четверти века прожившему во Франции, как Бунин, размышления на тему о таком историческом примере, как Наполеон, могли быть отнюдь не чужды.

Я упомянул о впечатлениях, связанных с моими встречами во Франции, потому что они тоже что-то косвенно значили в моем восприятии личности Сталина к тому времени, когда я вернулся домой. По-моему, я не ошибаюсь, но почти сразу же после своего приезда из Франции домой, я поехал на Смоленщину в избирательный округ, от которого я был заочно, находясь в то время в Японии, выбран депутатом Верховного Совета СССР. Почему именно от Смоленщины, не знал, быть может, из-за стихотворения «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». Но зато знал другое, что округ этот один из самых тяжелых, один из тех, где война останавливалась не единожды и подолгу. Это были Ярцево, Дорогобуж, Духовщина, Издешково, Сафоново — места, знакомые мне особенно по началу войны, ископанные окопами, избитые-перебитые бомбами и снарядами,— в общем, я ехал туда, в свой избирательный округ, с затаенной тревогою: что я увижу? Увидел действительно много тяжелого, горького, почти нестерпимого по контрасту со всем тем, что я видел в воевавшей, но при этом не разорявшейся, а богатевшей Америке.

Этот засевший в душу контраст и страстное желание противопоставить духовные силы нашего общества, душевную красоту людей его, их духовную стойкость мощи и богатству Соединенных Штатов заставили меня еще там, во время поездки, думать о том, как же написать об этом, искать первые приступы к будущему, главному для меня как для писателя после войны делу — к повести «Дым отечества». Это больше всего занимало мои мысли и, может быть, поэтому я даже не помню в подробностях своей первой душевной реакции на доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» и на все, развернувшееся в связи с этим и вокруг этого.

Что контраст между уровнем жизни в Европе и у нас, контраст, с которым столкнулись миллионы воевавших людей, был нравственным и психологическим ударом, который не так легко было перенести нашим людям, несмотря на то, что они были победителями в этой войне,— я чувствовал, понимал. Еще до поездки в Америку не мог, по совести, причислить себя к людям, недооценивавшим этой психологической опасности, меры этого нравственного испытания. Сразу же после войны, летом сорок пятого года, я старался совладать с этой общей для многих из нас психологической трудностью и, как умел, искал из этой ситуации выхода. «Да, наши женщины сейчас ходят иногда бог знает в чем,— говорил один из героев пьесы «Под каштанами Праги», Петров, в последний день войны.— Они ходят в штопаных и перештопанных чулках. Землячка, не морщься, это так. Многого нет у нас и будет еще не так скоро, как бы нам этого хотелось. Видите ли, пани Божена, в Европе много говорят о военных лишениях. А ведь тут не всегда знают, что такое лишения. Настоящие. Нам, спасшим Европу, ни перед кем на свете нечего стыдиться ни штопаных чулок наших жен, ни того, что в тылу у нас иногда голодали в эту войну, ни того, что у нас жили целыми семьями в каморках. Да, это так. Но наша армия была вооружена, одета, сыта. Да, мы пока еще не так богаты, чтобы быть богатыми во всем. Да, мы не построили особняков, мы построили заводы. И немцы прошли по улицам Парижа, но не прошли по улицам Москвы!» «Вы не должны любить Европу,— подавала Петрову реплику его собеседница чешка Божена.— Вас должны раздражать эти особняки, эти виллы, эти дома с железными крышами. Вы ведь отрицаете это?» «Отрицать можно идеи, отрицать железную крышу нельзя. Коль она железная, так она железная»,— отвечал ей Петров.

В моем представлении тогда, после войны, не укладывалось, что такую данность, как железные крыши, можно отрицать или замалчивать в стране, где несколько миллионов людей уже рассказали или расскажут многим миллионам других людей о том, что они, победители, увидели там, в Европе. Мне казалось, что выход из этого, психологически нелегкого для победителей состояния, заключается в откровенном признании нашей сравнительной бедности и вместе с тем, в гордом сознании правильности избранного нами тяжелого пути многолетнего подтягивания поясов, пути, без которого, как я был убежден, мы бы не пришли к победе, не выстояли бы.

Ну, и конечно, имелось в виду, что придется много лет работать не покладая рук. «Нет, не для отдыха родилось наше поколение...» — говорил в той же пьесе «Под каштанами Праги» тот же Петров. Предваряя это утверждение размышлением о том, что и после войны работать придется отнюдь не в идиллической обстановке. «Господин Черчилль — я вчера по радио слышал — речь произнес, свои идеалы высказывал. Не должно быть, по его мнению, социализма на земле. Потому что это разврат и безобразие. А по моему мнению, должен быть на земле социализм, потому что это радость и счастье. Вот видишь, война кончилась, а взгляды на будущее-то у людей разные. Очень разные». Так довольно неуклюже, как мне сейчас кажется, но достаточно ясно формулировал мои тогдашние собственные послевоенные взгляды полковник Петров из пьесы «Под каштанами Праги».

С этими взглядами я уехал в Японию, а оттуда перекочевал в Америку, Канаду и Францию. Какому-то принципиальному изменению эти взгляды не подверглись ни в Америке, ни во время поездки по разоренной дотла Смоленщине, только сила контраста увеличилась чуть ли не в геометрической прогрессии. Ощущение, что действительно не для отдыха мы родились, тоже усилилось, стало даже каким-то остервенелым. И ощущение психологической опасности сравнения поистине несравнимых тогда уровней жизни за первый послевоенный год, почти целиком проведенный за границей, конечно, не ослабело, а усилилось,— но все равно я оставался при убеждении, что правды на этот счет скрывать не надо, а попытки ее скрыть были бы и бесполезны, и унизительны. С этими, отдававшими немалой горечью ощущениями и намерениями, связанными с работой над будущей повестью, я вернулся в Москву из поездки на Смоленщину, к избирателям. И сразу уткнулся в нашу литературную жизнь, в которой бушевали страсти, вызванные докладом Жданова и постановлением ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград».

Я недавно перечел написанные мною осенью пятьдесят шестого года и направленные в ЦК мои мысли и соображения, связанные с этими постановлениями, и мне не хочется сейчас возвращаться к этим, довольно последовательно изложенным критическим замечаниям, правильность которых и сегодня не вызывает у меня сомнений. Если же говорить о моих ощущениях сорок шестого года, попытавшись наиболее точно и достоверно их вспомнить, то главное ощущение было такое: что-то делать действительно нужно было, но совсем не то, что было сделано. О чем-то сказать было необходимо, но совсем не так, как это было сказано. И не так, и в большинстве случаев не о том.

Как я помню, и в конце войны, и сразу после нее, и в сорок шестом году довольно широким кругам интеллигенции, во всяком случае, художественной интеллигенции, которую я знал ближе, казалось, что должно произойти нечто, двигающее нас в сторону либерализации, что ли — не знаю, как это выразить не нынешними, а тогдашними словами,— послабления, большей простоты и легкости общения с интеллигенцией хотя бы тех стран, вместе с которыми мы воевали против общего противника. Кому-то казалось, что общение с иностранными корреспондентами, довольно широкое во время войны, будет непредосудительным и после войны, что будет много взаимных поездок, что будет много американских картин — и не тех трофейных, что привезены из Германии, а и новых,— в общем, существовала атмосфера некой идеологической радужности, в чем-то очень не совпадавшая с тем тяжким материальным положением, в котором оказалась страна, особенно в сорок шестом году, после неурожая.

Было и некое легкомыслие, и стремление подчеркнуть пиетет к тому, что ранее было недооценено с официальной точки зрения. Думаю, кстати, что выбор прицела для удара по Ахматовой и Зощенко был связан не столько с ними самими, сколько с тем головокружительным, отчасти демонстративным триумфом, в обстановке которого протекали выступления

Ахматовой в Москве, вечера, в которых она участвовала, встречи с нею, и с тем подчеркнуто авторитетным положением, которое занял Зощенко после возвращения в Ленинград. Во всем этом присутствовала некая демонстративность, некая фронда что ли, основанная и на неверной оценке обстановки, и на уверенности в молчаливо предполагавшихся расширении возможного и сужении запретного после войны. Видимо, Сталин, имевший достаточную и притом присылаемую с разных направлений и перекрывавшую друг друга, проверявшую друг друга информацию, почувствовал в воздухе нечто, потребовавшее, по его мнению, немедленного закручивания гаек и пресечения несостоятельных надежд на будущее.

К Ленинграду Сталин и раньше, и тогда, и потом относился с долей подозрений, сохранившихся с двадцатых годов и предполагавших, очевидно, наличие там каких-то попыток создания духовной автономии. Цель была ясна, выполнение же было поспешным, беспощадно небрежным в выборе адресатов и в характере обвинений. В общем, если попытаться сформулировать мое тогдашнее ощущение от постановлений (я все время пытаюсь и не могу до конца отделить тогдашнее от сегодняшнего), особенно, конечно, меня волновало постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», то об Ахматовой я, например, подумал тогда так: чего же мы, зачем ставим вопрос о возможности возвращения Бунина или Тэффи,— а я с такой постановкой вопроса столкнулся во Франции,— если мы так, как в докладе Жданова, разговариваем — с кем? — с Ахматовой, которая не уехала в эмиграцию, которая так выступала во время войны. Было ощущение грубости, неоправданной, тяжелой,— хотя к Зощенко военных лет я не питал того пиетета, который питал к Ахматовой, но то, как о нем говорилось, читать тоже было неприятно, неловко.

В то же время в постановлении о ленинградских журналах не было, вернее, за ним, думаю, субъективно для Сталина не стояло призыва к лакировке, к облегченному изображению жизни, хотя многими оно воспринималось именно так. Почти одновременно, в этот же период, Сталин поддержал, собственно говоря, выдвинул вперед такие, принципиально далекие от облегченного изображения жизни вещи, как «Спутники» Пановой или чуть позже «В окопах Сталинграда» Некрасова. Вслед за ними вскоре получила премию и трагическая «Звезда» Казакевича, изобиловавшая конфликтами «Кружилиха» Пановой. Нет, все это было не так просто и не так однозначно. Думается, исполнение, торопливое и какое-то, я бы сказал, озлобленное, во многом отличалось от замысла, в основном чисто политического, преследовавшего цель прочно взять в руки немножко выпущенную из рук интеллигенцию, пресечь в ней иллюзии, указать ей на ее место в обществе и напомнить, что задачи, поставленные перед ней, будут формулироваться так же ясно и определенно, как они формулировались и раньше, до войны, во время которой задрали хвосты не только некоторые генералы, но и некоторые интеллигенты,— словом, что-то на тему о сверчке и шестке.

До войны и первые три года войны я был членом Союза писателей, одним из относительно более известных поэтов младшего поколения, начинающим, а потом тоже пользовавшимся известностью драматургом, автором одной из первых сколько-нибудь крупных прозаических вещей, написанных о войне в годы войны. В тридцать девятом году, в числе других, по-моему, ста семидесяти или около того писателей я был награжден орденом «Знак Почета» и, как тогда говорили, стал писателем-орденоносцем. Это было первое широкое награждение писателей, и оно имело значение для награжденных. Я был награжден вместе с Долматовским и Алигер, хотя в нашем кругу и в нашем, в узком смысле этого слова, поколении были люди не менее способные, чем мы трое. Но выделили нас. Очевидно, это было определено литературными вкусами и симпатиями Александра Александровича Фадеева, который, если говорить в масштабах Союза писателей, думается мне, довольно полновластно готовил этот список награждений. Перед войной вышла моя пьеса «Парень из нашего города», которая очень широко пошла в годы войны и сделала мое имя намного более известным, чем до этого только по стихам. Потом была военная корреспондентская работа в «Красной звезде», привлекавшая к себе довольно широкое внимание. Потом появились «Русские люди», напечатанные в течение нескольких дней полосами в «Правде». А незадолго до этого — читавшиеся тогда лирические стихи, напечатанные в журналах, и несколько стихотворений — «Жди меня», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» и «Убей его», напечатанные в газетах и утвердившие мою известность как поэта. «Дни и ночи» были опубликованы в журнале «Знамя», частично, кусками появлялись с продолжениями в «Красной звезде» и тоже добавили мне какую-то долю литературной популярности.

В сорок втором году мне была присуждена Сталинская премия за пьесу «Парень из нашего города», в сорок третьем — за пьесу «Русские люди». В сорок шестом, когда я был в Японии, совершенно неожиданно для меня еще и за повесть «Дни и ночи», которую никто к премии — через два с лишним года после ее появления — не представлял, это произошло по инициативе Сталина.

Почему я упоминаю все это? Чтобы объяснить, что к концу лета сорок шестого года, когда после постановлений ЦК были предрешены перемены руководства в Союзе писателей и предполагалось изменение самой структуры этого руководства, я, хотя и был из молодых да ранним, и оказался в роли — думаю, что не преувеличиваю, говоря это,— самого известного из писателей моего поколения, к деятельности Союза писателей практически не имел никакого отношения и оставался в этом смысле совершенно зеленым и неопытным человеком. В сорок четвертом году нескольких писателей-фронтовиков: Твардовского, Кожевникова, Горбатова, меня, кажется, еще кого-то — ввели, вернее, кооптировали, в состав Президиума Союза писателей. Я имел тогда разговоры на эти темы с работавшим вместе с Тихоновым, который был тогда председателем Союза, в качестве ответственного секретаря Союза Дмитрием Алексеевичем Поликарповым. Кажется, один раз, может быть, два — между поездками на фронт — присутствовал на не запомнившихся мне заседаниях Президиума. Вот и все. В остальном коллективом, в котором я работал, была до конца войны «Красная звезда», хотя ко мне пришло самоощущение популярного писателя, имя которого так или иначе в общем практически все знают. Но это самоощущение сочеталось с сохранившимся самоощущением журналиста, газетчика, причем газетчика — именно корреспондента, человека, не делающего газету — этого я толком не знал тогда,— а производящего материал для этой газеты, разъездного корреспондента. С таким двойным самоощущением я ездил и в Японию, и в Америку. И когда в конце августа или в сентябре сорок шестого года, после моего возвращения в Москву, нас всех, членов Президиума Союза писателей, собрали у Жданова для обсуждения вопроса о том, как дальше работать Союзу, я был, повторяю, человеком совершенно зеленым в этом смысле.

Первое из двух обсуждений было длительным, продолжалось несколько часов. Разные люди называли разные кандидатуры в состав секретариата, который, как предполагалось, практически будет руководить работою Союза. И когда Борис Горбатов вдруг как одну из возможных кандидатур в руководители Союза предложил мою, в неумеренных выражениях расхвалив перед этим меня как организатора и главу нашей писательской бригады в Японии, то все только улыбались этому предложению как весьма дружелюбному по отношению ко мне, но в то же время несерьезному. А я, когда кончилось заседание и мы двинулись домой, ругательски ругал Бориса, который после общей реакции на его предложение, кажется, чувствовал себя немножко смущенным, но по своей привычке ворчливо отругивался, говоря, что он был секретарем не то МАПП, не то ВАПП не в тридцать лет, а в девятнадцать-двадцать, и делал эту работу так же плохо, как и все остальные, ничуть не хуже.

А через два или три дня нас собрали там же, у Жданова, и Жданов сказал, что о предыдущем обсуждении дел Союза писателей, которое происходило здесь, было рассказано товарищу Сталину, что состоялось решение поручить партийной группе правления Союза писателей рекомендовать организацию секретариата Союза писателей в следующем составе: генеральный секретарь правления Союза писателей Фадеев, заместители генерального секретаря Симонов, Вишневский, Тихонов, секретари Леонов и Горбатов, причем Горбатов утверждается секретарем партгруппы правления.

То, что Фадеев становился во главе Союза, неожиданностью не было. На предыдущем заседании он очень решительно отнекивался, говорил, что,

только-только закончив «Молодую гвардию», после многих лет почувствовал вкус к действительной писательской работе и полушутя, полусерьезно просил его не губить. В общем, это было искренне, при властном характере Фадеева, при его политической хватке червь сомнения все-таки, наверное, у него где-то гнездился. Как писатель он не хотел руководить Союзом, это была правда, но как литературно-политический деятель искренне не видел, кто бы мог это делать вместо него. Это тоже было правдою — и не только субъективно, но для того времени и объективно. Так что Фадеев как глава Союза не был ни для кого из нас неожиданностью, сама формулировка «генеральный секретарь», несомненно, не могла прийти в голову никому, кроме Сталина. Автором этой формулировки был он. Очевидно, он же, по каким-то своим соображениям, расставил не по алфавиту, а по порядку заместительства трех заместителей генерального секретаря. Третьим из этих заместителей сделал Тихонова, подчеркнув этим свое уважительное отношение к нему, подчеркнув, что критика Союза в связи с постановлениями о журналах «Звезда» и «Ленинград», изменение структуры, ликвидация должности председателя Союза, — все это одно, а имя Тихонова и значение его фигуры в новом, заново складывающемся руководстве Союза — дело другое. Так мы, во всяком случае, тогда поняли, что это явно исходило от Сталина, потому что разговоры на предыдущем заседании не предполагали мысли о том, что Тихонов окажется одним из руководителей вновь образованного секретариата Союза. Очевидно, и назначение Горбатова парторгом правления тоже шло от Сталина, допускаю, что он не хотел, чтобы Фадеев с его авторитетом, с его положением члена ЦК, с его властным характером в качестве генерального секретаря обладал бы своей властью безапелляционно. Видимо, по его мысли, в Горбатове как секретаре партгруппы предполагалось некое критическое начало. Это была инициатива Сталина, потому что обычно бывало, что руководитель организации, если он коммунист, созывал в случае необходимости партгруппу этой организации.

Добавлю, что и рекомендация выбрать секретарями писателей из союзных республик — одного от республик Средней Азии, по одному от Украины, Белоруссии, от каждой из закавказских и прибалтийских республик — была тоже Сталина. В общем, все было решено за нас, и мы были расставлены по своим местам Сталиным, и расставлены, насколько я могу судить по первым годам работы Союза, довольно разумно. Так, всего еще неделю назад не думая ни о чем близко похожем, я оказался одним из руководителей Союза писателей, и это на многие годы определило и характер моей жизни, и некоторые особенности моей работы как литератора.

Через неделю или полторы после того, как я вместе с другими приступил к работе в Союзе, меня назначили редактором «Нового мира». В противоположность тому, что произошло с Союзом, это не было для меня полной неожиданностью: когда-то о том, чтобы я стал редактором журнала, разговоры со мной уже велись, я даже излагал в ЦК некоторые соображения насчет того, каким я себе представляю журнал. Тут у меня все-таки был, хотя и маленький и однобокий, но опыт: во второй половине войны я стал членом редколлегии журнала «Знамя», регулярно в редколлегии, разумеется, не работал, но в сорок четвертом — сорок пятом годах кое-что читал, когда это у меня получалось, и давал свои отзывы, главным образом и почти исключительно, о стихах. При всей моей неопытности журнал мне вести хотелось, я не очень ясно представлял, как это делается, но какие-то силы для этого в себе ощущал.

Так в течение одного месяца я стал и первым заместителем Фадеева в Союзе, и редактором самого старого из выходивших в Москве послереволюционных толстых журналов. «Красная новь», созданная раньше, чем «Новый мир», прекратила свое существование еще в сорок третьем году, во время войны.

За работу в журнале я взялся с увлечением. Заместителем ко мне согласился пойти мой товарищ по «Красной звезде» Кривицкий, человек с опытом, блестящими журналистскими способностями и трудно переносимым, но твердым характером. Из старой редколлегии остались в журнале Шолохов и Федин, из них первый продолжал числиться так же, как он числился прежде, не принимая никакого участия в работе журнала, а второй, наоборот, участвовал в работе журнала — не буду об этом распространяться, потому что уже писал в своих воспоминаниях о Федине. Не отказались войти в редколлегию журнала и такой блестящий человек, как Валентин Катаев, и умница и кладезь знаний Борис Николаевич Агапов, в которого я влюбился во время нашей поездки в Японию и с которым мы впоследствии, после того как он пришел в «Новый мир», двенадцать лет работали бок о бок и в «Новом мире», и в «Литературной газете», и вновь в «Новом мире». Самым молодым членом редколлегии, ровесником тридцатилетнего редактора, стал Александр Михайлович Борщаговский, переехавший для этого в Москву, талантливый киевский театральный и не только театральный критик, на плечи которого пала обязанность организовать в журнале постоянный отдел братских литератур.

Я говорю об этом потому, что все это в какой-то мере будет иметь отношение к дальнейшему, поскольку, обращаясь к главной теме своего повествования, мне не миновать некоторых подробностей собственной работы разных лет и в «Новом мире», и в «Литературной газете».

В девятой книжке «Нового мира», подписанной предыдущим составом редколлегии, были опубликованы постановление ЦК и доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Разумеется, я не имею в виду, что новая редколлегия во главе с новым редактором не перепечатала бы на страницах «Нового мира» постановление и доклад, — конечно, перепечатала бы, если бы это не было сделано раньше. Но так уж вышло, что девятый номер, где были опубликованы постановление ЦК и доклад Жданова, был последним аккордом в работе прежней редколлегии, им нечто завершилось, а мы начинали как бы с чистого листа. Перелистывая сейчас тот сдвоенный — десятый-одиннадцатый — номер «Нового мира» 1946 года, с которого мы начали свою работу, думаю, что в те очень короткие сроки, которые у нас были, он был сделан неплохо и даже широко. Открывался он — что до этого если не никогда, то во всяком случае долгие годы не делалось в толстых журналах — не романом и не стихами, а очерком Бориса Галина «В Донбассе». Были в нем стихи Наровчатова, Смелякова, Луконина, проза Паустовского, письмо в редакцию Эренбурга о внимании к памяти павших на войне, киноповесть Довженко «Жизнь в цвету», по которой он потом поставил своего «Мичурина», и рассказ Андрея Платонова «Семья Иванова» («Возвращение»). Публикация этих двух вещей была для того времени связана с известным риском: после жестокой проработки Довженко в сорок четвертом году за его киноповесть об Украине это была первая публикация его новой вещи, как всегда в таких случаях, не было недостатка в охотниках читать эту вещь через лупу. Что касается рассказа Платонова «Семья Иванова», он очень нравился нам с Кривицким. Мы хотели напечатать Платонова, своего товарища по «Красной звезде», в этом первом выпускаемом нами номере...

5 марта 1979 года

Очень хотелось, получив в свои руки эту возможность, продолжить этим рассказом о возвращении с войны то, что писал Платонов в годы войны в «Красной звезде» и что как-то помогло ему обрести снова более или менее нормальное положение в литературе после сокрушительной критики тридцатых годов. Мы с Кривицким не предвидели беды. Ее предвидел только Агапов. Присоединившись к нашему доброму мнению о рассказе и добавив даже, что рассказ не только хороший, а превосходный, мудрый Агапов добавил: «В случае чего, будем считать, что я так же голосую за него, как и вы, но предупреждаю вас, что с этим рассказом у нас будет беда. Мне это подсказывает моя стариковская память. — Агапов, которому было тогда сорок семь лет, любил несколько кокетливо, учитывая его мощную, казавшуюся навек несокрушимой фигуру, говорить о своих стариковских памяти, привычках и слабостях. — В свое время, если не изменяет эта стариковская память, «Красную новь» чуть было не закрыли из-за опубликованной в ней вещи Платонова, был неимоверный скандал, в связи с чем досталось Ермилову, еще больше, кажется, Фадееву, которого вызывали и мылили шею на самом верхнем полке».

Что за Платонова мылил шею Фадееву именно Сталин, по интонации и по выражению лица Агапова сомневаться не приходилось.

«В рассказе, — продолжал Агапов, — есть некоторые оттенки того особого, свойственного Платонову отношения к жизни и к людским поступкам, которое в былое время было очень не одобрено, о чем вас и предупреждаю, хотя рассказ, повторяю, прекрасный, и если быть беде, то будем считать, что я вас ни о чем не предупреждал».

Не знаю почему, но мы с Кривицким как-то очень легко отнеслись к этому предупреждению. Внутренне рассказ для нас продолжал то, что много раз печаталось в «Красной звезде», то же свое, платоновское, не вызывавшее ничьих нареканий, — нам верилось, что так будет и на этот раз. А вдобавок было у нас и еще одно соображение: как-то не принято, только что назначив нового редактора, утвердив новую редколлегию, начинать колотить их за что-нибудь по первому же выпущенному ими номеру. В таких случаях обычно для начала первые грехи было принято отпускать.

Однако, увы, Агапов оказался прав. Едва успел выйти номер журнала, как Ермилов тиснул в «Литературной газете» погромную статью «Клеветнический рассказ А. Платонова». В рассказе Платонова было всего четырнадцать журнальных страничек, а статья Ермилова была написана чуть ли не во всю длину рассказа, на целую газетную полосу. «Литературная газета», по распределению обязанностей, была в Союзе писателей под прямым наблюдением Фадеева, Ермилов был его давним, с рапповских времен соратником, в те времена, в сорок шестом году, другом, в иных случаях — без раскаяния употреблю это слово — подручным, и статья эта могла появиться только как результат их коллективного мнения и решения. Статья была беспощадная, удар наносился человеку беззащитному и только-только ставшему на ноги. Эта история была для меня первой зарубкой в наших отношениях с Фадеевым, зарубкой, о которой я не забыл. Я высоко его ставил, знал ему цену, не безоговорочно, но любил его, но нескольких случаев не мог простить ему. Они у меня оставались в душе, как зазубрины, пока он был жив, остались и после того, как он решил уйти из жизни.

Зачем он это сделал? Почему? Меня волновало это. Ермилова я уже до этого устойчиво, прочно не любил и не уважал. Я не стал говорить с Фадеевым на эту тему, потому что, несмотря на всю свою неопытность, чувствовал, что разговора не выйдет или он будет неискренним. В чем дело? Почему он так поступил? Мне казалось, что как опытный политик он не должен был бояться того, что вслед за уже появившимися постановлениями последует довесок именно по рассказу Платонова. Это было не в стиле Сталина, не похоже на него. Или Фадеев все-таки так помнил рискованное положение, в котором когда-то оказался из-за Платонова, что не хотел даже и доли риска, даже самой малейшей — потому что ведь не ему бы, случись что-нибудь, досталось в первую очередь. Или, как это было у него по отношению к некоторым людям, с которыми он столкнулся в более молодые годы, с которыми имел разногласия, которых тогда не любил или которым тогда не доверял, — он держал в памяти Платонова как человека, причинившего лично ему, Фадееву, зло? Как человека, которому вследствие этого ничего не следует прощать, ничего и никогда? Я знал несколько человек в литературе, к которым он именно так относился — без пощады, без отпущения грехов. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но в моем представлении дело было именно так.

А может быть, только вернувшись в Союз по инициативе Сталина, ему хотелось в эти первые месяцы показать себя на высоте задачи, одетого в броню твердости, непогрешимости и памятливости — политической памятливости, и пример этого был показан на Платонове? Не знаю. Во всяком случае, убежден, что никакой инспирации сверху для этой статьи о Платонове не требовалось и ее не было. Сужу по тому, что она при ее разгромной силе не получила никакого дальнейшего отклика. Меня не возили мордой об стол, не устраивали дальнейшей проработки журнала в связи с этой статьей Ермилова. Но обстановка тех месяцев не располагала к тому, чтобы пробовать куда-то жаловаться на эту статью. Рассказ Платонова был по настроениям того времени и по обстановке, сложившейся сразу после постановлений, в чем-то, конечно, уязвим. Можно было пройти мимо него, не вцепившись в него, но защищать его после того, как в него уже вцепились, да еще так громогласно, как это сделал Ермилов, имевший вдобавок пока что — повторяю, пока что — молчаливую поддержку Фадеева, было опасно, — не столько даже для журнала и его редактора, сколько для автора. В общем, мы проглотили эту пилюлю: идти до конца, до самого верха, в этом случае не хватило духу и пороху.

Вскоре после этого в двенадцатом номере ленинградского журнала «Звезда» я напечатал свою очень быстро написанную пьесу «Русский вопрос». Мысли мои были заняты главным образом повестью, которая потом появилась под названием «Дым отечества». К ней я готовился, писал первые заметки, но поездка в Америку требовала и публицистической отдачи. Эренбург напечатал ряд статей, а у меня, кроме двух статей об американском театре, с публицистикой что-то не клеилось. Мне показалось, что рассказать о том, что я знал больше и лучше, ближе наблюдал — не столько даже в самой Америке, сколько перед этим в Японии, — о политических и нравственных проблемах, связанных с жизнью и деятельностью американской прессы, я смогу лучше в драматургической форме. Так я написал «Русский вопрос» — пьесу, действие которой было сосредоточено, в общем, вокруг проблемы, с которой была связана наша поездка в Соединенные Штаты — хотят ли русские войны? Мы им там доказывали это, как умели, доказывали и рассказывали, и это была истинная правда, — не хотят русские войны, не хотят, не могут хотеть. Говорить и доказывать это была главная наша цель — и душевная, и пропагандистская, и какая угодно, полностью соответствовавшая истине. Основные же нападки на Советский Союз, которые в той или иной форме адресовались нам, приехавшим в Соединенные Штаты, были основаны на обратной точке зрения: русские коммунисты хотят завоевать свободный мир. И Америка должна понять всю меру этой опасности. Эта песня сейчас, когда я пишу, вспоминая об этом, кажется уже очень старой, тогда она была сравнительно новой, и мы ее искренне ненавидели, всеми фибрами души.

Итак, вместо публицистики об Америке, которой от меня ждали в разных редакциях, я за три недели написал пьесу «Русский вопрос» и, как уже упомянул, напечатал ее в «Звезде». Она была предназначена к постановке в одном театре — Ленинского комсомола, а пошла в пяти московских театрах — в Художественном, Малом, Вахтангова, Моссовета, Ленинского комсомола, — и в трех ленинградских — в Александринке, в Большом драматическом и в Театре комедии. Как выяснилось, Сталин, особенно внимательно следивший за журналом «Звезда» после постановления ЦК — в этом журнале редактором стал по совместительству московский работник агитпропа ЦК профессор Еголин, — прочел пьесу, она ему показалась то ли хорошей, то ли полезной, — последнее для него как для политика, в чем я потом не раз убеждался, играло, разумеется, первостепенную роль, а вкусовые впечатления только вторую, — и распорядился широко поставить «Русский вопрос». Пьеса, наверное, и так пошла бы по стране широко, но, разумеется, в пяти московских театрах сразу ее бы никто не ставил.

Уже не помню сейчас, что предшествовало чему — Сталинская премия за эту пьесу распоряжению о постановке ее в пяти театрах Москвы или постановка — премии. Но не в этом суть дела, а в том, насколько категоричным было указание. Когда я пришел в Комитет по делам искусств и попросил тогдашнего его председателя, чтобы — да простится мне это задним числом — пьесу не ставили хотя бы в пятом московском театре, в Вахтанговском, — о чем я узнал в последнюю очередь, он в ответ только развел руками, сказал, что это вопрос решенный, решенный не им, и не в его возможностях что-либо тут менять.

Весной сорок седьмого года — уже состоялись премьеры «Русского вопроса» в Москве и Ленинграде — я узнал от ленинградских своих друзей, от Юрия Павловича Германа, с которым мы подружились на севере, в Мурманске и Полярном, в годы войны, что у Михаила Зощенко есть несколько десятков написанных им в годы войны, но не напечатанных партизанских рассказов. Рассказы эти Зощенко в свое время предпола-

гал печатать, но потом вышло то, что вышло, и они у него лежат недвижимо и бесперспективно. А рассказы по сути своей не могут вызвать никаких возражений, просто они не все одинаково интересны — одни интереснее, другие менее интересны, но с точки зрения достоверности того, что в этих рассказах изложено, с точки зрения уважения автора к героям этих рассказов они безукоризненны. Дело не в самих рассказах, а в том, что их написал Зощенко, о котором сказано в докладе Жданова, что у него гнилая и растленная общественно-политическая и литературная физиономия, а в постановлении ЦК он назван пошляком и подонком. Но рассказы сами по себе можно напечатать и сделать этим первый шаг к тому, чтобы вывести Зощенко из того ужасающего положения, в котором он оказался, — и если бы ты вдруг взял и решился...

Так и кончился этот разговор или примерно так. Я подумал, подумал и решился — сначала на то, чтобы вызвать Зощенко в Москву и прочесть его рассказы, а потом на то, чтобы отобрать около половины этих рассказов, которые мне показались лучшими, и, действуя уже на свой страх и риск, без обсуждения на редколлегии, перепечатав эти рассказы вместе с коротеньким предисловием Зощенко, отправить их Жданову, находившемуся тогда в Москве и руководившему вопросами идеологии, с моим письмом о том, что я считаю возможным напечатать эти рассказы на страницах «Нового мира», на что, в связи со всеми известными предшествующими событиями, прошу разрешения ЦК.

Привез я эти рассказы со своим письмом и отдал из рук в руки помощнику Жданова — Александру Николаевичу Кузнецову, человеку, на мой взгляд, хорошему, доброжелательно относившемуся к писателям, в том числе и ко мне.

Прошло какое-то время. Я стал звонить Кузнецову. «Нет, пока не прочтено». Снова: «Нет, пока у Андрея Александровича не было времени прочесть». «Да, напомнил, но пока не было времени прочесть».

Наконец, после очередного звонка, Кузнецов доверительно сказал мне, что, насколько он понял, Андрей Александрович познакомился с рассказами, но сейчас, как ему кажется, времени для встречи со мной у Андрея Александровича нет, и он советует мне позвонить ему самому, но не раньше, чем недели через две.

Я внял этому совету и стал ждать.

Тем временем Фадеев, подготовив вместе с нами, другими секретарями, соответствующие материалы, послал письмо Сталину с просьбой принять руководителей Союза писателей по тем двум вопросам, которые ставились в письме.

6 марта 1979 года

Главным из этих двух вопросов был вопрос об изменениях в авторском праве в связи со сложившимся после войны трудным материальным положением писателей. Вторым — вопрос о реорганизации Союза писателей, о его новых штатах и ставках, в связи с гораздо большим объемом тех задач, которые перед ним теперь ставились.

И вот, не то утром 13 мая, не то накануне, теперь уже не помню, Фадееву, Горбатову и мне было сообщено, что Сталин примет нас 13 мая в шесть часов вечера, чтоб мы явились к этому времени в Кремль.

Далее мне предстоит привести запись продиктованного мною стенографистке на следующий день после этой встречи. Точно такие же записи, в тот же день или на следующий, я делал впоследствии и в остальных случаях, когда нас вызывали к Сталину. Все, что было записано мною тогда непосредственно, я приведу полностью, так, как оно было записано. Но записывал я по ряду обстоятельств не все. Пропускал ряд вопросов, проблем, имен, которые считал невозможным записывать тогда. Встречи эти мне запомнились очень хорошо, что, впрочем, не исключает каких-то мелких неточностей, но именно мелких, и это дает мне возможность делать сейчас вставки там, где я в свое время делал пропуски. Для того, чтобы понять эту систему записи, надо мысленно окунуться в то время и представить себе, что не только, само собой разумеется, делать какие бы то ни было записи во время встреч со Сталиным было не принято и невозможно, и не приходило в голову, но и вряд ли считалось возможным делать записи такого рода и задним числом. В общем,

я записывал то, что считал себя вправе записывать, и старался как можно крепче сохранить в памяти то, что считал себя не вправе записывать. По ходу дела я в каждом случае, вспоминая эти встречи, буду указывать, где приведен текст тогдашних записей и где мои нынешние дополнения к ним. Сами эти записи я буду приводить с небольшой правкой, не имеющей отношения к существу дела, а лишь к качеству изложения, потому что они делались так скоропалительно, что маленькая литературная правка просто необходима. От соблазна же казаться и другим, и себе самому умней и дальновидней, чем ты когда-то был, то есть от правки старых записей по существу, я себя предостерег уже давно, много лет назад, еще при начале работы над военными дневниками, сдав в ЦГАЛИ на закрытое хранение подлинники всех моих старых дневниковых записей, в том числе и тех, о которых сейчас идет речь.

Итак, запись, сделанная 14 мая 1947 года:

«Тринадцатого мая Фадеев, Горбатов и я были вызваны к шести часам вечера в Кремль к Сталину. Без пяти шесть мы собрались у него в приемной в очень теплый майский день, от накаленного солнцем окна в приемной было даже жарко. Посередине приемной стоял большой стол с разложенной на нем иностранной прессой — еженедельниками и газетами. Я так волновался, что пил воду.

В три или четыре минуты седьмого в приемную вошел Поскрёбышев и пригласил нас. Мы прошли еще через одну комнату и открыли дверь в третью. Это был большой кабинет, отделанный светлым деревом, с двумя дверями — той, в которую мы вошли, и второй дверью в самой глубине кабинета слева. Справа, тоже в глубине, вдали от двери стоял письменный стол, а слева вдоль стены еще один стол — довольно длинный, человек на двадцать — для заседаний.

Во главе этого стола, на дальнем конце его, сидел Сталин, рядом с ним Молотов, рядом с Молотовым Жданов. Они поднялись нам навстречу. Лицо у Сталина было серьезное, без улыбки. Он деловито протянул каждому из нас руку и пошел обратно к столу. Молотов приветливо поздоровался, поздравил нас с Фадеевым с приездом, очевидно, из Англии, откуда мы не так давно вернулись, пробыв там около месяца в составе нашей парламентской делегации.

После этого мы все трое — Фадеев, Горбатов и я — сели рядом по одну сторону стола, Молотов и Жданов сели напротив нас, но не совсем напротив, а чуть поодаль, ближе к сидевшему во главе стола Сталину.

Все это, конечно, не столь существенно, но мне хочется запомнить эту встречу во всех подробностях.

Перед Ждановым лежала докладная красная папка, а перед Сталиным — тонкая папка, которую он сразу открыл. В ней лежали наши письма по писательским делам. Он вслух прочел заголовок: «В Совет Министров СССР» — и добавил что-то, что я не до конца расслышал, что-то вроде того, что вот получили от вас письмо, давайте поговорим.

Разговор начался с вопроса о гонораре.

— Вот вы ставите вопрос о пересмотре гонораров, — сказал Сталин. — Его уже рассматривали.

— Да, но решили неправильно, — сказал Фадеев и стал объяснять, что в сложившихся при нынешней системе гонораров условиях писатели за свои хорошие книги, которые переиздаются и переиздаются, вскоре перестают что-либо получать. С этого Фадеев перешел к вопросу о несоответствии в оплате малых и массовых тиражей, за которые тоже платят совершенно недостаточно. В заключение Фадеев еще раз повторил, что вопрос о гонорарах был решен неверно.

Выслушав его, Сталин сказал:

— Мы положительно смотрим на пересмотр этого вопроса. Когда мы устанавливали эти гонорары, мы хотели избежать такого явления, при котором писатель напишет одно хорошее произведение, а потом живет на него и ничего не делает. А то написали по хорошему произведению, настроили себе дач и перестали работать. Нам денег не жалко, — добавил он, улыбнувшись, — но надо, чтобы этого не было. В литературе установить четыре категории оценок, разряды. Первая категория — за отличное произведение, вторая — за хорошее и третья и четвертая категории, — установить шкалу, как вы думаете?

Мы ответили, что это будет правильно.

— Ну что ж,— сказал Сталин,— я думаю, что этот вопрос нельзя решать письмом или решением, а надо сначала поработать над ним, надо комиссию создать. Товарищ Жданов,— повернулся он к Жданову,— какое у вас предложение по составу комиссии?

— Я бы вошел в комиссию,— сказал Жданов.

Сталин засмеялся, сказал:

— Очень скромное с вашей стороны предложение.

Все расхохотались.

После этого Сталин сказал, что следовало бы включить в комиссию присутствующих здесь писателей.

— Зверева, как министра финансов,— сказал Фадеев.

— Ну что же,— сказал Сталин,— он человек опытный. Если вы хотите,— Сталин подчеркнул слово «вы»,— можно включить Зверева. И вот еще кого,— добавил он,— Мехлиса,— добавил и испытующе посмотрел на нас.— Только он всех вас там сразу же разгонит, а?

Все снова рассмеялись.

— Он все же как-никак старый литератор,— сказал Жданов».

Прервав свою тогдашнюю запись, забегу вперед и скажу, что, когда впоследствии дважды или трижды собиралась комиссия, созданная в тот день, то Мехлис обманул действительно существовавшие у нас на его счет опасения, связанные с хорошо известной нам жесткостью его характера. По всем гонорарным вопросам он поддержал предложения писателей, а когда финансисты выдвинули проект — начиная с такого-то уровня годового заработка, выше него — взимать с писателей пятьдесят один процент подоходного налога,— Мехлис буквально вскипел:

— Надо все-таки думать, прежде чем предлагать такие вещи. Вы что, хотите обложить литературу как частную торговлю? Или собираетесь рассматривать отдельно взятого писателя как кустаря без мотора? Вы что, собираетесь бороться с писателями, как с частным сектором, во имя какой-то другой формы организации литературы — писания книг не в одиночку, не у себя за столом?

Тирада Мехлиса на этой комиссии была из тех, что хорошо и надолго запоминаются. Этой желчной тирадой он сразу обрушил всю ту налоговую надстройку, которую предлагалось возвести над литературой. Ни к литературе, ни к писателям, насколько я успел заметить, Мехлис пристрастия не питал, но он был политик и считал литературу частью идеологии, а писателей — советскими служащими, а не кустарями-одиночками.

Сделав это отступление или, вернее, чуть забежав в будущее, возвращаюсь к своей записи от 14 мая сорок седьмого года:

« — Итак, кого же в комиссию?— спросил Сталин.

Жданов перечислил всех, кого намеревались включить в комиссию.

— Хорошо,— сказал Сталин.— Теперь второй вопрос: вы просите штат увеличить. Надо будет увеличить им штат.

Жданов возразил, что предлагаемые Союзом писателей штаты все-таки раздуты. Сто двадцать два человека вместо семидесяти.

— У них новый объем работы,— сказал Сталин,— надо увеличить штаты.

Жданов повторил, что проектируемые Союзом штаты нужно все-таки срезать.

— Нужно все-таки увеличить,— сказал Сталин.— Есть отрасли новые, где не только увеличивать приходится, но создавать штаты. А есть отрасли, где штаты разбухли, их нужно срезать. Надо увеличить им штаты.

На этом вопрос о штатах закончился.

Следующий вопрос касался писательских жилищных дел.

Фадеев стал объяснять, как плохо складывается сейчас жилищное положение у писателей и как они нуждаются в этом смысле в помощи, тем более что жилье писателя это, в сущности, его рабочее место.

Сталин внимательно выслушал все объяснения Фадеева и сказал, чтобы в комиссию включили председателя Моссовета и разобрались с этим вопросом. Потом, помолчав, спросил:

— Ну, у вас, кажется, все?

До этого момента наша встреча со Сталиным длилась так недолго, что мне вдруг стало страшно жаль: вот сейчас все это оборвется, кончится, да, собственно говоря, уже и кончилось.

— Если у вас все, тогда у меня есть к вам вопрос. Какие темы сейчас разрабатывают писатели?

Фадеев ответил, что для писателей по-прежнему центральной темой остается война, а современная жизнь, в том числе производство, промышленность, пока находит еще куда меньше отражения в литературе, причем, когда находит, то чаще всего у писателей-середнячков.

— Правда,— сказал Фадеев,— мы посылали некоторых писателей в творческие командировки, послали около ста человек, но по большей части это тоже писатели-середняки.

— А почему не едут крупные писатели?— спросил Сталин.— Не хотят?

— Трудно их раскачать,— сказал Фадеев.

— Не хотят ехать,— сказал Сталин.— А как вы считаете, есть смысл в таких командировках?

Мы ответили, что смысл в командировках есть. Доказывая это, Фадеев сослался на первые пятилетки, на «Гидроцентраль» Шагинян, на «Время, вперед!» Катаева и на несколько других книг.

— А вот Толстой не ездил в командировки,— сказал Сталин.

Фадеев возразил, что Толстой писал как раз о той среде, в которой он жил, будучи в Ясной Поляне.

— Я считал, что когда серьезный писатель серьезно работает, он сам поедет, если ему нужно,— сказал Сталин.— Как, Шолохов не ездит в командировки?— помолчав, спросил он.

— Он все время в командировке,— сказал о Шолохове Фадеев.

— И не хочет оттуда уезжать?— спросил Сталин.

— Нет,— сказал Фадеев,— не хочет переезжать в город.

— Боится города,— сказал Сталин.

Наступило молчание. Перед этим, рассказывая о командировках, Фадеев привел несколько примеров того, как трудно посылать в командировки крупных писателей. Среди других упомянул имя Катаева. Очевидно, вспомнив это, Сталин вдруг спросил:

— А что Катаев, не хочет ездить?

Фадеев ответил, что Катаев работает сейчас над романом, который будет продолжением его книги «Белеет парус одинокий», и что новая работа Катаева тоже связана с Одессой, с коренной темой Катаева.

— Так он над серьезной темой работает?— спросил Сталин.

— Над серьезной, над коренной для него,— подтвердили мы.

Опять наступило молчание.

— А вот есть такая тема, которая очень важна,— сказал Сталин,— которой нужно, чтобы заинтересовались писатели. Это тема нашего советского патриотизма. Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, врачей,— сказал Сталин, строя фразы с той особенной, присущей ему интонацией, которую я так отчетливо запомнил, что, по-моему, мог бы буквально ее воспроизвести,— у них недостаточно воспитано чувство советского патриотизма. У них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Всё чувствуют себя еще несовершеннолетними, не стопроцентными, привыкли считать себя на положении вечных учеников. Это традиция отсталая, она идет от Петра. У Петра были хорошие мысли, но вскоре налезло слишком много немцев, это был период преклонения перед немцами. Посмотрите, как было трудно дышать, как было трудно работать Ломоносову, например. Сначала немцы, потом французы, было преклонение перед иностранцами,— сказал Сталин и вдруг, лукаво прищурясь, чуть слышной скороговоркой прорифмовал: — засранцами,— усмехнулся и снова стал серьезным.

7 марта 1979 года

— Простой крестьянин не пойдет из-за пустяков кланяться, не станет ломать шапку, а вот у таких людей не хватает достоинства, патриотизма, понимания той роли, которую играет Россия. У военных тоже было такое преклонение. Сейчас стало меньше. Теперь нет, теперь они и хвосты задрали.

Сталин остановился, усмехнулся и каким-то неуловимым жестом показал, как задрали хвосты военные. Потом спросил:

— Почему мы хуже? В чем дело? В эту точку надо долбить много лет, лет десять эту тему надо вдалбливать. Бывает так: человек делает великое дело и сам этого не понимает, — и он снова заговорил о профессоре, о котором уже упоминал. — Вот взять такого человека, не последний человек, — еще раз подчеркнуто повторил Сталин, — а перед каким-то подлецом-иностранцем, перед ученым, который на три головы ниже его, преклоняется, теряет свое достоинство. Так мне кажется. Надо бороться с духом самоуничижения у многих наших интеллигентов.

Сталин повернулся к Жданову.

— Дайте документ.

Жданов вынул из папки несколько скрепленных между собой листков с печатным текстом. Сталин перелистал их, в документе было четыре или пять страниц. Перелистав его, Сталин поднялся из-за стола и, передав документ Фадееву, сказал:

— Вот, возьмите и прочитайте сейчас вслух.

Фадеев прочитал вслух. Это был документ, связанный как раз со всем тем, о чем только что говорил Сталин. Пока не могу изложить здесь его содержание...»

Документ, содержание которого тогда, 14 мая 1947 года, я считал невозможным для себя излагать, был опубликованным затем в печати письмом о так называемом деле Клюевой и Роскина[1]. Появление этого письма в печати было началом той борьбы с самоуничижением, самоощущением не стопроцентности, с неоправданным преклонением перед заграничной культурой, о которой Сталин сказал, что в эту точку надо долбить много лет.

Борьба эта очень быстро стала просто и коротко формулироваться как борьба с низкопоклонством перед заграницей и так же быстро приняла разнообразные уродливые формы, которыми почти всегда отличается идейная борьба, превращаемая в шумную политическую кампанию, с одной стороны, подхлестываемую, а с другой, приобретающую опасные элементы саморазвития. Многое из написанного и напечатанного тогда стыдно читать сейчас, в том числе и появившееся из-под твоего пера или за твоей редакторской подписью. Однако при всем том, что впоследствии столь уродливо развернулось в кампанию, отмеченную в некоторых своих проявлениях печатью варварства, а порой и прямой подлости, в самой идее о необходимости борьбы с самоуничижением, с самоощущением не стопроцентности, с неоправданным преклонением перед чужим в сочетании с забвением собственного, здравое зерно тогда, весной сорок седьмого года, разумеется, было. Элементы всего этого реально существовали и проявлялись в обществе, возникшая духовная опасность не была выдумкой, и вопрос, очевидно, сводился не к тому, чтобы отказаться от духовной борьбы с подобными явлениями, в том числе и средствами литературы, а в том, как вести эту борьбу — пригодными для нее и соответствующими ее, по сути говоря, высоким общественным целям методами или методами грубыми и постыдными, запугивавшими, но не убеждавшими людей, то есть теми, которыми она чаще всего впоследствии и велась.

Фадеев начал читать письмо, которое передал ему Сталин. Сталин до этого, в начале беседы, больше стоял, чем сидел, или делал несколько шагов взад и вперед позади его же стула или кресла. Когда Фадеев стал читать письмо, Сталин продолжал ходить, но уже не там, а делая несколько шагов взад и вперед вдоль стола с нашей стороны и поглядывая на нас. Прошло много лет, но я очень точно помню свое, не записанное тогда ощущение. Чтобы не сидеть спиной к ходившему Сталину, Фадеев инстинктивно полуобернулся к нему, продолжая читать письмо, и мы с Горбатовым тоже повернулись. Сталин ходил, слушал, как читает Фадеев, слушал очень внимательно, с серьезным и даже напряженным выражением лица. Он слушал, с какими интонациями Фадеев читает, он хотел знать, что чувствует Фадеев, читая это письмо, и что испытываем мы, слушая это чтение. Продолжая ходить, бросал на нас взгляды, следя за впечатлением, производимым на нас чтением.

До этого с самого начала встречи я чувствовал себя по-другому, довольно свободно в той атмосфере, которая зависела от Сталина и которую он создал. А тут почувствовал себя напряженно и неуютно. Он так смотрел на нас и так слушал фадеевское чтение, что за этим была какая-то нота опасности — и не вообще, а в частности для нас, сидевших там. Делал пробу, проверял на нас — очевидно, на первых людях из этой категории, на одном знаменитом и двух известных писателях, — какое впечатление производит на нас, интеллигентов, коммунистов, но при этом интеллигентов, то, что он продиктовал в этом письме о Клюевой и Роскине, тоже о двух интеллигентах. Продиктовал, может быть, или сам написал, вполне возможно. Во всяком случае, это письмо было продиктовано его волей — ничьей другой.

Когда Фадеев дочитал письмо до конца, Сталин, убедившись в том, что прочитанное произвело на нас впечатление, — а действительно так и было, — видимо, счел лишним или ненужным спрашивать наше мнение о прочитанном.

Сейчас, много лет спустя, вспоминая ту минуту, я признателен ему за это.

Как свидетельствует моя запись, сделанная 14 мая сорок седьмого года, когда письмо было прочитано, Сталин только повторил то, с чего начал:

— Надо уничтожить дух самоуничижения, — и добавил: — Надо на эту тему написать произведение. Роман.

Я сказал, что это скорее тема для пьесы.

Прежде, чем приводить дальше свою старую запись, прерву себя тогдашнего и добавлю, что слова эти выскочили из меня совершенно непроизвольно, просто как профессиональное соображение, которое действительно подсказывало, что тема, о которой шла речь, скорей для сцены, чем для книги. В тот момент я совершенно не думал о себе, не думал о том, что я сам драматург, я сидел в самой середине повести «Дым отечества» и не думал и не в состоянии был думать ни о чем другом, считая, что, доведя до конца эту работу, как писатель выполню самый прямой свой партийный долг. Может быть, именно из-за забвения всяких других возможностей, кроме этой, у меня и выскочила эта проклятая фраза: «Скорей для пьесы», поставившая впоследствии передо мной очень тяжелую для меня проблему, чего я в тот момент ни в малой степени не предвидел, тем более что Сталин, казалось, не обратил никакого внимания на мою реплику.

Вернусь к записи того дня:

« — Надо противопоставить отношение к этому вопросу таких людей, как тут, — сказал Сталин, кивнув на лежащие на столе документы, — отношению простых бойцов, солдат, простых людей. Эта болезнь сидит, она прививалась очень долго, со времен Петра, и сидит в людях до сих пор.

— Бытие новое, а сознание старое, — сказал Жданов.

— Сознание, — усмехнулся Сталин. — Оно всегда отстает. Поздно приходит сознание, — и снова вернулся к тому же, о чем уже говорил. — Надо над этой темой работать.

Потом он перешел к вопросу, о котором я не могу здесь писать...»

Здесь мне придется остановить себя на середине фразы, записанной тогда, и рассказать, что это за вопрос — совершенно неожиданный для всех нас троих. Разумеется, было бы странно через столько лет пре-

---

[1] В предвоенные годы профессора Н. Г. Клюева и Г. И. Роскин создали противораковый препарат «КР» («круцин», французский аналог «трипазон»), вопрос о действенности которого до сих пор вызывает споры специалистов. По просьбе авторов, рукопись их выходившей в Советском Союзе монографии «Биотерапия злокачественных опухолей» (Изд-во АМН СССР, М., 1946) академик-секретарь АМН СССР В. В. Парин во время своего визита в США в 1946 г. в порядке научной информации передал американским издателям. Сталин, уверовавший в величайшую ценность «КР», счел это выдачей важнейшей государственной тайны. В. В. Парин по обвинению в шпионаже был приговорен к 25 годам заключения. Н. Г. Клюева и Г. И. Роскин, а также снятый со своей должности министр здравоохранения Г. А. Митерев предстали перед «судом чести», по всей стране была проведена широкая кампания осуждения всех участников той истории как космополитов. После XX съезда КПСС все они были полностью реабилитированы. (См. об этом: Я. Рапопорт. Дело «КР»; В. Бродский, В. Калинникова. Открытие состоялось. «Наука и жизнь», 1988, № 1).

тендовать на дословное изложение сказанного, но не записанного тогда, однако мне столько раз доводилось потом, особенно в пору моей работы редактором «Литературной газеты», вспоминать об этом — по внутренней, а также по служебной необходимости, — что от такого мысленного повторения происшедшего тогда разговора он застрял в памяти прочнее многого другого. В сущности, это был не столько разговор, сколько получасовой монолог Сталина, начавшийся со слов: «Мы здесь думаем», — Сталин вообще, и как мне помнится, и как это было мной записано тогда, редко говорил «я», предпочитал «мы».

— Мы здесь думаем, — сказал он, — что Союз писателей мог бы начать выпускать совсем другую «Литературную газету», чем он сейчас выпускает. Союз писателей мог бы выпускать своими силами такую «Литературную газету», которая одновременно была бы не только литературной, а политической, большой, массовой газетой. Союз писателей мог бы выпускать такую газету, которая остро, более остро, чем другие газеты, ставила бы вопросы международной жизни, а если понадобится, то и внутренней жизни. Все наши газеты — так или иначе официальные газеты, а «Литературная газета» — газета Союза писателей, она может ставить вопросы неофициально, в том числе и такие, которые мы не можем или не хотим поставить официально. «Литературная газета» как неофициальная газета может быть в некоторых вопросах острее, левее нас, может расходиться в остроте постановки вопроса с официально выраженной точкой зрения. Вполне возможно, что мы иногда будем критиковать за это «Литературную газету», но она не должна бояться этого, она, несмотря на критику, должна продолжать делать свое дело.

Я очень хорошо помню, как Сталин ухмыльнулся при этих словах.

— Вы должны понять, что мы не всегда можем официально высказаться о том, о чем нам хотелось бы сказать, такие случаи бывают в политике, и «Литературная газета» должна нам помогать в этих случаях. И вообще, не должна слишком бояться, слишком оглядываться, не должна консультировать свои статьи по международным вопросам с Министерством иностранных дел. Министерство иностранных дел не должно читать эти статьи. Министерство иностранных дел занимается своими делами, «Литературная газета» — своими делами. Сколько у вас сейчас выпускают экземпляров газеты?

Фадеев ответил, что тираж газеты что-то около пятидесяти тысяч.

— Надо сделать его в десять раз больше. Сколько вы раз в месяц выпускаете газету?

— Четыре раза, раз в неделю, — ответил Фадеев.

— Надо будет новую «Литературную газету» выпускать два раза в неделю, чтобы ее читали не раз, а два раза в неделю, и в десять раз больше людей. Как ваше мнение, сможете вы в Союзе писателей выпускать такую газету?

Мы ответили, что, наверное, сможем.

— А когда можете начать это делать?

Не помню, кто из нас, может быть, даже и я, вспомнив о том, как я впопыхах принимал журнал, ответил, что выпуск такой, совершенно нового типа газеты потребует, наверное, нескольких месяцев подготовки и ее, очевидно, можно будет начать выпускать где-то с первого сентября, с начала осени.

— Правильно, — сказал Сталин, — подготовка, конечно, нужна. Слишком торопиться не надо. А то, что вам будет надо для того, чтобы выпустить такую газету, вы должны попросить, а мы должны вам помочь. И мы еще поду аем, когда вы начнете выпускать газету и справитесь с этим, мы, может быть, предложим вам, чтобы вы создали при «Литературной газете» свое собственное, неофициальное телеграфное агентство для получения и распространения неофициальной информации.

Таким примерно был этот монолог Сталина, занявший, как у меня было записано тогда, примерно полчаса.

Текст, который я сейчас записал, при чтении вслух, наверное, уложился бы в десять минут, но я не думаю, что я тогда ошибся, написав «полчаса». Сталин, как всегда, говорил очень неторопливо, иногда повторял сказанное, останавливался, молчал, думал, прохаживался. Види-

мо, вопрос был продуман им заранее, но какие-то подробности, повороты приходили в голову сейчас, по ходу разговора. Мне, например, показалось, что идея создания телеграфного агентства возникла вдруг и именно здесь после какой-то долгой паузы, во время которой он размышлял над этим, и он высказал ее с удовольствием, был доволен ею.

Вообще мне показалось, что идея создания другой, новой «Литературной газеты», дополнительная идея о создании неофициального телеграфного агентства — нравилась ему самому. Он говорил об этом с удовольствием, ему нравилось, что эта идея нам нравится, чувствовалось, что он хочет внушить нам решимость смелей и свободней подходить ко всем вопросам, связанным с этой будущей газетой.

Закончил свой разговор о «Литгазете» Сталин тем, что сказал, что, очевидно, нам для новой газеты придется подумать и о новых людях, о новых работниках, о новой редколлегии, быть может, и о новом редакторе, но обо всем этом предстоит подумать нам самим, это уж наше дело.

Так — не по идее Союза писателей, как это чаще всего принято считать, а по идее Сталина — через несколько месяцев начала выходить совсем другая, чем раньше, «Литературная газета», правда, без своего неофициального телеграфного агентства. АПН, начальная идея создания которого была высказана тогда, тринадцатого мая 1947 года, было создано через много лет после этого и уже после смерти Сталина.

Вернусь к записи сорок седьмого года:

«Когда вопрос с «Литературной газетой» был решен, Сталин спросил нас полуожидающе:

— Ну, кажется, все вопросы?

Я сказал:

— Товарищ Сталин, разрешите один вопрос?

— Пожалуйста, хоть два, — сказал Сталин.

Я сказал, что вот уже полгода редактирую журнал и столкнулся при этом с большими трудностями в постановке общественных вопросов. На то, чтобы действительно делать журнал не только литературно-художественным, но и общественно-политическим, мне не хватает объема, потому что если мы, скажем, печатаем в номере повесть, то при объеме журнала в двенадцать листов и при желании дать читателю прочесть эту повесть всю сразу, мы можем напечатать на этих двенадцати листах только ее, несколько стихотворений, одну-две критические статьи и библиографию, из-за этого приходится отказываться от очерков, от интересных научных материалов, а хотелось бы делать журнал более широкого профиля.

Я, начав говорить, запамятовал сказать, какой журнал я редактирую, и Жданов счел нужным меня представить как редактора «Нового мира».

— Так, — сказал Сталин. — А не получится другая история, что на такой журнал у вас не хватит материала? По тому, что я наблюдал, у редакторов имелась обратная тенденция — сдваивать номера. И «Знамя», и «Октябрь», и «Новый мир» — все сдваивали номера.

Я ответил, что «Новый мир» в этом году у нас ни разу не сдвоен, что я не даю его сдваивать, что материал у меня есть и что, если представить себе среднего интеллигента в провинции, который не имеет возможности выписывать три-четыре журнала, получает один, то хотелось бы, чтобы он получал более энциклопедический журнал, чтобы чтение такого журнала более всесторонне расширяло его культурный горизонт. К этому я добавил, что, начиная редактировать журнал, я прочел ряд номеров «Современника» и убедился в широте и многообразии тех вопросов, которые там ставились.

Сталин сказал:

— Это верно. Вот, например, журнал «Современный мир», журнал «Мир божий» (Жданов сказал, что вначале «Мир божий», а потом «Современный мир») ставили вопросы науки очень широко, и это, конечно, очень интересно для читателя. Правда, в то время не было таких журналов, как «Знание — сила», как «Техника молодежи», и других научных журналов».

Оторвавшись от своей тогдашней записи, скажу сейчас, что, когда Сталин после приведенного мною примера с «Современником» вдруг на-

звал не только «Современный мир», но и «Мир божий», я в первую секунду подумал, не ослышался ли я, настолько странным мне показалось сочетание названия журнала «Мир божий» с тем, что именно его вспомнил Сталин в связи с «Современником». Только на следующий день или через день, с помощью Ленинской библиотеки познакомившись с комплектами журнала «Божий мир», я вполне пришел в себя от первого чувства удивления. «Божий мир», если я не ошибаюсь, сейчас вспоминая это, редактировал Богданович, один из наиболее левых и прогрессивных русских редакторов начала века. В журнале действительно были широко представлены научные темы, а с точки зрения общего направления журнал велся в духе легального марксизма, и название его «Мир божий» было просто удобной и облегчавшей ведение дела вывеской. Вот о каком журнале вспомнил Сталин, а вслед за ним Жданов.

Возвращаюсь к тогдашней записи:

« — А вы будете обеспечены материалом, если мы вам увеличим объем? — снова спросил Сталин.

Я сказал, что мы не были свободны от ошибок и раньше, располагая двенадцатью листами на номер, случалось, что мы ошибались, что ошибки и промахи возможны и в будущем, но я думаю, что материала окажется достаточно, я приложу все силы к тому, чтобы делать полноценный журнал при восемнадцатилистном объеме. Я попросил, чтобы — удастся или не удастся сделать полноценный журнал такого объема — попробовали на мне, и если я справлюсь с этим в течение второго полугодия сорок седьмого года, то можно поставить вопрос и о дальнейшем выходе журнала в таком объеме, а если не справлюсь, объем всегда можно сократить, вновь довести его до нынешнего.

— Да, — сказал Сталин, — журнал стал лучше. Вот и «Звезда» печатает интересные статьи, часто интереснее, чем в «Большевике», философские статьи, научные. «Звезда» и «Новый мир» стали заметно лучше. А все-таки не получится так, что у вас не будет материала? — в третий раз настойчиво повторил Сталин.

Я еще раз сказал, что приложу все усилия.

— Ну, что же, надо дать, надо попробовать, — сказал Сталин. — Но если вам дать, то все другие журналы шум поднимут. Как с этим быть?

Я попросил, чтоб сначала попробовали с нами, с «Новым миром», а там уже будет видно на нашем опыте.

Фадеев поддержал меня, сказав, что действительно до конца этого года стоит попробовать с одним журналом, а там будет видно.

— Хорошо, — согласился Сталин. — Давайте. Давайте увеличим «Новый мир». Сколько вам надо листов?

Я повторил то, что уже сказал, — восемнадцать.

— Дадим семнадцать листов, — сказал Сталин.

Я сказал, что поскольку в журнале будут созданы научный и международный отделы, то нам нужно будет увеличить и штаты. Мне нужны будут два заведующих отделами.

Сталин улыбнулся:

— Ну, это тоже дайте в комиссию.

Жданов сказал, что у него есть мое ходатайство о ставках для работников журнала.

— Нам не жалко денег, — сказал Сталин и еще раз повторил: — Нам не жалко денег.

Я объяснил, что заведующий отделом у нас получает всего тысячу двести рублей (разумеется, тогдашними деньгами. — *К. С.*).

— Решить и этот вопрос на комиссии, — сказал Сталин и в третий раз повторил: — Нам не жалко денег.

После этого Фадеев заговорил об одном писателе, который находился в особенно тяжелом материальном положении.

— Надо ему помочь, — сказал Сталин и повторил: — Надо ему помочь. Дать денег. Только вы его возьмите и напечатайте, и заплатите. Зачем подачки давать? Напечатайте — и заплатите.

Жданов сказал, что он получил недавно от этого писателя прочувствованное письмо. Сталин усмехнулся.

— Не верьте прочувствованным письмам, товарищ Жданов.

Все засмеялись».

«Потом, когда все будет в прошлом, это место я еще дополню», — так стоит у меня в моей тогдашней записи. Чем же я собирался ее дополнить, когда все будет в прошлом? А вот чем. После того, как Сталин отнесся положительно ко всем моим предложениям как редактора «Нового мира», после этого вдобавок еще ответил Фадееву про того писателя, имя которого я тогда, видимо, из чувства такта опустил, а сейчас не могу вспомнить, «напечатайте и заплатите», — я вдруг решился на то, на что не решался до этого, хотя и держал в памяти, и сказал про Зощенко — про его «Партизанские рассказы», основанные на записях рассказов самих партизан, — что я отобрал часть этих рассказов, хотел бы напечатать их в «Новом мире» и прошу на это разрешения.

— А вы читали эти рассказы Зощенко? — повернулся Сталин к Жданову.

— Нет, — сказал Жданов, — не читал.

— А вы читали? — повернулся Сталин ко мне.

— Я читал, — сказал я и объяснил, что всего рассказов у Зощенко около двадцати, но я отобрал из них только десять, которые считаю лучшими.

— Значит, вы как редактор считаете, что это хорошие рассказы? Что их можно печатать?

Я ответил, что да.

— Ну, раз вы как редактор считаете, что их надо печатать, печатайте. А мы, когда напечатаете, почитаем.

Думаю сейчас, спустя много лет, что в последней фразе Сталина был какой-то оттенок присущего ему полускрытого, небезопасного для собеседника юмора, но, конечно, поручиться за это не могу. Это мои нынешние догадки, тогда я этого не подумал, слишком я был взволнован — сначала тем, что решился сам заговорить о Зощенко, потом тем, что неожиданно для меня Жданов, который, по моему представлению, читал рассказы, сказал, что он их не читал; потом тем, что Сталин разрешил печатать эти рассказы.

Все могло быть, конечно, и несколько иначе, чем я тогда подумал, надо допустить и такую возможность: хотя Жданов и читал эти рассказы, он не хотел говорить со мной о них, зная или предполагая, что вскоре должна состояться там, у Сталина, встреча с писателями, в том числе и со мной. Допускаю, что до этой встречи, когда Жданов получил от меня рассказы Зощенко, он мог предполагать, что я решусь заговорить о них и, заранее прочитав их, обговорил тоже заранее этот вопрос со Сталиным и поэтому ответил, что он не читал эти рассказы, чтобы посмотреть, как я после этого выскажу свое собственное мнение там, у Сталина. Таков один ход моих нынешних размышлений в пользу Жданова. Но могло быть и иначе, могло и не быть никакого разговора, мог Сталин не поверить или не до конца поверить в то, что Жданов не читал эти рассказы, тогда скрытая ирония его последних слов относилась, видимо, не ко мне.

Мне остается теперь привести конец своей записи сорок седьмого года с единственным дополнением — восстанавливаю опущенную мной тогда при записи фамилию.

Итак, окончание записи:

« — Какое ваше мнение о Ванде Василевской как о писателе? — спросил Сталин в конце разговора. — В ваших внутрписательских кругах? Как они относятся к ее последнему роману?

— Неважно, — ответил Фадеев.

— Почему? — спросил Сталин.

— Считают, что он неважно написан.

— А как вообще вы расцениваете в своих кругах ее как писателя?

— Как среднего писателя, — сказал Фадеев.

— Как среднего писателя? — переспросил Сталин.

— Да, как среднего писателя, — повторил Фадеев.

Сталин посмотрел на него, помолчал, и мне показалось, что эта оценка как-то его огорчила. Но внешне он ничем это не выразил и ничего не возразил. Спросил нас, есть ли у нас еще какие-нибудь вопросы. Мы ответили, что нет.

— Ну, тогда все.

Сталин встал. За ним встали Жданов и Молотов.

— До свиданья, — Сталин сделал нам приветственный жест, который я впервые видел, когда много лет назад в первый раз проходил по Красной площади на демонстрации, — полуотдание чести, полупомахивание.

Сталин был вчера одет в серого цвета китель, в серые брюки навыпуск. Китель просторный, с хлястиком сзади. Лицо у Сталина сейчас довольно худощавое. Большую часть беседы он стоял или делал несколько шагов взад и вперед перед столом. Курил кривую трубку. Впрочем, курил мало. Зажигал ее, затягивался один раз, потом через несколько минут опять зажигал, опять затягивался, и она снова гасла, но он почти все время держал ее в руке. Иногда он, подойдя к своему стулу, заложив за спинку большие пальцы, легонько барабанил по стулу остальными. Во время беседы он часто улыбался, но когда говорил о главной, занимавшей его теме — о патриотизме и о самоуничижении, лицо его было суровым и говорил он об этом с горечью в голосе, а два или три раза в его вообще-то спокойном голосе в каких-то интонациях прорывалось волнение».

Этими словами кончается сделанная тогда, четырнадцатого мая сорок седьмого года, запись о первой в моей жизни встрече со Сталиным или, точнее, о первой встрече с ним, в которой мне довелось принимать участие. Продолжалась она, сколько я помню, что-то около трех часов. Возможно, и в записи, и в моих дополнениях к ней какие-то подробности остались упущенными из-за несовершенства памяти, но преднамеренно я ничего не пропустил и, как мне кажется сейчас, ничего не забыл.

(Продолжение следует.)

Расул Гамзатов

ИЗ ЛИРИКИ

★

Жизнь не вечна! — камни уверяют,
Падая и скатываясь в бездну.
Словно камни, скатываясь в бездну,
Годы жизни это повторяют.

Дождь в окно стучится — не к тебе ли?
Дождь стучится, словно клювом птица.
Вечна жизнь!.. Жизнь вечно будет длиться —
Так мы думаем от колыбели.

★

Я очень известный тебе подхалим,
Готовый в любое мгновенье
Ходить по канату пред взором твоим,
Вставать пред тобой на колени.

Тебе угождаю, луне и огню,
Цветам, и лугам, и закатам,
Тебя я ни в чем никогда не виню —
Считаю себя виноватым.

Я многих и многих не раз побеждал
И звался борцом прирожденным..
Но руки всегда пред тобой подымал,
Считая себя побежденным.

Ни я и ни песня моя никому
Не льстили как будто ни разу.
Мы льстили тебе лишь
И лишь твоему
Всегда подчинялись приказу.

Отца мне нарисуйте, чтоб воочью,
Его я видел — не с пером в руке,
А проходящим по ущельям ночью
С неугасимым фонарем в руке.

И мать мне нарисуйте, но не где-то
У очага, у родника в горах,
А странствующую по белу свету,
С новорожденной жизнью на руках.

★

Когда моя жизнь, догорая,
Придет к своему рубежу,
Три слова тебе, дорогая,
Я в час мой последний скажу.

То слово... Хватило бы силы
Мне вымолвить тихо его...
«За все, дорогая, спасибо», —
Сказал бы я прежде всего.

Смогу ли я слово второе,
Успею ли произнести?
Глаза я устало прикрою:
«За все, дорогая, прости».

И третье я вымолвлю слово,
Своей покоряясь судьбе:
«О будь, дорогая, здорова,
Здоровья желаю тебе».

А если судьба милосердно
Сказать мне дозволит еще,
Я те же три слова усердно
Опять повторю горячо:

О, только хватило бы силы
Их явственно произнести!
За все, дорогая, спасибо...
Здоровья тебе... И — прости...

★

Сын ни один не умер оттого,
Что следовал отцовскому завету.
Срубивший старый вяз минувшим летом
Погиб, попав случайно под него.

Поступков глупых тот не совершал,
Кто материнских слушался советов.
Унес поток бурлящий прошлым летом
Того, кто уши пальцами зажал.

★

Мать пестует детей
И в зной и в стужу,
Один — получше,
А другой — похуже,
Но верит мать,
Что времена настанут —
Хорошими
Плохие дети станут.

Земля их кормит
В щедрости извечной —
Плохих, хороших,
Злобных и сердечных,
Надеется,
Что времена настанут —
Хорошими
Плохие люди станут.

На это же надеются и звезды:
Исправиться, мол, никогда не поздно...
И солнце в небесах — источник света,
Да и луна — надеются на это.

Дороги, реки, и леса, и горы
И верят, и надеются, что скоро
Совсем иные времена настанут, —
Хорошими плохие люди станут...

И песнь моя парит мечтой свободной
В надежде, что получит хлеб — голодный,
Она живет еще мечтой огромной,
Что обретет пристанище — бездомный,
Что доктора больным вернут здоровье,
Но — все возможно при одном условье:
Что все безумцы вдруг преобразятся,
В людей благоразумных превратятся,
Что станут вдруг хорошими плохие —
И нас минуют времена лихие...
На это я надеюсь непреложно:
Поймите, жить иначе невозможно!
Должно так быть
Хоть по одной причине:
Чтоб не погибнуть
Кораблю в пучине.

Перевела с аварского Елена Николаевская.

Николай Шмелев

СПЕКТАКЛЬ В ЧЕСТЬ ГОСПОДИНА ПЕРВОГО МИНИСТРА

ПОВЕСТЬ

«Падения тронов и царств меня не трогают; сожженный крестьянский двор — вот истинная трагедия».

И. В. Гете.

I

Господин тайный советник Иоганн Вольфганг фон Гете, премьер-министр герцогства Саксен-Веймарского и Эйзенахского и признанный первый поэт Германии, проснулся в это тихое, солнечное августовское утро накануне дня своего рождения, свежим и бодрым, как всегда. Откинув на подушку крупную красивую голову с высоким лбом и пока еще густой копной каштановых волос, он на секунду, прежде чем открыть глаза, нарочито плотно сжал веки, сжал кулаки и, упершись ступнями в спинку кровати, вытянулся в рост. Острое желание вскочить и немедленно начать жить, бежать, действовать охватило его, но, глубоко вдохнув и выдохнув и улыбнувшись сам себе, он опять распустил мышцы. Не торопись, полежи, день только начинается, и сегодня, и завтра, и послезавтра — у тебя еще все впереди.

В раскрытое окно доносился пересвист дроздов, легкий ветерок шевелил концы белых кисейных занавесок, пахло влажной свежестью, травой, лесом, горьковатым дымком от сжигаемых уже где-то листьев... Ах, как любил он этот свой скромный двухэтажный домик в старом парке за городской чертой, подаренный ему герцогом! Три комнаты наверху, службы внизу, столетние деревья вокруг, пруды, Ильм, тишина, дрозды — что еще нужно умному человеку? Если человек этот, к тому же, никогда не отличался ни алчностью, ни любовью к роскоши, ни стремлением кого-либо удивить, поразить, пустить людям пыль в глаза? Жаль, что придется скоро расстаться с этим местом: хочешь не хочешь, а придется все-таки перебираться в новый дом на Фрауэнплан. Как говорится, положение обязывает. Но что до него, то, честное слово, хватило бы ему этих трех комнат на всю его жизнь! Здесь так хорошо, так уединенно, здесь он со всеми и один в одно и то же время: нужен — пожалуйста, посыльному до него всего десять — пятнадцать минут от города, не нужен — сделайте милость, оставьте меня в покое, слава богу, сам я себе пока еще не надоел.

Нет, кто бы что ни говорил, а именно утро, раннее утро — самый важный час в жизни человека. В этот час мысли его еще чисты, совесть спокойна, душа открыта добру, скорби и печали его еще дремлют, успокоенные сном, и первый солнечный луч, пробившийся сквозь занавески и побежавший по стене, кажется ему божественным вестником, ниспосланным свыше, чтобы укрепить в нем веру в жизнь, в свои силы, в конечное торжество справедливости и разума на земле... Недаром все лучшее, что он, Гете, создал, было создано именно в первые утренние часы. И если ему и удавалось когда-либо что-либо понять в жизни, принять

какое-то верное решение, сформулировать какую-то ясную, твердую мысль или цель — так это тоже, как правило, было утром, до первых его встреч с людьми, то есть до того, как дневной шум и суета бесцеремонно врывались к нему в дверь и, сопротивляйся не сопротивляйся, не поглощали его целиком.

Итак... Итак, тридцать три. Возраст Иисуса Христа. Что ж... Самое время начинать — не раньше, но и не позже... Период подготовки закончен — основательной, фундаментальной подготовки, длительного, смиренного ученичества, овладения практикой, техникой власти, т. е. всем тем, что составляет теперь его ремесло и что кормит его сегодня и, надо думать, будет долго еще кормить... Нет, не ремесло — искусство: искусство управлять собой и людьми. Прежде всего, конечно, собой и потом уже — людьми... Нелегко оно далось ему, это искусство. Господь свидетель, очень нелегко... Никакой пощады себе, ни минуты расслабления, любое слово, любой поступок — с дальним прицелом, с расчетом на будущее, а будет ли оно, это будущее, кому это дано знать? Никаких гарантий, кроме как веры в самого себя... И нужны были его выдержка, терпение, его понимание людей, чтобы выстоять весь этот период подготовки, не сломаться, не поскользнуться, не сделать ни одного неверного шага...

Теперь уже никакой фон Фритч ему не страшен! А было время... Дьявол! До сих пор мороз дерет по коже, когда вспомнишь этот его совиный взгляд, шамкающий рот, его трясущуюся голову, высохшие коричневые руки, опирающиеся на трость... Старый хрыч, попортил же он ему тогда кровь... «Должен вам сказать, юноша, это вам не стихи писать. Это политика... По-ли-ти-ка! Учитесь понимать, юноша. Вы теперь министр, вы отвечаете за человеческие судьбы... А вы? Что делаете вы? Вы ведете себя как последний шалопай — пьянствуете, бесчинствуете, мчитесь куда-то сломя голову на лошадях, пугаете благонамеренных обывателей... Можно сказать, дезориентируете их... Да-да, именно дезориентируете! Я это и герцогу говорю, не только вам. Я уже стар, и мне нечего терять, я уже не раз просил отставки у его высочества... И я всегда повторял, повторяю и буду повторять — порядок, прежде всего порядок, юноша! Именно порядок... Дело в конце концов даже не в том, что вас с герцогом видели в веселом доме... Хотя это уже само по себе безответственность... Да-да, юноша, не хмурьтесь — безответственность! Зачем приезжать туда с криком, с песнями, с воплями? Зачем? Разве нельзя приехать тихо, в закрытой карете, чтобы никто ничего не знал? Неужели вы не понимаете таких простых вещей?.. Но уж если приехали, так зачем швырять пустые бутылки на улицу из окна? Какой пример вы подаете подданным его высочества? Грязь, нечистота, пустые бутылки на улицах, непорядок — с этого все и начинается, юноша! Да-да, именно с этого все и начинается!.. А может быть, вы действительно революционер? Я слышал, что вы революционер... Мне говорили, и я не хотел верить... Тогда вы ошиблись адресом, юноша, избрав себе местожительство здесь... Вам нужно было бы тогда идти в казаки... Да-да, ехать в Польшу или в Сибирь и там поступить в казаки... Я прошу меня извинить, но я считаю своим долгом вас предупредить... Вы, по-видимому, способный юноша, и, вполне возможно, вас ждет незаурядное будущее... Так не забывайте, где вы находитесь. И не забывайте, что вы министр! Да-да, юноша-министр!..»

Нет, ваше превосходительство, уважаемый господин бывший премьер-министр... Не так уж я был глуп, как вам тогда казалось... Да, я был молод, я хотел жить, я хотел испытать все сам, все на себе — полной грудью, во весь охват, не пропустив мимо себя ничего... И я это испытал! На всех парусах я несся тогда вперед по волнам жизни, с твердой решимостью разведывать, познавать, бороться, сесть на мель или же... Или же взлететь на воздух, на такую высоту, которой еще не достигал никто!.. Эта пестрота, этот круговорот жизни доставлял и доставляет мне истинное наслаждение: досады, надежды, любовь, труд, нужда, приключения, скука, ненависть, дурачества, глупости, радости, неожиданности и нечаянности, мелочи и глубина, и все это как попало, все вместе, вперемешку с праздниками, танцами, погремушками, фейерверками, блеском шелков — о, это прекрасная жизнь! Презанятная жизнь! Даже ради этого

стоило и стоит жить... Но это была, ваше превосходительство, только часть вопроса и, прошу вас учесть — отнюдь не самая важная его часть.

Вы, ваше превосходительство, не заметили главного: все это было при сохранении полного контроля над собой, над своими страстями, все это было подчинено твердой дисциплине ума и воли — недюжинной воли, должен вам сказать... Воли, выработанной годами, закаленной долгими раздумьями, беспощадным анализом, изнурительной борьбой с самим собой... А если бы знали вы, черствый сухарь, египетская мумия, как трудно найти цель, как трудно сделать решительный выбор человеку, у которого есть сердце... Да-да, именно сердце, ваше превосходительство, а не геологическая окаменелость, как у вас!.. Но я преодолел себя, я сокрушил все свои немощи, и я давно, еще до приезда к вам, понял свое истинное предназначение в жизни... Все мое, и все — я! Мне все интересно, я все испытаю и все освою, я во всем буду участвовать — не наблюдать, не посмеиваться со стороны, а именно участвовать! И я беру на себя ответственность за все!

Скажете, бахвальство, гордыня? Нет, ваше превосходительство, не гордыня — трезвая, даже, если хотите, циничная оценка своих реальных возможностей и своего истинного калибра среди других людей... Без жалкой этой приниженности и ложной скромности, парализующей волю и способности человека и превращающей его в ничтожество, в червя... Вы, ваше превосходительство, с самого начала старательно обманывали себя... Вы упорно отворачивались от того факта, что даже и тогда, семь лет назад, к вам приехал не мальчик, не желторотый птенец, а человек действительно мирового значения... Да-да, ваше превосходительство, не хмурьтесь, не кривите в усмешке губы — именно мирового значения... Между прочим, в двадцать пять лет автор «Вертера» — самой известной и тогда, и сегодня в Германии книги, переведенной к тому же на все цивилизованные языки... И приехал не авантюрист, не бродяга, мечтающий прокормиться хотя бы год-другой от щедрот очередного владетельного князя, а приехал человек с твердой, уже тогда продуманной программой действий, с готовым планом и готовой методикой эксперимента... Эксперимента, которому, я верю, самой судьбой предназначено быть осуществленным именно здесь, в Веймаре! А может быть — кто знает? — и не только здесь...

Ах, ваше превосходительство, ваше превосходительство... Господин фон Фритч... Кто такой был поэт всегда, во все времена и у всех народов? Мечтатель, вздыхатель, певец красоты и мирного уединения, безответственный критикан, святая душа, изнемогающая от уродства, грубости и бестолковости окружающей жизни и взыскующая каких-то горних, неведомых высот... Конечно, мечтать, вздыхать, протестовать, проклинать — это прекрасно, это увлекательно и интересно! И кто-кто, а я-то хватил этого в полную меру, может быть, даже и через край... Но кто же должен воплотить все эти мечты в жизнь? Кто? Кто из них, из поэтов, мог бы ответить что-нибудь вразумительное на самый простой вопрос: как?.. Ахи, мечты, вздохи? Прекрасно, восхитительно! Но как?! Как?!. И, может быть, вы возьметесь сами, господин поэт? А заодно научите этому и нас — убогих, бескрылых функционеров, которым даже некогда голову оторвать от земли? Которым, как говорится, не до жиру — быть бы живу? Не погибнуть самим и не дать погибнуть всему вокруг: государству, обществу, всем устоям этой, согласны, скотской жизни, мерзостной жизни, но все-таки жизни, черт возьми!.. Кто из них, из поэтов, бывших и нынешних, мог бы ответить на этот вопрос: как? Макиавелли? Один Макиавелли? Но он был плохой поэт и весьма посредственный государственный деятель, хотя и крупный теоретик — но это же опять теория, опять ахи и вздохи! А дело? Где дело?.. Но даже и Макиавелли — не пример. Именно потому, что он был плохой, ненастоящий поэт, он даже и как теоретик был лишь само оправдание всей этой гнусности, потоков крови, жестокости, дикости, убийств, предательства и вероломства, что составляет на деле суть всех так называемых великих деяний, от Адама до наших дней... А мы...

А мы, ваше превосходительство, попробуем по-иному! В корне, в принципе по-иному... И согласитесь, ваше превосходительство, это уникальный, небывалый в истории случай — сам поэт берется переделать

мир! Не заклинает, не умоляет, не призывает других, а сам берется! Этого еще не было никогда и нигде... В этом суть, ваше превосходительство! К этому я готовился все семь лет своего пребывания здесь. И вся сложность, вся грандиозность моей задачи была и остается в том, чтобы не растерять ничего из тех благородных мыслей и стремлений, которым меня научила поэзия, и в то же время овладеть этой техникой, этим дьявольским искусством манипулирования людьми, которым, надо признать, так великолепно владели вы, мерзкий, противный старик! Овладеть и построить что-то не огнем и мечом, не на крови, не на страданиях ни в чем не повинных людей, а на том благородном и в то же время рациональном фундаменте, основы которого я так долго обдумывал ночами еще там, в Страсбурге, во Франкфурте, в Веймаре... «Все людские прегрешенья человечность исцелит...» И прекратите же, наконец, ваше издевательское, ваше дурацкое кудахтанье, господин фон Фритч! Ничего смешного! Такие вещи, я знаю, выше вашего понимания. Но это вовсе не значит, что их вообще нет... Они есть, ваше превосходительство! Есть! Именно человечность! Именно она и исцелит... Конечно, Веймар — это не мир, и сто тысяч жителей этого государства — это отнюдь еще не человечество... Но где-то же надо начинать... где-то же надо начинать, черт возьми... И мы начнем здесь!

Гете вскочил, сунул ноги в мягкие ночные туфли и подбежал к окну. Резким, порывистым движением он распахнул полуприкрытые ставни, — август был тяжелый, жаркий, ночами было душно, и он отказался на это время от веками неизменной для всей Германии привычки наглухо закрывать на ночь ставни, — отшвырнул в сторону занавески и лег на подоконник... Боже мой! Как хорошо! Что же это делается в мире, а?!. Небо какое, солнце какое, облака! Холмы, деревья, Ильм, блеск воды, звенящая тишина — и это все мне?! Мне?!. Боже великий! Господь всемогущий! Какой там Христос, какие там апостолы! Это ты и я! Это дуб и камень, это гора и небо, это мельница и ручей, это лошадь и крестьянин, бредущий по дороге, — это все ты! Ты! Но и я! Но и я тоже!.. О, сколько мне еще предстоит узнать, сколько сделать... Как же интересно жить, черт возьми!.. Откуда взялся этот огромный валун в два человеческих роста, так царственно разлегшийся на краю дороги? Какая сила занесла его сюда? И как долго он здесь лежит? Тысячу лет, миллион лет, вечность?.. Почему этот яркий, слепящий, нестерпимый отблеск солнца от поверхности озера? И почему он, если прищуриться, если медленно, постепенно сжимать веки, сначала бесцветный, потом желтый, зеленый, синий и, наконец, черный, да-да, именно черный? И черный — он тоже свет?.. И как же так получилось, что из крохотного, легкого, как пух, семечка вымахал этот трехсотлетний великан, под кроной которого может разместиться целая деревня или полк солдат? Таким ли с самого начала задумал его создатель — во всех его мельчайших деталях, до последней веточки, до последнего листика? И таким ли был всегда я — человек, венец его творения, существо, сущность, в чем-то равная по силе ему самому? Или только господь бросил в мир праидеи, праобразы, а дальше все уже шло и развивалось само собой, как получится, куда кого заведет смена тысяч и тысяч поколений?.. И что общего между мной и моей собакой, разлегшейся вон на припеке, и моей лошадью, уже растреноженной кем-то и пасущейся сейчас вольно там, на лугу, у самой кромки воды? Только ли дыхание божие во мне и в них, сама жизнь, биение ее, или есть еще и что-то более твердое, более конструкционное, что можно пощупать, подержать в руках?

Много вопросов! Великое множество вопросов! И на всех на них есть свой ответ... Надо только работать, не лениться, думать, изучать, экспериментировать, и я верю, рано или поздно эти ответы будут мной найдены. Пусть даже на краю могилы, пусть даже на том свете, где ведь тоже — господи, я верю! Слышишь? Я верю! — будет не смерть, не оцепенение, а тоже жизнь, другая, неведомая, но, несомненно, жизнь, поиски, творчество, вечное движение вперед... И я найду эти ответы... Я уверен — я найду!.. А если ко всему этому добавить бодрую, энергичную, каждодневную деятельность на пользу всеобщего блага, на пользу государства, на пользу маленького человека, брата моего, ближнего моего? «Рассеял ты когда-нибудь печаль скорбящего? Отер ли ты когда-нибудь

слезу в глазах страдальца? А из меня не вечная ль судьба, не всемогущее ли время с годами выковали мужа?..» А если ко всему этому добавить стихи, творчество: «Фауст», «Мейстер», «Ифигения», баллады, сказки, безделушки на случай — о том и об этом, об этом и о том, обо всем, что до сих пор еще волнует и всегда будет волновать мою душу и кровь, мой ум и мое сердце и без чего я не хочу жить и не буду жить никогда? А если ко всему этому добавить еще и просто жизнь, как она есть — любовь, друзей, забавы, музыку, живопись, театр, прогулки по горам и по лесам, путешествия? Да в конце концов просто сидение у камина вечером в одиночестве за стаканом доброго вина? А когда-нибудь будут, наверное, еще и жена, дети, внуки, свой дом, тишина, покой, достаток, почтенная старость, всеобщее уважение... Какой же еще судьбы, какой же еще жизни может пожелать для себя человек, отмеченный печатью бога? О, мы еще повоюем, ваше превосходительство, господин фон Фритч! Мы еще повоюем! Мы еще, собственно говоря, только начинаем воевать!.. И жизнь не болото, ваше превосходительство. Не болото!.. И человек в ней не убогая, беспомощная тварь, самая несчастная из всех земных тварей... Не тварь, а творец! Да-да, ваше превосходительство, именно так — творец!

Часы у него за спиной, хрипло кашлянув и проворчав что-то невнятное, пробили семь. И сейчас же издалека, с востока, из-за вершин уже желтеющих кое-где деревьев донесся ясный, чистый, победный звук рожка быстро приближавшейся почтовой кареты. Сейчас она, стуча и гремя колесами, промчится внизу по дороге, обогнет этот огромный гранитный валун и понесется дальше к городу, оставляя за собой густой столб медленно оседающей пыли. Охваченный чувством детского нетерпения, господин тайный советник навалился животом на подоконник, подтянулся на локтях и высунулся чуть не по пояс, вертя головой и озорно, по-мальчишески болтая голыми ногами...

Хорошо! Черт возьми, как хорошо!.. Молодец герцог, что устоял перед соблазном превратить и этот парк в еще одно жалкое подобие Версаля... И молодец я, что направил его созидательный зуд, его страсть к разбивке парков не сюда, а в другую сторону, в другое предместье, в Штерн, а здесь убедил его оставить все, как оно было с незапамятных времен и только подремонтировать эту дорогу и посыпать ее щебнем. Что может быть лучше этих старых лип, этого камыша, этих затянутых ряской прудов? Естественность, господа! Главное — естественность... В этом сила нас, немцев... Да и там, в Штерне, — никаких этих дурацких штучек, никаких виньеток, все прочно, твердо, солидно и на века. На века!.. Нет, господа, наша тевтонская прочность, наша тяжеловесность, грубость, наша бюргерская тяжелая походка, наше толстое брюхо, наша крепкая, немецкая, туго соображающая голова — это куда более надежная основа для жизни, для движения вперед, чем все эти ваши менуэты и кружева. Да, тяжело, да, пахнет потом и навозом, чесноком и пивом, копченой ветчиной и детскими пеленками, да, неуклюже, некрасиво, коряво — но основательно! Основательно, черт возьми!.. И если уж мы что-то сделали, чего-то добились, если уж мы расположились где-то, на каком-то рубеже — то попробуй, сдвинь нас потом с завоеванного места. Черта с два! С таким же успехом можно пытаться сдвинуть с места этот гигантский валун: толкай не толкай, все жилы надорвешь, сдохнешь, а он как лежал, не шелохнувшись, так и будет лежать здесь до скончания всех времен... Нет, пусть старый Фриц чудит там у себя в Потсдаме, как хочет, пусть изощряется, пусть пытается в своем Сан-Суси переплюнуть Версаль — это не Германия... «Ну, вали напролом, через корягу и пень, прямо в кипящую жизнь!..» Это Германия. Да-да, это Германия! И в этом — надежда. В этой основательности, солидности, в этой простоте, в этих дремлющих пока под спудом силах — в этом надежда... Природа-мать! Кто сказал, что страна моя спит? Она не спит — она лишь отдыхает, она набирается сил, приходит в себя после двух столетий крови, братоубийства и разрушений, она прильнула к земле и впитывает в себя ее животворный дух, ее соки, ее мощь, чтобы вновь воспрянуть, когда придет ее час. Будет! Все будет... Дайте только срок... Дайте только срок, господа...

«Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Та-ра-ра-ра-ра-а-а!» — на последней, отчаянно высокой ноте пропел рожок, и из-за деревьев, лихо накренившись

на повороте, выскочила почтовая карета, запряженная парой подтянутых, щеголеватых лошадей. Сзади кареты, на запятках, стоял могучего роста почтальон в развевающейся накидке и маленькой тирольской шляпе с пером и радостно, на всю округу, дудел в задранную кверху короткую трубу. Проносясь мимо дома Гете, прекрасно видимого с дороги, почтальон молодецким жестом сорвал шляпу и помахал ею в воздухе, приветствуя господина тайного советника. Это был уже обычай или даже не обычай, а скорее государственной важности ритуал, строго соблюдаемый каждое утро и почтальоном, и им. С тех пор, как его, Гете, стараниями была налажена ежедневная — да-да, ежедневная, а не раз в неделю, как раньше! — почтовая связь между Иеной и Веймаром, день у него всегда начинался именно с этого бодрого, ликующего пения рожка. «Доброе утро, господин министр!» Потом: «Доброе утро, господин президент военной коллегии, господин камер-президент!» И, наконец: «Доброе утро, ваше превосходительство, господин премьер-министр!» И каждое утро, помахав почтальону из окна рукой и притворив потом ставни, чтобы поднятая каретой пыль не проникала в комнаты, Гете набрасывал на плечи длинный шелковый халат с кистями и шел к себе в кабинет.

Не было ничего драгоценнее в его жизни этих часа-двух рано поутру, когда и герцог, и его окружение, и их общие друзья обычно еще мирно спали в своих или чужих постелях и когда он, Гете, неумытый, непричесанный, неприбранный, в халате, садился за письменный стол и обмакивал в чернильницу свое длинное гусиное перо, сам еще толком не зная, что ему сегодня предстоит написать. Может быть, какую-нибудь пустяковину — поздравление в стихах, или мадригал, или что-нибудь для очередного дворцового праздника, а может быть — как знать? — и еще одну строку к «Фаусту», если, конечно, родится в голове что-нибудь, достойное его... А рождается такое, к сожалению, нечасто... По крайней мере, далеко не каждый день. Нет, не каждый день...

Съехав животом с подоконника и с неудовольствием ощутив голыми пятками холодный пол, — туфли слетели, когда он болтал ногами, лежа на окне, — Гете, не глядя, опять нащупал ступнями их теплую, обшитую мехом поверхность, сунул в них ноги, оправил задравшуюся выше колен длинную фланелевую рубаху и повернулся к зеркалу у стены. Теперь, проводив почтальона, следовало немного пригладить щеткой взлохмаченные, спутавшиеся за ночь волосы, потом сполоснуть рот водой из стакана, стоявшего на подзеркальнике, потом надеть халат, и потом уже можно было приниматься и за дела... Медленно, не торопясь, равномерными взмахами — сначала от висков к затылку, потом ото лба к макушке и дальше вниз, к шее — Гете провел несколько раз щеткой по волосам, наблюдая за собой в зеркале, отражавшем его в полный рост.

Да, что правда — то правда: рассматривать себя в зеркалах было одним из самых его любимых развлечений, и друзья его уже давно, еще в ранней молодости, подметили за ним эту маленькую слабость... Впрочем, как сказать — слабость ли? А может быть, наоборот — не слабость, а все то же прямое, чистосердечное стремление трезво оценить себя, взвесить свои реальные возможности, понять свое истинное предназначение в жизни? Понять, как говорили древние греки, самого себя?.. Нет, что бы кто ни говорил, а если верить этому отражению в зеркале, то перед вами, господа, достойный экземпляр человеческой породы... Редкий и, следует признать, в каком-то смысле безупречный экземпляр... Античная голова, прямой нос, высокий лоб, черные глаза, пристальный, сосредоточенный взгляд, чувственный и в то же время волевой, упрямо сжатый рот, широкие плечи, прямая спина, мощный торс, крепкие сухие ноги, изящные маленькие руки с гибкими длинными пальцами... Недаром великий физиономист, великий исследователь человеческих душ по их отражению в человеческой внешности Лафатер пришел в такой восторг, когда они впервые встретились... Нет, господа, недаром... Недаром, должен вам сказать...

И этого-то сдержанного, невозмутимого, полного величия и спокойствия человека, застывшего сейчас там, в глубине зеркала, вы, господин фон Фритч, приняли когда-то почти что за дурачка? За беспутного, праздного гуляку, которому только и забот было, как бы побольше нашу-

меть, побольше выпить, ухватить за зад какую-нибудь ядреную краснощекую крестьянку, рассмешить простоватого герцога соленой шуткой, растормошить его, увлечь, затащить его в трактир, к девкам, к цыганам, на ярмарку, к музыкантам — да мало ли еще куда? Его, Гете! — за мальчишку-шалопая, всегда готового вместе с герцогом и со всей его этой сворой дармоедов гонять целыми днями и неделями по полям, по лесам, по болотам, стрелять влет фазанов, бить свирепых, клыкастых кабанов, разрывать мясо руками, швырять кости собакам, утираться рукавом, бражничать ночи напролет, горланить песни, спать под открытым небом и утром, окатив похмельную голову водой из ведра, вновь скакать, неизвестно куда и зачем, на расседланных лошадях? Ах, как вы ошиблись, ваше превосходительство, господин бывший премьер-министр... Как же вы ошиблись... И, признаюсь вам по секрету, ничего, пожалуй, в жизни не огорчало меня так, как эта ваша ошибка. Ваш этот полупрезрительный, холодный взгляд, ваше упорное молчание в моем присутствии, ваше демонстративное нежелание слушать меня и замечать меня в государственном совете или в кабинете у герцога, ваш неизменный отказ, ссылаясь на здоровье, присутствовать на спектаклях и празднествах, если было известно, что их организовывал я или что на них исполнялась какая-нибудь моя пьеса... Это меня-то, Гете, — за дурачка?!

Как же вы, травленый волк, старая лиса, не поняли, что это все была работа — тяжкая, нудная, кропотливая работа по овладению реальными рычагами власти, по постепенному перетягиванию на свою сторону всех, от кого в действительности зависел и зависит ход вещей в нашем маленьком богоспасаемом государстве? Думаете, я с самого начала не понимал, что в лоб, напором, у меня ничего не получится, что так мне ходу не будет? Что одни мои достоинства — ум, благородные намерения, уникальная работоспособность — ничего, абсолютно ничего не значат, если я не стану полностью своим там, где действительно решаются все важные дела? А решаются они, как вам прекрасно известно, ваше превосходительство, не в ваших затхлых канцеляриях, не вашими чахоточными чиновниками с их трехдневной щетиной на щеках и вечно грязными париками, а за столом за стаканом вина, в спальне в перерывах между пароксизмами любви, на охоте, на прогулке, на спектакле — да в придорожной канаве, наконец, но только не в ваших канцеляриях, господин бывший премьер-министр! Неужели вы, ваше превосходительство, так и не поняли до самой вашей смерти, что я нарочно валял тогда дурака, нарочно прикидывался и притворялся, чтобы усыпить и ваше недремлющее око, и бдительность ваших преданных помощников, чтобы ни вы, ни они не приняли меня всерьез, не подсидели, не сгубили меня раньше времени, пока я еще нетвердо стоял на ногах, пока я еще не прибрал к рукам всех, кто был и будет мне нужен и без кого мне не сделать ничего из того, что я задумал?.. Я должен был перелукавить вас, ваше превосходительство, и я вас перелукавил! Перелукавил! «Но, пытаясь их перелукавить, помнит цель и на худой дороге...» Я всегда помнил свою цель, господин фон Фритч, и, как видите, я ее достиг!

Сколько же дней и ночей я потратил, чтобы направить живой, но взбалмошный и неразвитый ум герцога на великие и добрые дела, чтобы стать незаменимым его другом и советчиком, его вторым «я» — и я стал им. Сколько изобретательности, изворотливости, ума, таланта, тонкости обхождения нужно было вложить, чтобы превратить чопорную, созданную из одних только правил и предрассудков его жену, герцогиню Луизу, из моего врага в моего союзника — и я это сделал! Кто еще, кроме меня, мог так ловко использовать страсть герцогини-матери к балам, праздникам, переодеваниям, спектаклям, чтобы сделаться ей необходимым почти так же, как воздух, которым она дышит? Кто? И кто еще здесь может зачислить в свои ближайшие друзья не только герцога, но и его старого воспитателя, и его самого доверенного камергера, и его личного адъютанта, и даже его шталмейстера — при всем при том, что с женой этого шталмейстера, как прекрасно известно всем, в том числе и самому шталмейстеру, у меня роман, длящийся почти уже семь лет? Даже и его! Даже конюха, даже повара, даже камердинера герцога! Даже и его экзекутора, то есть, попросту говоря, палача! Да-да, даже и его!

Давайте-ка, ваше превосходительство, прикинем на глазок, что здесь, в герцогстве, теперь мое и что — не мое... Герцог и его семья? Мои. Целиком мои... Двор? Если говорить о тех, кто что-либо значит — мой или почти мой... Дворянство? И так и эдак, но в основном мое, ибо понимают, что без меня все здесь опять погрузится в спячку, в мертвое оцепенение, и не будет ни маскарадов, ни праздников, ни спектаклей, и будет скучно, скверно, и будет опасно, потому что некому будет сдерживать гнев герцога, его эти дикие порывы, его сумасбродные выходки, от которых страдать прежде всего им. Кроме того, я теперь тоже «фон», тоже свой, тоже равный им, и они это, хоть и скрипя зубами, но приняли — приняли, черт возьми!.. Красивые, влиятельные женщины? Мои. Все мои. Самый галантный кавалер в герцогстве, мировая знаменитость, изысканность в обхождении, теплота, участие, снисходительность к ним, романтическая история, неземная, как в самых толстых романах, любовь, пять лет только ахов и вздохов, бледный, изнуренный вид, пылающий взор, смиренно склоненная голова — да как же можно быть врагом такого мужчины, как же можно желать ему зла? Нет, женщины всю жизнь были моими самыми лучшими, самыми верными друзьями! Они были всегда за меня и останутся за меня, потому что я за них, потому что я поэт, любовник, страдалец, потому что я их боготворю!.. Офицерство? Думаю, что и оно тоже за меня. Хотя я урезал потешную гвардию герцога наполовину, с шестисот до трехсот человек, но из офицерства я никого не тронул, все как были на своих местах и в своих чинах, так и остались, а жалованье им теперь больше, а службы меньше, и опасности тоже меньше: ведь все они прекрасно знают, что пока я здесь, ни старому Фрицу в Берлине, ни Иосифу Второму в Вене их у себя как наемников не видать, я этого не допущу. У меня достаточно сил и влияния, чтобы удержать герцога от любых его этих мальчишеских мечтаний о войнах, сражениях, победах, захваченных знаменах... Ввязываться в эти бесконечные и безысходные внутригерманские свары? Господи, спаси и помилуй! Да никогда!.. Кто еще? Духовенство? Как ни мало оно значит в этой протестантской стране, им тоже никогда не следует пренебрегать, и здесь мои позиции тоже прочные, особенно с тех пор, как Гердер, мой старый друг, мой учитель и мой самый злой, самый отъявленный критик, стал в герцогстве, по моей же подсказке, самым главным среди всех наших попов... Кто еще? Профессора, ученые, люди искусства? Но кто же сейчас может оспорить факт, что только благодаря мне, Гете, Иенский университет занял в Германии такое блестящее положение? Кто пригласил в Иену всех этих знаменитостей? Кто наладил все эти лаборатории, кабинеты, библиотеки, музейные коллекции? И кто возродил здесь театр? Кто втянул весь Веймар и все герцогство в спектакли, литературные дискуссии, поголовное сочинительство? Кто заставил всех читать, кто открыл двери каждого порядочного дома для Гомера, Шекспира, Вольтера, Руссо? Кто превратил эти затхлые задворки Европы в мировой центр наук и искусств?.. И, наконец, третье сословие... Что ж, и среди них имя Гете произносится отнюдь не с проклятиями, а с должным почтением и уважением... Во-первых, свой брат, бюргер, понимающий их и сочувствующий им, и, во-вторых, не паразит, не лодырь, купающийся в шелках и кружевах, а трудяга, работник, вол, тянущий за четверых, государственный делец, основательно расшевеливший захиревшие было в герцогстве коммерцию и предпринимательство, наладивший дороги, почту, государственный бюджет, вновь пустивший в дело пятьдесят лет как заброшенные серебряные рудники в Ильменау, ожививший суконное производство, ткачество, стекольные мастерские, всякого рода другое ремесло... Даже сумевший прижать самого герцога с его бестолковыми расходами! Даже герцогиню-мать!

Итак, ваше превосходительство, господин фон Фритч, это все то, что за семь лет моей деятельности здесь мы завоевали, чего мы достигли, что теперь за меня, на моей стороне... А что и кто против меня? Канцелярии? Чиновничество? Да, вы правы, ваше превосходительство. Нужно смотреть правде в глаза: эти в большинстве своем против меня... Ненавидят меня, считают выскочкой, паркетным шаркуном, пронырой-рифмоплетом, опутавшим герцога своими прибаутками и выдумками и по-

лучившим задаром — за ни за что! — такое, что им самим могло бы разве что только присниться, да и то лишь в самых горячечных, бредовых снах. Мы, дескать, всю жизнь гнем спину, служим, раболепствуем, унижаемся, тянем свою лямку, а этот вертопрах только появился и, пожалуйста, нате вам — тайный советник! Министр! Премьер-министр! Да как же можно такое простить, как же можно смириться с этим? Порядочному-то, добросовестному чиновнику, просидевшему на своем стуле все свои штаны?.. Нет, этого они мне не простят никогда и ни за что, что бы я ни делал, какую бы пользу государству я ни принес... Не простят? Ну, и наплевать, что не простят! Извольте, господа, выполнять распоряжения вашего начальника, а нравятся ли они вам и нравится ли он вам — до этого никому никакого дела нет. Вы чиновники, и приказ есть приказ! В этом суть любой системы управления. И приказы эти исходят и будут исходить от меня, от Гете — президента военной коллегии, президента камеры, она же министерство финансов, министра путей сообщения, директора лесного департамента и департамента казенных угодий, министра просвещения и культуры, председателя тайного совета, премьер-министра герцогства Саксен-Веймарского и Эйзенахского! Да-да, прошу не забывать — от меня!.. О, боже мой... Как же я ненавижу всех этих чиновников! Их тупость, косность, нежелание работать, нежелание думать, шевелиться, двигаться вперед... Их понимающие улыбочки, их так называемую мудрость и ничем не прошибаемую уверенность, что ничего и никогда нельзя в этом мире изменить... Их ослиное, несокрушимое упрямство, о которое разбилось столько великих начинаний, столько благородных сердец... Будет, черт возьми! Будет! Я знаю, господа, будет! И не вам меня остановить... Я умнее и хитрее вас... И за меня бог, за меня история, за меня страдания и надежды человеческие, за меня, наконец, сама жизнь! Слышите? Жизнь!

Нет, некуда им от меня деться, этим чиновникам, по крайней мере большинству из них. В сущности, кроме судебной системы, полиции и ведомства иностранных дел, которые докладывают прямо герцогу, — все они, все канцелярии у меня в руках. Так неужели не сладим? Сладим! Хватка, слава богу, есть! И неплохая хватка... И нервы пока тоже крепкие, и здоровье достаточное, и голова на месте... Сладим, ваше превосходительство! «Властвуй или покоряйся, с торжеством иль с горем знайся, тяжким молотом взвивайся — или наковальней стой!..» А, ваше превосходительство? Каково? Вам не доводилось слышать такие вирши, господин фон Фритч? Не доводилось? Не успели? А жаль! Они стоят того, чтобы их знать... И они больше говорят обо мне действительном, настоящем, чем все эти пасторали и дивертисменты в стихах, которые вызывали у вас всегда такое отвращение... Согласен, ерунда, поделки, однодневки, но, ваше превосходительство, будьте же снисходительны: ведь и гению тоже нужно когда-то отдыхать!.. Тем более что если вдуматься, то и они тоже — метод, тоже — работа и тоже ведут к той же самой цели... Какой? Великой, благородной цели, господин фон Фритч! И эту-то цель, не в обиду вам будет сказано, вы, ваше превосходительство, прохлопали, проморгали, пропустили! Пропустили — иначе вы еще семь лет назад отдали бы приказ прирезать меня где-нибудь ночью на пустой дороге, это уж точно, люди бы у вас на это нашлись... А цель, ваше превосходительство, такая: во-первых, полное, окончательное освобождение крестьян и наделение их землей, во-вторых, юридическое и фактическое равенство сословий, в-третьих, прямое прогрессивное налогообложение всех подданных государства без различия источников их доходов... Да-да, господин фон Фритч, ни много ни мало — новая эпоха! Конец средневековью, конец застою, сначала у нас, а потом и во всей Германии... И начнется эта эпоха с меня! Вы слышите? С меня! Здесь!

Господин тайный советник захлопнул окно, надел в рукава халат, затянул шелковый пояс с кистями и твердым, решительным шагом направился к себе в кабинет. На пороге он, как всегда, задержался на мгновение, с удовольствием окидывая взглядом его убранство: гравюры по стенам, книжные стеллажи, коллекцию причудливых камней, терракотовые античные статуэтки, гипсовую голову Аполлона, темно-красное ореховое бюро, письменный стол у окна, массивный чернильный прибор, три гусиных пера, торчащих из него... Все здесь было родное, любимое, собранное и тщательно расставленное им самим, и ничто в этом кабинете не было рассчитано на чужой глаз, на чужое одобрение: здесь были только он, Гете, и то, что было нужно и дорого ему и только ему.

Пробило восемь. Усаживаясь за письменный стол и запахиваясь поудобнее в халат, господин фон Гете, тайный советник, премьер-министр герцогства Саксен-Веймарского и Эйзенахского, и не подозревал, что этот день станет переломным в его судьбе.

II

Баронесса фон Штейн, сорокалетняя дама, бывшая фрейлина вдовствующей герцогини и мать семерых детей, рожденных в долгом и счастливом браке со шталмейстером двора его высочества, спала в эту ночь отвратительно. Собственно говоря, она совсем не спала, если не считать за сон те полтора-два часа тяжкого, тревожного забытья, которое все-таки настигло ее, измученную и отчаявшуюся успокоить расходившиеся нервы, под самое утро, когда уже начинался рассвет.

Мало того, что ее, никогда, несмотря на всю ее живость и подвижность, не отличавшуюся особым здоровьем, с некоторых пор все чаще и чаще начали беспокоить маленькие, но очень неприятные женские расстройства, и одно из них, последнее, удалось с помощью каких-то капель и прикладывания холодных компрессов к животу остановить только вчера... Мало того, что вот уже два года, после того как она вынуждена была уступить все-таки настояниям своего милого — ах, когда-то такого возвышенного, такого покорного, такого необременительного! — друга, душевное состояние ее большую часть времени было подавленным. Теперь, когда они поменялись ролями, это она, если называть вещи своими именами — она, а не он! — молила о любви, о великодушии, о внимании, а он, как и все мужчины, добившись, наконец, своего, лишь позволял себя любить, и никакая его галантность, подчеркнутая вежливость, никакие ежедневные письма и нежные слова не могли в ней это ощущение успокоить или хотя бы приглушить... Конечно, она на семь лет старше его... И добро бы только эти шлюхи, эти веселые дома, эта ужасная, но неизбежная мужская грязь, без которой никто из них, видимо, не может жить... Так нет же! Теперь еще и эта Корона Шретер! Эта стерва, эта кривляка, эта потаскуха, околдовавшая здесь всех! Подумаешь, певица... Ах, ангельский голос, ах, божественная внешность, ах, какая стать! У, дрянь... Ненавижу!.. И мало того, что муж — это ее-то увалень, ее-то толстяк с вечно сонными глазами, безропотное, согласное со всем существо, не человек, а тень человека, ни разу не повысивший на нее голос за все двадцать с лишним лет их совместной жизни! — что ее муж вчера, в день отъезда в одну из своих служебных поездок, из которых он иной раз не возвращался по целым неделям, вдруг ни с того ни с сего устроил ей скандал, накричал на нее, разбранил за какую-то мелочь, за какой-то пустяковый непорядок в доме, и при этом так грубо, недвусмысленно намекнул на причины, почему ей, по его мнению, всегда не хватает времени, чтобы заняться наконец домом и детьми... И мало того, что у младшего из сыновей тяжелая свинка и мальчик плачет, жалуется, не подпускает к себе никого, кроме нее, а старшая дочь упрямится, не желает ей помочь, говорит, что не может сладить с братцем, а доктор утверждает, что против свинки нет никаких лекарств и единственное, в чем мальчик нуждается, — это внимание и покой... Так нет, ко всему этому еще и это поручение от герцогини-матери! А если смотреть правде в глаза, то даже не от нее, а от самого герцога. И если она его не выполнит, то тогда... Что тогда? Да все. Все тогда. Все может быть. Может быть и так, что конец тогда всему...

Нет, Шарлотта, хочешь не хочешь, а надо ехать к Вольфгангу. Ехать именно сейчас, утром, пока его еще не втянули в какие-нибудь служебные дела. Поручение должно быть выполнено именно сегодня, завтра будет уже поздно, завтра может произойти непоправимое... Ехать? Почему же обязательно ехать? Можно и дойти пешком, прогуляться по парку, это полезно в ее состоянии, чудесный тихий день, а лишних полчаса ни-

чего, конечно, не решат... Но тогда придется у городских ворот сказать стражнику свое имя, чтобы он занес его в книгу — таков обычай: каждый вошедший в городские ворота или вышедший из них должен быть отмечен в книге, неважно, лето это или зима, день это или ночь. Господи, ужас какой-то, вековая, дремучая старина, живем, как при каком-нибудь Фридрихе Барбароссе... Разумеется, и в карете тоже нужно будет сказать на выезде свое имя, но так хоть не надо будет смотреть в эти наглые, улыбающиеся глаза стражника... Ах, в этом жалком городишке все равно никуда не скроешься! Все равно кумушки на рыночной площади уже сегодня же днем будут говорить, что Шарлотта фон Штейн опять на глазах у всех ездила к своему дружку... Скорее бы он перебирался в этот новый дом на Фрауэнплан! Там лишь калитка в саду — и ты уже у него или он у тебя, и не только вечером, в темноте, но и днем никому там, кроме слуг, ничего не увидать: оба их сада, примыкающие друг к другу, наглухо отгорожены от всех. Ну, а слуги — это уж неизбежно, от этого никуда не денешься, они знают все и будут знать все. Здесь и она, и Вольфганг — оба беспомощны, здесь приходится только уповать на их благожелательность и на подарки по поводу и без повода, которых они всегда так ждут...

Ах, расходы, расходы... Одни расходы: на то, на се, на пятое, на десятое, а денег нет, а жизнь дорожает, а тут еще эти разговоры о каких-то новых налогах на всех, в том числе и на дворянство, о борьбе с расточительством, о жесткой экономии в дворцовых расходах... На чем, интересно знать, они будут экономить? На обедах? На вине к столу? На платьях герцогини-матери? Как бы не так! На жалованье чинам дворцового ведомства — ни на чем другом...

И за всем за этим мой идол, мое сокровище, мой же собственный воспитанник! Мой любовник, мой ученик, честолюбие которого и его претензии на великую историческую роль я сама так усердно и так умело разжигала столько лет... Господи ты боже мой, ну зачем он так упрям, так по-детски наивен, так самонадеян? Зачем он суется во все, зачем ему обязательно нужно влезать туда, где его никто не спрашивает? Мало ему того, что он достиг? Бьешься, бьешься, и все без толку... Он, видите ли, умнее всех... Умнее... На бумаге, конечно, умнее. Кто же спорит... А так... А так — одни глупости в голове, бредни, прожекты, мечты о переустройстве мира, всякая эта поэтическая дребедень... Ребячество, одно ребячество, и больше ничего... Сколько же можно водить его на помочах? Пора бы уж и мне отдохнуть от всей этой педагогики. Он теперь сам не маленький, сам должен знать и понимать, что к чему...

А казалось бы, чего еще больше? Он — премьер-министр, великий поэт, красивый, импозантный мужчина, ближайший друг герцога... А я? А я его друг, его возлюбленная, его руководительница и в жизни, и в делах, и наша связь признана всеми, и наша нежная, трогательная, вечная любовь — это уже не только не повод для насмешки, а, наоборот, предмет всеобщей зависти и преклонения, и все восхищаются нами, все знают о нас — вся Германия, вся Европа, весь мир... Чего же еще? Чего же еще надо? Живи, наслаждайся жизнью... Так нет же! Ни минуты покоя: борись за него, борись против него, воюй со всеми, интригуй, решай все новые и новые задачи, распутывай узлы, притворяйся, обороняйся, наступай, отступай... А мне уже, как ни верти, сорок, и отовсюду напирает эта молодежь, эти наглые, зубастые красотки, которые, зазевайся только, сейчас же вцепятся, сейчас же уведут его у тебя из-под носа! А ты потом грызи локти, кусай подушку, обливайся слезами по ночам — кто поймет, кто пожалеет тебя? Упустила, не удержала? Ну, и поделом тебе, старая ведьма, знай свое место! Молодые люди уже не для тебя, надо и совесть знать. Посторонись, уступи свое сокровище другим — помоложе, поинтереснее, поудачливее тебя... Посторонись? Уступи? Ну уж нет, подружки! Ну уж нет, милые мои кумушки! Этого вы от меня не дождетесь. И не надейтесь! Я буду бороться до конца, до последнего вздоха... Как-никак — во мне кровь шотландских королей! А они не привыкли отступаться от своего. Мария Стюарт на плаху пошла, а от своего не отступилась... И я вам Вольфганга не уступлю! Ни за что не уступлю... Так и знайте — не уступлю, пока жива!

Как всегда, утренний туалет баронессы, особенно если она должна была после завтрака куда-нибудь выходить или выезжать или принимать кого-либо у себя, был продуман до мелочей. Прежде всего полчаса, не меньше, требовали ее густые, роскошные волосы — ее гордость, ее, можно сказать, главное оружие в жизни: тяжелые, черные, как смоль, слегка посеребренные сверху пудрой, с подвитыми по вискам, трогательно небрежными завитушками, они очень красили ее маленькую складную головку и в сочетании с блестящими, необыкновенно живыми глазами, точеным носом, пухлым, всегда немного приоткрытым ртом и тоненькой шейкой над худыми ключицами делали ее и в сорок лет похожей на шаловливую девчонку — непоседливую, любопытную, избалованную успехом у всех. Правда, бюст и нижняя часть тела баронессы были такими, какими и полагается иметь женщине ее возраста: семеро детей — не шутка, даром они не даются, к тому же в последние годы она, как ни сопротивлялась, начала все-таки полнеть. Однако туго затянутый лиф платья и в меру, чуть меньше, чем полагалось по моде, открытая грудь, и легкая газовая косынка, ловко заткнутая концами именно там и туда, где некоторую желтизну и начинающуюся дряблость кожи можно было уже заметить, и, конечно же, широкая, колоколом, юбка, скрывавшая отчасти уже чрезмерную полноту и округлость бедер, и туфельки не просто на высоких, а на очень высоких каблуках, а кроме того, и разные другие ухищрения, невидимые постороннему взгляду, — все это, слава богу, пока еще позволяло ей чувствовать себя на людях вполне уверенно. Пожалуй, даже и не менее уверенно, чем двадцать лет назад... Это ведь только говорится так, что мужчины любят молоденьких девиц. Посюсюкать, поволочиться — это да, это их хлебом не корми. А страсть, настоящая страсть — нет, она возможна только к зрелой женщине! Естественно, если она, конечно, недурна собой... Недаром Вольфганг во всем этом цветнике, среди всех этих маменькиных дочек, стреляющих глазами по сторонам и в любую минуту готовых на все, только позови, ни на кого так всерьез и не обратил внимания, а выбрал ее... Именно ее, а ей было тогда уже все-таки за тридцать, и она уже родила тогда семерых... И не просто выбрал, а пять лет — целых пять лет! — добивался своего... И как добивался! Как добивался! Ах, какие же это были блаженные, какие это были прекрасные времена...

Пока Марта, служанка, осторожно, чтобы не сделать ей больно, не сдавить ее, дергала то за один конец шнуровки, то за другой, стягивая корсет, а потом разбиралась в сложной системе узелков, бантиков и ленточек, приделанных к платью не только для украшения, но и за тем, чтобы придать складкам нужное направление и нужную форму, баронесса, зажав в левой руке сразу две баночки — одну с кремом, другую с румянами — ловко точечками разбрасывала по лицу, по шее и по краям выреза на груди капельки того и другого состава и растирала их потом кончиком отставленного в сторону безымянного пальца. Особенно тщательно отделывались при этом уголки глаз и рта, а также подбородок, т. е. те места, где морщинки и увядающая кожа уже никак, ни при каких обстоятельствах не могли быть предоставлены самим себе. Немало времени нужно было и на то, чтобы выбрать брошь и серьги, наиболее подходящие и под цвет ее глаз, и под цвет ее сегодняшнего платья, и под сегодняшнюю погоду за окном; и уложить, закрепить получше — свободно, но не туго — атласную ленту, придерживающую ее волосы, всегда готовые, если их не стянуть, рассыпаться по плечам под своей собственной тяжестью; и подобрать соответствующего тона и размера жемчуг на шею; и решить, какие из ее колец и перстней лучше всего будут выглядеть сегодня на руках; и, наконец, сделать выбор — может быть, наиболее ответственный выбор, — чем, какими запахами будет пахнуть сегодня ее кожа: за ушами, у корней волос, под подбородком, в ямочке на шее, в маленькой, но глубокой ложбинке на груди... Что ж, несмотря на всю свою женственность и кокетливость, а может быть, и благодаря именно им, Шарлотта фон Штейн всегда отличалась серьезным отношением к жизни... Что же вы хотите? Она вела борьбу, длительную, сложную, изнурительную борьбу, а в борьбе, как известно, выигрывает только тот, чей дух, тело, чье вооружение и чьи бойцовские навыки сильнее, чем у противников. И в этом

деле все важно, все нужно, здесь нет и не может быть мелочей... В борьбе все средства хороши, и кто, представя себя на ее месте и не греша против собственной совести, посмел бы осудить ее?

Но если во время своего туалета баронесса не позволила себе ни одного суетливого движения, делая все медленно, аккуратно, основательно, будто собираясь в длительный поход, то с домашними делами она расправилась, что называется, в мгновение ока. Два-три распоряжения Марте, короткое совещание с кухаркой на кухне, стоя, не присаживаясь, проглоченная чашка кофе, быстренько, на краешке стола, набросанная записочка доктору, торопливо запечатленный поцелуй на потном лбу больного сына, несколько указаний старшей дочери, брошенных на ходу резким, не допускающим возражений тоном, стремительный визит в классную комнату, где занимались остальные дети, — и она была уже свободна. Пока она распоряжалась, карета была заложена и теперь стояла у подъезда, ожидая ее.

Усаживаясь в карету, баронесса мысленно еще раз пробежала по закоулкам своего дома, по лицам слуг и детей и, удовлетворенная тем, что все сделано, как надо, а что не сделано, то вполне может подождать до ее возвращения, глубоко вздохнула и с облегчением откинулась на подушки. Карета неторопливо, переваливаясь с боку на бок и слегка подскакивая на брусчатой мостовой, тронулась к городским воротам. Баронесса не смотрела в окно: кривые улицы, серые, плотно стоящие бюргерские дома с островерхими крышами и цветами на окнах, лица встречных прохожих, чуть ли не каждое из которых она знала не один десяток лет, давно уже наскучили ей, и она предпочитала, пока было время, подремать, подумать о том, о сем, закрыв глаза, под мерное колыхание рессор и цоканье копыт по мостовой...

Шарлотта фон Штейн, следует признать, обладала поистине государственным умом, и содержание этой новой интриги, в которой ее вынудили принять участие, было ясно ей, как на ладони. Или, скажем так, почти ясно... Сама-то суть интриги, ее ход, ее возможные последствия были ясны ей абсолютно, с самого начала, как только герцогиня-мать попросила ее вмешаться. Неясен был только список всех действующих лиц, да и то не основных участников, — это все были ее ближайшие друзья, ее знакомые, про этих она знала все, — а других, менее значительных, подвизавшихся на закулисных ролях: ведь и таких, надо думать, тоже было немало втянуто в это дело, и они тоже имели какие-то свои цели, какие-то свои побудительные мотивы... Например, кто конкретно из судебного ведомства, кроме, естественно, председателя суда, стоит за проектом нового указа? Чьим интересам отвечает этот указ и кто рассчитывает погреть на нем руки? И что вообще можно заработать на таком дурацком указе, да еще с такой ограниченной сферой применения?.. Часто ли бывают в их милом, тихом герцогстве такие происшествия? Дай бог, одно за сто лет... Но тогда почему судейские так настойчивы, почему они так упорствуют?.. А может быть, здесь не просто их всегдашний корыстный интерес, а гораздо более тонкий расчет? Зная взгляды и убеждения Гете, его впечатлительность, его ребяческое упрямство, подкопаться таким образом под него, столкнуть его с герцогом и герцогской семьей? Использовать этот вроде бы пустяковый повод для того, чтобы ослабить его влияние как премьер-министра, выставить его в смешном, жалком свете, подчеркнуть его неисправимое слюнтяйство, его государственную некомпетентность, его непригодность к государственным делам? И в этом смысле председатель суда и другие судейские — это лишь часть более широкого заговора против Гете? Заговора, который — чует сердце! — уже давно зреет, а может быть, уже и созрел в тиши правительственных канцелярий, среди чиновников, обозленных его успехом и его столь бесцеремонным вмешательством в их отлаженную, привычную, из поколения в поколение не меняющуюся жизнь? И вся эта затея, которая сама по себе не стоит и ломаного гроша, есть вовсе не борьба за очередной никому не нужный указ, а прямая, тщательно подготовленная атака на Гете? На ее Гете?

Действительно, что за проблема для их герцогства — ужесточение наказания матерям-детоубийцам? Как будто никаких других проблем в этом государстве уже нет! Кто ее выдумал, эту проблему? Зачем? Можно подумать, что по всему герцогству каждую ночь отчаявшиеся матери-преступницы только и делают, что душат подушками своих незаконнорожденных детей или топят их, как котят, в соседнем пруду! Слава богу, за все сорок лет своей жизни она, например, в первый раз слышит о подобном происшествии, а ей ли не знать, что происходит и в Веймаре, и в Иене, и в Эйзенахе, да и во всех других городках и деревеньках... Пожалуй, во всем герцогстве никто столько не ездит по служебным делам, сколько ее муж, и уж кому-кому, а ей-то он докладывает все, что видел или узнал, даже и то, что он иной раз и самому герцогу, и вообще никому не говорит... И чтобы поднимать по столь мелкому, ничтожному поводу такой шум, такие споры? Готовить специальный указ, созывать ландтаг, собирать под проектом указа подписи ответственных лиц, шушукаться, интриговать, давить на Гете, давить на двор, на герцога, на герцогиню-мать? Да когда это было?! Где это видано?! Ай, бросьте, господа! Нет, здесь дело нечисто. Очень нечисто... И смотри, Шарлотта, не промахнись. Не промахнись! Не упусти сегодняшнюю возможность... Многое, слишком многое здесь теперь зависит от тебя. Именно от тебя... Может быть, даже и вся дальнейшая судьба Гете... Его, а значит, и твоя...

Легче всего в этой интриге можно было понять герцогиню-мать и всю герцогскую семью. Судя по всему, герцог начинает, наконец, взрослеть, отходить от своих молодецких забав, от всей этой безрассудной гульбы, пьянства, тасканья по кабакам: он потяжелел, поумнел, стал больше заниматься делами, больше бывать дома, больше заботиться о своем здоровье, о будущем, о своей репутации в глазах других европейских царствующих домов. И первый признак его превращения в истинного монарха, облеченного ответственностью и сознающего свои обязанности, свою государственную роль, несомненно, налицо: восстановление нормальных супружеских отношений с вечно заброшенной, вечно оскорбленной его изменами и его пренебрежением герцогиней Луизой. Если господь даст, в начале будущего года Веймар будет праздновать прибавление августейшего семейства — беременность герцогини ни для кого уже не секрет. Но еще важнее в этом смысле окончательный, по-видимому, разрыв герцога с этой вертихвосткой, графиней фон Вертерн, одно время, как казалось, целиком и полностью подчинившей его себе... Правда, остается еще Корона Шретер... Но это не опасно, это мелочь, этим можно пренебречь. В конце концов с ней только ленивый не спал, и герцогу это все прекрасно известно. Есть же у него какое-то самолюбие? Или мужчинам вообще на это наплевать? Наплевать — не наплевать, но Корона — это все-таки не графиня фон Вертерн: позабавиться, помузицировать, полежать вместе — это да, это пожалуйста! Но на большее ей рассчитывать не приходится, она не дура, она и сама это прекрасно понимает. Недаром, по слухам, она уже начала прощупывать почву, кто же в Германии пригреет ее после того, как она надоест и герцогу, и его другу, его блестящему, его выдающемуся премьер-министру, которому я, клянусь, когда-нибудь еще найду случай за эту Корону отомстить... Пусть не думает, что я слепая, что я ничего не вижу и не знаю. Он еще поползает за нее у меня в ногах!.. И во всей этой обстановке очень логично, конечно, в доказательство серьезности происходящих при дворе перемен, укрепления порядка и дисциплины в государстве, сверху донизу, от герцогской семьи и до последнего бюргера, до последнего убогого крестьянина, предпринять какой-то громкий, решительный шаг по исправлению пошатнувшихся нравов... Подтянуть мораль, усилить строгости, заставить вконец разболтавшихся людей лишний раз вспомнить, что существуют законы, существуют правила, существует, наконец, недремлющее око государства, которое мгновенно и беспощадно карает каждого, кто вздумает нарушить общепринятые нормы и общепринятую манеру жить... А тут как раз этот случай, получивший столь широкую огласку... Надо признать, очень удобный случай... Как говорится, и дешево, и сердито... Отправить на виселицу всего одну-единственную деревенскую дуру, по слухам — почти животное, которая, вероятно, и сама-то толком не понимала, что она сделала и как это произошло, и тем самым торжественно возвестить всем, всему герцогству, что государство наше здорово и крепко, что в нем царствует порядок, что руководители его денно и нощно пекутся о благе

и спокойствии своих подданных — что ж, понятный расчет! Вполне понятный расчет... Тем более, что тут и изобретать ничего не надо, надо только вновь во всеуслышание на амвонах и площадях подтвердить древнюю силу и действенность законов Священной Римской империи... Хотя и забытых, но никем пока еще публично не отменявшихся. По крайней мере здесь, в Германии... Империя, пусть и на бумаге, но ведь еще жива...

Однако... Однако если принимать это все за чистую монету — исправление нравов и прочее, — то сам собой тогда напрашивается вопрос: а почему тогда именно этот указ, а не другой, гораздо более нужный и более серьезный и тоже, как известно, ждущий своей подписи? Указ о восстановлении на основе тех же древних законов смертной казни за воровство? Или, во всяком случае, почему только указ о матерях-детоубийцах, да еще в таком пожарном порядке, а не вместе и тот и другой? Уж если всерьез говорить об укреплении нравов, то, казалось, логично было бы начать наступление сразу по всем десяти библейским заповедям: не убий, не укради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй... А тут прицепились к этой несчастной девке и развели такой шум, как будто не казни ее — и сразу все рухнет в нашем государстве... Уж чего-чего, а воровства-то в герцогстве Саксен-Веймарском и Эйзенахском, слава богу, пока еще хватает! Вот это действительно вопрос, государственной важности вопрос! Да и судейским тут, конечно, было бы полное раздолье — и для наживы, и для усиления своего влияния по всей стране... И тем не менее все они схватились за указ о матерях-детоубийцах, а не за указ о воровстве. Почему?.. Почему, почему... А потому, милая Шарлотта, что дело здесь, еще раз говорю тебе, вовсе не в этой девке и не в этом указе, а в Гете, в твоем Гете... Потому что здесь тонкий, дьявольский расчет людей, великолепно изучивших твоего прекраснодушного друга, все его слабости, его самолюбие, его тщеславие, его повышенную щепетильность: нет, никогда не решится поэт с мировым именем, вечно озабоченный тем, как он будет выглядеть в веках, в глазах потомков, поставить свою визу под таким свирепым указом, заставляющим вспомнить самые худшие времена средневековья... Инквизицию, дыбу, костры, щипцы палачей... Указ про воровство — подпишет. А этот? Нет, ни за что... Ах, так? Не решится, значит? Не подпишет, будет сопротивляться? Пойдет против герцога и его семьи, против всех лучших людей в государстве? Против нравственности, добродетели, против порядка в стране? Ну, и прекрасно! На том ему и конец...

Поглощенная своими мыслями, баронесса даже и не заметила, как они миновали сторожевую башню и городские ворота, — видимо, кучер, как обычно, кивнул на ходу знакомому стражнику, и тот, зная ее карету, не счел нужным останавливать их, — как прогромыхали они по горбатому мосту, перекинутому через ров, как выехали на главное шоссе и как потом свернули на лесную, мягкую дорогу, ведущую к дому Гете... Приоткрыв занавеску, баронесса рассеянно скользила взглядом по просторному, светлому лесу, по темным стволам вековых раскидистых лип и могучим, кряжистым, в буграх и наростах дубам, под которыми земля уже была укрыта тонким слоем опавших листьев...

Серьезная задача стояла перед ней! Очень и очень серьезная задача. И как всегда, у нее не было никакого заранее продуманного плана. Веря в себя, она полностью полагалась на свою интуицию, наитие, на свое обостренное чувство момента, которое, несомненно, подскажет ей нужные слова и нужную линию поведения, чтобы добиться своего. Она умела убеждать, но, если это не действовало, она умела и умолять, просить, взывать, заламывать руки, проливать потоки слез и, надо признать, делала это всегда так искусно и так натурально, что не только он, не выносивший слез, но и она сама в такие минуты начинала всерьез верить в свое отчаяние, в невозможность жить без его согласия на ту или иную ее просьбу, без еще одного, последнего, но, без сомнения, самого важного, самого нужного в этот момент доказательства его любви. Конечно, прибегала она к таким сценам нечасто, не более двух-трех раз за все семь лет их практически безоблачного счастья: баронесса была умна и прекрасно знала, что столь сильное оружие, как слезы, нельзя пускать в ход по мелким поводам, иначе оно потеряет свою действенность. Помнится,

однажды именно таким образом ей удалось отговорить его от почти уже принятого — после какой-то размолвки с герцогом — решения покинуть Веймар. В другой раз это было года три назад, когда она еще надеялась сохранить платонический — как во всех популярных в годы ее молодости романах — характер их связи, а он, разгоряченный где-то перед тем вином, взвинченный, возбужденный, вдруг изменил своей неизменной корректности, стал почти груб, нетерпелив, несмотря на все ее сопротивление, и когда только слезы, неудержимо хлынувшие из ее глаз, и руки, протянутые к нему в почти искренней мольбе, остановили его и позволили сохранить — ах, к сожалению, ненадолго! — прежнюю целомудренность их отношений... Нет, ей не в чем было себя упрекнуть, она никогда не злоупотребляла этим оружием. Но сегодня... Но сегодня, Шарлотта, надо быть готовой ко всему. Сегодня тебе некуда отступать, сегодня или по-твоему, или конец — и тебе, и ему... Да-да, Шарлотта, только без иллюзий! Если он сегодня не подпишет этот указ и если завтра не будет спектакля в его честь и празднования его дня рождения во дворце — это значит, что через месяц-другой он уже не всесильный премьер-министр, не первый человек в государстве, не «альтер эго» герцога, а жалкий, опальный, всеми позабытый бывший фаворит, которого терпят лишь из милости, из приличия... Ну, а ты? Кто тогда будешь ты? В глазах Германии, в глазах Европы, в глазах всего мира? В памяти будущих поколений?.. Кто? Никто.

Если верить герцогине-матери, а ей нельзя не верить, то вопрос сейчас стоит так: либо Гете преодолеет, наконец, свое упрямство и даст согласие на этот указ, и не когда-нибудь, а именно сегодня, потому что больше тянуть с этим делом нельзя, это уже становится неприлично и оскорбительно для всех, прежде всего для герцогской семьи — в конце концов, кто хозяин в государстве: герцог или он? — либо... Либо отменяется назначенный на завтра давно задуманный и тщательно подготовленный спектакль «Рождение, жизнь и деяния Минервы», которым, как было широко объявлено заранее, герцогская семья и двор хотели бы на сцене в Тифурте отметить тридцатитрехлетие их всеобщего любимца и в котором сам Карл-Август должен играть роль Вулкана, а Корона Шретер — у-у, змея... — роль Минервы... Соответственно отменяются и празднество, и торжественный бал во дворце, на которые приглашены все самые влиятельные люди Веймара и всего герцогства... По замыслу автора и постановщика спектакля камергера Сакендорфа, утвержденному герцогом, в конце последнего акта новорожденная богиня мудрости разворачивает Книгу Судеб и всенародно провозглашает, что, как записано в Книге, 28 августа есть один из самых счастливых дней всего человечества, ибо «назад тому тридцать три года в этот день родился человек, которого мир будет чтить как самого лучшего и самого мудрого из людей». В это время над сценой показывается в облаках крылатый гений с вензелем Гете. Гремят трубы, хор поет осанну, весь театр, по знаку из правительственной ложи, встает и устраивает овацию избраннику судьбы. Герцог на сцене сбрасывает с себя хитон Вулкана и, в полной парадной форме, увенчивает голову Гете, вызванного из-за кулис, лавровым венком. Потом камергер подносит герцогу ларец, он вытаскивает оттуда голубую ленту со звездой и торжественно, принародно, под звуки музыки и рукоплескания зала одевает эту ленту через плечо своему премьер-министру... Каково, а? Удостоивался ли кто когда за всю историю их герцогства такой чести? И не только в их герцогстве, но и во всей Германии? Нет, такого еще не было никогда и нигде... А в другой ложе театра, рядом с герцогской семьей, сидишь ты, баронесса фон Штейн, и все знают, что это ты, и все знают, что это твой любовник, твой ученик... И все знают, что, если бы не ты, этот гений, этот выдающийся государственный деятель и поэт так и кончил бы, наверное, свои дни где-нибудь в мансарде, на чердаке, в нищете, грызя гусиное перо и вздрагивая, в страхе перед кредиторами, при каждом стуке в дверь... Так, Шарлотта, так! И именно поэтому ты должна, ты обязана сегодня совершить подвиг — и ради него, и ради себя... И не забудь — ради людей! Да-да, конечно, и ради них...

Так как же все-таки? Как же ей построить эту встречу с ним?.. Как? А никак... Как всегда, когда они оставались вдвоем. Как он привык, так

и надо говорить... Грустно, и тихо, и легко... Сначала так, а там как пойдет... Ведь преобладающей интонацией в их встречах всегда была грусть: легкая, всепонимающая грусть двух возвышенных сердец, парящих над миром, над человеческими страстями и заблуждениями и полных любви и снисхождения к людям, ко всем этим несчастным, задавленным жизнью существам, лишенным возможности хоть на мгновение оторвать голову от унизительных земных забот и бросить взгляд в небо, в его бездонную высь... Пожалуй, это даже не он, а она еще семь лет назад, с самого начала, предложила этот тон. Но он тогда сразу принял его, очень дорожил им и всегда с тех пор сохранял его и в своих письмах к ней, и в их беседах наедине... И именно поэтому, как она подозревала, она и стала так ему нужна... Кому еще он мог открыть свою душу, кто еще понял бы здесь его страдания, его надежды, его божественную суть творца? И кто еще, кроме нее, мог убедить его, что иного, лучшего, чем здесь, места для него на земле нет и не может быть, что надо жить с тем, что есть, что он слуга, он раб своего великого таланта и должен думать прежде всего о себе, о том, как и где будет лучше всего для него, для его творчества? Ибо он уже воздал людям и еще воздаст им сторицею за все, что они могут для него сделать, а они были, есть и всегда будут перед ним в неоплатном долгу... Нет-нет, Шарлотта, это все твоя заслуга, он и сам это прекрасно сознает! И это дает тебе право на многое, в том числе и на борьбу с ним за него же самого... В конце концов в каком-то смысле ты даже не его любовница, а его старшая сестра. И даже не сестра, а мать. А мать ради спасения своего ребенка имеет право не просто на многое — она имеет право на все.

III

— Это сюрприз, Лотта! Это сюрприз... Ах, как ты славно придумала! Представляешь, а я только-только успел сбросить халат и собирался уже ехать в коллегию, как слышу: стук колес у крыльца, голос моего Филиппа... Смотрю в окно — ты! Как я рад, если бы ты знала... Ты приехала по делу?

— Нет... Я соскучилась.

— А, я знаю! Ты привезла подарки, да?

— Нет, не привезла... Получишь завтра... Завтра. Если, конечно, будешь себя хорошо вести...

— А что? Что ты приготовила? Скажи сейчас... Я умираю от любопытства...

— Не скажу — секрет. Потерпи. А то будет неинтересно... Ты работал сегодня? Успел что-нибудь сделать?

— Да. И много!.. Утро было тихое, чудесное, никто не мешал... Знаешь, Лотта, мой «Тассо» движется! Быстро движется. Быстрее, чем я ожидал... О, какая это грустная будет история! Иногда мне кажется, что он — это я, и я — это он, и я пишу о себе, а не о нем. И тогда меня начинают душить слезы от жалости к самому себе... Но это хорошие слезы, ты поймешь... Хочешь, прочту, что я сегодня написал?

Медленно, бережно, слегка обняв ее за плечи и давая ей возможность перевести дух после подъема по крутой и узкой деревянной лестнице, он провел ее сквозь крохотную прихожую и большую пустоватую балконную комнату к себе в кабинет. Шарлотта не любила балконную комнату, где он обычно принимал гостей, и старалась не задерживаться в ней: здесь на стене у камина висел портрет спящей Короны Шретер, набросанный им углем года два назад. Хотя Шарлотта неоднократно просила его снять этот портрет, он никогда не соглашался на ее просьбы, всякий раз отшучиваясь и ссылаясь на то, что портрет якобы очень нравится герцогу и он, как его друг и верноподданный, не смеет нанести ему такую обиду, которую к тому же ничем не объяснишь. В самом деле, не скажешь же герцогу, что его Лотта, его маленькая прелестная Лотта просто-напросто ревнует его к этой Короне Шретер? Герцог возмутится и издаст тогда именной указ, запрещающий по всему герцогству замужним женщинам ревновать своих возлюбленных. И как же им тогда быть?

— Как хорошо, Лотта, как хорошо, что ты приехала! — повторял он, помогая ей снять легкую накидку и целуя в это время маленький завиток волос у шеи, трогательно подчеркивавший открытость и белизну плеч. — Как ты пахнешь всегда, Лотта... Сколько лет уже, и я каждый раз начинаю заново сходить с ума... Ты получила мои розы сегодня утром? Филипп клялся, что доставил их, когда у вас еще все спали...

— Да, дорогой мой... Ты так всегда балуешь меня... Я поставила их у себя в спальне. А вчерашние я велела перенести в гостиную, они еще вполне живые...

В кабинете Гете первым делом задернул половину тяжелой шторы, чтобы лучи солнца не доставали в тот угол, где стояла кушетка: с некоторых пор, как он заметил, она избегала подставлять лицо слишком яркому солнцу. Потом он усадил ее на кушетку, пододвинул ей под ноги скамеечку и подложил за спину черную бархатную подушку: Шарлотта любила комфорт и каждый раз с неизменным удовольствием принимала от него все те маленькие знаки внимания, на которые он был всегда так щедр. Покончив с этими хлопотами, он отошел к столу и на какое-то мгновение застыл около него, положив руку на исписанные листки бумаги и нерешительно, вполоборота глядя на нее. Поймав его взгляд, она улыбнулась в ответ и утвердительно закивала головой:

— Читай, читай... Конечно же, читай! Я жду.

Но не бывает поэтов без причуд. Чего, казалось бы, проще? Возьми свои листки, встань посреди комнаты и прочти вслух то, что ты написал. Уж где-где, а здесь-то, можешь не сомневаться, тебя поймут без всяких там ухищрений и затей... Но поэт есть поэт, и что ему надо — знает только он один. Гете был великолепный декламатор, чувствовавший себя совершенно уверенно в любой обстановке и среди любого рода слушателей, и, однако, самому верному, самому надежному из них он мог читать только в одной позе: сидя на полу у ее ног, прислонившись спиной к кушетке и касаясь щекой ее колен.

Ах, как любила она эти минуты и часы, проведенные с ним вдвоем... Как долго, замерев и внутренне сжавшись от счастья, могла она сидеть так и слушать его голос и чувствовать всего его рядом с собой, у своих ног, и в это время тихо перебирать рукой его мягкие, шелковистые волосы, все еще, несмотря на годы и зрелость, доставившие ему почти до плеч... Бестолковый, вздорный, ветреный шалопай, гениальный мальчик, чудовище, полубог — что бы ты делал без меня? Без меня, без своей Лотты? Боже мой, какое же это наслаждение — сидеть так в тишине, в полумраке, за закрытыми шторами, затаившись от всех, сидеть и слушать тебя, и гладить твои волосы, и думать о том, что я единственная по-настоящему счастливая женщина на земле, потому что у меня есть ты... Ты!.. И как хорошо, что мы здесь, в твоем кабинете, среди всех этих камней, статуэток и книг, и как хорошо, что сейчас август, что за окном щебечут птицы, что ты мне рад, что ты меня ждал, хотя и говоришь о каком-то там якобы сюрпризе... Сюрприз? Какой сюрприз? Ты ждал, ты с утра ждал! И я знала, что ты ждешь, и поэтому я здесь. Поэтому? Ну, не совсем, правда, поэтому... Но сейчас это неважно, важно, что я здесь, и завтра буду здесь, и всегда буду здесь, с тобой, пока ты жив...

— Тебе удобно, Лотта?.. Будешь слушать? Это недолго, всего несколько строк... А потом мы будем с тобой разговаривать...

— Зачем ты спрашиваешь? Читай хоть до утра... Ты же знаешь, как я люблю тебя слушать. И слова твои, и голос... Может быть, даже голос твой больше, чем слова...

Шарлотта не лукавила: слова ей действительно были не так уж важны, гораздо более значило для нее то полное силы и сдержанной страсти звучание его низкого, глуховатого голоса, которое всякий раз, когда он читал ей, завораживало, околдовывало ее, погружая в безвольное забытье, в тот мир, где, кроме них и счастья и божественной музыки слов, не существовало больше ничего... Конечно, — кто же будет спорить? — стихи его и сами по себе, независимо от его голоса, всегда были прекрасны, всегда были верхом изящества и простоты. И Клопшток, и Виланд, и другие поэты, да что там говорить — весь свет, вся Германия

в конце концов признали это... И, между прочим, прошу не забывать, вот уже семь лет все эти стихи, поэмы, проза начинали свою жизнь с нее — именно с нее! Каждое утро, или день, или вечер, при встрече с ней или просто строкой в письме — но обязательно с нее... С нее, а не с Короны Шретер или кого-нибудь там еще... Правда, проза его, по мнению некоторых, стала в последнее время несколько тяжеловата, кое-кто даже говорит, что порой она бывает и просто неуклюжа. Но она, Шарлотта, никогда не разделяла этого мнения — ни вслух, ни в глубине души. Ей лично и в самой этой тяжести, в самой этой подчеркнутой несвободе и стянутости его прозаических произведений всегда слышалось только одно — то же самое сдерживаемое мучительным усилием воли волнение, страсть, внутренний огонь, бьющая через край мужская сила, которые так влекли к нему сердца и которые сразу же покорили и ее сердце... Сразу, с первой же ее встречи с тем, теперь уже далеким, юношей в голубом фраке, желтом жилете и высоких ботфортах на сухих, поджарых ногах, которого герцог представил ей тогда в саду, чуть ли не в первый день его прибытия в Веймар... О, как давно это было! И кто бы мог подумать тогда, что тот нахальный, взъерошенный птенец, притягивавший и одновременно отталкивавший от себя всех своим апломбом, своей несокрушимой уверенностью в собственной гениальности, превратится через несколько лет в такого вельможу, в такого важного сановного государственного деятеля, полного истинного величия и снисходительности... Кто бы мог подумать? Кто?.. Никто... Никто, кроме меня. Ибо только я одна тогда сумела разглядеть за всеми его беспутствами, странностями, за всеми его шутовскими выходками его великую силу, ту силу, которая в конце концов подчинит себе всех — и тех, кто любит его, и тех, кто его ненавидит... Да-да, и их, ненавидевших и ненавидящих его, тоже, потому что единственное, что они признают и чего они боятся на свете, — это власть, а власть теперь не у них, она теперь у него... И видит бог, он эту власть заслужил... Заслужил — потому что он сильнее и умнее их, потому что он неизмеримо выше их в искусстве править людьми...

О чем это он? А... Все о том же... О том, как трудно чистому, прямодушному человеку вариться в этом зловонном вареве, как трудно гению и творцу подлаживаться под всех этих мошенников, лукавить, лицемерить, лгать, изгибаться, чтобы перелукавить их всех и в конце концов добиться своего... Трудно, мой мальчик? Да, конечно, трудно. Очень трудно... Но возможно? Возможно, и еще как возможно! И ты тому самое веское, самое наглядное доказательство... Что ты отдал им? Ничего. По сути дела, ничего... Ну, десяток плохих мадригалов на случай, ну, десяток-другой впустую загубленных вечеров, ну, согнулся иной раз в поклоне, когда хотелось, наоборот, кричать, проклинать, потрясать кулаками от боли или обиды... И это все? Только-то и всего?.. Но разве ты отдал им что-нибудь от себя самого? Разве ты пишешь и печатаешь не то, что хочешь? Разве ты даешь отчет кому-либо в своих мыслях и словах? Да и кто посмеет спрашивать отчета в таких вещах у тебя — премьер-министра, тайного советника, первого, по существу, лица во всем государстве? Кто посмеет замахнуться на такую высоту, у кого есть право на это?.. У герцога? Но герцог, что бы о нем ни говорили, — истинный монарх и благороднейший человек: великодушный, щедрый, благожелательный, искренне пекущийся о высших интересах народа и государства. К тому же он твой воспитанник, твой ближайший друг, и нет сомнения, что эту дружбу он по-своему ценит даже больше, чем ты. И что плохого ты видел от него? Что ты можешь за все эти годы бросить ему в упрек? Разве он когда-нибудь мешал тебе в твоих трудах? И какова была с его стороны плата за те нечастые, будь же справедлив — очень нечастые случаи, когда ты вынужден был ради него и ради интересов государства немного покривить душой? Ты не можешь не признать — щедрая плата, поистине королевская плата: неограниченный простор для твоей деятельности, для твоих общественных и личных увлечений, полная свобода писать, что ты хочешь, чудить, как тебе вздумается, и все это в условиях достатка, независимости, почти богатства, и все это в атмосфере всеобщей любви и преклонения, и все это не на день, не на

месяц, не на год — на всю твою жизнь, сколько тебе ее определил господь... Что же ты тогда жалуешься, мой мальчик? Что же еще ты можешь хотеть от жизни? И неужели это все не стоит одного-другого жеста признательности с твоей стороны, какого-то проявления твоей благодарности, если в ней так нуждаются те, кто обеспечил тебе благополучие и возможность творить, кто снял с тебя все ограничения, все унизительные оковы и цепи жизни? И неужели все это, нажитое таким упорством и таким трудом, ты поставишь на карту ради какой-то деревенской дурищи? Ради своего каприза, причуды, прихоти, которым не найти никакого другого объяснения, кроме несерьезного и недостойного тебя — «я так хочу»? Или, наоборот — «я так не хочу»?

Что? Что ты говоришь?.. А, ты уже пророчишь сам себе? Ты уже чуешь надвигающуюся катастрофу?.. Или это только твой сюжет? И это не о тебе, а о нем, о том горемыке Торквато Тассо, которого ты в последнее время так полюбил?.. Нет, я знаю тебя... Ты и полюбил-то его именно потому, что видишь сходство его и твоей жизни, его судьбы и твоей судьбы, его несчастий и тех опасностей, которые подстерегают тебя на твоем пути. Конечно, тюрьма или сумасшедший дом тебе не грозят: слава богу, мы живем в другом веке, в другом государстве, под властью другого человека, не имеющего ничего общего с тем мелким и злобным деспотом, который так мучил твоего Тассо. Но разве это гарантия от возможной катастрофы? От крушения всей твоей карьеры, от нищеты и забвения, от яростной травли твоих многочисленных завистников, которые, как свора собак, тут же набросятся на тебя, лишь только почуют, что ты уже не тот, что ты ослабел? Разве люди за двести лет в чем-нибудь изменились?.. Нет, мой мальчик, ты не имеешь права рисковать... Мучайся, впадай в отчаяние, рви на себе волосы — ничего страшного, ты переболеешь и этим, как переболел уже многим другим. Будь уверен: потомки поймут и простят тебя. Какое им будет дело до каких-то мелких случайных происшествий когда-то, в жизни какого-то ничтожного герцогства, одного из трех сотен государств несчастной Германии? Какое им будет дело до еще одной жалкой, полубезумной преступницы, отправленной на виселицу, до герцога, до ландтага, до председателя суда, до твоей, наконец, подписи под этим злосчастным указом, о котором через десяток лет уже, наверное, и не вспомнит никто? Не о подписи твоей — о тебе самом они будут помнить, и не об этом клочке бумаги, а о твоих великих творениях, о той вершине человеческой мысли, на которую ты поднял и своих современников, и своих потомков... И я не сомневаюсь, что, когда все отболит, и этот случай тоже станет в конце концов лишь материалом для тебя, для твоих произведений... Выстраданным, вымученным, выплаканным, но все-таки лишь материалом и ничем иным... Грех? Жестокость? Ну и что же? Разве у тебя не было других грехов? Вспомни, оглянись назад... Ты просто напишешь о нем, об этом случае, — вот и все. И тем самым снимешь и этот свой грех, освободишься от него, отмолишь его перед богом и перед людьми... У тебя еще будет много, очень много времени впереди на раскаяние, на терзанья, на раздиранье себя в кровь перед всем миром... Будь уверен — отмолишь! О чем-то же ты должен писать? Ну, вот и прекрасно — пиши. В том числе и об этом... Пиши, исповедуйся, открывайся, выворачивай свою душу наизнанку... Себе в облегчение и на радость людям и мне...

— «Там, где немеет в муках человек, мне дал господь поведать, как я стражду...»

О, так ты тоже об этом? Ты читаешь мои мысли, мой мальчик? Или нет — это я настолько изучила тебя, что могу уже говорить за тебя, всегда и безошибочно, умом или сердцем зная, о чем ты думаешь и что тебя гнетет... Ах, как мы созданы друг для друга, Вольфганг, дорогой мой Вольфганг! И какое это счастье — понимать друг друга с полуслова или вообще без слов... Семь лет вместе — это же, по существу, целая жизнь! И как я благодарна тебе, что именно ты, а не кто-то другой стал моим возлюбленным, что благодаря тебе я тоже живу захватывающей, интересной, до краев наполненной жизнью! Жизнью, которой не знала никогда ни одна из женщин Германии и не узнает никогда... Жизнью, в которой нет места ни возрасту, ни болезням, ни тоске, ни мелочным, ис-

сушающим душу житейским дрязгам... Только, пожалуйста, не гордись! Только не заносись!.. И не смей бросать свою Лотту! Не смей!.. Я тебе покажу Корону Шретер! Ты мой, ты предназначен мне богом, так же, как и я тебе... И без меня ты погибнешь, ты сломаешься, ты не выдержишь без меня — так и знай...

— «Там, где немеет в муках человек, мне дал господь поведать, как я стражду»... Хорошо, Лотта?

— Хорошо! Чудо, как хорошо!

— Да? Ты тоже понимаешь, какая это находка?.. Это гениальная фраза, Лотта! Я знаю — гениальная... И она будет жить века... Такое еще никому не удавалось, поверь мне...

— Поверь? Это ты мне поверь!.. Я знаю, Вольфганг, что такого человека, как ты, еще не было на земле! И я иногда цепенею от ужаса, от священного трепета, когда до меня вдруг доходит, что ты — это ты, мой Вольфганг, мой мальчик, и я сижу рядом с тобой, и ты у моих ног, и на моих глазах рождается иной, новый мир, нет, иные, новые миры, и творец их — ты...

— Не надо, Лотта, не перехваливай меня. У меня и так сейчас кружится голова. И руки-ноги дрожат... Я ведь понимаю, что я сделал... Что мне удалось создать... Мне?! Нет, не мне. Я всего лишь человек... А эту фразу через меня сказал бог...

— Ты и есть бог, Вольфганг! Пусть это кощунство, пусть господь накажет меня, но ты — бог... Ты и есть бог...

— Не надо, дорогая, не надо... Это слишком далеко заведет нас... Ты знаешь, Лотта, я, наверное, всю пьесу переделаю на стихи... Чем дальше, тем я больше убеждаюсь, что нельзя о таких вещах писать прозой...

— Да какая разница! Стихи, проза... Все, все, что ты делаешь, Вольфганг, — все гениально...

— Все? Так уж и все?

— Все! По крайней мере все, что ты пишешь... И ты не только гениальный поэт. Ты гениальный премьер-министр, и ты гениальный ученый, и ты гениальный артист, и ты гениальный любовник... И... И... И я не знаю, что еще... Все... Только иногда в тебя вселяется какой-то бес, и ты начинаешь дразнить людей, делать глупости. Но тогда...

— Но тогда у меня есть ты...

— Да, у тебя есть я! Твоя верная, твоя преданная Лотта, которая защитит тебя, спасет тебя от тебя самого и от других...

— И которую я очень люблю...

— Любишь, но слушаешь иногда вполуха... Хотя давно уже, казалось бы, должен был убедиться, что я знаю жизнь и что все мои советы всегда были только на пользу тебе... Всегда были — за, не против тебя...

— И в которой я, неблагодарный и бессовестный человек, больше всего тем не менее люблю не ум, не советы, а совсем другое: эти волосы... эту кожу... эти маленькие ножки... эти круглые колени...

— Вольфганг, Вольфганг, прошу тебя, прекрати! Ну, прекрати же! Не здесь, милый, не сейчас, ты же знаешь, как я не люблю, когда все на бегу, наспех... Вечером, милый... Я жду тебя вечером... Муж в отъезде, слуг я отпущу...

— И сейчас... И вечером... И всегда... Я тебя люблю, моя милая, прелестная Лотта... Мой ангел... Моя звезда... И мое высшее наслаждение в жизни — целовать тебя, гладить тебя, чувствовать тебя в руках... Так, чтобы ничто, никакая сила не могла оторвать тебя от меня...

— Ах, ну как же ты не понимаешь ничего, Вольфганг! Не могу я сейчас... Не могу... Прошу тебя... У меня так тяжело сейчас на душе... Я так боюсь за тебя! И за себя... Такая тяжелая, тупая голова... Мне только будет еще хуже... Сними эту тяжесть, прошу тебя! Выдерни этот гвоздь из моей головы... Иначе, я чувствую, я сойду с ума...

— Что с тобой? Что-нибудь произошло? Что-нибудь, чего я не знаю?

— Да, знаешь, знаешь! Ты все прекрасно знаешь. Пожалуйста, не притворяйся, сейчас не до этого... Скажу тебе одно, Вольфганг: я боюсь. Я очень боюсь... В первый раз за эти семь лет я всерьез боюсь за тебя...

— А, ты, наверное, об этой дурацкой затее? Об этом указе?.. Не бойся... Все будет хорошо... Я обещаю тебе — все будет хорошо...

— Нет, ты ничего не понимаешь, Вольфганг! Ты явно не представляешь себе, как все далеко зашло... Ты все еще в иллюзиях... Между прочим, у меня к тебе поручение от герцогини-матери. Нам с тобой поставлен ультиматум: или ты подписываешь, не позднее, чем завтра утром... Или... Или отменяются все завтрашние празднества... А это значит, что ты больше не фаворит. И, следовательно, в самом близком времени не премьер-министр...

— Ну, и наплевать! Подумаешь, напугали!.. Вот и прекрасно, вот и пусть обходятся без меня... Буду писать, читать книги, играть в свои камушки... Займусь, наконец, всерьез анатомией, ботаникой, минералогией...

— Да? Займешься?.. А тебе есть на что заняться? Ты проживешь без службы, да еще с твоими запросами? У тебя же ничего нет!.. А наследство — это еще когда-то будет! Жди... Успеешь ноги протянуть...

— На скромную жизнь мне хватит...

— Не хватит! Не обманывай себя... Не хватит. Все равно придется наниматься к кому-нибудь. Не к этому герцогу, так к другому... Только здесь тебя все любят, и больше всех он сам, а у другого? Кто знает, как будет у другого? Этот-то хоть не дурак, ценит тебя, уважает тебя, желает тебе добра... Да и вообще, о чем мы говорим?! Разве это главное? А твои великие идеи, твои замыслы, твои проекты преобразований? Твое служение людям?.. Значит, все? Конец? В мусорное ведро? Так, да?

— Постой, Лотта. Постой... Раз так... Раз так, постараюсь, наконец, объяснить тебе все до конца... О, прости, дорогая! Я, кажется, помял твое платье... Господи, какой же я бываю все-таки неловкий иногда...

Гете медленно, с усилием, поднялся с ковра и, поправив выбившиеся из-под пояса концы батистовой рубашки, отошел к окну. Таким же медленным, усталым движением он раздвинул до конца тяжелые шторы, впустив в комнату яркий полуденный свет. Потом он долго стоял у окна, повернувшись к ней спиной и барабаня пальцами по подоконнику, — так долго, что она уже начала беспокоиться, не забыл ли он вообще о ее присутствии...

— Слушай, Лотта, — повернулся он наконец к ней. — Моя маленькая, моя прелестная, моя умная Лотта... Ты все еще, по-видимому, смотришь на меня как на того жалкого, растерянного мальчишку, с которым тебя познакомили тогда в саду, семь лет назад... А я уже другой, Лотта, совершенно другой, и кому-кому, а тебе-то это давно уже полагалось бы знать... Ты думаешь, все это лишь мой каприз — мое несогласие на этот указ? Прекраснодушие пиита, почившего в эмпиреях и полностью оторванного от реальной жизни? Ни на чем не основанное упрямство человека, который ничего не видит вокруг и не может оценить вероятные последствия своих поступков? Смею тебя заверить — не так. Далеко не так... Ты, конечно, ценишь меня как поэта, но ты слишком нелестного мнения обо мне как о человеке. Практическом человеке... Тебе никогда не приходило в голову, что я тоже умею рассчитывать, и не хуже других, а может быть, и лучше других? Рассчитывать, взвешивать на весах, плести паутину, дожидаться своего часа, выбирать момент, лукавить, притворяться, обманывать противника, усыплять его бдительность, готовить тылы, окапываться, рыть траншеи, подтягивать орудия, налаживать связи и коммуникации? И все это ради той минуты, когда я почувствую себя в силах нанести удар...

— Вольфганг, но я...

— Подожди, подожди. Выслушай меня хоть раз до конца... Я хотел перелукавить их всех, Лотта... Хотел получить власть, чтобы потом бить их их же оружием, чтобы, подмяв их всех под себя, реализовать на практике те две-три крупные идеи, в которые я верю не только как человек и поэт, но и как практический деятель... Не просто верю, я знаю! Да, знаю, что только они и есть выход из тупика... И я, наконец, достиг, вернее, почти достиг того состояния, когда еще немного — и я смогу начать проводить их в жизнь... Для этого мне нужно тéперь только одно: не просто согласие, а полное, абсолютное согласие и поддержка герцога. Иными словами, моя полная власть над ним и его полное, пусть и невидимое, подчинение мне...

— Власть, которую ты завтра потеряешь...

— А вот это еще вопрос, Лотта! Это еще вопрос!.. Неужели ты не понимаешь, что я иду ва-банк? Что я сознательно, с холодным сердцем и трезвой головой иду ва-банк?.. Я слишком долго готовился, Лотта, слишком долго и обстоятельно плел свою паутину, чтобы не решиться однажды на такой рискованный, но всесторонне подготовленный шаг... Это проба сил, Лотта. Это, наконец, решительная проба сил... Или я, Гете, или они... Или я, или эта темная сила, это безликое, страшное в своей живучести и вязкости чиновничество, которое я должен, наконец, сокрушить... Один? Нет, это невозможно. Я реалист. С герцогом? С герцогом, да, возможно. И завтра я им это докажу... Ситуация созрела, Лотта, полностью созрела... И если герцог уступит мне завтра — он мой, мой совсем и окончательно. Он мой союзник во всех моих замыслах, мое главное орудие, мой таран, которым я разрушу любые стены, любое сопротивление и уничтожу каждого, кто встанет у меня на пути... Кто бы он ни был...

— А если не уступит?

— Этого не может быть, Лотта! Я верю, я знаю — этого не может быть... Герцог — умный человек, Лотта, и он прекрасно понимает, что дело не в этой несчастной, никому не нужной деревенской девчонке, а в том, куда мы теперь пойдем... Назад, в средневековье? Или вперед, к свету? Создавая шаг за шагом разумное, просвещенное государство, в котором силы человеческие, задавленные сегодня насилием, тьмой и невежеством, получат, наконец, какой-то — пусть для начала хоть самый скромный — простор для своего развития... И он понимает, что в этом деле ему без меня не обойтись... Я его создал, Лотта! Я! Я образовал его, воспитал, я вложил в его буйную голову, в его доброе, но грубое сердце светлые мысли и благотворные стремления... Что он будет делать без меня? Он же зачахнет, он же сойдет с ума от скуки, от пьянства и безделья, если меня не будет... И неужели из-за какого-то нелепого, выдуманного случая он пойдет на то, чтобы остаться без меня? Неужели пойдет?.. Нет, не верю. Ставлю свою голову об заклад — не пойдет. Не может пойти... А, Лотта? Что ты на это скажешь? Ты, знающая жизнь и свет, как свои пять пальцев?

— Скажу, что нет такого человека, без которого нельзя было бы обойтись...

— А вот это, Лотта, чепуха!.. Это вреднейшая чепуха! Может быть, самая вредная из всех, которую только люди могли придумать себе... Сколько добрых, великих дел в истории так и остались несовершенными или незавершенными именно из-за того, что кто-то когда-то выдумал этот принцип... Есть Лотта! Есть!.. Герцогу некем заменить меня... Некем! Понимаешь? Некем!.. Хоть ты расшибись головой об стену — он никого другого не найдет. Я тот самый человек на том самом месте, который ему сейчас нужен... Я, и никто другой...

— И все-таки это так, Вольфганг. Не обманывай себя — так... Как всегда, может быть, в теории ты и прав. Но теория одно, жизнь — другое...

— «Теория, мой друг, суха, но вечно зеленеет древо жизни...» Так, Лотта, да?

— Так, мой дорогой... Не смейся, к сожалению, так... И сейчас ты рассуждаешь как теоретик, но не как практический человек... А мне сейчас не до твоих теорий, как бы ни были они хороши и верны... Мне надо спасать тебя... Тебя и наше счастье.

— Не сгущай краски, Лотта. Уверяю тебя, ничего не надо спасать. Я все рассчитал, и вот увидишь, в конце концов выиграю я, а не они...

— О, боже мой! Боже мой! Как же ты слеп, Вольфганг! Как самонадеян!.. Идол мой, сокровище мое... Я прошу, я умоляю тебя... У меня нет ни слов, ни мыслей, чтобы победить твое упрямство... Но я знаю, я чувствую, что это конец! Я женщина, Вольфганг! Я женщина! А женщина знает все... Ты еще рассуждаешь, ты еще взвешиваешь, а я простым женским инстинктом знаю — это все, это конец...

— Не конец, Лотта! Не конец... Потерпи до завтра. Вот увидишь — не конец!

— Ничего я не увижу... Ничего! Я знаю, ничего... Это конец! Вольфганг, милый, прошу тебя, умоляю тебя — подпиши! Клянусь, никогда больше не буду просить тебя! Ни о чем не буду... Но сегодня я у тебя в ногах, я плачу, я умоляю тебя... Умоляю, как простая деревенская баба, как сестра, как мать, — подпиши! Спаси меня, спаси нас обоих — подпиши!..

— Перестань, Лотта, перестань... Что ты в самом деле? Что с тобой? Разве это повод для слез? — попытался он остановить ее.

Но остановить ее он уже не мог. Разверзлись хляби небесные — такое неподдельное отчаяние звучало в ее голосе, так горько лились ее слезы и так по-детски беспомощно прижималась она к нему, что он растерялся. Надо было что-то делать, что-то говорить, а что? Тело Шарлотты сотрясалось от рыданий, с губ ее срывались какие-то хриплые, бессвязные звуки, волосы разметались, неудержимые слезы, безжалостно смывая румяна и пудру, потоком катились по ее сморщенному, сразу постаревшему лет на двадцать лицу...

— Подпиши... Подпиши... Подпиши!

Нет, на сей раз Шарлотта, кажется, не шутила. Ужас и отчаяние ее были так глубоки, так искренни, что нечто похожее на предчувствие какой-то огромной, непоправимой беды, острым холодком пробежало у него по спине. А что если действительно вещее женское сердце опять знает то, что не знает и не может знать его поверхностный, самоуверенный ум, ослепленный блеском им же самим и выстроенных силлогизмов? А что если они оба действительно находятся на краю пропасти, и он в своей гордыне, в своем безудержном эгоизме гения идет сейчас прямо к тому, чтобы погубить не только себя, но и ее — верное, преданное, любящее существо, вложившее в него всю свою жизнь? Какая это будет по счету жертва на его совести? И, собственно говоря, ради чего?..

О, эти слезы... Слезы... Что за убийственное орудие! Да разве есть на свете хоть один аргумент сильнее их? И он уже почти готов был сдаться — рухнуть перед ней на колени, просить прощения, плакать вместе с ней и клясться и обещать ей все, что она прикажет, чтобы только поскорее прекратить эту муку, — как ухо его вдруг ухватило какой-то новый звук. Прислушавшись, он понял, что это был топот копыт, приближавшийся к его дому. Он бросился к раскрытому окну: действительно, с большой дороги, огибая зеленую лужайку перед домом, уже свернул всадник, в котором он сейчас же признал наиближайшего своего друга Карла Людвига Кнебеля — майора гвардии и воспитателя младшего брата герцога. Лошадь его уже перешла на шаг, и майор, бросив поводья, уже махал кому-то, — вероятно, Филиппу, — кто приветствовал его с заднего крыльца. «Дома?» — нарушив полуденную лесную тишь, прозвучал его веселый звонкий голос, и столь же веселый голос Филиппа отвечал ему: «Как же, как же! Дома, господин майор! Господин тайный советник сегодня никуда еще не выезжал».

— Шарлотта, милая, добрая моя Шарлотта! Прошу тебя... Очнись... Кнебель! Сейчас он будет здесь... А ты в таком виде...

Нет, плохо же он знал свою Шарлотту. Баронесса была боец — великий боец! В одно мгновение прическа ее была приведена в порядок, платье разглажено, косынка кокетливо накинута, щеки и лоб покрыты новым слоем пудры, и не успел он опомниться, как она, обмахиваясь веером, уже сидела в кресле у окна. Немного, правда, бледная, немного чем-то расстроенная, но, в конце концов, мало ли что могло тяготить эту все-таки не такую уж молодую женщину с не очень крепким здоровьем, у которой к тому же, как всем известно, всегда на руках было столько и своих, и чужих неотложных дел? Да еще такая несносная жара... Гете в изумлении взирал на это почти магическое перевоплощение. Ах, не ему, а ей бы быть премьер-министром! Не ему, а ей бы решать все эти проблемы, распутывать и разрубать все эти проклятые узлы! Еще неизвестно, как его, а уж ее-то точно никогда бы и никому не остановить...

— Вольфганг, подай, пожалуйста, мой ридикюль... И поправь на кушетке подушку. Обычно она у тебя не так лежит...

Через минуту на скрипучей деревянной лестнице послышались тяжелые шаги, потом сквозь комнаты шаги проследовали до двери кабинета и перед ней остановились. Раздался тихий, осторожный стук в дверь:

— Вольфганг, можно к тебе?

— Да, да, Людвиг! Входи!

Дверь отворилась. На пороге стоял высокий плотный красавец лет сорока, пышущий здоровьем и добродушием. Наверное, такими когда-то и были древние германцы; мужественными и простыми, как дети. И внешность Кнебеля, и его бесхитростная речь, и его неизменная благожелательность ко всем, и его манера улыбаться, глядя собеседнику прямо в глаза, сами собой располагали к нему. Нельзя было не верить доброте и надежности этого большого, как медведь, человека, и, естественно, нельзя было не платить ему той же монетой. Между прочим, это его послал тогда герцог семь лет назад, чтобы вывезти Гете из Франкфурта в Веймар, и с тех пор обласканный всеми поэт и первый вестник его судьбы были неразлучны.

— О, Вольфганг, ты не один... Счастлив видеть вас, баронесса... Я, конечно, приметил чью-то карету на лужайке недалеко от дома, но не был уверен... Вольфганг, так, судя по присутствующим здесь, настоящий день рождения у тебя не завтра, а сейчас? А где же тогда вино?

— Я тоже рада вас видеть, Людвиг... А насчет вина... Придется подождать до завтра... Завтра мы с вами, Людвиг, обязательно выпьем. Вот только неизвестно, с радости или с горя... Но это уж как распорядится наш обожаемый господин премьер-министр...— приподнимаясь с кресла, сказала Шарлотта.— Я вас покидаю, господа. У меня еще бездна дел... Вольфганг, дорогой мой, я вас очень прошу: или на бумаге, или еще лучше лично, но сообщите мне, пожалуйста, сегодня же, что вы решите относительно моей просьбы... Я так волнуюсь... Я очень надеюсь на вас, вы же понимаете, как это все важно для меня...

Гете и Кнебель проводили ее до крыльца. Шарлотта держалась молодцом до самой подножки кареты: она даже нашла в себе силы, помахав рукой, прощебетать что-то непринужденное и улыбнуться на прощание им обоим. Но в карете, задернув занавески по обеим ее сторонам и рухнув на подушки, она опять дала волю слезам... «Господи, за что? За что ты взвалил на меня этот крест?— беззвучно повторяла она, глотая слезы и всхлипывая, как ребенок.— Почему это все мне, именно мне? Чем я провинилась перед тобой? Кому я в своей жизни причинила зло?.. Никому, ни одной душе на свете... Даже мужу... Ему давно уже все в жизни безразлично, кроме его карт и лошадей... Так за что же ты лишаешь меня моей единственной радости, моей единственной награды на этом свете? За все мои бессонные ночи, за семерых в муках рожденных детей, за грубияна-мужа, за мою беззаветную преданность моему возлюбленному человеку, которого ты сам же, господи, послал на землю, чтобы светить людям?.. Откуда это все посыпалось? Дурацкий этот указ, капризы герцога, бессмысленное упрямство Вольфганга, наконец, даже такая мелочь, такая нелепая случайность, как этот Кнебель, когда его никто не ждал... Не мог он найти другого времени? Обязательно нужно было приехать именно тогда, когда еще минута, еще одно усилие — я бы добилась своего? О, с ума можно сойти... Неудача... Конец... Конец? Ну нет, господа, это еще не конец! Далеко еще не конец... Погодите, господа, радоваться, погодите торжествовать! Сражение еще не проиграно. У нас еще полдня и целая ночь впереди. И второй такой сцены Вольфганг уже не выдержит... Нет, не выдержит! Или я последняя дура и ничего не понимаю ни в людях, ни в нем... А если до вечера он не объявится сам — я-таки опять буду здесь и я своего добьюсь! Будьте уверены — добьюсь! Вены себе вскрою у него на глазах, переверну весь дом, выброшусь в окно — но я заставлю его подписать... Заставлю! Или я не Шарлотта фон Штейн и недостойна той великой роли, которую мне уготовила судьба...»

IV

— Ну, расскажи, как твой Лукреций? Движется потихоньку?— прервал наконец Гете молчание, установившееся после отъезда баронессы, когда гость, единственный, кому разрешалось курить в его присутствии, вздохнув, выпустил из раскуренной трубки первое облачко дыма, тотчас же тоненькой струйкой вытянутое в открытое окно.

— Лукреций?.. Что — Лукреций? Ты же знаешь, Вольфганг, что я намерен дожить до девяноста лет, и, я думаю, на оставшиеся полвека мне его вполне хватит...

— Трудно?

— Трудно... Чертовски трудное дело, скажу тебе. Иной раз и сам не рад, что затеял. Бьешься, бьешься подчас над одной строкой чуть не неделю, а этих строк у него миллион, и выпустить тоже ничего нельзя...

— Ах, Людвиг, друг мой Людвиг... Почему Лукреций? Почему именно он? Что тебя в нем так привлекло?.. Грубый человек, плохой поэт, примитивный философ... Бросил бы ты его, пока не поздно. Сколько есть в римской поэзии подлинно великого, человечного! И почти ничего еще не переведено... А тут какие-то атомы, какой-то желудочный натурализм, да еще все так невыносимо длинно, скучно, многословно...

— Опять ты за свое? Не надоело, Вольфганг?.. Почему Лукреций? А я почем знаю почему? И между прочим, и знать не хочу... Может быть, сама музыка стиха, может быть, мысли, может быть, что-нибудь другое... Не знаю... Но ведь нравится же! А почему — какая мне в конце концов разница почему?

— Ладно, Людвиг. Бог с ним, с Лукрецием... Ты счастлив — ну, и прекрасно, а остальное все, ты прав, действительно неважно... Извини мое брюзжанье. Надеюсь, ты понимаешь, что это не от скверного характера, а потому, что я тебя очень люблю и, следовательно, не могу быть безразличен к тому, на что ты тратишь свои силы... Бог с ним, с Лукрецием. Латынь — так латынь, Лукреций — так Лукреций... Теперь скажи мне, старина, только откровенно: ты зачем приехал? За тем же, за чем и она?

— Думаю, что за тем же.

— Будешь уговаривать?

— Нет, Вольфганг, не буду. Все, что я мог тебе сказать по этому поводу, я уже однажды сказал... Ты помнишь, наверное... Если уж тебе так хочется принести себя в жертву каким-то химерам — валяй, приноси, мне тебя не удержать. Кто знает, может, тебя действительно когда-нибудь причислят к лику святых... Было время, когда я огорчался, что ты влез в эту кашу вместо того, чтобы писать хорошие стихи. А теперь я огорчаюсь, что и ненаписанные стихи, оказывается, были зазря и все кончится самым прозаическим образом, а попросту говоря — обыкновенным мыльным пузырем...

— Ну, вот и хорошо, вот и прекрасно! И я рад! Значит, исчерпан вопрос?

— Нет, Вольфганг, не исчерпан... Еще не исчерпан... По крайней мере в еще одной, последней, попытке образумить тебя ты мне не можешь отказать... По праву нашей старой дружбы — не можешь... И я даю тебе честное благородное слово, Вольфганг, что с моей стороны это последняя попытка. Тем более что завтра все попытки уже сами собой станут ни к чему...

— Ну так что? Какой-нибудь новый аргумент? Страшнее всех других?

— Да, аргумент. Новый аргумент. И я надеюсь, самый сильный из всех... Скажи, ты когда-нибудь видел эту девицу, из-за которой возник весь этот тарарам?

— Нет, не видел... А зачем? Что это меняет в данном вопросе?

— Кое-что меняет, мне кажется... Может быть, даже все... Думаю, что невредно было бы тебе все-таки посмотреть, из-за кого ты обрекаешь себя на заклание... И доставляешь столь великую радость всем своим врагам... От последней канцелярской крысы до титулованных шпионов венского императора...

— Ты что задумал?

— Ничего особенного... Изволь приказать заложить коляску... Или нет, давай-ка лучше оба поедем верхом. И поедем туда, где сейчас находится эта девица...

— Не поеду! Ни к чему.

— Поедешь, Вольфганг. Обязан поехать. Не можешь не поехать, если я тебя прошу...

— Людвиг, это шантаж!

— Да, шантаж! И я знаю, что это шантаж... Но я прошу, я настаиваю, я требую, чтобы ты поехал...

— Настаиваешь? Требуешь?

— Да, Вольфганг, настаиваю и требую. И заметь, в первый раз за наши с тобой совместные семь лет...

— Ну что ж... Раз так... Раз ты настаиваешь... Хорошо, Людвиг, я подчиняюсь. Но только из-за моих симпатий к тебе... Однако учти — бесполезная затея... И вообще, какого черта ты привязался ко мне? Как ты смеешь, а? Я кто, по-твоему, — ребенок или премьер-министр?!

— Премьер, Вольфганг, премьер. Не сомневайся, пока еще премьер... Ну, так едем? Филипп! Эй, Филипп! — распахнув двери кабинета, прогремел на весь дом своим зычным голосом Кнебель.

— Да, господин майор? — послышалось снизу, с первого этажа.

— Лошадь господину тайному советнику! Да пошевеливайся, парень! У нас плохо со временем... Вольфганг, одень-ка лучше что-нибудь партикулярное. Это ведь не ревизия... А то еще поднимем там переполох, сбежится весь гарнизон, а это, я думаю, нам с тобой совсем ни к чему...

Несмотря на полуденный зной, в лесу, под раскидистыми кронами старых лип и могучих дубов, было прохладно. Дорожка бежала ровно, сытые вышколенные лошади, покусывая мундштуки, едва сдерживались, чтобы не сбиться с горделивой рыси на галоп, копыта их звонко отстукивали по деревянным мосткам, перекинутым через заросшие тиной канавы и прячущиеся в ивняках прозрачные, чистые ручьи... Через десять минут они уже были у городских ворот. Въезжая в город, оба всадника приосанились: каждый встречный на кривых и узеньких, стиснутых со всех сторон домами улицах считал своим долгом поклониться им, и они с приличествующей их положению важностью любезно отвечали на каждый поклон, сохраняя в то же время прямую, непринужденную посадку людей, с детства привыкших чувствовать себя в седле лучше, чем на ногах. Иногда в окне второго или третьего этажа, над выставленными на солнце горшками с белыми гортензиями или ярко-красной геранью, высовывалась вдруг чья-то миловидная головка в кружевном чепце, и чья-то гибкая маленькая ручка, оголенная по локоть, приветственно махала им оттуда, и тогда Кнебель, вскинув голову кверху и улыбаясь в усы, слегка касался двумя пальцами своей треуголки с развевающимся плюмажем, а его спутник рукой, затянутой в перчатку, притрагивался к полям своей шляпы, и, пока они не доехали до дворца, эта маленькая молчаливая церемония повторялась много раз, наполняя их сердца ощущением всеобщей тишины и скромного, но надежного человеческого благополучия.

Колокол на старой, вытянувшейся ввысь готической колокольне рядом с дворцом прозвонил полдень. Миновав дворцовую площадь, где часовой у полосатой будки вскинул при виде их ружье на караул, они опять въехали в парк и по ухоженной, гладкой дороге, обсаженной с двух сторон столетними вязами, выехали к другим городским воротам. Здесь, прилепившись вплотную к городской стене, стояло одноэтажное кирпичное здание в три крохотных, забранных решетками окошка под самой крышей, обнесенное частоколом и с часовым около рассохшихся деревянных ворот.

Это была гарнизонная гауптвахта, где за неимением в герцогстве отдельной тюрьмы для гражданских лиц вместе с военными содержались и уголовные преступники, если, конечно, таковые имелись в данный момент в наличии. Веймарское герцогство действительно было тихим герцогством, и когда, не дай бог, в нем случались серьезные преступления — а такое, к сожалению, иногда бывало, — преступников после суда, чтобы не тратить на их содержание и без того скудные государственные средства, обычно отправляли на каторжные работы в другие немецкие государства, где для их исправления были, так сказать, более подходящие условия. Случалось и так, что вопрос вообще решался просто: осужденному или, как сто лет назад, отрубали голову на городской площади, или же, как теперь, отправляли на виселицу. Но такое, следует признать, бывало очень не часто, поскольку преступный мир герцогства состоял преимущественно из мелких воров, мошенников и бродяг-попрошаек, кому смертная

казнь, учитывая наступившее в Европе общее смягчение нравов, теперь обычно все-таки не полагалась.

Спешившись и привязав лошадей к частоколу, всадники подошли к караульной будке. Часовой в высокой, отделанной мехом шапке загородил им проход ружьем с примкнутым штыком, но, услышав от Кнебеля пароль, сейчас же вскинул ружье на плечо, отдал честь и, не спрашивая ни о чем, пропустил их во двор. Они не успели сделать и нескольких шагов по выложенной битым кирпичом дорожке от ворот к зданию гауптвахты, как тяжелая, окованная железом дверь ее со скрежетом отворилась и им навстречу, оправляя на ходу мундир, выскочил бравый вахмистр в парике с косичкой и вздернутыми вверх рыжими усами. Судя по остаткам пивной пены на усах, вахмистр, видимо, как раз заканчивал свой обед — они помешали ему в этом занятии. Подбежав к ним, вахмистр вытянулся во фрунт, щелкнул каблуками и, выкатив глаза, отрапортовал:

— Дежурный по гауптвахте, вахмистр гвардии его высочества Ландхорст, господин майор!

— Вольно, вахмистр, вольно... Ну, докладывайте, какие тут дела...

— Полный порядок, господин майор! За время моего дежурства на гауптвахте никаких происшествий и нарушений не произошло!

— Кто у вас здесь сейчас?

— Трое, господин майор! Один солдат, проступок — дебош и пьяная драка в трактире, один карманник, а также еще девица... Точнее, не девица... Затрудняюсь, господин майор, как ее назвать!

— Это та, что задушила своего ребенка на сеновале?

— Она самая, господин майор!

— Понятно... Вот к ней-то, Ландхорст, вы нас и проведите...

— Слушаюсь, господин майор!

Пригнув головы, чтобы не задеть за каменную притолоку, они вошли вслед за вахмистром в помещение гауптвахты. Солнечный свет через распахнутую дверь освещал стертые ступеньки, спускавшиеся вниз, в полуподвал, где вдоль длинного, сырого и темного коридора располагались камеры заключенных. Вытащив из-за пояса тяжелую связку ключей, вахмистр отомкнул железную решетку, отделявшую коридор от лестницы. Рядом, в углублении в стене, мерцал подслеповатый фонарь: вахмистр снял его и, приподняв над головой, пошел по коридору, освещая дорогу. Каждый шаг их гулко отдавался под высокими каменными сводами, под ногами хлюпала вода, леденящий душу холод заставлял вбирать головы в плечи, гнилой затхлый воздух перехватывал дыхание. По бокам от них в неверном свете покачивающегося впереди фонаря скользили и изгибались зловещие тени. В середине коридора из-под сапог вахмистра вдруг выскочила крыса и, прошмыгнув у них под ногами, с писком юркнула в темноту.

У последней слева двери вахмистр остановился. Звякнул ключ, вставляемый в замок, дверь заскрипела, но вахмистру пришлось подтолкнуть ее еще и плечом, чтобы преодолеть сопротивление ее собственной тяжести и давно, видимо, проржавевших петель. Прислонившись к двери спиной, вахмистр посторонился и пропустил их вперед.

Глазам вошедших открылась длинная и узкая, как щель, камера с маленьким окошком под самым потолком. Косые лучи солнца, пробивавшиеся сквозь решетку, освещали лишь ту часть камеры, которая была ближе к двери, в обоих же углах под окном стояла тьма, не позволявшая сразу разглядеть, что там находилось и было ли там что вообще. Но когда глаза их привыкли, они все-таки различили в углу, на примкнутой к стене деревянной койке, какую-то серую бесформенную груду тряпья, из которой торчало нечто похожее на человеческую голову. Они приблизились: голова не шевельнулась, и только луч от фонаря, поднятого вахмистром, позволил им установить, что это была женская голова и что она смотрела на них.

— Здравствуйте, сударыня, — сказал Кнебель.

Ответа не последовало. Перед ними, вжавшись спиной в угол между стен и натянув на себя под самый подбородок какие-то лохмотья, сидело существо, в котором любой, даже благожелательный глаз вряд ли сумел бы отыскать что-либо человеческое. Грязные спутанные космы, сви-

савшие по лицу, полное отсутствие лба, кривой, скошенный набок рот, спекшаяся слюна на губах, грязь, как маска, покрывавшая подбородок и скулы вплоть до самых глаз, и, наконец, самое главное — глаза: золотушные веки без ресниц и пустые, бессмысленные глаза, принадлежавшие идиотке от рождения — полной, безнадежной идиотке, которая лишь благодаря людскому милосердию смогла, раз родившись, дожить до своих лет. Зачем всевышний дал жизнь этому существу? И что он хотел этим сказать? «Господи, да минует нас чаша сия», — крестясь и отворачиваясь в испуге, думает, наверное, каждый отец и каждая мать семейства, когда нечто похожее попадается им на пути...

— Она говорит? — спросил Кнебель у вахмистра.

— Редко, господин майор. Только когда просит есть.

— Она всегда была такой?

— Полагаю, господин майор, что всегда... Хотя, говорят, она отлично справлялась с хозяйством своего отца. На этом основании, сдается мне, она и признана вменяемой...

— Когда суд?

— Точно не знаю, господин майор! Говорят, дня через два-три...

— Так... Сударыня, у вас есть какие-либо просьбы к нам? Могли бы мы вам чем-нибудь помочь? — вновь обратился Кнебель к существу, неподвижно скрючившемуся на койке, и вновь ответа не последовало. Кнебель повторил свой вопрос еще раз, уже более настойчивым тоном, и тогда голова над кучей тряпья наконец шевельнулась, прохрипев еле слышное:

— Воды... Пить...

— Воды?.. Вахмистр, принесите воды... Считаю это вашим упущением по службе, Ландхорст. Насколько мне известно, заключенным при любых обстоятельствах отказа в этом не может быть...

— Господин майор, осмелюсь доложить, вода у нее всегда есть. Прошу вас, посмотрите сюда...

Следуя взглядом за его рукой с фонарем, они заметили в противоположном углу под окном небольшое, сложенное из камня возвышение и на нем миску и полную до краев кружку с водой. Кнебель нагнулся, поднял кружку и поднес ее к губам этой несчастной. Стуча зубами и обливаясь, она сделала несколько жадных глотков, потом порывистым, сердитым движением оттолкнула руку с кружкой, так что вода пролилась на тряпье, и опять вжалась в угол.

Больше им здесь делать было нечего. Кнебель повернулся и вышел из камеры. Гете и вахмистр последовали за ним...

Солнце на дворе сияло так, что глаза их, успевшие уже свыкнуться с темнотой, сразу сжались до острой, как укол иглы, боли и им пришлось задержаться на пороге гауптвахты, чтобы боль прошла и чтобы вновь можно было беспрепятственно смотреть на белый свет. Забежав вперед, вахмистр вытащил железный засов и, широко распахнув перед ними ворота, вытянулся во фрунт. Часовой у будки опять вскинул ружье на караул, на что Кнебель, как и полагалось, опять приложил два пальца к треуголке.

Лошади их, понурив головы и обмахиваясь хвостами от мух, неподвижно стояли, привязанные к частоколу. Занеся ногу в стремя, Гете, молчавший с начала и до конца этого посещения, обернулся к своему спутнику:

— Людвиг... Знаешь что... Поедем куда-нибудь выпьем, а? В канцелярию, я чувствую, мне сегодня уже не попасть... «Золотой жук», согласен?

— Идет... Поехали... В «Золотой жук»!

Хозяин трактира, давний знакомый обоих, проводил их в особую, уютную и тихую, комнату для почетных гостей, где им никто не мог бы помешать. Почтительно осведомившись об их самочувствии и об их пожеланиях, он удалился на кухню, плотно притворив за собой дверь. Они едва успели снять шляпы и стянуть перчатки, как дверь опять отворилась и в комнату с подносом в руках, на котором стояли две глиняные кружки и большой запотевший кувшин с вином, вошла молоденькая жена трактирщика. Мило улыбнувшись и сделав книксен, она расставила принесенное

на столе и, шурша пышными накрахмаленными юбками, с достоинством выплыла из комнаты.

Кнебель сел верхом на табурет у окна и молча стал набивать трубку.

— Ну так что? — повернувшись к Гете, сидевшему за столом, спросил наконец он. — Что же ты молчишь?

— А что я должен сказать тебе?

— Не знаю... Что-нибудь... На меня лично это зрелище произвело впечатление. Признаюсь, сильное впечатление... А нервы у меня, кажется, покрепче, чем у тебя...

— Все это уже было, Людвиг. Все это я уже видел когда-то... Если не наяву, то по крайней мере во сне...

— Гретхен?

— Да, Гретхен... Наверное, она... А может быть, и не она...

— Тебе действительно жаль ее, эту сумасшедшую?

— Жаль... Очень жаль, Людвиг...

— Это животное?

— Да, Людвиг, это животное... Зачем-то ведь и она нужна богу. Или природе — как тебе больше нравится... И не нам с тобой решать, нужна она на земле или нет...

— Не обязательно так мрачно, Вольфганг... У нее будет защита... И защита, уверяю тебя, достаточно компетентная... Скорее всего, я думаю, ее отправят не на виселицу, а в сумасшедший дом...

— Ты уверен в таком исходе?

— Ну, полной гарантии, конечно, никто не даст. Но есть очень большая вероятность, что будет так, как я говорю... Рассуди сам: кому это нужно — вешать ее? Герцогу? Герцогу нужен закон, а не она. Судейским и всей этой сволочи? Им нужна не она, им нужен ты... Поверженный, втоптанный в грязь мямля-поэт, полностью доказавший свою неспособность к государственным делам...

— И все равно, Людвиг, я не подпишу...

— Жаль, ваше превосходительство, господин тайный советник... Очень жаль! Так жаль, что даже, признаюсь тебе, плакать хочется... Давай, Вольфганг, выпьем за твой бесславный политический конец... За бесславное, но логичное завершение твоей государственной карьеры!

— Аминь... Охотно присоединяюсь к тебе, мой друг...

— Ах, Вольфганг, Вольфганг!.. Говорил я тебе: не умеешь — не берись... Какого черта ты влез во все это? Кто тебя заставлял? Писал бы себе свои стихи, своего «Фауста»...

— Я пишу.

— Пишешь... Я-то знаю, что и сколько ты теперь пишешь... Ведь ты же гений, Вольфганг! Гений! Тот самый гений, который родится на земле только раз в сто лет... Я горжусь твоей дружбой, горжусь счастьем жить с тобой в одно время и в одной стране. И мне больно, понимаешь, больно, что ты с такой страстью влез во всю эту мышиную возню... Но уж если влез, то как же можно так позорно — назад? Где твое самолюбие? Ты теперь-то хоть видишь, из-за какого ничтожества ты поставил на карту все? Что значит эта малость, это почти полное ничто в сравнении с той пользой, которую ты мог бы принести людям, оставаясь на своем посту?

— Это у нас с тобой они малые, Людвиг. А у бога они великие. Они, Людвиг, не мы...

— Кто — они? Эта полоумная? И другие, подобные ей?

— И они... И они тоже... Ведь это мы с тобой, Людвиг, довели их до нынешнего скотского состояния. Мы, как пиявки-кровососы, высосали из них за сотни лет все, что составляло их человеческое существо... Мы, в том числе я и ты...

— Брось, Вольфганг. Не преувеличивай. Не люблю... Ни у тебя, ни у меня никогда не было никаких поместий и крепостных. И, надо думать, никогда и не будет...

— Это дела не меняет. И ты, и я — оба мы живем за их счет. Столетиями живем... И ничего удивительного, что многие из них в конце концов вырождаются в нечто скотоподобное... Господь-то знает, что это не их вина...

— Ну, так помог бы им возродиться! Вместо того чтобы самому, как барану, подставлять лоб под топор... Вспомни, Вольфганг, какие светлые идеи ты излагал, какие вдохновенные планы рождались в твоей гениальной голове! Да если бы хоть десятая доля из них осуществилась, и то было бы прекрасно!.. И сейчас, когда появились наконец реальные возможности что-то сделать,— ты в кусты? В конце концов, это даже непорядочно, Вольфганг... Это даже неблагородно, если хочешь знать...

— Ах, да оставь же ты меня наконец в покое, Людвиг! Ну что ты привязался ко мне? Неужели ты не видишь, что я сам ничего не знаю и не понимаю? Я только не могу подписать этот проклятый указ—вот и все. Все мое существо кричит, протестует против этого—пойми!.. Давай лучше напьемся сегодня... Кстати, очень даже неплохое вино, ты не находишь? Плут хозяин все-таки держит марку, даром что два года подряд были плохими для вина. Или это только для нас с тобой?.. Ах ты, боже мой, боже мой... Что делать? Что?.. Господи, помоги!

— Что? Подпиши.

— Не могу.

— Ну, тогда начинай потихоньку складывать пожитки...

— Не хочу. Мне здесь хорошо...

— А иной альтернативы нет, Вольфганг. Или—или, третьего не дано.

— Не дано? Ты думаешь—не дано? Ты думаешь, если я не уступлю, герцог все-таки пожертвует мной? Все-таки пожертвует, несмотря ни на что?

— Несмотря ни на что.

— А если нет, если, Людвиг, ошибаешься ты, а не я? Куда он без меня денется? Что он будет делать без меня? Ведь он же во всем, в каждом своем шаге зависит от меня...

— О святая простота!.. Какой же вы, однако, еще ребенок, ваше превосходительство, не в обиду вам будет сказано. По крайней мере в политике... И это при твоем-то уме, Вольфганг? Поразительно, непостижимо!.. Да неужели ты не понимаешь, что — подпиши ты, не подпиши — отныне уже он правитель государства, а не ты? Что дело не в указе, не в исправлении нравов, не в тебе лично, наконец, а в том, что наступил его час? И что отныне ты должен знать свое место и своеволию твоему—конец?

— Я, Людвиг, никогда не оспаривал его прерогативы, ты знаешь это не хуже меня. Я всегда был его тенью, его почтительным и благонамеренным верноподданным. И я всегда действовал из-за кулис, из-за его спины. Так же, как я намерен действовать и впредь, если я все-таки останусь на своем посту... «Но пытаясь их перелукавить...»

— Кого? Кого перелукавить, Вольфганг? Спустись же наконец на землю, поэт! Тебе ведь на ней еще жить и жить... Это кого ты собираешься провести, кого ты хочешь обмануть? Государственную машину? Систему? Да вы в своем ли уме, ваше превосходительство? Да, да, в своем ли вы уме, позволительно вас спросить?

— Все, Людвиг. Баста... Ты, как всегда, прав... До тошноты, до отвращения прав... Я всегда знал, что ты умнее меня... Цум воль, дорогой мой! Итак, мы сходим с исторической сцены. Под прощальные аплодисменты и свист зрительного зала... И все-таки, Людвиг, ругай меня не ругай, а я им не дам под занавес повод для злорадства. Я, Людвиг, не подпишу...

— А... Да черт с тобой! Что я в самом деле... Делай, как знаешь... Хочешь—подписывай, хочешь—не подписывай... Цум воль!.. Как говорится, кого боги решили наказать, у того они прежде всего отнимают разум... А все ж таки грустно, старина! Грустно... Не этого, признаться, я ждал от тебя...

Домой Гете возвращался один—ему удалось уговорить Кнебеля не провожать его. Не спешиваясь, они простились у дворцовой площади. По долгой тишине за спиной Гете знал, что Кнебель не трогался с места и все смотрел ему вслед, пока он не свернул за угол, в улицу, ведущую к городским воротам.

Веймар словно вымер в этот час. Почтенные бюргеры и их семейства отдыхали после обеда. Некоторые окна в домах были даже прикрыты ставнями, чтобы стук карет и лошадиных подков по мостовой не нарушал покой людей, уже успевших с утра выполнить свой долг перед богом и собственной совестью и мирно вкушавших сейчас заслуженный послеобеденный сон, предварительно выгнав вон из комнаты мух и надвинув на глаза вязаный колпак. Только иногда чья-то собака, разморенная жарой, ленивой трусцой пересекала ему путь да время от времени ему приходилось сторониться и прижиматься вплотную к домам, чтобы пропустить медленно ползущую встречную телегу, груженную поклажей, или карету со спущенными занавесками и толстым, тоже разомлевшим от жары кучером на козлах...

Печаль сжимала его сердце. Никогда он не был слишком решительным человеком, никогда он не был узколобым, твердым, фанатичным преследователем одной какой-либо цели. И сейчас, когда неотвратимость выбора стала очевидной для него, он растерялся... Ах, как хорошо было утром, когда душа его была раскрыта солнцу, птицам, тихому лесному ветерку! Когда он так верил в себя и в свою звезду, когда он столь ясно ощущал свое богом данное превосходство над всеми этими мелкими, ничтожными людишками, которые только мельтешили и путались у него под ногами! Какими жалкими, какими убогими представлялись ему еще утром его противники... И каким умелым, мужественным, стойким политиком, каким мудрым и многоопытным государственным деятелем казался он сам себе... Все, все пошло прахом. Все... Ну что ж! Если они хотят возврата к средневековью—пусть... Пусть! Но только без него... Да, он решился на выбор. Этот выбор ему подсказывает его совесть, его политическое чутье, его безошибочное понимание блага государства и неизбежности движения общества по пути прогресса и справедливости. Не свирепостью, а милосердием воспитываются человеческие сердца! И не кнутом, не петлей и топором, а разумным общественным устроением создаются порядок и сознательная гражданская дисциплина... Они отказываются это понимать? Тем хуже для них. Они дождутся своего... Они своего дождутся! Но тогда уже поздно будет воздевать руки к небу, поздно будет молить создателя о прощении и снисхождении...

«Кровь...—думал он.—Я знаю, впереди только кровь, потоки, моря, океаны крови, если они не спохватятся сейчас, пока еще не поздно. Если они сами по доброй воле не сделают того, что в противном случае вырвут у них силой... Не понимаете? Не чувствуете, что нависло над вами и над вашими ближайшими потомками? О тупость человеческая! И худший ее вид—немецкая тупость! Прощайте, господа. Я, как Понтий Пилат, умываю руки. Видит бог, как я хотел, чтобы наше маленькое государство первым в Европе тихо и плавно, без судорог и страданий двинулось вперед по пути прогресса... Хотел? Да, хотел. И хочу. И все еще хочу! И не хочу признавать себя побежденным! Не хочу!.. Столько уже сделано, столько вложено в это ума и сил, и вдруг, ни с того ни с сего, на ровном месте—бах, трах, тарарах, и все к чертям? Почему? По какому праву? И действительно, если подумать,—ради чего?.. Господи, научи, господи, помоги! Ты видишь, я изнемог... Крушение всех моих надежд, всех моих трудов, позор, улюлюканье, свист, презрение толпы—и ради чего? О господи,—ради чего?.. А там—дороги Европы, постоялые дворы, смиренное, унизительное сидение в приемных владетельных особ, безденежье, неприкаянность, тоска... И получается, что меня, Гете, подловили, загнали в ловушку—и кто? Какие-то крысы, какие-то канцелярские крючки! И на чем подловили? О господи,—на чем?! Как последнего дурака, как последнего раззяву на ярмарочной площади! Замотали, задурили, обчистили, вывернули карманы—и пожалуйста, господин великий поэт, пожалуйста, ваше превосходительство, господин премьер-министр: можете отправляться на все четыре стороны, отныне нам с вами не по пути!.. И я собираюсь это проглотить?!.

Ах, нет! Не домой... Только не домой... Сейчас нельзя домой... Нельзя в этот устоявшийся годами комфорт, тишину, уют, уединение, где одного только взгляда на гравюры старых мастеров по стенам или на письменный стол у окна будет достаточно, чтобы лишить тебя всякой воли к сопротивлению... Ну-ка, лошадка, сворачивай с дороги в лес! И давай труси куда глаза глядят, по ложбинам, по полянкам, по не топтанной никем траве, подальше от этого кишмя кишащего людского муравейника... В котором всеобщее благо может быть куплено только ценой ежеминутной,

ежесекундной гибели не одного, так другого, не другого, так третьего из миллионов маленьких его обитателей... Господи! Творец всего сущего на земле! Так будет ли когда-нибудь найден ответ: как примирить суровую необходимость природы, интересы выживания и благо всего человеческого рода с интересами одного-единственного человека, безвинного в своем рождении и так же, как и общество, получившего от тебя свое право на жизнь? Почему или — или? Неужели нет такого способа жить, чтобы тяжкое, безжалостное колесо общественной необходимости не давило бы в прах при каждом своем обороте сотни, тысячи, миллионы не повинных ни в чем существ, не успевших вовремя увернуться от него?.. Я могу объяснить любые войны, любые общественные катаклизмы. Я не могу объяснить только одного: за что убит вот этот солдат, за что сожжено вот это подворье и за что будет болтаться завтра на виселице эта деревенская дура, наверняка даже и не понимавшая, что творит?.. О, как болит душа, как тупо, вяло, тяжело ворочаются в голове мысли... И как страшно осознавать, что ни мне, ни кому другому никогда не найти ответа на этот вопрос — может быть, главный вопрос».

Под одним из старых, широко раскинувшихся дубов он соскочил с лошади и в изнеможении бросился на траву. Покой и тишина леса охватили его. Солнце поблескивало сквозь листву, пересвистывались птицы, мохнатые пчелы с тяжким гуденьем кружились над каким-то длинным цветком, торчавшим у самого его лица... Лошадь, постояв немного в раздумье и, видимо, сообразив, что это надолго, потихоньку отошла от него к другому краю поляны, где трава была погуще и посвежей. Вытянувшись в рост, он медленно, все еще чувствуя легкий хмель в голове, начал погружаться в забытье... Ах, как хорошо было бы лежать так и лежать до скончания всех времен, смотреть сквозь надвигающуюся дрему на тонкие лезвия травинок, на желуди, прячущиеся в сухих листьях, на каких-то крошечных козявок, копошащихся внизу, под каждым стебельком... Лежать так и лежать, никому не делая зла и не отвечая ни за что...

«Но возможно ли это? — думал он. — Возможно ли прожить жизнь, никому не делая зла? Даже доброму, благожелательному человеку, не питающему злобы ни к кому?.. Не знаю... Думаю, что нет, невозможно. Мне по крайней мере не удалось... Гретхен, Фридерика Брион, Лили Шенеман... Как ни зажмуривайся, а они всегда, до самого конца будут лежать тяжким бременем на моей душе. А были еще, вероятно, и другие, мелкие, неявные грехи и жестокости, которых я даже и не замечал, когда они совершались, но которые тем не менее тоже записаны там где-то на мой счет... Конечно, у меня всегда были серьезные оправдания, этого тоже нельзя не учитывать... Скажем, если я бежал от Фридерики, то вовсе не потому, что я по натуре жесток и неблагодарен, а потому, что останься я с ней — и не было бы сегодня ни поэта Гете, ни премьер-министра Гете. То есть не было бы того, к чему меня предназначило провидение и чему я сопротивляться был не вправе, даже если у меня хватило бы на это решимости и душевных сил... Но, однако, факт остается фактом: бедная девочка так и осталась без меня одна и, я уверен, так и останется одна до конца своих дней. И получается, что и здесь, в малом, все точно так же, как и в большом.

Чтобы людям было лучше, чтобы я мог совершить то, к чему меня уготовила судьба, кто-то один — и даже не один — должен быть несчастлив, должен быть раздавлен в прах, и винить в этом некого, потому что иначе и не могло быть... О господи... Ты же знаешь! Ты же знаешь, что я не злой, не жестокий человек, что я пытаюсь в меру своих сил и возможностей делать добро людям! И не потому, что ты или люди смотрят на меня, а потому, что такова моя природа, таково мое сердце, таков строй всех моих размышлений с тех пор, как я помню самого себя. Не твое одобрение и не одобрение людей движут мной. Мною движет мое я... Мое собственное я... Кто, к примеру, знает о Крафте? Кто? Никто. Даже Кнебель, даже Шарлотта — и те не знают о нем ничего. А это не единственное доброе мое дело на земле и, я надеюсь, далеко не последнее...

Но если... Но если мне придется в скором времени убираться отсюда? Или, что еще хуже, если я превращусь в простого прихлебателя, приживалу, которого лишь из милости терпят при дворе? О каких тогда сравнениях и сопоставлениях вообще может идти речь? На каких весах мне тогда взвешивать добро и зло, причиненные мной? Здесь, в моем сегодняшнем положении, одно по крайней мере бесспорно и очевидно: на одной чаше весов все то доброе, что я делаю и уже сделал и что я еще смогу сделать как премьер-министр, на другой — одна деревенская дура, имевшая несчастье попасть под колеса государственной машины. К тому же по всем законам отнюдь не безвинная... И какая из этих двух чаш перевесит другую — сомневаться не приходится... Но... Но все дело, однако, в том, что всякое такое взвешивание нужно лишь для оправдания себя в глазах других. Для самого себя взвешивать бесполезно — перед собой не оправдаешься. Так же, как я никогда не смогу забыть и простить себе Гретхен, или Фридерику, или Лили, я никогда не смогу простить себе и эту дуру, если ее в конце концов вздернут на виселице... Ах ты, господи... Какой же я несчастный, какой же я нескладный человек! Все не так. Все...

Несчастный? А почему, собственно говоря, вы вообще решили, что вы должны быть счастливы, господин великий поэт? Почему вы вообще решили, что вы будете единственным счастливым исключением из всеобщего правила? Кто вообще из истинных художников прожил счастливую, неизломанную, негонимую жизнь? Чья жизнь из них была не жертва? Марк Аврелий? Он был император. Монтень? У него был свой замок. Да и то запереться ему в нем удалось лишь на склоне лет... Кто еще? Шекспир? Ну, уж тут-то позвольте вам и вовсе не поверить. Я знаю жизнь театра не понаслышке, а изнутри, и там, я утверждаю, нет и не может быть счастливых и независимых людей... Так, может быть, дело вообще не в этом проклятом указе, а в том, что пришла твоя очередь, господин великий поэт? И жертва теперь — это ты? Откуда вообще взялась эта твоя уверенность, что именно ты, Гете, и будешь в мировой истории тем единственным, которому позволено все и удалось все: власть, стихи, науки, слава, добро, достоинство и независимость, материальный достаток и всеобщие симпатии, любовь самых красивых, самых очаровательных женщин — и все это почти задаром, без издержек, без уступок дьяволу, который тоже имеет право на свою долю и в мировых делах, и в человеческой судьбе? Кто дал тебе такие гарантии? Кто? Никто. Никто их тебе никогда не давал и не может дать... Что ж. Раз так... Собирай свою котомочку, поэт! По всей видимости, настал наконец и твой черед...»

Что-то мягкое и теплое вдруг ткнулось ему в плечо, и кто-то очень, видимо, большой тяжко вздохнул у него над ухом. Он вздрогнул, но сейчас же и улыбнулся. Это была лошадь, которой, наверное, наскучило щипать траву в одиночестве или просто захотелось проведать своего хозяина, слишком уж долго лежавшего в полной неподвижности на земле. Перевернувшись, он сел и прислонился спиной к дубу. Лошадиная морда, пожевывая губами, мерно покачивалась у его лица, и ее добрые, влажно блестевшие из-под челки глаза сочувственно смотрели на него: дескать, что ж ты так раскис, поэт? А? Повалился на траву, сжался весь, голова в плечи... Подумаешь! Было бы из-за чего... Солнце светит, птицы щебечут, лес стоит, и жизнь продолжается, и ты молод, ты здоров... Как-нибудь все уладится, поэт, все образуется само собой! А может быть, и все страхи твои напрасны и опять в который раз прав будешь ты, а не они? Слишком много ты значил и значишь для герцога. И слишком все-таки необычна твоя судьба, чтобы переломил ее такой, по совести говоря, пустяк... Да-да, если здраво рассудить — пустяк, совершеннейший пустяк...

V

— Ваше превосходительство, вас ожидают. Уже часа два, не меньше, — сказал, принимая поводья, Филипп, когда он ловко соскочил со взмыленной лошади, еще и вздыбив ее напоследок у самого крыльца.

— Ожидают? Кто? И зачем? — Лицо Гете выразило досаду: день уже кончался, и он надеялся, что уж теперь-то о нем забудут, хотя бы до завтрашнего утра. Ну а завтра... Завтра, что называется, как бог даст. Там увидим завтра, что будет и как... А славно, однако, они погоняли по полям, по лесам! Добрая лошадка, хорошая лошадка... Проклятый репейник! Не забыть бы сказать Филиппу, чтобы расчесал ей гриву и хвост...

— Я незнаком с этим господином. Он представился как господин Крафт и сказал, что, услышав его имя, вы непременно примете его... Он утверждает, что его визит должен представить для вас некоторый интерес. Я проводил его в гостиную.

— Крафт? Крафт... Ну что ж. Ничего не поделаешь. Крафт — так Крафт. Не гнать же его. Займитесь лошадью, Филипп. И не забудьте почистить ее. Мне она сегодня больше уже не понадобится...

При его появлении в гостиной с кресла, стоявшего в углу у изразцовой печки, поднялся худой, сгорбленный человек неопределенных лет с изможденным, землистого цвета лицом и длинным носом, уныло свисавшим над глубоко запавшим ртом. Он был без парика, в очках, в наглухо застегнутом поношенном сюртуке, из-под которого у шеи и на запястьях выглядывало подозрительного вида белье. Длинные руки он держал перед собой, не зная, видимо, куда их деть, накрепко сцепив узловатые, скрюченные пальцы. От гостя пахло табаком и тем непередаваемым никакими словами запахом заброшенности и запустения, каким всегда пахнут старые холостяки, привыкшие прятаться от людей, но все же вынужденные иногда по каким-то обстоятельствам вылезать из своего убежища на божий свет.

Несмотря на робость, согбенные плечи и потрепанную одежду, было, однако, очевидно, что гость знавал когда-то и лучшие времена. Это ощущение подтверждали и его взгляд, в котором светился живой, быстрый ум, и достоинство в движениях, и постоянная, еле заметная усмешка, если и не презрительная, то, во всяком случае, достаточно двусмысленная, чтобы заподозрить ее обладателя в весьма высоком мнении о себе и отнюдь не лестном — об остальной части человечества. Из кармана его сюртука торчала подзорная труба — вещь, несомненно, тоже не очень обычная для жителя тихих саксонских долин.

— Господин Крафт? Вот мы и встретились наконец, — сказал, подавая ему руку, Гете. Гость отступил шаг назад и, согнувшись в глубоком поклоне, попытался притянуть к губам протянутую руку. Гете резким жестом отдернул ее.

— А вот этого делать не надо, господин Крафт... Мы ведь с вами пусть и по переписке, но старые друзья. Такие несуразности ни вам, ни мне совершенно не к лицу...

Глубокие, будто вырезанные ножом морщины на лбу гостя разгладились, в глазах его блеснули слезы благодарности: он выпрямился и, вытащив из кармана сложенный вчетверо платок, свирепо высморкался. Все, видимо, оказалось иначе, чем он ожидал, и теперь он был несказанно рад тому, что его благодетель и покровитель с самого начала вновь утвердил его в человеческом звании, совершенно ясно дав понять, что никак не намерен унижать его и тем более тыкать ему в лицо полнейшей зависимостью от его, покровителя, благосклонности. А между тем так оно, в сущности, и было: жизнь и смерть господина Крафта действительно в буквальном смысле этого слова зависели от Гете. Вот уже около четырех лет Крафт, не имея за душой ни гроша, жил целиком за счет его регулярных субсидий, и, прекрати Гете поддерживать жизнь этого странного, никому не нужного человека, у него оставалось бы только два выхода: либо в петлю, либо с протянутой рукой по большим и малым дорогам Германии, пока его не схватят где-нибудь за бродяжничество и не упекут в тюрьму. Никакую обычную работу в силу своего душевного и физического состояния Крафт работать не мог, а если бы даже и мог, то все равно бы не стал. Почему? Ну, это уж, как говорится, другой разговор...

— Ваше превосходительство, будьте снисходительны... Я сейчас плохо соображаю от счастья... Мечта всех последних лет моей жизни сбылась! Наконец-то я вижу вас воочию и могу сам, не прибегая к перу и бумаге, засвидетельствовать вам свою смиренную признательность за все ваши благодеяния по отношению ко мне... Вы спасли мне жизнь, ваше превосходительство, вы вернули мне надежду, вы заставили меня вновь поверить в бога и людей. О, если бы вы знали, ваше превосходительство, из какой бездны отчаяния, из каких адских глубин безнадежности вы вызволили меня!.. Я давно мечтал, я давно стремился сюда, чтобы припасть к вашим стопам и выразить вам все, что я изо дня в день, из ночи в ночь повторял все эти годы в своих молитвах. И все эти годы я не

мог преодолеть свой страх, я не решался показаться вам на глаза, потому что я боялся разочаровать вас, огорчить вас своей никчемностью, своим нелепым видом, своими манерами сумасшедшего. Да-да, ваше превосходительство, не надо, не оспаривайте меня! Я-то знаю, кто я, и знаю свою истинную цену в жизни. И я знаю, что если бы не ваше великодушие, если бы не ваша щедрость, достойные первых апостолов и первых мучеников во имя господа нашего Иисуса Христа, я бы погиб. Погиб окончательно и бесповоротно... Люди заклевали бы меня до смерти как гадкого, безобразного утенка, затесавшегося в стаю лебедей... Я жалок, ваше превосходительство, я болен, я ем, сплю, хожу не так, как другие, я думаю не так, как другие. И мир, боясь заразы, вправе исторгнуть меня, вправе растоптать меня в прах... И если бы не вы, так бы оно, наверное, и было, еще четыре года назад. А вместе со мной, несомненно, погибла бы и моя маменька, моя голубка, единственное существо на земле, кому я еще дорог и нужен... Я боялся, ваше превосходительство, я очень боялся... Но я решился! Да-да, ваше превосходительство, я наконец решился! Если все герцогство, вся Германия будут завтра праздновать день рождения своего величайшего поэта и величайшего государственного деятеля, почему же самому ничтожному, самому несчастному из всех облагодетельствованных им людей нельзя хоть на мгновение прикоснуться к той руке, под защитой которой он смог укрыться от беспощадной судьбы, от всех дьявольских сил этого мира, ополчившихся на него?.. И я еще вчера вышел из Ильменау, я шел весь день, всю ночь и опять день, и вот, как видите, я здесь! Простите, ваше превосходительство, за это вторжение, но я льщу себя надеждой, что ваша благосклонность...

— Хорошо, хорошо, господин Крафт. Благодарю вас за ваше посещение и ваши поздравления... А теперь расскажите мне, как вы там живете, как ваши дела? Что нового в вашей жизни?.. Кстати, как там чувствует себя мой подопечный, юный Петер Баумгартен? Он очень дорог мне, господин Крафт... Удается ли вам чем-нибудь помочь ему?

— О, это прекрасный мальчик, ваше превосходительство, это превосходный мальчик! Вернее, не мальчик, а уже почти юноша... Ваш воспитанник здоров, бодр и весел и, по-моему, благодаря вашей отеческой заботе уже достаточно крепко стоит на ногах. Думаю, что скоро его уже можно будет отдать в учение какому-нибудь серьезному ремеслу... Мальчик, например, вполне может стать художником. Он великолепно рисует... Что же касается меня, то вряд ли я сумел оправдать ваши надежды, ваше превосходительство. Чему я мог научить его? Немножко фехтовать и немножко стрелять из пистолета? Отличать компас от барометра и барометр от стенных часов? Десятку-другому английских или французских фраз?..

— Ну, это как посмотреть, господин Крафт. И это уже немало, если это вам удалось...

— Ах, ваше превосходительство... Вы так всегда добры... Ну чему, скажите, серьезному и нужному может научить юношу, вступающего в жизнь, бывший моряк, бывший ландскнехт, бывший бродяга и авантюрист, сам потерпевший крушение в жизненном море и выброшенный, как рыба на песок, подыхать? Солдат наемной ганноверской армии, целых два года огнем и мечом опустошавший города и селения Америки, может хорошо научить только одному — убивать... Даже чувству ужаса перед убийством он не может научить, потому что просто так, умом, такие вещи понять и воспринять невозможно никому... Боже мой, боже мой... Сколько уже лет прошло, а весь этот ужас так и стоит у меня перед глазами! И днем и ночью... И опять, как тогда, я готов бросить все и бежать, спасаться, прятаться, дезертировать... Только теперь уже куда? И от кого?

— Мальчик вспоминает меня, господин Крафт?

— Каждый день, каждую нашу встречу, ваше превосходительство! Он очень привязан к вам... У мальчика доброе сердце, ваше превосходительство, и это сердце, смею вас уверить, целиком и безраздельно принадлежит вам...

— Я очень любил его покойного отца. Он был мой друг... Берегите мальчика, господин Крафт. Это как раз тот пункт, где и ваши интересы, и мои совпадают полностью. И моя совесть спокойна, и вы таким образом честно отрабатываете свой хлеб...

— Ваше превосходительство! Да неужели я не понимаю? Я еще не настолько лишился рассудка, чтобы не понимать, насколько это важно для меня... Я был студент, я был моряк, я был офицер... Потом я был дезертир, преступник, гонимый, нищий, презираемый всеми изгой... К тому же повредившийся в уме, боявшийся всех и вся и выползавший из своего убежища, как крыса, только по ночам... Боже мой! Так я теперь хоть на улицу не боюсь выходить, не боюсь в лавку зайти, в трактир! Не боюсь смотреть людям в глаза!.. С тех пор, как стало известно, что я являюсь в какой-то мере наставником вашего воспитанника, что вы, именно вы покровительствуете мне...

— А это стало все-таки известно, господин Крафт?

— Не по моей вине, ваше превосходительство! Ради бога не подумайте — не по моей вине... Клянусь, я свято соблюдал данное вам слово... Но, может быть, Петер кому-нибудь сказал... Или, может быть, почтмейстер догадался наконец, от кого поступают все эти щедрые дары на мое имя... А это очень плохо, ваше превосходительство, — эта огласка? Это очень вредит вам, да? Скажите только — и, если надо, я исчезну... Одно ваше слово — и я опять исчезну, и ни вы, и ни кто другой из жителей герцогства Саксен-Веймарского никогда больше не услышит обо мне...

— Ах, да разве дело в огласке? Разве в этом дело, мой друг?

Гость, не зная, что ответить, замолчал, робко и встревоженно глядя из-под очков и опять вобрав голову в плечи, как будто в ожидании немедленного возмездия за свою неосторожность. Гете отвернулся от него и принялся ходить из угла в угол... Да, так, значит, дело не в огласке, господин Иоганн Вольфганг фон Гете? Не в этом, господин премьер-министр? А в чем же тогда, позвольте вас спросить?.. Нет, Вольфганг, не обманывай себя — в этом, именно в этом. В той сверхгордыне, в тех претензиях на сверхвеличие, которым этот бедняга Крафт не дал проявиться так, как ты того хотел. Ведь ты хотел, ты очень хотел, чтобы никто не знал о его существовании и о твоем участии в его судьбе? Почему? Разве человек должен стыдиться своих добрых дел? И разве люди не должны знать о них, хотя бы затем, чтобы иметь перед собой пример, достойный подражания, пример, который нет-нет да и подтолкнет иной раз кого-нибудь из них протянуть руку помощи ближнему? Так почему же тогда это твое желание сохранить все в тайне и это разочарование, что тайна в конце концов обнаружилась?.. Почему? А потому, господин великий поэт, что в своем безотчетном презрении к людям ты хотел, чтобы это доброе дело было лишь делом между тобой и богом... Минуя «всю эту дрянь, что на земле живет...» Между твоим бессмертным «я» и его всевидящим, всезнающим оком... И, значит, уже с самого начала этот твой порыв был порожден не человечностью, не бесхитростной любовью и состраданием к ближнему, а твоим высокоумием, твоим стремлением встать над миром и человеческим судом... А с другой стороны, не преувеличивай, Вольфганг! Не будь педантом... Какая в действительности разница, чем был продиктован этот твой порыв — умом или сердцем, гордыней или искренним состраданием? Результат налицо: этот бедняга жив и, наверное, проживет еще немало лет благодаря твоей помощи. А что двигало тобой, то или это — кому какое дело в конце-то концов? Да и не все так на самом деле просто, если подумать... Кто может отделить высокий ум от искреннего сострадания? И можно ли их вообще отделить? И разве не было в твоей жизни поступков, когда ничто, кроме прямодушия, кроме простого и бесхитростного сочувствия к людям, не двигало тобой? Было, и немало было... Тот же Петер Баумгартен, если уж на то пошло...

— Как продвигается ваша автобиография, господин Крафт? Судя по вашим письмам, это, наверное, теперь главное дело вашей жизни... Так? Или не так?

— И так, и не так, ваше превосходительство... Не сама автобиография, а одна, но очень важная мысль, которую я намерен вложить в нее... Эта мысль и есть теперь мое главное дело в жизни... Признаюсь, я не такого уж высокого мнения о себе, чтобы считать, что моя особа как таковая может представить какой-либо значительный интерес для человечества. Если бы речь шла только обо мне, о событиях моей незадавшейся жизни — о, я, наверное, предпочел бы умереть в ничтожестве и неизвестности, чем таким трудным, таким мучительным путем пытаться привлечь внимание людей к своей персоне!.. Но дело не во мне, ваше превосходительство. Дело в том выводе, который я извлек из всех ужасов и страданий моей жизни... Нет ничего, ваше превосходительство, страшнее убийства на войне, нет ничего ужаснее и нелепей этой бессмысленной бойни, в которой люди убивают друг друга неизвестно за что... Не будучи даже знакомы друг с другом и не имея никаких личных причин убивать своего противника. Нет, не своего противника, а своего собрата по несчастью... И нет ничего другого в мире, в чем бы люди были бы так виноваты — виноваты сами, по своей собственной глупости и слепоте, без всякого вмешательства в их дела каких-либо высших сил... Кто-то же должен, ваше превосходительство, сказать наконец об этом людям? Конечно, я сознаю, что многие до меня уже пытались это говорить. Но кто услышал их голос? Чьи воспаленные мозги им удалось образумить? Чьи окаменевшие сердца им удалось смягчить? Все, кто писал об этом, кто проповедовал об этом в церквах и на площадях, — все, все потерпели неудачу... Почему? Мне кажется, я знаю — почему... Потому что они не сумели найти тех слов, которые заставили бы людей опомниться и ужаснуться тому, что они творят... Ах, ваше превосходительство... Никто лучше меня не знает, что такое убийство и что такое война... И я... Именно я... Я должен эти слова найти! И я их найду... Я клянусь, найду!

Гете даже попятился: внезапная перемена, происшедшая в госте, поразила его. Вместо робкого, униженного просителя перед ним стоял теперь Савонарола, чьи горящие глаза, вздыбленные волосы, закушенные губы и яростно сжатые кулаки могли бы испугать кого угодно, не только его... Нет, никаких сомнений быть не могло: конечно же, это был безумец. Счастье еще, что с его, Гете, помощью ему удалось спрятаться в Ильменау, в этом маленьком городке, затерянном в лесной глуши. В любом другом, более людном месте его, несомненно, весьма скоро упрятали бы в тюрьму или в сумасшедший дом. А он еще советовал ему обосноваться в Иене! Мало советовал — даже настаивал, чтобы он поселился там, да еще приписался к Иенскому университету... Нет, честно говоря, можно понять людей, которые предпочитают не видеть и не слышать этих проповедников, а держать их на цепи... И дело вовсе не в том, какая именно идея обуревает в данную минуту такого безумца. Это может быть призыв ко всеобщему покаянию и смирению, а может быть — к поголовному переселению куда-нибудь в Китай, а может быть — к избиению всех еретиков до единого — неважно, к чему. Важно не это, важно то, что ради своей идеи они ни на мгновение не задумаются сжечь всякого, кто не согласен с ними... Но, к сожалению, приходится признать, что именно эти люди движут миром. Кто отметил их, дьявол или бог — откуда нам знать? Нет, господин Крафт, я не ошибся, когда протянул вам руку помощи. Чем черт не шутит, может быть, когда-нибудь вы действительно напишете книгу, которая будет жечь сердца и которая сделает людей чуть умнее, чем они были до вашего прихода в мир... Помогай вам бог, господин Крафт! Только, пожалуйста, опустите кулаки: у меня слабые нервы, и, откровенно говоря, я не большой любитель таких сцен. Хватит с меня и Шекспира в Веймарском театре... Кроме того, там хоть есть гарантия, что король Лир в экстазе не бросится с подмостков вниз крушить ложи и партер...

— Поверьте, господин Крафт, я очень сочувствую вашей благородной идее и вашему великому делу. И я желаю вам всяческих успехов на этом поприще... Кроме того, признаюсь, вы возбуждаете во мне чисто профессиональный интерес. Как вы знаете, я ведь тоже литератор... Вы весьма справедливо заметили, что до сих пор по данной проблеме никому нужных слов найти не удалось. И, скажу вам, я не только как человек, но и как профессионал буду искренне рад, если вы будете первым, кто их наконец найдет...

— Я найду, ваше превосходительство! Верьте мне — найду... Я обязательно найду!.. Но, боже мой, если бы только кто знал, как же трудно их искать... Одно, другое, десятое, сотое — и все не то, все не то... Ничто привычное, тысячи раз слышанное здесь недопустимо... Слово это должно быть таким, чтобы, услышав его, каждый человек содрогнулся и возопил:

«Отрекаюсь! Отрекаюсь убивать! За себя и за всех своих потомков — отрекаюсь от войны, от убийства, от грабежей и насилия... От всего, что сделало адом нашу жизнь на земле...»

— Да, нелегкую задачу вы перед собой поставили, господин Крафт... Очень нелегкую задачу... По-моему, даже Инсусу из Назарета найти таких слов не удалось. А он, согласитесь, был великим мастером по части слов... Так что, повторяю, я очень сочувствую вам, господин Крафт. Дай бог вам эти слова найти...

— Иногда, ваше превосходительство, мне кажется, что я уже нашел их. Да-да, несомненно, многие из них я уже нашел... Но все они пока еще как-то в беспорядке, вперемешку, кое-как... Их надо выстроить, привести в порядок... Нацелить в одну точку... Но это нечеловечески трудно, ваше превосходительство! Здесь нужна полная сосредоточенность, полная чистота и спокойствие души, отрешенность от всего низменного, от всех страхов и корысти... И я... Помогите мне, ваше превосходительство! Умоляю вас — помогите... Когда-нибудь... Кто знает?.. Может быть, когда-нибудь мне удастся вернуть вам сторицею все мои долги... Или по крайней мере там, на том свете, припадая к стопам всевышнего, отмолить долгую и тихую жизнь вам и всем, кто вам близок... За вашу великую доброту и сострадание к людям... Час мой близок, ваше превосходительство, я знаю — близок... Как только я выполню свой долг, как только я найду то, что ищу, — я уйду из этого мира... Я буду уже не нужен ему... И может быть, мой голос там, перед его престолом, будет самым сильным из всех тех бесчисленных, кто на земле и на небесах славит ваше имя... Имя, составляющее гордость и надежду не только нашей несчастной родины, но и всего человечества... Умоляю вас, ваше превосходительство! Помощи... Помощи прошу!

И вновь быстрая, почти мгновенная перемена, происшедшая в госте, поразила Гете. Не было больше Савонаролы, был худой, нескладный, жалкий человек, умоляюще прижимавший руки ко впалой груди и смотревший на него глазами, полными слез. Казалось, еще немного — и он упадет перед ним на колени и поползет по ковру, простирая вперед руки и хватая его за полы сюртука... Господи, не слишком ли много сегодня этих душераздирающих сцен? И всего лишь за полдня! Шарлотта, гауптвахта... Теперь еще и этот безумец... Если забьется в истерике, одному, пожалуй, не справиться с ним, придется звать на помощь Филиппа... Ах, ты, боже мой, как это все некстати, не ко времени... У самого, что называется, голова кругом идет, а тут еще возись с сумасшедшим...

— Помощи, господин Крафт! Что вы имеете в виду? Мне казалось, в меру своих сил я...

— Да-да, ваше превосходительство! Вы мой спаситель! Вы спасли мне жизнь, и я ваш должник на вечные времена! Признательность моя вам не имеет границ, и я ни на минуту не забываю об этом... Но я хотел... Я надеялся... Ваше превосходительство! Нельзя ли... Нельзя ли несколько увеличить мое содержание? Не надолго, нет... О, совсем не надолго!.. Дело в том, что таким образом через год-два я вообще смог бы освободить вас от всяких забот обо мне. Я бы купил тогда у нас в Ильменау какую-нибудь крохотную лавчонку, маменька моя торговала бы в ней, и мы с ней могли бы тихо и мирно жить на доходы и не докучать вам больше никакими просьбами о себе. И тогда бы я спокойно, не дергаясь и не терзаясь никакими просьбами и заботами, докончил бы свой труд...

— Боюсь, что у вас превратное представление о моих возможностях, господин Крафт... Доходы мои достаточно скромны. И из них не менее двухсот талеров, то есть не менее одной шестой из годовой величины, я теперь выделяю на помощь вам... Я не богат, господин Крафт. И более того...

— О, простите меня, ваше превосходительство! Простите мою поспешную, мою необдуманную просьбу... Я глубоко сожалею, что высказал ее. Но я думал, что я...

— И более того, господин Крафт. Должен вам сказать, что есть вполне реальная опасность такого поворота событий, что и этих скромных

доходов я в ближайшее же время могу лишиться... Может быть, частично, а может быть, и совсем...

— Поворота? Простите, ваше превосходительство... Я что-то очень плохо соображаю. Туман какой-то в голове... Поворота? Какого поворота?.. Может быть... Может быть, у вашего превосходительства не все ладно со здоровьем?..

— Да нет, господин Крафт... На здоровье мне грех жаловаться. По-моему, я еще никогда в жизни не был так здоров, как сейчас... Нет, речь не о здоровье. И вообще не об объективных причинах. Речь идет только обо мне, о моем выборе... О выборе того или иного из двух возможных решений... Проблема не в здоровье, господин Крафт, проблема в том, что мне, вполне возможно, скоро придется просить об отставке... И, может быть, даже искать себе местожительство где-нибудь в другом месте...

— Где, ваше превосходительство? Где в другом месте? И зачем?

— Где? Ну, пока еще я и сам не знаю, где... Да это, в конце концов, и неважно... Германия — обширная страна. Где-нибудь, надеюсь, и для меня в ней найдется уголок... Но прошу вас не забывать, господин Крафт, — это пока секрет. Государственный секрет... И я целиком полагаюсь здесь на вашу скромность...

— Да-да, конечно, ваше превосходительство... Я понимаю... Я все понимаю... И не беспокойтесь, я ни при каких обстоятельствах не обману вашего доверия. Ни одна живая душа ни слова не услышит от меня... И это скоро? Скоро это произойдет, ваше превосходительство? Могу я вас спросить?

— Не знаю, господин Крафт... Не знаю... Может быть, в течение нескольких месяцев... А может быть, и в ближайшие же дни...

— Месяцы? Дни?.. О, боже мой!.. А как же тогда я, ваше превосходительство? И моя маменька? И юный Петер Баумгартен? Как же вы предполагаете распорядиться нашей судьбой?

— Вы?! Да, вы... И ваша маменька... И юный Петер Баумгартен... Да, вы правы... Это ведь тоже вопрос... И совсем немаловажный вопрос... Не знаю, господин Крафт... Пока не знаю... Думаю, что-нибудь придумаем... Обязательно что-нибудь придумаем...

— А что?! Что придумаем, ваше превосходительство?! Простите великодушно мое возбуждение, но вы же понимаете, что для меня это ужасный вопрос... Если хотите, вопрос жизни и смерти... Что мы можем придумать, ваше превосходительство? В реальности — что?! Если вы нас бросите, если вы не сможете больше нам помогать? Или, если совсем уж называть вещи своими именами, — нас содержать?.. Ну, Петера еще кто-нибудь подберет... Да он уже и сам на худой конец в состоянии прокормить себя... А я? А моя маменька? Что мы-то можем придумать? Камень на шею — и в пруд?

— Успокойтесь, успокойтесь, господин Крафт... Не следует так быстро впадать в отчаяние... Конечно, при любом моем решении я позабочусь о вас... Вопрос еще окончательно не созрел, и тут еще могут быть разные нюансы и варианты. Одним словом, господин Крафт, я взял на себя ответственность за вас перед богом и собственной совестью, и я от этой ответственности отрекаться не намерен... Уверяю вас, при любом повороте событий я найду способ обеспечить ваши интересы...

— При любом?! Даже если вы сами вынуждены будете отправиться в изгнание? И может быть, извините меня ради бога, без гроша в кармане?..

— Ах, ну разве можно быть таким напористым, господин Крафт? Вы же видите, что я сам пока в растерянности, что я сам для себя еще ничего не решил... Скажу вам только одно: даю вам слово, что я в любом случае позабочусь о вас... Ничего большего, к сожалению, господин Крафт, я вам сказать пока не могу... Будьте же благоразумны, дайте мне сначала самому разобраться во всем...

— Простите меня, ваше превосходительство... Ради бога, простите меня... Но это все как обухом по голове...

— Прошу меня правильно понять, господин Крафт, но, к сожалению, я вынужден прервать нашу встречу. Уже вечер, и герцог ждет ме-

ня с докладом... Прощайте, господин Крафт. Спасибо, что навестили меня... И прошу вас — верьте мне. Не надо отчаиваться, все будет хорошо. Я верю, все будет хорошо...

— Да-да, ваше превосходительство, конечно... Все будет хорошо... Прощайте, ваше превосходительство! Я буду денно и нощно молиться за вас... Прощайте... И... И... И... Ваше превосходительство, не забудьте, ради бога — я надеюсь! Помните, умоляю вас, помните — я надеюсь! Вы единственная моя надежда на земле...

Солнце село. Последние его лучи еще догорали на верхушках деревьев, но под ними, в лесу, уже сгущался и начинал постепенно темнеть сырой и серый вечерний сумрак. Гете долго смотрел в окно, провожая взглядом медленно удаляющуюся спину сутулого долговязого человека, одной рукой тяжело опиравшегося на суковатую палку, а другой придерживавшего какую-то котомочку, перекинутую через плечо. Несомненно, ему было нелегко идти: ноги его передвигались с трудом, шаги были нетверды, и, не знай он, кто был этот человек, он бы, наверное, подумал, что по дороге бредет какой-то подвыпивший бродяга, поглядывающий, какую же ему выбрать канаву, чтобы без помех завалиться на ночлег... А где, интересно знать, Крафт собирается ночевать? Ближайший постоялый двор в четырех верстах... Хватит у него сил, чтобы добраться до него? Или послать за ним, пока не поздно, Филиппа? Да и накормить, наверное, надо было бы беднягу. Из головы как-то совсем выскочило спросить его, ел он или не ел... А, да ладно. Так, так, так. Поздно уже возвращать его... К тому же неизвестно еще, что для него сейчас лучше: отдохнуть, отдышаться на лесной дороге или опять сидеть в доме человека, от каприза которого зависит вся его жизнь... Прощайте, господин Крафт! Доброго вам пути. Я тоже буду молиться за вас. Все-таки вы наш брат, гений... Или сумасшедший — но это уже кто какие предпочитает слова... И не отчаивайтесь, если вы так и не найдете никогда то, что вы с такой страстью ищете. Более того, я мог бы вам заранее сказать, господин Крафт, что ни вы, ни кто другой никогда их не найдете, эти ваши всепрожигающие слова. Их просто не существует в природе — вот и все... Но разве это резон, чтобы вам не жить на земле? Нет, не резон... Совсем не резон... Прощайте, прощайте, господин Крафт! Доброго вам пути...

VI

Было уже темно, и высыпавшие на небе звезды светились над головой в просветах между деревьями, когда он подошел к резиденции герцога, спрятавшейся в роще на берегу Ильма, всего в нескольких минутах ходьбы от его дома. Собственно говоря, это пышное название «резиденция» было присвоено небольшому домику, который герцог приказал выстроить здесь, чтобы быть, когда захочется, поближе к своему другу и любимцу. Однако в последнее время он жил в этом домике практически постоянно, пытаясь таким образом найти какой-то приемлемый для всех компромисс между своей весьма не тихой манерой жить и необходимостью сохранять хоть бы видимость мира и согласия в августейшей семье, а проще сказать — чтобы поменьше сталкиваться со своей умной, холодной и нелюбимой женой, герцогиней Луизой, вечно устраивавшей ему, особенно наедине, сцены из-за его многочисленных и рискованных связей и похождений... О, сколько великолепных вечеров они провели здесь вдвоем с герцогом за дружеской беседой и за стаканом вина... Или в обществе актрис Веймарского театра во главе с прелестнейшей Короной Шретер... Или, наконец, совсем уж потаенно, когда посетительниц резиденции доставляли сюда под величайшим секретом в закрытой карете, а иной раз и с масками на лице, закутанными с ног до головы...

Стояла полная тишина, наглухо зашторенные окна в доме почти не пропускали свет, и Гете, естественно, вздрогнул, когда у самого крыльца в темноте вдруг блеснул штык и чей-то голос хриплым, сдавленным шепотом окликнул его:

— Стой! Кто идет? Пароль!

— Свои, свои... Пора бы, кажется, научиться и узнавать, — с досадой, преодолевая испуг, проворчал Гете, никогда не любивший эту нелепую игру взрослых людей в солдатики и никогда не умевший запомнить ни одного пароля. Часовой, хрустя гравием под ногами, выдвинулся из темноты и, узнав его, молча отдал честь. Дубовая, украшенная тяжелой резьбой дверь подалась, петли ее заскрипели, и он вошел в маленькую, увешанную оленьими рогами прихожую, из которой другая, открытая, дверь вела прямо в гостиную. Там, в кресле у камина, под двумя ярко горевшими канделябрами, сидел герцог и, подперев голову рукой, смотрел в камин. Перед ним на маленьком столике стояла бутылка вина и рядом с ней — два столовых прибора. Герцог ждал и ждал, несомненно, его.

— Ваше высочество...

— Вольфганг! Наконец-то! Черт побери, где ты пропадаешь целый день? Я даже сам заезжал сегодня днем в канцелярию, но мне сказали, что никто не знает, где ты, и никто тебя не видел со вчерашнего вечера. Гофмаршал даже высказал предположение, что ты, не сказавшись никому, уехал в Иену... Ну, подсаживайся же скорей, старина! И давай-ка, как подобает старым буршам, прежде всего выпьем по глотку доброго вина... А уж потом... А уж потом начнем говорить и о делах...

— Ваше высочество...

— Брось, Вольфганг! Что с тобой сегодня? Ты же знаешь, что я этого не люблю... Меня зовут Карл-Август... Карл-Август, надеюсь, ты этого не забыл?

— Ваше высочество, прежде всего я хотел бы всеподданнейше доложить, что я снимаю все свои возражения против указа о введении смертной казни за детоубийство и что я подписываю этот указ. Обстоятельно взвесив все «за» и «против», я...

— Вольфганг! Черт! Да неужели?! Подписываешь, согласен? Господи, какая же радость! Какая радость... Как гора с плеч!.. Дьявол тебя возьми, сам-то ты хоть понимаешь, какую ты тяжесть снял с меня? Понимаешь?.. О, дорогой мой Вольфганг... Мой самый лучший, самый умный в мире премьер-министр!

Не будучи в силах сдержать восторга, герцог вскочил, отбросил ногой кресло и сгреб Гете в свои объятия. Кости господина тайного советника затрещали: герцог был рослый, крупный мужчина, обладавший поистине медвежьей силой, вспыльчивый и экспансивный, и Гете, пытавшийся некогда тягаться с ним во всех его молодецких забавах, уже давно понял, что лучше все-таки держаться подальше от его бурных дружеских излияний. Любой, даже самый ласковый его хлопок по плечу означал по меньшей мере нешуточный кровоподтек на следующее утро, ну, а если он всерьез обнимет кого — считай, одно-два ребра у тебя треснули, можешь сразу, не сомневаясь, вызывать врача... Удивительно все же, как причудливо сошлись в этом человеке солдатская грубость, буйство и, с другой стороны, дальновидный ум, понимание человеческой натуры, доброта, терпимость, жажда знаний, стремление сделать, как лучше, а не просто восседать на троне, пользуясь своим божественным правом не делать ничего и не думать ни о чем... Редкого размаха человек! И это в двадцать шесть-то лет! Благодарите бога, жители герцогства Саксен-Веймарского, что судьба дала вам в монархи именно его, а не какое-нибудь сонное жвачное животное, какими издревле славятся столь многие немецкие дворы... Да-да, почтенные обитатели герцогства, благодарите бога и судьбу, а может быть, хоть немного и меня...

Сдержанно улыбаясь, Гете высвободился из герцогских объятий, поправил жабо и обшлага парадного камзола, и тихо, глядя снизу вверх в сияющие, брызжущие радостью глаза герцога, сказал:

— Вот и все... Вот, собственно говоря, и все... За этим, Карл-Август, я и торопился к тебе... А теперь налей мне вина. Уверяю тебя, мне это все далось очень нелегко...

— Вот и все? Ты говоришь, Вольфганг, вот и все? Нет, дорогой мой! Это еще далеко не все. Это еще только начало, я тебе скажу... Теперь-то уж я обломаю всю эту сволочь! Теперь-то они у меня попляшут! К чертям собачьим всех этих шептунов, всех этих мерзавцев, возиаме-

рившихся развести нас с тобой, лишить меня твоей дружбы и твоей помощи!.. Ну, я им теперь покажу! Что, съели, господа? Получили? Вам нужен этот дурацкий указ? Пожалуйста! Но Гете был и останется премьер-министром герцогства Саксен-Веймарского и Эйзенахского, он был и останется великим поэтом Германии, нашей вершиной и нашей национальной гордостью! А вам как судил господь бог копошиться в вашем дерьме, так и сидите в нем по уши до скончания своих дней, задыхаясь в собственном зловонии! Коптите небо, обжирайтесь, грызите друг друга, но не мешайте нам дело делать! Не мешайте ему и мне!.. И можете хоть подохнуть от зависти все до одного, но завтра будет спектакль, будет празднество в честь Иоганна Вольфганга фон Гете! И все герцогство будет праздновать этот день!

— Ваше высочество... Мне, право, очень тяжело сознавать, что из-за меня вам приходится испытывать на себе такое постоянное давление... И мне кажется... Я давно думаю... Может быть, было бы лучше, если бы для равновесия сил в государстве я в дальнейшем сосредоточился бы на таких областях, как культура, наука, искусство...

— Равновесие?! Да будь оно проклято, это равновесие! Вот оно где у меня сидит, это твое равновесие! Вот!.. Не равновесие, а перевес сил — вот что нам нужно! Наших с тобой сил!.. Я и так уже, Вольфганг, чувствую себя опутанным по рукам и ногам какими-то бесчисленными нитями. Не имеющим сил шевельнуть даже пальцем. Как Гулливер... Даже пальцем, Вольфганг! Не говоря уже рукой или ногой... Нет, Вольфганг, не равновесие... Только не равновесие... Медленное, методичное накопление сил и потом — удар! Безошибочный, сокрушительный удар с полной отдачей сил и полной гарантией успеха... Вот наша с тобой тактика, вот наша с тобой стратегия, пока господь бог нас не разлучит... Вот что нам нужно, Вольфганг! Именно так и только так мы с тобой когда-нибудь подомнем их всех под себя... А пока... А пока мы еще слишком слабы с тобой, Вольфганг... Слишком слабы... О, если бы ты знал, как я боялся, что ты в конце концов из каких-то там высших твоих соображений предашь меня! Если бы ты знал, сколько ночей в последнее время я просидел здесь в одиночестве, думая о нас с тобой... Ты понимаешь весь ужас, всю безвыходность моего положения? Я говорю тебе раз, и другой, и третий, что надо подписать, а ты мне каждый раз в ответ одно и то же: «Не надо, это средневековье, это шаг назад...». И я же вижу, что ты действительно искренне не понимаешь ничего! И более того — не хочешь понимать! И я знаю твое упрямство... А на меня жмут со всех сторон, и чем дальше, тем больше... Средневековье! Как будто я сам не знаю, что это средневековье... Но у нас с тобой сегодня нет другого выхода, Вольфганг! Нет! И ты, и я — мы оба сейчас рабы обстоятельств, мы оба должны или отступиться от всего, или подчиниться им... Ты же должен это понимать...

— Я понимаю, Карл-Август... И я глубоко сожалею, что дал тебе повод к таким тягостным подозрениям... Будь уверен, никогда я тебя не предам, Карл-Август... Никогда! Клянусь... Я был и буду твой верный слуга, твой верный помощник во всех твоих благородных замыслах и начинаниях. И до тех пор, пока я тебе нужен, я буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь тебе устроить государство... Я верю в твое великое будущее, герцог! В твое, а значит, и в мое...

— Ну, вот и прекрасно, Вольфганг! Вот и прекрасно... А теперь садись... Садись поближе... Должен тебе признаться, Вольфганг, что у меня сейчас настроение напиться. Поможешь, а?.. О, господи, какая же гора с плеч! Какая же гора... Все, Вольфганг! Начинаем праздновать твой день рождения. С этой минуты и герцогство, и его так называемый повелитель живут только одним — тем днем, который в Книге Судеб отмечен как праздник всех людей на земле... Твое здоровье, дорогой мой премьер-министр! Твое здоровье, поэт! Твое здоровье, мой учитель и друг!

Герцог вскинул свой стакан и стоя, в рост, выпил его до дна, все выше и выше задирая при этом шею с резко выступившим вперед кадыком. Гете последовал его примеру. Осушив стакан, герцог вдруг неожиданно, со всего размаху, шваркнул его об пол, так, что осколки, брызнувшие от него, разлетелись по дубовому паркету во все углы. Гете вздрогнул, но, сейчас же овладев собой, улыбнулся.

— На счастье, Вольфганг... Не пугайся. Больше сегодня бить ничего не будем... Надо же было каким-то образом поставить на всем этом точку или нет?.. Слушай, старина... А все-таки неприятно, наверное, сознавать себя побежденным, а? Неприятно, согласись? Да еще такой мразью... Не презирать которую не можем ни я, ни ты...

— Неприятно, Карл-Август. Признаюсь.

— Ага! Вот видишь! А я, между прочим, Вольфганг, и об этом подумал. Я и это предусмотрел... Похвали меня, старина! Мне это сейчас очень важно... Знаешь, что я предлагаю? Чтобы они не думали, что они победили? Что мы и впредь будем плясать под их дудку? Я предлагаю одновременно с этим проклятым указом представить в ландтаг и другой, который ты подготовил еще год назад... Ну, помнишь... О запрете изгонять из храмов и молельных домов матерей внебрачных младенцев. Ты тогда, помнится, тоже много толковал о средневековье... И даже знаешь что? Знаешь что, Вольфганг? Не один этот указ... Если один, то тогда как раз и будет это твое чертово равновесие, о котором я уже и слышать не могу... Нет, Вольфганг... Нет, дорогой мой... Мы подсунем им и еще один указ, тоже, как всем известно, подготовленный тобой... О запрещении пыток и допроса с пристрастием «даже применительно к простым крестьянам и безродным бродягам»... Вот это будет равновесие! Три указа, но в нашу с тобой пользу, Вольфганг, не в их!.. Да-да, господа судейские, да-да, господа чиновники, в нашу с Гете пользу, не в вашу! Шиш! И извольте утереться, господа! Поищите теперь дураков в другом месте, не здесь!

В этот момент дверь в залу потихоньку отворилась, и в нее осторожно протиснулся невзрачный человек лет сорока, в очках, в темном потертом камзоле и грубых чулках на кривых ногах. Под мышкой у него была папка для бумаг. Гете узнал его: это был один из секретарей герцога, в ведении которого находились самые секретные дела его канцелярии. Увидев, что герцог не один, что с ним Гете, человек сделал непроизвольный шаг назад, но было уже поздно: Карл-Август заметил его.

— А, это ты? В чем дело?

— Вы... Вы, ваше высочество, приказали представить вам вечером на подпись известное вам распоряжение. С проектом которого вы уже знакомились сегодня днем...

— А! Порвать! Уничтожить! Бросить в печку! Вместе со всеми черновиками!.. И никогда... Слышишь? Никогда больше не напоминать мне о нем! Предупреждаю — головой отвечаешь, если не уничтожишь все вплоть до черновиков...

Человек исчез. Похоже, что его появление несколько смутило герцога. Но неловкое молчание за столом длилось недолго. Карл-Август, когда было надо, умел-таки владеть собой.

— Так что ты думаешь об этих двух указах, Вольфганг? Согласен ты со мной, внесем их тоже в ландтаг? Или нет?

— О, это прекрасная мысль, ваше высочество... Великолепная мысль! Она недвусмысленно подтверждает общую тенденцию в государстве. И не оставляет никаких сомнений относительно взглядов и дальнейших намерений вашего высочества... Я думаю, общество по достоинству оценит эти инициативы... Оба эти указа будут, я убежден, содействовать оздоровлению общего политического климата в стране. И укрепят, несомненно, юридическую базу для назревших структурных реформ в нашем государстве...

— Да-да, ты прав, Вольфганг... Назревших... Именно назревших...

— Эти инициативы, ваше высочество, как мне кажется, особенно важны в смысле продолжения процесса выравнивания политических прав и обязанностей всех граждан государства, независимо от их происхождения и имущественного состояния... И, соответственно, постепенной ликвидации не правданных привилегий отдельных слоев... Думаю, что, отталкиваясь от этих указов, а также ряда других, не менее серьезных и тоже ждущих своей очереди, мы смогли бы в недалеком будущем осущест-

вить и обе ключевые идеи программы преобразований, намеченной вашим высочеством: установление юридического и фактического равенства сословий и затем — введение прямого прогрессивного налогообложения всех подданных государства без различия источников их доходов...

— Стоп, стоп, Вольфганг... Погоди. С этим, прошу тебя, погоди... не заносись... Скажу тебе, я много думал над этими твоими проектами, особенно в последнее время... Заметь, над твоими проектами, не моими. Не надо, не делай из меня дурака! Когда мы с тобой вдвоем, это уж совсем ни к чему... И я пришел к выводу, что с ними нам с тобой придется обождать... Я давно хотел побеседовать с тобой подробно об этом, но все как-то не получалось... Эти идеи прекрасны, они справедливы, более того — они разумны и, судя по всему, сулят весьма многое как в политике, так и во всей жизни государства... Но... Но сейчас они не реальны... Сегодня, пока мы еще слабы, нам с тобой, Вольфганг, не преодолеть сопротивление тех самых слоев, положение которых ты намерен подорвать... Кончится тем, что они убьют и тебя, и меня... Подложат бомбу в мою карету, или отравят меня, или устроят династический переворот и запрут меня в сумасшедший дом... А тебя пристрелят где-нибудь в лесу... Это нетрудно, зная твою неосторожность... Кстати, когда ты, наконец, обзаведешься охраной? Сколько можно тебе об этом говорить?.. Вольфганг, послушай меня... Это вовсе не значит, что я хоть в малейшей степени не согласен с твоими проектами. Я согласен с ними полностью и абсолютно. Абсолютно — заметь!.. Но... Надо подождать, Вольфганг. Подождать... Не огорчайся, придет и этому черед... Мы оба еще с тобой чертовски молоды, Вольфганг, и у нас еще все впереди, и когда-нибудь мы их всех скрутим в бараний рог... Терпение, Вольфганг! Терпение... Выдержка, терпение, накопление сил... А пока, прошу тебя, забери ты, ради бога, оба этих проекта из моей канцелярии. Забери! Слишком уж много о них стали говорить... Думай над ними, улучшай, разрабатывай их дальше, но дома, пожалуйста, дома! Чтобы ни одна канцелярская крыса не знала о них... И, конечно же, держи меня в курсе твоей работы над ними. Не думай, я сдаваться не намерен! Чего-чего, а этого они от меня не дождутся никогда...

— Забрать?! Ваше высочество... Как же так — забрать? Забрать и приостановить всю программу преобразований?.. Так я вас понял, ваше высочество? Такую задачу вы ставите передо мной?

— Так, Вольфганг. Или вернее — и так, и не так... Ничего приостанавливать мы не будем. Мы только снизим темп... Мы должны избрать тактику не прямого нажима, а постепенного, шаг за шагом, приближения к цели... Вот, например, я знаю, что ты сейчас готовишь новый охотничий устав. Разве это пустяковое дело, Вольфганг? Разве это пустяковое дело — навести порядок в лесах государства?.. Или твоя эта реорганизация пожарных команд... Ведь горим же? Горим. А тушить умеем? Нет, не умеем. А надо уметь... Ты великий человек, Вольфганг. Но и у великих людей тоже есть свои недостатки. Боюсь, что самый главный твой недостаток — нетерпение... И излишняя отвага... Заметь, это говорит тебе человек, который сам готов вскочить на любую необъезженную лошадь, если ему этого захотелось... Ну, что ты скис? Стыдись! Не подобает старому буршу распускать нюни из-за такой в общем-то ерунды... Мы живы, Вольфганг! Мы молоды, мы доверяем друг другу, мы умны и сильны духом — так что, мы с тобой не победим? К концу концов, не победим? За нашу победу, Вольфганг! За нашу победу, дорогой мой премьер-министр!

— Виват! За победу, Карл-Август! За нашу победу... Только вот где, ваше высочество? Здесь или на небесах?

— Брось, Вольфганг, брось! Что за мысли? Гони их прочь!.. Мы молоды, Вольфганг, молоды! Мы еще только начинаем жить... Нет, мне не нравится твое настроение, дорогой мой премьер-министр. Не нравится! Я должен тебя расшевелить... Эй, кто там! Пусть принесут еще вина и пусть позовут музыкантов!

— Музыкантов?

— Да, а что? И их тоже... Мы будем с тобой кутить, Вольфганг. Кутить до утра... А какой же кутеж без музыки?.. Ну, где они там запропастились? Какого черта? Никогда, когда надо, не докличешься никого... Придется идти самому...

Герцог вскочил и вышел из гостиной. Поставив свой стакан на стол, Гете откинулся на высокую спинку кресла, вздохнул и прикрыл глаза. Тишина и безразличие ко всему охватили его... Вот и все. Вот и конец твоим вдохновенным планам, господин великий поэт... Конец... Удивительно, однако, как все просто и легко... «Забери, Вольфганг!..» И все твои хитрости, твои маневры, все твои многомудрые, сложнейшие построения рассыпались в прах... И не надо обманывать себя: никакое это не временное отступление — это вся твоя дальнейшая жизнь, это та жизнь, которой ты будешь жить до скончания своих дней... Глупости... Все это глупости, Вольфганг... Все эти твои великие цели, планы, преобразования — все глупости! Никому это не нужно, и никогда этого не будет, и с этим и надо жить... Сегодня одни обстоятельства, завтра другие, послезавтра третьи, а ты как был бессильным их рабом, так и останешься им, каких бы высот власти и влияния ты ни достиг. Хоть ты разорвись, хоть лопни от натуги — тебе их не перебороть. Никогда не перебороть... Даже герцога, твоего друга и воспитанника. А сколько еще их, других, толпится там, за его спиной? И всем им нужно пить, есть, что-то делать, за что-то отвечать, кем-то быть... Герцог прав: тысячами, миллионами они повиснут у тебя на руках и не дадут даже пальцем пошевелить... А, да ладно, черт возьми! Провались ты все пропадом... Реформы, преобразования! Хватит тебе дела и без них... Ты уже влез в эту жизнь? Влез? А раз влез — будь любезен, не жалуйся и с достоинством тащи свой крест. Пока хватит сил... Да я не спорю, я согласен, я тащил и буду тащить. Только вот ради чего? Господи, ради чего? Слава, деньги, почет, лента через плечо, собственный дом, собственный выезд — ах, как же это все не важно, не существенно, как же это все мелко, чтобы только ради этого и жил человек!.. А что не мелко? Цель? Великая цель? Вот она, твоя цель... Можешь теперь сидеть и любоваться на то, что осталось от нее... «Уже в мечтах сверхчеловеком став...» Ах, поэт! И это еще не все. Далеко еще не все. Кто знает, что еще ожидает тебя впереди.

Гете тяжело поднялся с кресла и подошел к окну. Плечи его обвисли, глаза потухли... За окном стояла глухая ночь, и в черном, непроницаемом стекле было видно только его собственное отражение да еще маленькое дрожащее пламя свечи, одиноко горевшей на столе, у него за спиной: свет от канделябров на камине в этот угол гостиной не доставал... Вот так-то, ваше превосходительство, господин премьер-министр. Вверх-вниз, вверх-вниз... Как на качелях. И так всю жизнь... Когда же, наконец, ты научишься полностью владеть собой, сохранять ровность в душе? Ах, трудна наука жизни! Трудна... И сколько ни приучай, ни закаливай себя, один удар, да не удар даже — один серьезный подзатыльник от жизни, и все: вместо борца, вместо полубога — опять жалкое, расслабленное существо, трепещущее от страха перед жизнью, перед судьбой, ничтожное и бессильное и неспособное ничего понять ни в мире, ни в себе... Нет, работать, работать — в этом спасение! Работать и не думать, почему работа, зачем работа, какая она и кому она нужна... Пусть оно и не всесильное, это лекарство, но никакого другого у тебя нет, и ничем иным, кроме как работой, тебе, поэт, себя не излечить и не спасти... Благодари бога, что у тебя есть это. У других и этого нет...

Двустворчатая высокая дверь распахнулась, и в гостиную ворвался герцог, прижимая к груди серебряное ведерко со льдом и с воткнутыми в него двумя длинными бутылками. Вид у него был сердитый, но глаза смеялись.

— Вот, Вольфганг! Добыл, достал, вырвал из зубов!.. Ты представляешь? Мерзавцы! Один самым нахальным образом спит, другой преспокойно раскладывает пасьянс — и это на дежурстве, а? Черт знает что! Совершенно распустились! Все до одного... О каких реформах ты говоришь, Вольфганг, когда элементарного порядка нет в государстве? Когда дежурные офицеры спят на своем посту? Когда я даже гофмаршала не могу сменить, этого старого осла? Не двор, а богадельня!.. Вот где сначала надо навести порядок, а уж потом бр ться за реформы! Нет, терпе-

ние мое истощилось: клянусь, в самое ближайшее же время эта старая развалина получит от меня пинок под зад... Ты не представляешь, как он мне надоел! Уволю и назначу тебя...

Они провели вместе превосходный вечер. Герцог был мил, добр, весел, легко и с удовольствием шутил, с удовольствием вспоминал какие-то их совместные юношеские проказы, беспрестанно подливал ему и себе, вскакивал, бегал взад-вперед, шумел, а иногда вдруг затихал в кресле, уходил в себя, и тогда в гостиной устанавливалась такая тишина, что можно было слышать тиканье бронзовых часов, стоявших у них над головами, на мраморной каминной доске. Но такие минуты случались не часто, и за каждой из них тут же следовал новый приступ веселости: герцог, конечно, понимал, что творилось сейчас в душе у его друга, и, чувствуя себя тому причиной, всячески старался отвлечь его от печальных мыслей единственно доступным ему в такой обстановке способом — своей болтовней.

Как всегда, им не нужно было выискивать темы для разговора. Герцога живо интересовало все, что думал и чем был занят его премьер-министр: и что он, Гете, еще написал, и чего он достиг в своих научных изысканиях, и каковы были его взгляды относительно возможности сближения средненемецких государств в противовес давлению Пруссии и Австрии, и что он может посоветовать по такому животрепещущему и важному вопросу, как необходимость окончательного устраиения графини фон Вертерн из жизни герцога... Им всегда было хорошо вдвоем, без всяких усилий хорошо, и оба они давно уже не представляли себе жизни без таких вот маленьких, скрытых от всех вечеров, без этого дружеского обмена мыслями и взаимными признаниями, от которого у обоих потом надолго оставалось на душе ощущение теплоты, доверия и заботы друг о друге. И даже сегодня, несмотря на то потрясение, которое только что испытал Гете, ему не нужно было ломать и обуздывать себя, чтобы на любое приветливое слово герцога и любое проявление его участия отвечать ему тем же: глубокие симпатии к этому шумному, доброму и порывистому человеку давно уже жили у него не только в голове или в сердце, а во всем его существе, может быть, даже и в спинном мозгу. Мог ли он сердиться на него, мог ли он враждовать с ним, ненавидеть его, своего ученика? Нет, не мог. Единственное, что он мог — это грустить, печалиться, сожалеть. Но и то предпочтительно не на глазах у герцога... Не было у него зла против этого человека, и не могло быть: разве его, герцога, вина, что ничего нельзя в этом мире изменить? И разве он виноват в том, что все его прерогативы, все его так называемые неограниченные права были в реальности ничто в сравнении с темной, всепобеждающей силой тесно спаянных между собой себялюбцев, которым наплевать и на бога, и на людей, и на все на свете, кроме себя, и которые вдруг почувствовали, что почва уходит у них из-под ног? Да-да, он не виноват... Но и я не виноват... И никто не виноват... А в результате — всеобщий паралич, всеобщее оцепенение, дурной, тяжкий сон, пробуждения от которого, боюсь, уже не будет никогда... И самое ужасное в том, что за каждым добрым начинанием — опять все та же ухмыляющаяся рожа Мефистофеля, который знает наперед, что из добрых порывов и начинаний ничего, кроме безобразия и нового зла, никогда не выходило и выйти не может... Почему? Да потому, что человек все норовит изменить других, а не себя. А надо в первую очередь себя и уж потом, может быть, — да, может быть! — других... Так где же выход, господи, где? Покориться, смириться? Положиться на тебя и на твоего верного соратника и помощника — сатану? Дескать, что-нибудь когда-нибудь из всего это да выйдет, в конце концов? Что-нибудь да получится? А что, где, когда — не спрашивай, не твоего ума это дело, человек... О господи, как же это все тяжело... Как же тяжело...

Дежурный офицер доложил, наконец, о приходе музыкантов. Робко озираясь по сторонам, они сгрудились в углу гостиной, у клавесина, достав из футляров скрипки и ожидая распоряжений герцога. Карл-Август предпочитал обычно бодрую, веселящую душу музыку, но на этот раз, понимая состояние своего друга, он попросил сыграть что-нибудь потише, поспокойнее, что больше бы отвечало и позднему времени, и тому тихому, слегка меланхоличному настроению, в которое Гете все-таки, несмотря на все усилия герцога, впал и из которого его, по-видимому, и не следовало теперь выводить. Капельмейстер взмахнул своей палочкой, и какая-то трогательная, бесхитростная мелодия, похоже, что итальянская, заполнила зал...

О многом передумал господин тайный советник, пока продолжался этот маленький концерт... О многом: о прошлом, о будущем, о герцоге, о себе... Прошлое? А что прошлое? Может быть, ему и надо было жениться на Фридерике, жить тихой деревенской жизнью, смиренно слушать голоса природы, думать о боге и о душе, вставать с восходом, ложиться с заходом солнца, читать толстые книги, беседовать по вечерам под кувшин сидра со старым пастором — ее отцом... А может быть, ему надо было запереться на всю жизнь у себя в доме, во Франкфурте, в полутемной мансарде под самой крышей, жить отшельником и писать «Фауста» и разговаривать либо с собой, либо с теми, кого он создал сам, своим воображением, будь то люди или бесплотные духи. И с ними так и дожить до самой старости, потому что они умнее и лучше любых из тех, бесчисленных, из плоти и крови, с кем его когда-либо сталкивала жизнь... А может быть, надо было больше прислушиваться к тому здоровому, крепкому природному началу, которым его тоже в избытке одарил господь, плюнуть на всякое слюнтяйство, на всякие стихи и мечтания о переустройстве мира, жениться на Лили, стать обладателем одного из самых крупных в Германии состояний, купить себе должность имперского советника или даже что-нибудь повыше, потом стать, как когда-то его дед, городским старостой — президентом вольного города Франкфурта, жить просто и весело, растить детей, любить жену, пировать с друзьями, радоваться богатству, власти, почету, уважению сограждан...

Ах, может быть, все может быть. Но все сложилось так, а не иначе, и теперь уже нет никакого смысла оглядываться назад и уж тем более о чем-то сожалеть... «*Прошло* и *не было* равны между собою...» Так если о своем прошлом человек не может сказать ничего с определенностью, тогда как же можно строить догадки о будущем? Пытаться проникнуть в него, заглянуть за эту завесу, которой по милосердию божию скрыта от человека его судьба?.. Да-да, именно по милосердию... В этом и есть самое главное свидетельство милосердия божия, что человеку не дано знать своего будущего: что с ним случится, что его ждет, и каков, и где, и когда будет его конец... И все-таки... И все-таки одно, по-видимому, ясно: надо выбираться помаленьку отсюда, из этой кучи дерьма... Долг, крест, бремя обязанностей, доверие герцога — это все, конечно, хорошо, это все важно и нужно. Но если ты поэт и будущее твое — это будущее поэта, надо отсюда так или иначе выбираться... В Италию! В солнечную, тихую, мирную Италию! В Рим! И не помнить никого из вас, и все забыть, и ни о ком и ни о чем не сожалеть... Нет, Карл-Август, нет, дорогой мой друг и воспитанник, не обольщайся: не будет такого времени, когда ты станешь хозяином в своем государстве, когда ты сможешь повелевать своим стадом овец. Не будет! По пустякам — пожалуйста! Ты монарх, у тебя власть, ты сидишь на троне, и вокруг тебя только склоненные головы и спины, и больше ничего... Но всерьез? Но всерьез ты раб, марионетка, кукла на веревочках, за которые дергает кто-то за сценой. Кто-то, кого не знаем ни ты, ни я. И у кого нет ни имени, ни лица... Сегодня благодаря тебе, Карл Август, тебе и этому дурацкому указу, я это понял полностью и окончательно и, надеюсь, на всю оставшуюся мне жизнь... Смешно! Подумать только: еще сегодня утром я пыжился перед зеркалом, надувал щеки, мнил себя самым ловким, самым умелым человеком на свете, способным ради торжества добра и справедливости на земле обмануть, перехитрить всю эту свору подлецов, обложивших меня со всех сторон... Смешно!.. О гордыня человеческая... Что я могу? Один, один, как перст? Составить новый охотничий устав? Да, конечно, это я могу. И могу добиться, чтобы из церквей и молельных домов не изгоняли матерей внебрачных младенцев... Впрочем... Нет, Вольфганг, не обольщайся! Даже и этого ты не можешь. Пройдут еще сотни лет, прежде чем люди перестанут браконьерствовать в лесах. И пройдут еще поколения, долгие поколения, прежде чем перестанут свистеть, и улюлю-

кать, и пинать ногами женщину, осмелившуюся переступить через эту веками назад проведенную черту... Да, надо выбираться, Вольфганг, из этого всего... Надо! И чем скорее это у тебя получится, тем будет лучше для тебя. А может быть, и не только для тебя. Может быть, и для других тоже... Боюсь, дорогой мой, что покойный фон Фритч был все-таки прав: не за свое ты дело взялся, голубчик. Не за свое!.. «Зачем так страстно я искал пути, коль не дано мне братьев повести...». Пиши свои вирши, копайся в своих камушках, а судьбы человечества оставь провидению. Не тебе их решать... Не мне? Да, не тебе. Не тебе... Но как же подмывает все-таки! Как же хочется все-таки вскочить и заорать в самое небо: не мне?! Тогда кому же, господи? Кому?!

Было уже около полуночи, когда герцог, наконец, отпустил его. Взошла луна, крупные августовские звезды поблекли в ее свете, стали мельче и отдаленнее, и белая, усыпанная мелким гравием дорога между деревьями была теперь видна, как на ладони. Они постояли немного в молчании на крыльце, прислушиваясь к ночной тишине и наслаждаясь прохладным, горьковатым воздухом, в котором уже чувствовалось приближение осени.

— Карл-Август... А знаешь, что еще, мне кажется, нам надо с тобой сделать? — пожимая протянутую ему руку, сказал Гете. — Надо отменить, наконец, этот варварский обычай спрашивать у входящих или въезжающих в город их имя... Да еще заносить его потом в книгу... Согласись, дальше так нельзя. Последняя четверть восемнадцатого века, а мы...

— А, так ты не домой?! Дело, старый бурш! Желаю тебе провести приятную ночь, старина... Только не увлекайся, завтра ты мне нужен живой и здоровый... Мой совет: если хочешь избежать объяснений у ворот, надень мой плащ и треуголку. Тогда тебя примут за меня и не посмеют окликнуть. А если все-таки окликнут, — запомни пароль: Казань...

— Казань? Что такое Казань?

— А черт его знает, что... Спроси у гофмаршала... Кажется, какой-то татарский город в России... Да какая тебе разница? Запомни только, и все. Это мой пароль, не твой...

— Да, вы правы, ваше высочество. Вы правы, как всегда... Действительно, какая мне разница? Никакой... Доброй ночи, ваше высочество! Доброй ночи! Ваш верный и преданный слуга...

Ах, как тихо было в лесу, на пустой дороге! Как хорошо было идти ночью, одному, мимо молчаливых лесных великанов, смотреть на звезды над головой, на серебристую листву, прислушиваться к звукам собственных шагов, вдыхать запах прелых листьев, чувствовать на разгоряченном лице каждое дуновение легкого ночного ветерка... Нет, не то, а это его мир, это его жизнь, это его счастье, а все другое, оставшееся там за спиной — это только тяжкий мутный сон, от которого он никак не может пробудиться, но от которого он все-таки очнется когда-нибудь... Очнется? Конечно, очнется! Обязательно очнется... Только вот где? Здесь? Или где-то там, в горних высях, в иных мирах?.. О, господи... Опять эти попытки проникнуть туда, куда смертному входа нет и не будет никогда. Даже сейчас, когда так тихо на душе и так хорошо вокруг в лесу... Подожди, не торопись. Узнаешь... Когда-нибудь и ты отдохнешь от этого тяжкого, безобразного сна... «Подожди немного — отдохнешь и ты...».

Господину тайному советнику повезло. То ли порядки в государстве действительно совсем расшатались, то ли хмурый, заспанный стражник, узнав его, просто не посмел ничего спросить, но его пропустили в город без всяких паролей и объяснений. Тяжелые ворота тихо задвинулись за ним, и он остался один на узкой, мощенной булыжником улице, ведущей к рыночной площади. Утомленный дневными трудами, измученный борьбой за жизнь, за кусок хлеба, за свои жалкие радости, Веймар спал. И только в одном старом доме в переулке у Фрауэнплан, он знал, в окне второго этажа горела свеча: там не спали и ждали его.

Юрий Кузнецов

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

Портрет учителя

Он истину мира сего
Принес на ладони тебе:
«Не мысли другому того,
Чего не желаешь себе».

Он светло-рус, и мягко бьет о плечи
Его волос струящийся потоп,
И чист его широкий светлый лоб,
И нет на нем морщин противоречий;
Темней волос его прямые брови,
Его глаза невыразимы в слове,
Как будто небеса глядят на вас,
Чуть подняты обочья синих глаз
И глубину ресницы оттеняют;
Едва заметно скулы проступают,
А плавный нос ни мягок и ни груб,
Усы не закрывают полных губ,
Густая борода невелика,
Слегка раздвоена на подбородке.
Высок и прям. Его издалека
Народы узнавали по походке.
Он исходил и Запад, и Восток,
И Юг, и Север вдоль и поперек.
Две бездны разом видел он во мраке:
И солнце и луну. И на песке
Порой чертил пространственные знаки,
И после их сметал в глухой тоске.
Ученики, предавшие его,
Такое действо посчитали странным
И, потаясь, спросили: — Отчего
Не пишешь ты на чем-то постоянном?
И слово указательным перстом
Он начертал на воздухе пустом.
И вспыхнуло, и засияло слово,
Как молния... И молвил он сурово:
— Вот ваше постоянное. Вот то,
Чего не может вынести никто.
Покоя нет: вы грезите покоем,
А силы тьмы вокруг теснятся роем.
Три битвы, три войны идут от века.
Одна идет, сокрыта тишиной,
Между свободной волей человека
И первородно-личною виной.
Вторая битва меж добром и злом,
Она шумит по всем земным дорогам.
А третья — между дьяволом и богом,
Она гремит на небе голубом.
В душе и рядом бьется тьма со светом,
И первый крик младенца — он об этом.
Раскаты грома слышатся в крови,

Но говорю вам: истина в любви.
Не ждите чуда, не просите хлеба.
Ваш путь туда! — Он указал на небо.
Ученики ему сказали: — Отче,
Уныние в крови, а ты горишь,
И коротко, и просто говоришь,
Но можешь ты сказать еще короче?
— Могу! — и на ладони написал
Он истину и миру показал: —
В двух первых битвах победите с нею.
О третьей битве говорить не смею.
Направит вас туда, преобразив,
Иного мира воля и порыв.

★

В. Горскому

Это умер не он, а цветок,
Что был сорван давно, но об этом
Догадаться ни разу не мог,
Потому что родился поэтом.

Цвет надежды, не давший плода,
Наши лица он видел туманно.
Ничего не имел никогда,
Даже пил из чужого стакана.

Он встречался со всяким огнем
И задохся от темного жара.
Раньше бога забыла о нем
Густопсовая пыль Краснодара.

Он увял, он упал не дыша.
Он упал! Помолчите, народы.
Пусть без страха вступает душа
Под иные высокие своды.

Умираем не мы, а цветы,
Ничего мы не знаем о смерти.
И с отчизной, и с богом на «ты»,
Мы живем, как жестокие дети.

Борис Ямпольский

МОСКОВСКАЯ УЛИЦА

РОМАН

За дверью кто-то шушукался. Потом хихикнули. Через некоторое время постучались. Все сегодня было как-то таинственно и странно, или это так всегда, и я только не замечал.

Я тихо подошел и приоткрыл дверь. Там стояли девочка и мальчик в пионерских галстуках поверх шубенок, у них были панические лица.

— Дядя, у вас есть пузырьки? — звонко спросил мальчик.

— А зачем вам пузырьки?

— Мы соревнуемся,— гордо сказал мальчик.

— И еще газеты старые, книги ненужные, бумага,— зашептала девочка.

— Мы собираем утильсырье,— сообщил мальчик.

У обоих были испуганные и гордые лица.

Я вынес им большую кипу газет и журналов. Когда они сходили по лестнице, они смеялись.

— У,— сказала девочка,— теперь мы выйдем на первое место.

— Бенц Фраерману! — выкрикнул мальчик.

А у Монаткиных разгорался скандал.

— Кто ты есть? — кричала жена.

— Архив нечего поднимать, надо смотреть вперед,— отвечал Голубев-Монаткин.

— Куда вперед? Тебе шестьдесят лет, впереди — могила.

— Я из-за тебя остановился в своем развитии,— упрекал Голубев-Монаткин.

— Не маскируй своего хама. Я вот больна, у меня грипп.

Голубев-Монаткин захохотал:

— Грипп от мировоззрения, вирус врачи выдумали.

— Я за свою жизнь твою структуру трепача изучила,— грустно проговорила жена.

— Я с семнадцати лет Советскую власть завоевывал, вы еще недостойны меня.

Голубев-Монаткин хлопнул дверью и вышел в коридор.

Я сказал: «Здравствуйте»,— он на меня взглянул, пожевал губами и, усмехнувшись, не проронив ни одного слова, ушел своей крепенькой походкой, стуча по железным ступеням подковками белых бурок, высоко неся свое строгое суровое лицо, понимающее свой партийный стаж и заслуги.

А жена на кухне говорила:

— Этот человек и был человеком, пока имел пост и ездил на

Окончание. Начало см. «Знамя» № 2 за 1988 г.

машине. А когда лишился машины — перестал быть человеком. Сидит под фикусом, вспоминает гражданскую войну и все свои посты, а мне говорит — работай. А сам спит под газеткой.

Издали ярко освещенный изнутри мартен — словно воздушный замок, с тонкими пламенеющими трубами.

И когда по железной, гудящей от шагов и ветра лесенке подымаешься туда, на бетонную эстакаду, и через открытый, под звездным небом, скрапной двор с его печальным ржавым запахом железного лома, холодным, пропащим и необратимым запахом коррозии самого времени, все превращающего в прах, выходишь в огромные, пылающие светом дворцовые пролеты мартена, охватывает сила жизни и надежды.

Люблю эту огненную бесконечность, эту вдаль уходящую анфиладу печей, в круглых окошках которых бушует и льется голубое, зеленое и оранжевое пламя. Люблю яркий и быстрый трепет все сменяющихся, переливающихся огней, игру света и тени, запах скрапа, кислородных баллонов, сухой, чистый запах шамота и динаса, горький запах магнезита, терпкий медный привкус молибдена и ванадия.

С трамвайным звоном ходит завалочная машина, грохоча, подходят цепные составы мульд с железным скрапом, и тогда могучая, неотвратимая рука завалочной машины мертвой железной хваткой берет мульду и, повернув, несет к открытой печи, откуда пышет белое, жадное, голодное пламя, и безжалостно сует в бушующий огонь, и стоят толчки землетрясения, печь взрывается бенгальским огнем, а сталевар спокойно с пульта управления просит: «Еще одну мульдочку».

Свистит паровоз, требуя дорогу, и вдруг бьет тревожно колокол, мостовой кран опускает с потолка свой хобот, поднимает огнедышащий ковш и осторожно, трепетно, почти с человеческой мудростью нагибает и терпеливо льет жидкий, в звездах, чугун в кипящую ванную печи.

Окинутый молниеносным светом сталевар длинной синей ложкой из сиреневого дыма достает голубое жидкое пламя...

А поздним вечером, в тот час, когда кончались собрания, всякие слеты, кружки и семинары, когда, наконец, гасли окна в редакции и в бараках, у крылечек тихо наигрывала гармонь, по закаменевшим, замерзшим колеям я пробирался за колючую проволоку в медгородок и в свете тусклых больничных фонарей, в холодном тамбуре барака, где устойчиво пахло дезинфекцией, жадно и поспешно целовался с медсестрой, выбежавшей в полушубке на белом халате, и, кажется, на губах и на одежде после этого оставался приторный запах лекарств.

Или вместе ходили в клуб имени Эйхе — длинный барак с фальшивыми колоннами. И когда однажды ночью, после вечера «Дня ударника», он загорелся, то в один час сгорел с декорациями «Города ветров» Киршона, мольбертами изокружка, и в головешках нашли только огнем искореженные и оплавленные трубы духового оркестра пожарной команды.

Я устал.

Я теперь готов был ко всему, готов был принять все без удивления, без ропота, разве только с одной болью и страхом, а может быть, не будет ни боли, ни страха.

Опять в грохот улицы, в сигналы, скрежет вплелся похоронный марш, прозвучал и исчез со скоростью звука.

Казалось, что больше никогда ничего не будет, вот все и кончится в этой мертвой, в этой сумеречной, желтой зимней мгле, когда стены глухо передают дальний, тошнотворный кухонный крик-перебранку и нагретый воздух застыл, окаменел.

Я тронул батарею парового отопления и тотчас же почувствовал духоту невыносимую.

Я влез на стол и открыл форточку. Я уверен был, что он знает мое окно и сейчас увидит, что я открываю форточку. Да черт с ним. В комнату ворвался ледяной ветер со снегом, и я вдыхал и вдыхал жадно, неутолимо. И постепенно мне как-то становилось легче, спокойнее, словно я пил силу, отчаяние. Черт с ним, черт с ним, черт с ним...

Я как-то осмелел, все показалось не таким мрачным, безнадежным и конченым.

И в это время резко, дико, как-то взвизгивающе зазвонил телефон. В жизни я не слыхал такого тревожного, требовательного звонка.

— С вами сейчас будут разговаривать,— дотянулся откуда-то издалека жалобный женский голос. И вслед за этим вдруг отбой, частые-частые гудки.

Теперь я стал раздумывать и мучиться, кто же это был, секретарша или телефонистка. Зачем, кому я нужен был? Кому понадобился, кто вспомнил обо мне в этот дикий, смутный день и час моей жизни? Или, может быть, в каких-то списках, где я еще состоял, против моей фамилии не было галочки? Надо было срочно поставить галочку. И снова я обмирал от страха и неизвестности. Пронзительно зазвенел телефон.

— Не отходите от трубочки, сейчас с вами будут разговаривать.

И вслед за этим далекий, милый голос Кати, она говорила из-за города.

— Это ты мне звонила несколько минут назад? — жадно спросил я.— Ты, да?

Я сразу как-то успокоился, сразу как-то включился в мир, где есть люди, есть сестры, братья, любимые, где столько голосов, шепотов, интонаций, где есть вопросы и ответы, достоинство, терпимость, уважение. Все это еще есть? Еще есть?

— Ты что, спал? — спросила она.

— Нет.

— А почему у тебя голос такой странный? Ты болен?

— Нет, не болен.

— Я голоса твоего не узнаю, это ты?

— Я, я.

— Ну, что такое с тобой, что стряслось?

Я молчал.

— Что ты молчишь? Что случилось?

Я как бы все время чувствовал в телефоне третьего человека, казалось, разбирал его дыхание, его внимание.

— Нет, ничего не случилось.

— Не нравится мне твое настроение. Я сейчас к тебе приеду.

— Не надо.

— Нет, я приеду.

— Я прошу тебя.

— Но мне нужно к тебе приехать,— сказала она.

— А в чем дело?

Теперь она молчала, и я спрашивал.

— Что случилось?

— Этот разговор не для телефона.

— У тебя что-то случилось? Да?

В ответ — ку-ку, ку-ку, ку-ку... И непонятно было, это она повесила трубку, или разъединил тот, третий, и стало еще тревожнее.

В последние дни какой-то снегирь, серенький, скромный, с бурой грудкой, повадился залетать в открытую форточку моей комнаты, и то сядет на вешалку в глубине комнаты, то на этажерку с книгами. Вдруг услышу трепет крыльев, и немо, удивленно снегирек глядит на меня, словно хочет что-то сказать, а я боюсь шевельнуться, напугать, чтобы не заметался, не разбился о каменные своды, только тихонько, дружески свистну, и он тут же вылетит в форточку и пропадет. А на следующий день опять трепет крыльев, живая дрожь, и снова глядит на меня удивленно-грустно и хочет что-то сказать. И так настойчиво, ежедневно прилетал, что стало думаться, что это душа давно умершего, некогда любившего меня навещает меня, хочет о чем-то предупредить, но сегодня почему-то снегирька не было, и не было, и не было. И это тоже казалось плохим предзнаменованием.

Сначала я исчезну из домовой книги. Сам домоуправ, не доверяя девице-делопроизводителю или старику-бухгалтеру, молча перечеркнет меня крест-накрест и, усмехнувшись, забудет. Нет, не выбыл, не переехал на другую квартиру, в другой город и даже не умер, просто никогда не был, случайно затесался в домовую книгу.

А потом быстро, лихорадочно, таясь, вычеркнут из всех списков, где состоял и против фамилии аккуратно ставились галочки: членские взносы, нагрузка, собрания, семинар; где получал выговоры с занесением и без занесения в личное дело. Исчезнет и само личное дело.

И только, может, еще в библиотеке долго будет пылиться абонементная карточка, а потом и она исчезнет, навсегда забудут, исчезнут сведения, какие книги любил и читал, чем в жизни интересовался — неоромантизмом или неореализмом, а может, и соцреализмом. Еще некоторое время будут по адресу приходить письма, открытки и, может, даже и переводы, но, словно обжигаясь, беря кончиками пальцев, отнесут в домоуправление, чтобы следовали куда надлежит: а газеты и журналы до конца подписки разойдутся по квартире, и журналы «Огонек» и «Техника молодежи» еще долго будут мелькать в туалете.

Все это я ясно видел и постепенно к этому привыкал. Психика перестраивалась на ходу и не посягала на это.

Придут какие-то чужие, нездешние люди, повесят на двери большую и плоскую сургучную печать, и в запечатанной комнате будет звонить телефон, долго и надсадно звонить, и по ночам вдруг заплачет, заноет, захрипит, как ангинозный больной, и ответит только запечатанная, необратимая тишина, которая известно что означает и которую все быстро поймут. Может, вдруг накатит длинный, ничего не знающий и не рассуждающий междугородный звонок, но и он останется без ответа. И постепенно реже и реже будет звонить, пока не затихнет, не оглохнет совсем. Разве прорвется какой-то шальной, быстрый звоночек по ошибке, или старый, еще школьный товарищ или друг по войне, приехавший в Москву в командировку, ничего не ведая, позвонит.

Но скорее всего только повесят сургуч, и сразу же пойдут коллективные заявления перенести аппарат в коридор или на кухню, и можно будет днем и ночью слышать одно и то же: «Он тут больше не живет», «Вам русским языком говорят, таких тут нет». И это тоже известно, что означает, и не надо переводить.

Я видел все так ясно, будто все это уже случилось. Я видел жизнь после себя, вторую, третью и десятую серию, которую еще никто не снимал. Однажды утром или в полдень придут представители с портфелями, и с ними домоуправ, и дворник, и понятые из соседей, срежут на законном основании печать, распахнут двери в затхлую комнату и долго и тщательно будут переписывать вещи, выкликая: «Кресло подержанное... матрац подержанный, лампочка электрическая 100 ватт».

И это уже навсегда, необратимо, от этого нельзя отделаться, вылечиться, и из этого не выскочишь, тут даже нет надежды на рентген, на облучение, на то, что скоро что-то такое откроют, что-то такое сделают, нет никаких упований на знаменитого профессора, на знахаря, на шамана.

Он ждет меня там, под окном, и мне кажется, я вижу тень его на стене.

Тренькнул телефон, и я сразу схватил трубку, словно она могла меня спасти, могла помочь выплыть.

— Говорит Алла из парткома, вам известно, что вы агитатор?

— Да, да, я знаю, обязательно, я болен, я сегодня болен, завтра приду, обязательно приду, конечно, Алла, что, я не понимаю?

А день все длился и почему-то не кончался, глядя в окна желтизной вечереющих облаков. А потом зимние сумерки, как чернила, пролились по небу и сгустились во мглу, и воспаленно засветились фары. Улица то заполнялась потоком машин, которые обгоняли друг друга, шли грохочущей железной лавиной, то вдруг сразу, точно обрубали топором, пустела, и тогда становилось так тихо, что слышно было, как на кухне стучат ножами, отбивая котлеты, потом, как приближающийся водопад, железный грохот, и снова улица до краев наполнялась машинами, которые подступали к самым окнам, и всегда среди них была хоть одна похоронная, с черным крепом по бокам.

Глава восьмая

За окном что-то вспыхнуло и вздрогнуло, зеленоватый туман поплыл мимо, будто затяжная немецкая ракета, и в комнате стало светло и мертво.

Зажглись фонари.

Я оделся и вышел на кухню. Теперь она была полна, были тут и те, кто всегда дома, всегда у кастрюль, у корыт, и те, кто только пришел с работы и сразу же стал чистить картошку, разделывать рыбу, лепить котлеты.

Женщины яростно накачивали примусы, так же яростно, словно боролись с духами, регулировали пламя керосинок, и то копоть поднималась к потолку, то сокращалась и умирала в буром огоньке, а кто-то из мужчин самозабвенно возился над прибором, похожим на паровоз Уатта. И стояла та напряженная мелочная тишина, которая от одного слова могла взорваться, как динамит, и перейти в потасовку, в пожар или донос с далеко идущими последствиями.

Я стал закрывать дверь, не оглядываясь, и почувствовал, как все притаились, только шумели примуса и шипели котлеты на сковородках. Казалось, все уже знали в чем дело, и казалось, пространство вокруг раздалось и оставило меня в заколдованном круге. Не оглядываясь, я вышел, и хлопнул кухонной дверью, и услышал в спину:

— Чтобы по голове тебя так хлопало.

На средней площадке стояли те же два парнишечки, пыхтели сигаретами, отплевывались.

— Пять будет? — спросил один.

— Пять будет,— сказал второй.

— У, твою мать,— откликнулся первый.

И опять тишина.

Я спустился по черной железной лестнице, замызганной картофельной шелухой, блевотиной, грязным снегом, и толкнул тяжелую наружную дверь. И сразу же мелькнул черный котик, и, как вспышка, близко, до ослепления, его бледное, замученное беспокойством пухлое лицо, пронзительные глаза и мокрые от снега ресницы.

Мне показалось, что от неожиданности он хотел сказать: «Здрасьте», но передумал, и неловко, как раненый кролик, прыгнул в сторону, и заметался. Мне стало его жалко, хотелось сказать: «Ничего ничего». Я прошел мимо, не обращая внимания.

Дворовая собака, неизвестно у кого жившая, которую все кормили и все пинали, стояла посреди двора на кривых лапах, и, когда я проходил мимо, подняла голову и взглянула на меня свободным взглядом. «Нет, ты еще ничего не знаешь»,— беззвучно сказал я ей. Она побежала за мной, я оглянулся, и что-то, наверно, было в моем взгляде такое, что она остановилась: «Что такое?» — и не пошла дальше.

Интересно, как он узнал, что я именно в этом подъезде, ведь, когда я входил во двор, он торчал на той стороне улицы. Может, уже был в домоуправлении, разузнавал и нашел по словесному портрету.

В полуподвальное окно ремесленного училища было видно, как при электрическом свете играли в пинг-понг и двое с ракетками, как кошки, прыгали вокруг стола, и все это было из другой, забытой, отошедшей от меня жизни, словно из давно виденного фильма. И по экрану этого фильма проплыли вахтер в ушанке, громадная полуразрушенная снежная баба с угольными глазами, женщина, развешивавшая белье на ветру, она поздоровалась со мной и, когда я не ответил, странно взглянула на меня. Из подъезда научно-исследовательского института вышла озабоченная, с портфелями, комиссия, под аркой почтальонша порылась в сумке и дала мне письмо в зеленом официальном конверте, и, не вскрывая, я сунул его в карман.

Я прошел под старыми, грязными, забитыми фанерой, заткнутыми подушками кухонными окнами, по темному стоптанному снегу и, огибая белый снежный скверик с чахлой елкой, вышел не к воротам, а под кирпичную арку во внутренний двор. Тут стоял непонятный, серый, потемневший от снега, дождей и ветров бетонный или гипсовый монумент, уже нельзя было разобрать и черт лица, замысел фантазии скульптора. Говорили — это Орджоникидзе, но иногда казалось, это сам Сталин стоит, заложив руку за борт шинели, а иногда казалось — это просто символ. Монумент выставили с какой-то площади по реконструкции, потому что незачем ему было тут стоять, на заднем дворе, рядом с железными мусорными урнами.

Здоровые рослые бугаи с пробивающимися усиками, в черных форменных фуражках ремесленников, нелепо визжа, и смеясь, и гоняясь друг за другом, играли в какую-то ребячливую игру, напоминая сирот из приюта. И как некогда, в давние годы, я позавидовал им, почему я не сирота, не безродный, тогда бы мне было все нипочем и все равно.

Я прошел мимо столовой, из которой, как из бани, вырывались клубы пара с запахом трески и кислых щей. В окна видны были буфет и бочка пива, из которой насосом качали пивную пену, и высокие толстые кружки, и голые, без скатерти столики, за которыми по шестеро — восьмеро сидели ученики-ремесленники, наворачивая оловянными ложками картофельное пюре или манную кашу и запивая из щербатых стаканов киселем. Я кружил, как во сне, проходными дворами. Появились открытые ворота, и поплыла улица. Я шел, не оглядываясь, и чувствовал, что он идет за мной.

Интересно, что он уже знает про меня? Что наговорили ему и что он должен донести?

Я встал в очередь на троллейбусной остановке. Подошел троллейбус, все сели. Я остался. Троллейбус тронулся, и я пошел дальше, не оглядываясь, и в глаза все лез неоновый лозунг на крыше.

Все люди были как люди, они перебегали улицу, проносились в машинах, и я видел их лица, все куда-то спешили, кто-то их ждал там, в конце пути, а я уже никогда не буду таким.

Я шел и все время чувствовал себя на поводке.

У Гастронома я остановился, что-то поразило меня. В магазин люди забегали странно и суетливо, как в старом немом кино с участием Макса Линдера, и так же дергаясь, молниеносно выбегали оттуда, словно там выдавали что-то несбыточное. Я пригляделся. Над дверью в люльке висел маляр и орудовал кистью, и все старались проскочить мимо.

Я тоже вбежал в переполненный Гастроном, в душную толчею и шум. Кто-то шел сквозь толпу с зеленым шаром на нитке под самым потолком. Люди перли с тяжелыми, полными апельсинов и консервных банок авоськами, напролом, с лицами решительными, пробиваясь к прилавкам.

Я миновал маленькие завихрения, маленькие вулканические кратеры у касс и протиснулся сквозь толпу к розничной продаже водки и папирос, и меня зажало со всех сторон, задушило винным перегаром. На прилавке стояла батарея пустых бутылок, и продавец и покупатель наперебой считали, мешая друг другу, путались, начинали сначала, а из толпы кричали: «Кончай базар!» Котиковой шапки не было видно, так что я немного отдохнул в толпе и стал постепенно выбираться. И когда наконец толпа меня выдавила и я оказался на просторе, я боялся посмотреть в ту сторону, где мраморная колонна, я чувствовал что-то неладное, но я все-таки взглянул туда, и тогда что-то быстрое, ловкое и хищное спряталось за колонну. Я заметил только верх черной шапки.

Тогда и я шмыгнул за колонну и оттуда наблюдал за ним. Он оглянулся и вдруг не обнаружил меня, поглядел в другую сторону и снова не нашел меня, и я увидел, как он заволновался, закрутился в водовороте, разыскивая меня, и медленно стал заходить за мою колонну. И тогда я перешел на другую сторону. Это было похоже на игру в кошки-мышки, кошки-мышки середины XX века.

Наконец я вышел из-за укрытия, и он увидел меня открытого и беззащитного и приклеился к колонне, чтобы не выдать себя, вынул коробку «Беломора», достал папиросу, достал спички, но закурить не решился, спрятал спички и остался с незажженной папиросой во рту.

Ну, подойди, крикнул я ему беззвучно, иди, иди на людях и скажи все, и я скажу тебе все. Пусть все увидят и узнают, пусть все идет к черту, и пусть кончится все сразу.

Вся ненависть обратилась на него, на его бледное лицо, на его замученную заботливость. Вот сейчас в толпе пробраться к нему, схватить за горло, закричать, позвать народ, расплакаться: «Ты чего

хочешь? Зачем ходишь за мной?» Но между нами лежала пропасть— тайна государства, и не мог я с ним разговаривать, как человек с человеком.

Я стал в очередь в кассу, искоса поглядывая в его сторону. Я смотрел на его тусклое, бледное, замученное бдением лицо, и не знаю уже почему, но казалось, что голос у него тоже тусклый, писклявый, голос скопца. Я не слышал его голоса, да, наверно, и никогда и не услышу. Мы были рядом и видели друг друга, но между нами словно было непробиваемое толстое броневое стекло.

Он стоял недвижимо, и вокруг плыла, текла толпа, работая локтями, дыша перцовкой, духами, валидолом. Какая-то женщина глянула на него и крепче прижала к груди сумочку, кто-то заехал ему локтем в живот, кто-то мазанул его по лицу авоськой с яйцами, бережно держа ее над толпой, а он не спускал с меня глаз.

Я выбил чеки и пошел. Я больше не глядел в его сторону. Теперь мне было все равно. Я шел как слепой.

— Не толкайтесь, хулиган,— сказала какая-то дама. Я взглянул на нее и ничего не ответил. Она просто была в другом мире.

— Извинитесь хотя бы,— вскричала она.

Я оглянулся. У нее были глаза с сумасшедчинкой, крашеные волосы, и вся она была какая-то фальшивая, и мне казалось, ее подослали нарочно.

Стала собираться толпа. Продавец бросил нарезать колбасу и стоял с длинным тонким ножом, ожидая, что будет дальше.

— Извините, я нечаянно,— сказал я.

— Езжайте к себе и там толкайтесь,— сказала она. И пошла, как-то странно вихляя и волоча за собой низкий зад, словно он был у нее привязан.

Кто-то тронул меня за плечо:

— Здорово, старик.

Я глядел в незнакомое лицо, и из-под морщин, из-за венчика седых волос, как сквозь переводную картинку медленно проявилось юное оживленное лицо. Мы учились в одной школе, в какой-то группе даже сидели на одной парте. А потом он сделал общественную карьеру, и я его долго не видел, только иногда встречал его фамилию среди выступавших на активе.

— Ой, работать бы мне в зеркальной мастерской,— сказал он,— или заколачивать посылки на почте.

— Ну, ты преувеличиваешь,— сказал я, по привычке или из перестраховки.

— Святая душа.

Он усмехнулся.

— Я хочу отслужить маленькое тайное богослужение за себя. Пойду на кладбище, куплю фиалок.

А мой стоял напротив, якобы в очереди за пирожками, и смотрел на нас, и, казалось, по губам пытался узнать, о чем мы говорили. И я стал глядеть на него сквозь магазинный туман, глаза наши встретились, и мы заглянули друг другу в душу. И оба как бы испугались и отвернулись.

Потом еще пару раз, пока я ходил по магазину за покупками в разные отделы и замечал то тут, то там котиковую шапку. Теперь он так же, как и я, старался делать отвлеченное лицо, не смотреть в мою сторону, но между нами через магазинную толпу протянуты были незримые напряженные линии, безумно работала телепатия: «Ты тут? Ты тут?» И мы оба двигались и маялись, стесненные ужасно, связанные по вертикали и горизонтали в одном магнитном поле, управляемые независимыми от нас высокими и беспощадными, и неумолимыми электромагнитными силами.

Я вышел с покупками на улицу и тотчас же, словно специально за мной, к остановке подкатил троллейбус, и раскрылись двери, но я отвел глаза, пересек улицу Арбат, к дому.

Зачем он ходит за мной? Ведь я сам могу ему все рассказать. И когда встаю, когда выхожу на кухню, где стирают, варят, судачат, сообщая друг другу шепотом, по секрету, где дают гречневую кашу-концентрат, и как кипячу чай, жарю картошку, а потом весь день лежу и читаю, читаю «Ярмарку тщеславия», или «Смерть Ивана Ильича», или «Прощай, оружие!», и с кем дружу, и как папиросы курю, скрывать мне нечего. Зачем ему ходить за мной?

И опять стал я думать: вот сейчас повернуться, подойти к нему, взять крепко за руки и, глядя прямо в бледное лицо, пронзительные глаза, тихо сказать: «Зачем ты ходишь за мной, что тебе нужно? Я позвоню Берии...» Как будто я мог дозвониться до него.

Или, может, лучше так: отвести в сторону и спокойно сказать: «Слушай, кореш, наверно, тут недоразумение. Я, наверно, не тот, кто тебе нужен, я не могу им быть, понимаешь?»

Но я не сделал ни того, ни другого. Я как бы спокойно, как бы ничего не подозревая, шел по улице.

Я даже не удивлялся происшедшему. Но была боль, был ужас, что так быстро, так неожиданно быстро пришло это. Как тень шло за мной всю жизнь и все-таки наступило неожиданно.

Кто не привык к этому с детства, кто не вырос с этим, тот никогда не поймет тупую боль, овечью покорность неминуемости.

Теперь я не видел его, где-то он в толпе шел за мной, и я чувствовал это, как, наверное, чувствуют направленную в спину винтовку где-то между лопатками, словно холодный кружочек.

Шли навстречу люди, мелькали лица, проплывали шапки, шляпы, пошел мокрый снег, и появились зонтики, прошли усеченные конусом дома, протянулись длинные очереди. Это были пристрелочные очереди, еще неизвестно было, что будут давать.

Я шел и шел, словно сквозь подводный мир безмолвия, под огромным давлением километровой толщи воды. Неожиданно меня повело куда-то в сторону, и вдруг засигналили машины, и вслед за тем окрик: «Гражданин, вернитесь», и я словно проснулся, я был на середине улицы, вокруг рычали и чадили автомобили, на тротуаре собралась толпа. В толпе торчала и знакомая котиковая шапка, и еще несколько таких шапок, и вдруг показалось, что все в таких шапках. Но я не стал больше вглядываться. Я вернулся на тротуар, там ждал меня старшина, он козырнул.

Я медленно расстегнул пуговицу пальто, достал из бокового кармана пиджака паспорт и дал старшине. Он прочитал фамилию, потом медленно полистал паспорт, вернул и снова козырнул.

Толпа разочарованно разошлась, котиковая шапка куда-то исчезла, и я пошел, держа в руке паспорт. Потом остановился у какой-то водосточной трубы и спрятал паспорт в карман, у меня дрожали руки. По трубе грохотал сорвавшийся с крыши лед.

Я пересек улицу и, понимая, ощущая всеми нервами, всей тоской, что не надо идти к дому, словно ведомый внутренней, неосознанной силой непротивления, гонимый всей предыдущей своей жизнью, покорно поплелся к знакомым, крашенным грубым суриком воротам.

Глава девятая

Я кинул покупки на подоконник. Есть я не мог. Я задернул штору и стал у окна. Желтый мертвящий свет проникал в щель, улица гудела и содрогалась от идущего транспорта, и мне казалось, что все летит в тартарары.

С каждой минутой становилось все больше машин, низко светя желтыми фарами, разбрызгивая снежную грязь, поток, несущийся в обе стороны, временами внезапно замирал, заполнив во всю ширину Садовую и выливаясь на тротуары. Потом вдруг что-то сдвигалось, скрежетало, и бурный, грохочущий поток, сорвавшийся с цепи, несся дальше в обе стороны, по разным направлениям, к разным целям.

Все гуще становился и черный поток людей на тротуарах. Они струйками выливались со всех проходных и служебных подъездов, как ошпаренные выскакивали из всех дверей и ворот и, подхваченные вечерней рекой, неслись дальше, плотной массой, огибая вдруг возникающие на пути у маленьких магазинчиков водовороты, на миг задержавшись: «Что дают?» — и, присоединившись в хвост, успокаивались, или молча бежали дальше, обгоняя друг друга, выстраивались на остановках в длинные, змеящиеся, перегораживающие тротуар, мгновенно меняющие конфигурацию очереди, и когда подходила машина, сбивались в толпу и, держа над головой авоськи с молочными бутылками, жали вперед, отпихивая друг друга локтями, сумками, портфелями, вскакивая на подножку, цепляясь на ходу, впихиваясь, и видно было сквозь освещенные окна, как идущий толчками троллейбус утрамбовывался на ходу, и люди при торможении падали друг на друга, как бы втискивались друг в друга, и становилось просторнее, и троллейбус, темный, разбухший от людей, тяжело лавировал в грохочущем потоке.

Куда они все едут, бегут и зачем? Неужели их ждет что-то хорошее там, в конце пути? И уже казалось, что они хотят только побыстрее убежать с этой улицы, и если тут с ними ничего не случится, там, на других улицах будет счастье.

Я услышал вдруг громкий смех под самым окном. У фонарного столба стояло несколько юношей и девушек, они ели купленные тут же, на углу, у толстой бабы в белом пирожки и что-то рассказывали друг другу и смеялись.

Зачем они так громко смеются, как они могут смеяться и еще жевать пирожки и рассказывать байки? Неужели они ничего не знают, неужели они не видят этого желтого, мертвого, тоскливого света и желтых мертвых облаков? И что все кончено.

Но несмотря на то, что казалось, что мир скончался, вспыхнули и побежали над крышей веселые, праздничные буквы неона: «Дешево, удобно, быстро».

И там, в наступившем вечере, в гуще мерцающих, шевелящихся, вспыхивающих и разгорающихся огней шла своим чередом жизнь.

Кто-то гулял на вечеринке, может быть, на первой вечеринке в своей жизни, кто-то, оставшись один в учреждении, пригнувшись к бумаге, писал анонимку, кто-то в первый раз смотрел «Синюю птицу» Метерлинка, кому-то выписывали ордер на арест, а кто-то делал перманент и завивку; выпекали в горячих пекарнях хлеб к утру, на бойне за городом мычало грязное, усталое, не кормленное перед убоем глупое стадо, и кто-то кому-то говорил первые слова любви, горячие, преданные, искренние, заикающиеся, на всю жизнь до скончания веков; служили в маленьких церквах при тусклом свете восковой свечи, и при свете пылающих люстр шли торжественные, заглушающие правду жизни юбилейные заседания; и кто-то бессильно выходил из ворот кладбища; равнодушно и методично работали тройки в тишине за крепостными стенами; и где-то там в подмосковном лесу по зимним дорожкам ходил и бормотал последним бормотаньем стихи старый поэт, которого затравят в другие годы.

Шестимиллионный город начал свою вечернюю, суровую, разгульную, усталую жизнь, и никто не знал и не хотел знать, и не мог знать, что кто-то мается и умирает один в своей комнате, в одной из миллионов комнатушек Москвы, никому не было до этого дела. И жизнь продолжалась на полную катушку, потому что не может остановиться никогда, и что бы ни случилось — война, землетрясение, чума, чистка, погром, затмение солнца, люди хотят есть, спать, веселиться, любить, ненавидеть, завидовать и продолжать род.

— Нет такого закону! — кричали в коридоре.

— Есть, есть. Ты пьяница отвратный, червивый.

Айсоры в очередной раз выселяли своего зятя.

А зять бил себя в слабую, впалую грудь и визжал:

— Я советский человек, я по Конституции живу. А вы! Вы...

— А что мы? — пьяно надвигаясь на него, спрашивал старший сын, черный, кучерявый, страшный, и вел его, как цыпленка, за шиворот и потянул на лестницу. И он, как паяц, перепрыгивая на длинных ногах через несколько ступенек, снизу кричал:

— Я по Конституции...

Все хохотали.

— Иди, иди... диспансерный.

Айсорская ребятня выкатывалась из комнаты в коридор сплетенным клубком, непонятно было, где ноги, где руки, мелькали только черные кучерявые головы, и все это, царапаясь и визжа, снова клубком вкатывалось в комнату.

— Уймите их,— приказал Голубев-Монаткин.

— Товарищи, дети — цветы жизни,— отвечал один из айсоров, как капля воды похожий на других.

— Вы нарушаете элементарные правила социалистического общежития,— серьезно сказал Голубев-Монаткин.

— Точно, профессор,— ответили ему.

— Вы опять пьяны.

— На твои гроши, профессор.

— Нет, я это так не оставлю,— сказал Голубев-Монаткин.

— Действуй, профессор, делай.

— Вы нарушаете основные правила социалистического общежития,— повторил Голубев-Монаткин.

— Страх, какой ты ученый, профессор.

Где-то внизу громко и нагло хлопнула дверь. Это пришел Свизляк.

Он поднимается по черной железной лестнице, стуча подковками, стуча палкой, и вся квартира знает, что пришел Свизляк, а затем он открывает ключиком дверь и так хлопает ею, что звенят стекла и дребезжат перегородки, и тогда и глухие, а их трое в квартире, тоже понимают, что явился Свизляк.

Вот он изнутри, из своей комнаты открыл дверь и вошел в ма-

ленький, темный коридорчик и задышал, засопел, заворочался. Вот щелкнул выключатель, и он шумно снял свою собачью куртку и повесил ее на гвоздик у самой моей двери, и у меня было чувство, что на грудь мою он повесил свою псиную куртку.

Вот он открыл дверь в кухню и подпер ее палкой. И я сразу почувствовал запах капусты, жареной рыбы, мокрого белья и кипение кастрюль.

Свизляк стал у раковины и стал умываться, отфыркиваться, стонать, казалось, там купается носорог. Потом он ушел и оставил дверь раскрытой, и я услышал из кухни:

— Приходят, а они хлещут французский коньяк из бокалов Гитлера.

— А где они взяли эти бокалы?

— Они все достанут, травили детей, разбойники.

Я выхожу и осторожно, тихо закрываю дверь. Но Свизляк будто караулит:

— А зачем вы ликвидируете вентиляцию?

— Дверь на кухню должна быть закрыта,— говорю я.

— А кто вы такой, чтобы давать руководящие указания?

Любочка тоже возражала. Она вошла в спор осторожно, покорно, как ночная бестелесная бабочка, и еле слышно прошелестела:

— Я тоже прошу закрывать дверь.

Но Свизляк услышал ее и на девяносто градусов обернулся на этот шепот.

— А почему вам так активно не нравятся открытые двери, вам есть что скрывать?

Любочка покраснела, потом побледнела и ничего не могла вымолвить.

— А известно ли вам, что при коммунизме все будут жить с открытыми дверьми, и никакой личной собственности не будет, и никаких личных секретов от общества?

Любочка молча кивнула головой в знак понимания и согласия с этой перспективой.

— Или, может быть, вы возражаете против высшей фазы коммунизма? — несмотря на ее согласный кивок предположил Свизляк.

Любочке хотелось закричать во весь голос, что она вполне согласна, что она приветствует высшую фазу, она ей тоже очень нравится, но поскольку она еще не наступила и на дворе пока еще стоит переходный период, она как бы предпочитала воспользоваться хотя бы этим преимуществом периода, одеваться и раздеваться, жить и дышать за закрытой дверью, а не на бесстрашных глазах Свизляка, но она нашла в себе силы только приложить руки к груди и еле слышно прошептать:

— Как вы могли так подумать, Фрол Порфирьевич.

— А то я смотрю...— сказал Свизляк и еще шире раскрыл кухонную дверь, подперев ее дополнительно чурбаком.

— А вас я давно уже что-то не понимаю,— с сожалением обратился он ко мне.

— А что вы не понимаете?

— В какой системе вы работаете?

— Я сам себе система.

— То есть как? Вроде частного хозяйчика?

— Да, вроде кустарного предприятия.

Свизляк покачал головой и усмехнулся.

— Но для какой-то организации все-таки работаете?

— Для к а к о й-т о — да.

Свизляк очень внимательно взглянул мне прямо в глаза, и в зрачках его вдруг пробежала испуганная искорка. На секунду, на одну только секунду он подумал про меня: а может, я о т т у д а? Но он быстро откатил эту мысль.

— Тут что-то не так,— сказал Свизляк.— Все в системе, одни вы вне системы.

— Занимайтесь своими делами,— сказал я.

— А я, между прочим, народный контроль.

— У себя в учреждении.

— При Советской власти каждое учреждение — мое учреждение.

— Слушайте, мне не хочется сейчас с вами разговаривать.

— Это я не хочу с вами разговаривать. Идите в свою комнату. Еще неизвестно, чем вы там занимаетесь.

— Я печатаю фальшивые купюры.

Свизляк раскрыл рот и с ужасом посмотрел на меня.

— Вы это даже в шутку не говорите,— тихо и серьезно сказал он.

Я взглянул на него и понял, что сегодня об этом объективно напишет куда надо.

Бонда Давидович, стоявший у плиты над своей кастрюлькой, засмеялся, но Свизляк так на него политически взглянул, что тот осекся.

— Конечно, всякий политически сомнительный человек,— начал Свизляк, но в это время почтальон принес «Вечернюю Москву», и Свизляк, приняв газету, сказал:

— А вы, Бонда Давидович, я вижу, не интересуетесь текущей политикой.

Но кларнетист как будто и не слышал, стоял над своей кастрюлькой в ожидании, пока закипит, и молчал.

— Вся страна на лесах,— продолжал Свизляк, разворачивая газету «Вечерняя Москва»,— на субботниках, воскресниках, а вы даже за похороны берете мзду, за смерть.

— Не трогайте меня,— тихо сказал Бонда Давидович.

— Вы индивидуалист, вот в чем дело, а мы отвергаем индивидуализм, и дуализм, между прочим, тоже,— прибавил Свизляк.

Бонда Давидович заткнул пальцами уши:

— Не приклеивайте мне ярлыки, я ничего не хочу слушать, я честный советский человек.

— Это ты-то советский человек, ха! — сказал Свизляк.

— Не говорите мне «ты», я с вами свиней не пас.

— Ты ведь аполитичный человек,— продолжал Свизляк,— а кто не с нами, тот против нас.

— Не смейте мне тыкать,— визжал Бонда Давидович.

— Ты шахер-махер, вот кто ты такой.

— Не смейте прикасаться ко мне! — вскричал вдруг голосом ущемленной кошки Бонда Давидович и запрыгал на тонких своих ножках, и свободно висящие штрипки кальсон ударили по галошам.

— Вы зачем кричите?— спокойно сказал Свизляк,— зачем привлекаете внимание?

— Вы... вы...— захлебывался Бонда Давидович.

— Поговорим в другом месте,— сказал Свизляк.

— В другом месте? — закричал Бонда Давидович,— пожалуйста.— И распахнул пальто, раскрывая рубаху на голой волосатой груди, будто безжалостно подставлял ее под пули,— я готов.

— Ну, ну, интеллигент, не психуйте,— сказал Свизляк,— на крик не возьмете.

— Прочь с дороги! — закричал Бонда Давидович и, схватив свою кипящую кастрюльку, пошел, высоко поднимая ноги, будто переступ-

пая через лужу. Глаза его горели, и он шел напролом, и огромный верблюжий Свизляк отшатнулся в сторону.

Не думал я, что доживу и увижу его смерть. Мне все казалось — он вечен.

Когда он умер, его собачья куртка долго еще висела на крючке в коридоре за дверью, пока ее всю не съела моль, и однажды от нее поползли полосы шерсти, и она рассыпалась в прах, как и многое другое, некогда казавшееся вечным и незыблемым.

Глава десятая

Фонарь горел у самого окна, и комната была залита мертвым голубоватым светом. Видно было рыжее пятно на потолке, и паук, умерший в паутине, и еще что-то, затаившееся в атомной вспышке фонаря.

Улица гудела, рычала и сигналила, как обезумевший и охрипший духовой оркестр, грохотала, содрогалась, передавала дрожь через толстые каменные стены, чердачные стропила, через камень фундамента первого этажа, где звенели подвешенные люстры старой, отставной закамуфлированной актрисы.

Я не поверил своим глазам, я сошел с ума, или улица сошла с ума, или этот у ворот совсем не тот, за кого я его принимаю. Я ясно вижу, как он мелко, но явно, быстро и ловко, почти профессионально выбивает чечетку, я почти слышу стук каблучков. Что, ему стало вдруг очень весело, или забрел к нему по дороге мотивчик, или он просто взбадривает, взбалтывает себя, дает себе ритм.

Я гляжу и гляжу и не могу насытиться, наглядеться, его перебирающими ножками. Хочется смеяться и плакать. Ведь и он мог бы быть человеком.

А может, в свободное от работы время он играет на баяне или на балалайке по самоучителю, может, он даже поет тенором, может, он укачивает ребенка в коляске: «Баю-баюшки-баю». Да, баю-баюшки-баю. А потом жрет водку и закусывает солеными огурцами.

А по воскресеньям едет на рыбалку, сидит с удочкой и глядит, глядит на поплавок, до ряби в глазах. Или, может, надоело ему созерцающее занятие, опротивело до тошноты, и у него, наоборот, активный отдых — на бегах, в пульку.

И он ведь некогда был мальчиком, учился в школе, бегал с клеенчатой сумкой в городе или по деревенской проселочной дороге, зубрил таблицу умножения на обложке тетради по арифметике, писал сочинение «Образ Печорина».

Вот он вытянул из кармана пальто носовой платок, крупный, как косынка, и, закрыв почти все лицо, стал сморкаться. Мне кажется, я даже слышал, как он чихает. Потом он о чем-то подумал, помедлил и вдруг совершенно неожиданно, спокойно завязал край платка узелком на память. Милый мой, хороший...

По доброй ли ты воле пошел на эту работку, так сказать, по зову сердца, или некуда было податься, или мобилизовали в одну из этих внезапных, таких неожиданных экстренных мобилизаций, или по равнодушной разверстке, когда затыкают дыры кем попало? Знал ли, понимал, что это такое?

Пошел снежок и быстро выбелил его, и в проеме ворот он как бы выделился и стал заметен, и люди, пробегая, иногда оглядывались и смотрели на него. И тогда он сдвинулся с места и пошел.

Теперь он играл гуляющего человека, пришедшего домой после смены, рабочего человека, прогуливающегося возле своего дома, под сосульками, сверкавшими на свете фонаря, заложив руки за спину и сдвинув котиковую шапку на затылок.

— Комиссия содействия! — объявили за дверью.

На пороге сияющая, с лицом калорийной булочки, пахнущая духами Зоя Фортунатовна с фальшивыми бусами, за ней непричесанная, заспанная, в пуху, будто вынутая из перины Ворончихина, и еще сзади в шапке пирожком и шубе с шалью лилипут с первого этажа, заменяющий постоянного члена комиссии.

— Мы снимаем показания счетчика,— предупреждает Зоя Фортунатовна.

Подняли на руки лилипута к счетчику, чтобы и он удостоверился. Лилипут нацепил очки, вгляделся и кивнул головой.

Счетчик катастрофически щелкал и искрился, цифры выскакивали, прыгая как сумасшедшие, вдруг счетчик начал тарахтеть и содрогаться, и казалось, еще мгновенье — и он сорвется со стены и полетит по кухне кругами, как электрический гробик. Ответственная, разношерстная комиссия стояла, оцепенев от изумления и возмущения.

— Несчастный счетчик, несчастный счетчик,— бормотала Зоя Фортунатовна, поглядывая на черную коробочку, словно на себе чувствуя его нервное напряжение, его высокое давление, и у нее от этого разболелась голова.

— Это айсоры,— единогласно решила в полном составе комиссия и в полном составе двинулась к айсорам.

Странное, загадочное сжигание лимитов всегда сваливали на айсоров, или потому, что их было так несметно много, словно электрический ток шел в пищу, или потому, что они были так темпераментны и для этого требовалось много энергии, или вообще потому, что от них всего ждали. Непонятно только, почему так молниеносно перегорал лимит, что они делали там с электричеством в своей зале с лепными потолками и жирными амурами рококо на стенах, подключали адский котел и варили какое-то варево, снадобье, которое требовало столько электрического тока, сколько блюминг?

— Прошу немедленно составить акт,— встретил в коридоре комиссию Свизляк. Он стоял у раскрытой двери Бонды Давидовича.

Комнатенку Бонды Давидовича всю занимала большая семейная никелированная кровать, и именно она была подключена к сети, и зеркально никелированные шарики светились, а Бонда Давидович храпел в никелированном скафандре, как в люльке, с электрическим нимбом вокруг головы.

Его грубо разбудили и вынули из электрического сна, и сонный, теплый, он ничего не понимал и так качался, что его прислонили к стене, дабы он не упал.

— Я просыпался от грохота счетчика, теперь-то я наконец понимаю, почему я просыпался,— говорил Свизляк.— Даже мой каменный сон нарушался, даже моя классическая терморегуляция.

— Еще надо посмотреть, неизвестно, что он там еще такое подключал,— высказался Голубев-Монаткин, глядя на то, как Бонда Давидович в кальсонах со штрипками ходит по комнате, и отодвигаясь от него, словно он был под током высокого напряжения.

— Диверсия,— определил Свизляк,— да, да, в размерах коммунальной квартиры я имею право квалифицировать этот факт как диверсию.

А Бонда Давидович стоял одинокий в своем электромагнитном кругу, и как бы спросонья не понимал, что от него хотят, и несколько раз перекладывал или просто инстинктивно прятал свой кларнет,

на который теперь тоже все смотрели подозрительно, как на незаконное оружие.

— Зачем вы меня мучаете? — сказал Бонда Давидович.

— Это кто вас мучает? Это мы вас мучаем? Вы слышите, мы его мучаем! — восклицала Зоя Фортунатовна.— Он сжигал весь электрический лимит, он оставлял нас во мраке средневековья, он лишал нас современной цивилизации, а мы его мучаем. Как вам это нравится? Нет, как вам это нравится?

— Диверсия,— упорно настаивал Свизляк.

— Все это не случайно,— искал корни Голубев-Монаткин.— Типичный представитель, взбесившийся мелкий буржуа, мы в свое время таких субчиков ставили к стенке без актов, по законам революционной необходимости.

— Караул! — вдруг закричал Бонда Давидович так, что все отшатнулись.— Оставьте меня в покое, я в трансе.— Он схватил свой кларнет и стал им размахивать, как топором.— Я сейчас все разнесу в щепы, я сейчас пошлю вас к Леонардо да Винчи.

— Это тоже надо запротоколировать,— сказал Свизляк.— И по поводу Леонардо да Винчи,.. оскорбление нецензурными словами.

Дверь захлопнулась, и все услышали, как два раза повернули ключом.

— Что он там делает? — вскричала Зоя Фортунатовна.— Я знаю, что он делает, он из провода делает петлю и повесится.

Все притихли. В наступившей тишине было слышно, как в комнате тихонько запищал, заскулил кларнет.

— Сбрендил,— определил приходящий муж тети Саши.

— Диверсия,— настаивал Свизляк,— симуляция психом. Нас на это не возьмешь, нас не разжалобишь, мы не такое видели в эпоху военного коммунизма. А сейчас, слава богу, построен фундамент.

— Почему же фундамент? — медленно протянул Голубев-Монаткин.— Фундамент был построен еще в тридцатые, в первые пятилетку, а сейчас полное общество.

Началась обычная политическая пикировка, больше похожая на перестрелку, пахнущая доносом и последствиями. И Розалия Марковна, которая все эти вопросы знала теоретически еще по старым марксистским нелегальным книгам, по желтым и серым страницам брошюр издательства «Земля и фабрика», гербом которого был красноармеец в краснозвездном шлеме, быстрее всех ушла в свою комнату, в свою крохотульку, и закрыла дверь на ключ, оставив ключ в замочной скважине, чтобы никто не мог сказать, что она слышала что-то политически спорное.

И главное, ведь известно, что наплевать Свизляку на этот самый фундамент и на все фазы, возводимые на этом фундаменте, он даже не понимает и не хочет понять, что это такое есть, что он как жил, так и будет жить всегда, при низшей, так и при высшей и наивысочайшей фазе, и умрет в своем крольчатнике, который понятен и дороже ему всего на свете.

Но однако же боится его Розалия Марковна, член партии эсдеков, террористка-боевик, а потом агент «Искры», комиссар гражданской войны, и ни словечка не сказала, только прикрыла дверь и умерла в своей комнатке.

А Свизляк ходил по коридору, останавливался у ее дверей и куражился, и высказывался, и уже не о высшей фазе, а насчет их нации и наций вообще.

Только одна дверь не шелохнулась. Айсоры спали своим устрашающим, усталым табором. Им снились сны поважнее всего происходящего в коридоре, и им некогда было заниматься пустяками.

Так или не так, но тут же, немедленно, стали составлять акт на Бонду Давидовича, на Цулукидзе, и очевидцы, макая ручку в чернильницу, полную еще летних, утонувших в черниле мух, ставили свои разнообразные подписи, разбудили и айсоров, и старый айсор нарисовал какие-то крючки справа налево, и оформленный по всем правилам документ пошел куда надо, и так точно куда надо, что уже через день явилась комиссия, в которой выделялся пружинистым шагом пожарник. Он ходил по всей квартире и уже заодно обследовал все углы и нашел бутыли с бензином на шкафу у Свизляка и какие-то немыслимо быстро воспламеняющиеся вещества у айсоров, и когда он спускался в подвал, у него было такое лицо, что сейчас он непременно откроет там склад боеприпасов. Во всяком случае, когда в общем акте комиссии он формулировал свое пожарное резюме, выходило, что квартира эта по своей огневоспламенимости угрожает не только всему дому, но и всей улице, а улица прилегает к Кремлевской стене.

Глава одиннадцатая

Я проснулся вдруг, будто кто-то изнутри меня толкнул. В комнате в свете окна темной тенью стоял человек.

— Что? Кто? — крикнул я.

— Вы стонете во сне. Я думала, вы заболели.

— А как вы вошли в комнату?

— Через дверь,— тихо отвечала фигура.

— Сколько сейчас времени?..

— Только восемь.

На пороге стояла отставная опереточная актриса, крупная, костлявая, похожая на старую, выработавшуюся клячу, лицо ее, измученное гримом, печально глядело на меня.

— Я должна вам кое-что сообщить.

Она тщательно закрыла за собой дверь и потом долго к чему-то прислушивалась.

Я слышал гудение своей крови.

А потом она сказала:

— Это не мое дело, но я должна вас предупредить.

— А что такое произошло?

Она приложила палец к губам и снова к чему-то прислушалась.

— Здесь о вас осведомлялись.

Внутри у меня будто что-то оборвалось, но я безразлично спросил:

— Это кто же?

— Там дворник спрашивал, дома ли вы.

— А зачем я ему?

— С ним один человек,— туманно сказала она.

— Какой человек?

— В штатском, по-моему, из райотдела.

Я молчал.

— Из райотдела, маленький такой, блондин.

— И он тоже мной интересовался?

— Он молчал. Но дворник спрашивал, по-моему, по его наущению. Это я вам должна сказать.

Я сделал безразличное лицо.

— Ну и пусть спрашивает, мне-то что?

— Я думала, что вам надо знать,— тихо сказала она.— Он еще спрашивал, кто к вам ходит.

— А мне это неинтересно,— сказал я.

— Я понимаю,— сказала она.— Спокойной ночи. Вы бы все-таки приняли какие меры.

Меры! Что, бежать? Растаять? Замуроваться в стену? Превратиться в человека-невидимку? Эта мысль мне понравилась. Когда-то я видел картину «Человек-невидимка», он принимал какие-то таблетки и таял, превращался в призрак, в воздух, он проходил сквозь стены. Я помнил еще его голос, таинственный, пророческий, голос из небытия, из пустоты, дьявольский хохот возмездия. Он кружил везде, взрывал мосты и хохотал. За ним оставались темные следы по снегу, одни следы его только и выдавали, и те, кто преследовал, стреляли в ту сторону, где были следы. Ох, как он кричал, когда в него попали.

Я лежу и фантазирую себя невидимкой, я свободно прохожу мимо этого несчастного в котиковой шапке, прижавшегося к стене у подъезда, а он ничего не знает, я тоже дьявольски хохочу, и он содрогается, я вхожу в троллейбус и стою, держась за ремень, и никто вокруг не знает, что я еду, а я еду т у д а.

И вот оно, темное каменное здание на большой площади, я невидимо прохожу мимо часового и мимо второго часового, я поднимаюсь по широкой мраморной лестнице, и шаги бесшумны, призрачны, будто я не иду, а парю в воздухе; я иду длинным коридором с рядом высоких дубовых дверей, вхожу в разные комнаты, открываю шкафы и ищу и наконец — вот она, старая серая папка с черным штампом «Хранить вечно» и с моей фотографией на обороте. Откуда они только взяли мою фотографию, она совсем не знакома мне. И какое у меня спокойное, ничего не подозревающее лицо, а меня в это время снимали. И вот я листаю серое дело и вшитые в него розовые и голубые листы, и я узнаю про себя то, чего я и сам не знаю. Я читаю доносы и ужасно удивляюсь тому, кто их писал. Каких только почерков тут нет!

У дверей под порогом по-мышиному зашуршало, что-то постороннее появилось в комнате, я это скорее ощутил, чем услышал. Я приподнялся и увидел под дверью белую бумагу. Это был обыкновенный, в линейку, лист, страница, вырванная из школьной тетради, некрасиво и плотно исписанная поперек крупным, неровным, напряженным почерком, с кляксами и перечеркиваниями.

Я стал читать и сначала ничего не понял. Мне показалось, что я сплю; постепенно смысл, странный, нелепый, дошел до меня, и я, наверно, впервые за этот день улыбнулся.

«Ввиду расстройства нервных систем у меня и у вас,— стояло в бумаге,— мы, очевидно, устно никогда ни до чего не договоримся. Поэтому пишу вам эту записку. Покорнейше прошу вашего разрешения на ночь выставлять ящик с моим ежом куда-нибудь в коридор, так как он мне спать не дает, несмотря на приемы каких бы то ни было снотворных средств. Думаю, что шестичасовое пребывание его в местах общего пользования не нарушит „атмосферное равновесие" в нашей квартире. Дальнейшие ваши неудовольствия моими действиями прошу вас выписывать или высказывать, как вам будет удобнее, мне лично, а не через посредников. С уважением Любочка».

По ту сторону дверей, как бы ходатайствуя за себя, вздыхал и ворочался на своих шуршащих иглах страдающий бессонницей еж. Иногда он стучал твердым носом о пол, что-то требуя для себя.

Я раздумывал над своей жизнью, над жизнью отца и матери, дедушки и бабушки.

У них были волнения семьи, рождений, болезней, отъездов и приездов, нежданных телеграмм, слухов, сплетен, была смена дня и ночи, лета и зимы, пасхи и троицы, и судного дня. Были близкие и дальние родственники, соседи, была зависть, жажда, корысть, щедрость, доброта, злоба. Но никому из них в самом диком, глупом, запутанном сне не снилось мое.

Страх за сказанное слово и несказанное, за все, что только подумал и даже не подумал, а мог подумать, за мнимые ошибки твои и не только твои, а твоего товарища, и даже не товарища, а знакомого, родственника ближнего и дальнего, родственника, которого ты даже никогда не видел и никогда не знал, что он существует, потому что уехал он в Буэнос-Айрес или на мыс Горн еще в прошлом веке, и там у него родился сын или дочь, и тому сыну или дочери вдруг вздумалось написать тебе письмо как двоюродному брату.

Странно, что все это в моей жизни, именно в моей жизни.

Те длинные, темные собрания, собрания-бойни, собрания-душегубки, собрания, на которых шло быстрое обесчеловечивание людей, собрания куриц, сороконожек, божьих коровок, собрания тли, и это, растворенное, как адреналин в крови, чувство без вины виноватости. И постоянное, непрекращающееся ожидание неминуемого. Грянет в одну из ночей на рассвете, или еще до того разорвет сердечную аорту, или, может, всплеснет опухолью в мозгу.

Потерянное время, утонувшее время, бесследно, навсегда исчезнувшее из единственной, раз данной жизни.

Почему же должна проходить так жизнь, эти необратимые, быстротекущие мгновения, падающие, капающие в вечность секунды?

Я приоткрыл занавес и взглянул на улицу. Е г о не было. Я осмотрел каждый подъезд генеральского дома на той стороне улицы, каждый фонарный столб, каждую тень, в которую он мог бы спрятаться, с которой мог бы слиться. Нет, нигде его не было. Я изучил очередь на троллейбусной остановке, может быть, он затесался в очередь, может быть, стал играть в пассажира, ожидающего троллейбус, а когда троллейбус уйдет, он в последний момент останется и опять замаскируется в очередь. Нет, и тут его не было. Машина подошла, открылись двери, проглотили всю очередь, и на пустой остановке завьюжила метелица. Не было его и среди прогуливающихся с собаками — с мопсами, фокстерьерами.

Были годы, я думал: зачем? За что? Теперь уже не было этих мыслей не потому, что я понял, зачем и за что. Я этого не понял и еще долго после этого не понимал, не понимаю, наверно, до самой глубокой глубины и сейчас. Туман равнодушия окутал меня, невозможность, непредставимость борьбы, вялая и болезненно чудовищная покорность течению событий, безысходность тупика, ограниченного ранними сумерками зимнего дня, за которыми долгая, бесконечная ночь, с ее тишиной, кротостью, боем часов, случайными криками, случайными свистками, шуршанием случайных машин.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Вечерние огни

Глава двенадцатая

Небо над двором было почти черным, тускло и как-то забыто светила пыльная лампочка у подъезда и говорила, что незачем жить, незачем так вот одиноко и долго мучиться, не стоит этого.

Я прошел наискосок через двор и тихо, тоскливо подошел к воротам. Никого не было. Я поглядел на противоположную сторону улицы, и там было пусто. Я заглянул в подъезд, и так дико и сыро пахнуло псиной и мочой, что хотелось взвыть.

Я медленно пошел вдоль дома, близко держась стены. Я просто вышел подышать воздухом, чтó, уже разве нельзя дышать воздухом? Это был мой моцион. Я остановился у афиши, искоса поглядел направо и налево. Никого. Тогда я дошел до угла, заглянул в Глазовский переулок. Пусто. Потом вернулся и дошел до Арбата и поглядел на тот угол у Гастронома. Там стоял один, он взглянул на меня через улицу и отвернулся.

Иду и бессмысленно разглядываю витрины. В аптеке на углу Веснина грустные резиновые груши для веселья, гарнированные холодным никелем хирургического инструмента. Потом «Часы», миллион циферблатов, показывают одно и то же время. И вот уже лезут в глаза мясные муляжи «Диетического», а за ним мигает неон.

И вдруг я увидел, что иду навстречу самому себе. В сером реглане, заячьей ушанке, резко освещенный зеленым светом, я стоял перед длинным и ярким уличным зеркалом парикмахерской, в витрине которой торчала на тонкой подставке капризная, лукавая головка с огненно-крашенным хной перманентом, и над ней зазывной плакатик: «Шестимесячная завивка с двухмесячной гарантией».

Я бессознательно вошел в теплый, наодеколоненный, приятно памятный с детства мир цирюльни. Очереди не было. Грустный длинноносый парикмахер вяло взбил мыльную пену, так же вяло намылил щеки, поглядел на меня в зеркало с одной и с другой стороны и, высунув кончик языка, быстро побрил и вяло помахал салфеткой. Девочка-подмастерье грустно глядела в окошко на улицу и сказала: «Ой, сколько небритых ходит...»

У «Строчевышитых изделий» перехожу через улицу к «Комиссионному». На черном бархате одиноко маялась туфелька и рядом белая бурка, будто парочка убежала, случайно оставив в витрине как вещественное доказательство поношенную обувь. Потом оранжевый, светящийся аквариум «Зоомагазина», золотые рыбки, сонно запутавшиеся в красных водорослях.

Шедший впереди меня гражданин в старой черной шляпе и пенсне вдруг остановился у края тротуара и качнулся, шляпа упала в грязный снег. И непонятно было — пьяный он или больной.

В это время с перекрестка прибежал старшина.

— В чем дело, гражданин, почему нарушаете?

— Я не нарушаю,— тихо сказал человек.

— Пройдемте, гражданин,— и он взял его за рукав.

Двое в ботах деликатно подталкивали его.

— Пустите меня! — закричал тот, прижимаясь к стене.— Я интеллигентный русский человек.

— Там разберемся,— сказал старшина и приемом джиу-джитсу перехватил его руку.

— Я устал. Я уст-а-ал! — визжал кошкой интеллигент.

Регулировщик, сидевший на углу у «Консервного» в своем голубом стакане, некоторое время прислушивался, потом высунулся в окошко, призывно свистнул куда-то в сторону Смоленской, оттуда откликнулись, и с другой стороны тоже засвистели.

— Ах, как мне надоели эти крестьяне со свистками,— устало сказал гражданин и притих.

Старшина, строго выслушавший его возвышенный протест, потащил его в подворотню, а те двое в ботах на ходу обыскивали его, облапив грудь, спину, ноги.

Собралась толпа.

— А чего его тащить, может быть, он больной,— сказала женщина с кошелкой.

— Чего там больной, пьяный.

— Интеллигент, а пьяный, еще в шляпе.

— Ну так что, что в шляпе, вишь, говорит, устал.

— Устанешь.

— Вишь, баретки надел.

— Какие такие баретки?

— Вот на ногах, зимой и в баретках.

— Может, как был, так и выскочил, бедолага.

— Бедняга, сбили с катушек.

— Будет вам за такие речи.

— Еще бы не будет.

— Граждане, разойдитесь, чего не видели?

Мне показалось, что сейчас и меня потащат, и я забежал в кино «Наука и знание». Я заглянул в окошко кассы, кассирша, казалось, сидела далеко, словно виденная в обратную сторону бинокля.

— Один билет,— услышал я свой собственный, как бы пришедший издали слабый голос.

— Десять рублей — две серии,— пришел издалека ответ кассирши.

Я сунул в окошко десятку и пошел к входу.

В дверях стояла ужасно толстая, в капроновых чулках контролерша, загородившая своим животом дверь, толстыми, красными пальцами она надорвала билет и дыхнула на меня горячим дыханием печи, и, касаясь ее мягкого живота, я протиснулся внутрь, в тускло освещенное, вытянувшееся кишкой холодное и грязное фойе, в котором страдали и маялись юнцы с папиросками в зубах и пахло пивом и черствыми бутербродами. Неожиданно зазвонил звонок, вспыхнула красная лампочка над входом, и все, толкаясь и обгоняя друг друга, ринулись в темный, холодный, надышанный узкий зал, и не успели все рассесться, как потух свет и засветился экран.

Я оглянулся. Никто не смотрел на меня. Я тихо встал и сквозь фосфоресцирующий зал, лузгающий подсолнухи, сосущий ириски, чихающий и кашляющий, пошел мимо светящегося экрана на красную сигнальную лампочку выхода и через длинную, заплеванную, разбитую лестницу, сумрачно освещенную фонарем в железной сетке, какими-то кривыми закоулками с мусорными ящиками вышел в незнакомый, тихий снежный переулок, оставляя за спиной в громадном здании, в узком, холодном зале, цветной индийский сон.

В резком свете в подвальных окнах видна была вывороченная наизнанку бедная сиротливая жизнь, столы, крытые клеенками, раскрытые шифоньеры и дети, сидящие за учебниками, сундуки, на которых спали старухи, и какие-то безмолвные вымороченные тени, старики, курящие в закутках осторожно, виновато, и кошки, почему-то всюду были кошки.

Я дошел до троллейбусной остановки, подкатил троллейбус, рас-

крылись двери, я оглянулся и вскочил в него. Двери мягко закрылись, троллейбус тронулся, я глядел в заднее стекло. Какая-то машина неотступно шла за троллейбусом, упорно шла, не отставая и не обгоняя.

Вдруг я уловил на себе взгляд кондуктора, тот с сумкой стоял на своем месте в углу и со странной сучьей улыбкой через головы пассажиров, поверх шапок и шляп, не отрываясь, смотрел именно на меня, и только на меня, будто узнавал во мне приятеля. Я встал и пошел к выходу, но кондуктор, не отрываясь, будто все узнавая во мне приятеля и удивляясь, что я его не узнаю, все смотрел на меня. И я забыл, где я и куда идет троллейбус. Мелькали мимо непонятные вывески, редкие пробегали прохожие, и все было странно и ужасно. Я остановился у выхода и молчал.

— Гражданин, а интересно, кто, Пушкин, возьмет билет? — неожиданно сказал сзади кондуктор.

Вдруг замолк говор, и все прислушались.

— Гражданин в кролике, это ведь к вам касается,— сказал кондуктор.

Пассажиры, читавшие газеты, перестали читать и стали смотреть на меня.

— А еще в шапке,— сказал вдруг гражданин в синей кепке, сидевший на месте «матери и ребенка».

Остальные молчали и смотрели на меня.

— Простите! — закричал я и сунул кондуктору смятый рубль.

В это время троллейбус резко затормозил, и пассажиры попадали друг на друга, дверь раскрылась, и в троллейбус вошел человек и внимательно посмотрел на меня. Не успела закрыться дверь, я выскочил на тротуар, кондуктор делал мне знаки, показывая мой рубль и билет, машина двинулась и мягко покатила, увозя того человека. Сквозь стекло я видел, он прошел вперед, не оглядываясь, и сел. Сердце колотилось, будто за пазуху залетел голубь.

Машины, шедшей за троллейбусом, уже не было, она исчезла.

Глава тринадцатая

Я свернул в темный и пустой Борисоглебский переулок. В церкви Бориса и Глеба шла служба. Стоял неподвижный туман, подкрашенный желтым фонарем, и сквозь деревья с голыми ветвями голубел на крышах снег. Розовые колонны барского особняка были похожи на старую выцветшую олеографию.

Из облупленного флигелька появилась старорежимная старушонка с лиловым шпицем, и он залаял на меня хрипло, по-современному.

В мутном свете переулочных фонарей все притихло, прижалось к воротам, принимая расплывчатые, таинственные очертания.

Ах, какая снежная глухомань! И с какой разрывной силой чувствуешь безвременье, чувствуешь жизнь, которая будет тут без тебя,— тот же каменный переулок, служба в церкви, метель, пепельные окна домов, только все без тебя.

Начиналась метель, и переулок стал выть, как труба. И сквозь белую и призрачную переулочную пелену, шатаясь, весь облепленный снегом, шел человек и орал: «И тот, кто с песней по жизни шагает...»

Он падал на колени, пригоршнями жевал снег, подымался и, кружась на месте, идя зигзагами, а иногда и задом наперед, выкрикивал: «И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет...»

Когда я поравнялся с ним, он взглянул мне прямо в лицо и, дыша жарко, сивушно, убежденно проговорил:

— Не пропадет.— И попытался ухватиться за меня.

Ветер хлопнул дверью телефонной будки, и вдруг странно и дико, страшно автомат зазвонил сам по себе и звонил долго, рыдая, захлебываясь, словно звал на помощь, звал снять трубку, послушать чей-то крик, предостережение, а может, шепот.

Странно, дико было думать, что в этой же жизни были зеленые тихие улицы, сад с розами и жасмином.

Я иду лугом, в высоких травах и рукой касаюсь белых зонтичных кашек, а рядом волнующееся, как море, просяное поле, и ветерок пахнет соснами и земляникой, и стрекочут кузнечики, их так много, что они даже не здороваются, на каждой травинке свой кузнечик кует свое собственное счастье.

Даже представить нельзя, что это я тот, который шел через луг, идет сейчас этой сырой, серой ночью, глухим зимним переулком мимо зеленоватых фонарей, закрытых ворот, темных окон.

Я шагал и шагал по замерзшим переулкам, огибая мертвые углы, выветривая тоску, страх, мимо слепых окон, в которых, казалось, никогда и не было жизни, мимо черных, настежь открытых ледяных подъездов, изредка ослепляла ярко освещенная витрина или оглушала визжащая дверь пивной, откуда вместе с пьяным гамом, хохотом вырывались облака пара, пахнущего пивом и разваренным горохом.

И, казалось, я один, один во всем городе, и никому нет дела и не может быть дела до того, что я чувствую, и я бьюсь в одиночку. И было такое чувство, что каждый смутный угол, каждая тень могли вдруг ожить и превратиться в того в котиковой шапке и оборотнем пойти за мной следом.

Уличные электрические часы показывали разное время, и это тоже пугало и казалось странным, преднамеренным и зловещим.

Метельный ветер подталкивал в спину, загонял в тупик, словно в каменный мешок.

Где-то рычала заблудившаяся машина, где-то фиолетово вспыхивали трамвайные вспышки, дышал и полз с крыши снег и падал, и было тихо. И вдруг в случайном подъезде кто-то стонал и хихикал, живя на полную катушку.

Впереди меня плелся старик в тяжелой шубе и такой же тяжелой боярской шапке и в галошах. Шел он медленно, как бы запинаясь. Я обогнал его и поглядел в лицо, седое, серое, больное. Он шел и задыхался, ему было не только тяжело двигаться, ему было тяжело дышать, тяжело жить на этом свете, прожить эту минуту было мучением, и я подумал: неужели и я дойду до этого, и у меня будет этот крестный путь в зимнюю ночь, в поземку, задыхаясь в муке жизни, с пустой авоськой? Я забыл на минуту все, что со мной сегодня случилось, все ушло далеко, и было неважно и ничтожно по сравнению с этим.

Неожиданно сильный порыв ветра, словно выстрел, захлопнул дверь автоматной будки, и я вздрогнул. А потом ветер рванул ее назад, и снова, и снова, словно безумный; посыпались стекла, и мне казалось, что это делают со мной.

Странная, вечная аберрация чувств, когда тебе плохо или ты несчастлив, болен, тебе кажется: всему свету серо и лихо и незачем жить.

Но вот я вышел на широкую Садовую, и будто меня вынесло на сверкающее большое колесо, по которому летели тысячи мелькаю-

щих огней, догоняя друг друга, соединяясь и разъединяясь, желтые, синие и белые. Это было как фейерверк.

И снова, в который раз, я понял и ощутил, что жизнь, не зная и не желая знать, что ты чувствуешь и переживаешь, сама по себе и всегда будет сама по себе. И все будет продолжаться, все будет повторяться, и собственная твоя жизнь будет повторена в тысячах и тысячах вариантов, и ничто никогда никого и ничему не научит.

Какая-то парочка брела впереди меня. Вот они остановились у витрины мебельного магазина и, выбирая мебель, спорили, потом они постояли у высотного дома и говорили, как хорошо иметь тут квартиру, потом остановились у почты, читали расписание теплохода «Россия», говорили, как хорошо в июне поехать из Одессы в Батуми, поговорив, расстались у темного подъезда.

И тут вдруг в вечерней толпе, суетливой, спешащей, печальной и смешной, я заметил Свизляка, и словно пахнуло газом. Странно было видеть его на улице, на воле, на свежем воздухе. Он не существовал для меня вне квартиры. А он, узрев меня, выделился из толпы, выпер, сделал навстречу несколько шагов, закрывая своей собачьей курткой весь свет, я ясно и на улице почувствовал кислый запах блох.

— Нам не по пути? — сказал он.

— Я в переулок,— сказал я, повернувшись.

— Мне как раз туда и надо,— заулыбался Свизляк.

И мне стало душно, страшно, вдруг показалось, что его просто подослали и сейчас он меня заведет куда надо, прямо в руки, в объятия, а они там уже ждут за углом.

И самое странное и дикое, я покорно пошел в переулок, и все, что было, отошло назад. «Куда мы идем?» — хотел я спросить. И мысленно услышал ответ: «Куда надо».

Теперь мы шли молча, и было так тихо, что слышны были наши шаги, и низкие, узкие, темные окошки деревянных домишек глядели скорбно и настороженно.

— Приятно встретить в городе знакомого человека,— сказал Свизляк.

Вдруг с крыши сорвалась огромная сосулька и разлетелась на тысячи веселых осколков. Свизляк отскочил, как от разрыва мины, и стоял с дергающейся щекой, а я рассмеялся, и со смехом прошел страх.

— До свиданья,— сказал я.— Мне в другую сторону.

Глава четырнадцатая

Гигантские качели и колесо обозрения неподвижно застыли, похожие на железных динозавров. И такая тоска сжала сердце, будто один ты остался от тех старых времен, когда кружилось колесо, и к небу взлетали качели, и взрывался фейерверк, и был карнавал, и ты под утро приехал за город, в лес, в студенческое общежитие, на поляне сверкали желтые лютики и терпко пахли свежие желтые одуванчики, и жизнь была бесконечной, за лесом всходило солнце, из сумрака кричала кукушка, и ты считал года. И это было утро начала войны.

Ветер загнал меня в открытую телефонную будку, я прикрыл дверь, и стоял в замерзшей будке, и думал, кому бы мне позвонить.

Ожило множество голосов: «Алло! Слушаю! Да!» Господи, трудно было представить себе, что на той стороне провода тепло, уютно, лампа под абажуром, книги, чай в тонких стаканах, человеческая жизнь. И лютое чувство бездомной собаки охватило меня.

Наконец, я набрал его телефон, ответил знакомый, тонкий, психованный голос: «Вас слушают». Потом голос притих. Я слышал дыхание, из трубки как бы валил пар. Я молчал, а потом тихо повесил трубку. Значит, он в порядке.

Я пошел через железнодорожный мост. Дул сильный, порывистый, вольный ветер. Я был один на мосту, он гудел и вибрировал.

Я вышел на окраину, и в небе в желтом ореоле стояла луна, сверкал снег, скрипел под ногами. В открытом поле за темной толпой длинных, низких бараков сияли огни новых домов.

Двухэтажный коттедж светился уютными современными огнями модерновых люстр и торшеров.

Я вошел в просторный, свежий, еще пахнущий краской и какой-то уже забытой чистотой подъезд. Тишина и теплота оглушили мое беспомощное беспокойство и суматошность.

На освещенной скрытой лампочкой двери, обитой оливковой искусственной кожей, сверкала ярко начищенная медная табличка с выгравированным факсимиле хозяина, вроде тех старых табличек, что некогда висели на дверях провинциальных гинекологов, присяжных поверенных. Но эта была очень новая, щегольская, какая-то нахальная. Мне стало грустно. Перед оливковой роскошью этой двери я почувствовал свое ничтожество и неустройство.

Прежде чем позвонить, я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов и лишь после нажал кнопку, на звонок откликнулся собачий лай.

Дверь открыла служанка, и тотчас же на пороге, как два брата, появились два сеттера. Пахнуло покоем, установившимся теплом, паркетным лаком, хорошим трубочным табаком и кофе.

Хозяин в стеганой шелковисто-шерстяной пижаме, с очками в тонкой золотой оправе сидел за столом в глубоком старинном реставрированном кожаном кресле и читал новенькую плотную синюю книгу, в которой я узнал последний, 13-й, том Сталина.

Он не сразу поднял на меня глаза и только, когда я сказал «Здравствуй», он отложил книгу и сказал:

— Привет, дорогой, садись.

Лицо его сильно изменилось, оно было теперь бледное, опухшее, замученное, живущее в высшем, недоступном мне мире.

Он вышел из-за письменного стола и сел напротив меня, и на мгновение установилась та товарищеская близость и доверчивость, будто мы только вышли из студенческой столовой Юридического института, где съели красный винегрет, перловый суп и компот из сухофруктов.

— Ну, как там ваши либералы? — Он снял очки.

— Почему либералы? Просто честные и порядочные люди.

Я вытащил пачку «Беломора».

— Дурачье. Для вас — романтики! — Он засмеялся и щелкнул зажигалкой, дал мне прикурить и сам закурил.

Я забыл, зачем я пришел.

Мы долго сидели молча, он пыхтел трубкой и не торопил меня.

Потом я стал рассказывать, что со мной случилось, и оттуда, с недоступной, оглушающей высоты, где разреженный воздух, он спокойно наблюдал за мной.

Он на какое-то мгновение дотронулся до меня рукой, теплой и дрожащей, какой-то мягкой и безвольной, какой-то ужасающе испуганной и все-таки товарищеской, собрав в своей душе все остатки человеческого, юношеского.

— Только брось встречаться с Люсиным,— вдруг сказал он.

— А чем он виноват?

— Я не знаю — чем, я не хочу думать — чем, и тебе не советую думать, а брось, брось!

Он взвизгнул, а когда успокоился, с грустью сказал:

— Все мы свою голову временно на плечах носим.

Посольские сеттеры ходили вокруг, стуча хвостами, и, когда подходили, лизали ему руки.

В это время зазвонил телефон как-то нервно, громко, и слышно было, как и внизу трещит параллельный. Он поднял трубку: «Да?» — и сразу лицо его стало напряженным, беспокойным и растерянным. В дверях стояла жена и смотрела на него. Он слушал и только повторял: «Да, да»,— потом прикрыл рукой трубку и тихо, дрожаще сказал: «Предлагают выступить о врачах-убийцах». Он весь обмяк, его можно было накладывать в штаны ложкой.

Я помотал головой, а жена прошептала: «Соглашайся, что ты!» И он снял руку с трубки и уже твердо, спокойно сказал:

— Да, пришлите материалы.

И лицо его стало, как глиняная маска.

Он снова сел в кресло и задумался. И вдруг лицо его исказилось.

— Я говорил тебе, не якшайся с Люсиным. Сколько раз я тебе говорил?!

У него было искривленное от ненависти ко мне лицо. Все знали, что он дружил со мной, и он знал, что все это знали.

— Говорил, что плохо кончится, скажи, говорил?

— Ну.

— Что — ну? Идиот. Расхлебывай, черт с тобой, раз ты такой болван, незачем других за собой тянуть.

— Я не тяну.

— А зачем ты пришел?

В голосе его было повизгивание, какое-то жалкое поскуливание, словно все больное, обиженное, словно страх, загнанный глубоко, вдруг вырвалось наружу. Он силой воли замял это и устало, мирно, как-то замученно сказал:

— Уезжай, исчезни на время. Ну что я могу тебе еще посоветовать.

— Понятно,— сказал я.

— Не будь на виду, пережди, пока это прекратится,— сказал он, не глядя на меня.

— А ты думаешь, что прекратится?

— Не может же вечно продолжаться это сумасшествие.

— А это сумасшествие?

— А ты как думаешь? — Он внимательно посмотрел на меня.

— Но ты в нем участвуешь.

Он развел рукой: «А что делать?»

Внимательное и тревожное лицо его заострилось и посерело.

— Поступай как хочешь, я тебе ничего не говорил.

Он встал, и я встал.

— Бувай,— сказал он,— и подал холодную жесткую руку с негнущимися пальцами.

Я пошел по лестнице вниз, по ковровой дорожке.

— Ты у меня не был,— сказал он сверху.

Два сеттера стояли внизу, и внимательно глядели на меня, и чего-то ждали.

...А он в шелковисто-шерстяной пижаме, в тонких золотых очках, как только опустилась ночь, как только затихло беспрерывное движение по шоссе сверху вниз к Москве-реке, он, сидя неподвижно в кресле с новым синим плотным томом в руках, уже не понимая, что читает, прислушивался к идущим сверху, из города, по шоссе машинам. С тех пор, как ему рассказали, как взяли на рассвете его приятеля, как приехали за ним на казенной машине, он уже не мог спать и просиживал так ночи, ожидая, слушая дальний, как жужжание пчелы, звук, зарождавшийся где-то там, вдали, потом он нарастал, заполняя собой всю ночь, приближаясь к самому окну, к самому сердцу, на мгновение останавливалось сердце, и визжа и плача, машина проносилась вниз и уходила все дальше и дальше, глохнув за кладбищем, в дебрях ночи. Но уже там, наверху, зарождалась новая пчела, и снова он слушал, жадно ждал приближения, и с воем, все нарастающим, машина приближалась к самым окнам, к самой душе. И он считал машины всю ночь до рассвета, считал машины и ждал *своей*. И только когда начинали шуршать троллейбусы, и бодро, звонко, громко раздавались первые голоса улицы, и проходили темные фигуры с еще пустыми авоськами, он понимал, что на этот раз пронесло, и, приняв снотворное, засыпал ужасным, чугунным сном, в котором взрывались машины.

Город застыл, замер.

Я вспомнил, как мальчиком некогда приехал из местечка. И впервые услышал шум большого города там, из окна седьмого этажа на Тарасовской улице в Киеве, этот рассеянный в воздухе, вездесущий, всепроникающий и обнадеживающий шум, сотканный из автомобильных сирен, трамвайных звонков, скрежета вагонов на круге, каких-то таинственных родственных гулов, сигнальных рожков, тяжелого хода поездов на железнодорожной линии, все то, что, как порохом, заряжает молодое, открытое всему и готовое ко всему сердце. И жизнь казалась бесконечной.

Это было давно, это было так давно.

Низкие грязно-желтые тучи, из которых по временам внезапно сыпался сухой, жесткий снег, желтые фонари, и желтые смутные окна домов, и желтые замерзшие окна проезжающих троллейбусов, низко метущая поземка — все заколдовывало такой гнетущей, такой беспросветной сумасшедшей тоской, что только и сил было идти и идти, не глядя куда, лишь бы идти, не останавливаться, не думать, чем это кончится.

Казалось, сам город, этот древний город, существующий века, приспособился; он стал сумрачным, его вымирающие к десяти часам вечера улицы, мрачные, с оранжевыми муляжами витрины, тускло освещенные кино с одной и той же по всему городу единственной кинокартиной «Чижик», стенды с серыми, похожими друг на друга газетами, тысячи тысяч раз повторяющийся один и тот же каменный портрет, мертвеющий, затухающий, как у бесконечно больного человека пульс, приводят в отчаяние. Ночь давит, гнетет, и каменные дома давят и гнетут, и впереди кто-то прячется за выступами и ждет; весь город кажется одной серой, сплошной громадой, из которой никуда нельзя удрать, и куда ни пойдешь, куда ни свернешь, будет то же низкое, желтое, гаснущее небо, те же серые безнадежные стены, желтые фонари, и всегда за углом кто-то прячется, следит за тобой и дожидается.

Это налетает, как вихрь. Пустота, оглушительная пустота. Будто из города выкачали воздух, и улица безмолвно и нечаянно уходила вдаль, и дома стояли, как театральная декорация после окончания спектакля, никому не интересная и не нужная.

Загорался где-то свет в высоком окне, и он тоже был неживой, нарочный, и не чувствовалось, что за ним чья-то сиюминутная жизнь, судьба.

Вспыхивали и гасли светофоры, беззвучно пролетали по улицам машины, кто-то суматошно в неположенном месте перебегал дорогу, кто-то в уличной толпе у края тротуара, прощаясь, наскоро целовался, швейцар в золотой канители не пускал кого-то в ресторан.

Зачем это было и к чему?

И все казалось одним немым, ненужным, заигранным и скучным спектаклем. На один только миг я вдруг возвращался, и все оживало и голосило, как в детстве и юности, свистело милицейскими свистками, шуршало автомобильными шинами, трезвонило старыми, добрыми трамвайными звонками.

А когда я вышел в центр, меня охватило странное чувство иллюзорности, неправдоподобия и одновременно уже раз где-то виденного, не понятого, не прочувствованного до конца, жуткое чувство, что я не надышался, не выжил все это, а оно уже не нужное мне, в покойницком свете люминесцентных ламп, расплывчатое и тусклое, как на экране локатора, идущее где-то в тумане, и штормах, и брызгах, и живом ветре, независимо от меня и не для меня.

В первый раз, когда это случилось, когда оглушили эта пустота и равнодушие, ты очень испугался, казалось, что это конец, что больше никогда ничего не будет. Но потом это прошло, просто прошло, и даже не верилось, что это было с тобой, а потом это снова настигло, оглушило, и ты все время ждал и говорил себе: это пройдет, пройдет. И так оно и было.

Тут у меня уже был некоторый опыт, и я знал: надо только иметь некоторое терпение, не впадать в панику, и это пройдет, снимется, как катаракта с глаза, и следа не останется.

Но вместе с этим и жизнь проходит, будто просачивается сквозь сито.

Глава пятнадцатая

Раньше в вечернем центре мне всегда было радостно, завлекательно, только выходил из метро на площадь Революции, и вечерние огни, и случайная, возбужденная, взбудораженная толпа безвестных женихов, рогоносцев, любовников, зевак, и эта атмосфера ожидания приключений. Я сразу все видел, и понимал, и на лету схватывал улыбку, взгляд косой, мимолетный, похоронную фигуру безнадежного стояния и понимал, что к чему и что будет дальше, кто просто надеется на манну небесную, у кого шансы и кто сиюминутно счастлив, а кто срочно идет ко дну. Но и те, и эти были в хмелю, захвачены блеском фонарей, нервным тиком вечерней улицы, вовлекая и меня в яркое колесо.

Я с наслаждением глубоко вдыхал этот искрящийся, возбуждающий воздух, блеск фонарей, блеск капроновых чулок, бандитские улыбки, горячий, чадящий запах солярки на автобусной остановке, шелковистое шуршание женских плащей, кожаный служебный дух командировочных портфелей, яркий, беззащитный цвет первых нарциссов. «Нарцизы, нарцизы, фиалки из-под Крыма!»

И чей-то голос иронически парировал: «А ну-ка, пройдитесь вдоль пирса!» И я тоже, как и другие, медленно, независимо прохаживался вдоль пирса, разглядывая лица и ноги, туда и назад, как челнок, туда и назад, нервничая и взвинчивая себя, словно ожидая кого-то, словно твердо зная, кого я ожидаю, и тот, кого ожидаю, это тоже знает и уже торопится сюда в набитом вагоне метро, или дальнем автобусе-экспрессе, или троллейбусе. И неоновое свечение, крик афиш, и чьи-то карминные губы, и чья-то удивительная походка, чья-то качающаяся, затягивающая тебя в воронку, походка.

И я не чувствовал одиночества, объединенный с сотнями, с тысячами таких же одиноких, знакомых и незнакомых, даже невидимых на других улицах и площадях, но которых я чувствовал идущими в горячей толпе, зыркающими, шаркающими подошвами вослед, подмываемыми надеждой на случай, на встречу, вечной неугасимой надеждой, живущей и в моей душе, спаянными вечерним неоновым свечением, блеском вечерних фонарей, блеском листвы и тем неуловимым, недоговоренным, недосказанным, недомолвленным, обещающим, что всегда живет, струится, растворено в сумерках Большого города.

И потом прохладный «Арагви» с Витязем в тигровой шкуре или погребок «Иртыш», где ныне «Детский мир», чад шашлыков и острый запах сациви, звуки зурны и раздирающее душу пиликанье команчи. А потом уже за полночь «Ласточка» у причальной стены на Фрунзенской напротив Парка культуры и отдыха, легкое мнимое покачивание, огни проходящих речных теплоходов, и тяжелый ход, и рабочее дыхание ночных грузовых барж, и чувство отстраненности от жизни города, отъединенности от его огней, которые рядом и одновременно далеко за водой морей и океанов. На рассвете прощание на розовом углу Якиманки. Я записываю телефон обгорелой спичкой на коробке «Казбек», а она губной помадой на игральной карте, перевернула карту — шестерка, и сказала: «Дальняя дорога»...

Я остановился у ярко освещенного подъезда Театра имени Пушкина. Я еще помнил, когда тут был Камерный театр, я еще помнил «Жирофле-Жирофля» и «Адриенну Лекуврер» с участием Алисы Коонен и потом «Оптимистическую трагедию» — последний всплеск, последний крик.

В освещенной витринке «Сегодня» значилось: «Третья молодость»,— это о гениальном открытии старушки Лепешинской. Вышел служитель в ливрее, вынул «Третью молодость» и вставил новый трафарет.

— Скоро конец спектакля? — спросил я.

Он подозрительно взглянул на меня, словно это была военная тайна, промолчал и пошел с «Третьей молодостью» под мышкой в театр.

Вдруг в вестибюле вспыхнули огни, распахнулись двери и хлынул поток. На тротуаре собрались зеваки поглядеть театральный разъезд. Толпа была какая-то серая, унылая, в затрапезе, некоторые даже с авоськами и портфелями, словно после долгого, утомительного собрания. Больше всего было девчонок, еще одинокие или парами старушки и очень мало мужчин, несколько военных летчиков и командировочные в кожаных пальто и цветных шарфах, с чемоданчиками, очевидно, не достали еще гостиницы.

Иногда казалось, кто-то из толпы вдруг пронзительно глядит на меня, но этого не могло быть. Он шел из театра и ничего не мог знать, но все-таки я оглядывался и проверял, ушел ли тот пронзительный прочь, и только тогда успокаивался.

Все до последнего человека вышли, появился уже знакомый служитель в пальто и ушанке, закрыл дверь, заложил ее палкой изнутри и ушел. Погас свет в подъезде. Я оглянулся, никого вокруг не было, и я пошел вверх, к Пушкинской площади. Фонари на бульваре тускнели и разгорались, иногда фонари мигали, зимний ветер раскачивал их.

Я пошел мимо темного спящего дома Герцена, мимо «Кинохроники», которая когда-то называлась «Великий немой» и где сейчас в маленьком длинном провинциальном зале с покатым полом показывали «Во льдах океана», мимо старой аптеки на углу, которая еще помнила Страстной монастырь и, наверное, поставляла лекарства монахам, и где еще и сейчас старики и психи могли всегда достать готовую микстуру Бехтерева, мимо Пушкина, который еще был на месте, там, где его поставили любители изящной словесности, и к которому не зарастала народная тропа; и мимо дома, на угловой башенке которого стояла каменная женщина, мимо Елисеевского, пылавшего купеческими люстрами, бывшей гостиницы «Люкс», где доживали последние коминтерновские деятели, мимо тупых, тяжелых комодов — домов Мордвинова, пошел вниз по тусклой и почти пустынной улице Горького к Охотному ряду.

В вестибюле гостиницы «Москва» было чисто, тепло, парадно и пусто, как на избирательном участке в ночь перед выборами.

Там, в конце длинного вестибюля, в нише, высвеченный маленьким прожектором, мерцая, стоял во весь шинельный высокий рост мраморный генералиссимус, и еще слева, за аптечным киоском, он же в кителе сидел на широкой садовой скамейке рядом с Лениным, как бы обнявшись по-дружески, свойски, неразлучно беседуя, и не он, а Ленин, склонившись к нему в мраморной чуткости, прислушивался, ловя его советы. И кроме того, еще со стены, с огромного панно, он с трубочкой в зубах, задумчиво и мудро глядел в полуоткрытое зашторенное окно кабинета поверх кремлевских красноосвещенных восходящим солнцем стен на утреннюю, летнюю, озаренную его жизнью Москву. И повсюду стояли горшки с бледными зимними оранжерейными гортензиями и была торжественно-траурная тишина.

Несколько ночных пассажиров с крашеными фанерными чемоданами прошли в сумраке между мраморными колоннами к ярко освещенному окошку администратора и что-то спросили, им что-то ответили, и они отошли, и стояли растерянные. И так они были нелепо чужды и беззащитны в своих черных и синих длиннополых пальто, с деревянными чемоданами среди храмовой высоты вестибюля, калориферного тепла и зеленых кадок с пальмами, на виду у пятиметрового мраморного генералиссимуса. Они держали короткий, тихий провинциальный совет и гуськом, мимо швейцара в серебряной канители, неподвижно стоявшего у дверей, вышли друг за другом с деревянными чемоданами России в снежную метель.

У окошка дежурного администратора было тихо, казалось, номера выдают в небесной канцелярии, вдруг звонили с седьмого неба и говорили: «Броня». И если и, бывало, какой-то дикий, заросший командировочный провинциал в сапогах с галошами и разбухшим портфелем, или в чеховском пенсне с саквояжем, или же пьяный московский мастеровой, вдруг случайно залетевший в гостиницу, спрашивали: «Номера есть?»,— им отвечали: «Не бывает...»

Такими странными, холодно-чужими казались теперь эти мраморно-парадные колонны, и хоры, и высокие лепные потолки, словно это был дворец шаха, Гарун аль-Рашида, а в войну, когда я вернулся из партизан, я долго жил тут, возвращаясь, как к себе домой; вдруг на минуту пришло ощущение, что я и сейчас тоже живу, и в теплом уютном лифте поднимусь на свой этаж, в свой номер, и все это невозможно отдалилось, словно это было в другой стране или в другом веке.

Я сел в мягкое кожаное кресло, и мне стало покойно и хорошо.

...Скоро Новый год, в ресторан «Москва» съезжаются гости, у парадного ярко и празднично иллюминацией украшенного подъезда сержанты милиции еще на улице проверяют пригласительные билеты.

А в тихой и пустынной гостинице по мраморной лестнице поднимались три молодых человека в серо-стальных коверкотовых костюмах, новых носках и новых лаковых штиблетах. Они разделись внизу и на вопрос швейцара «В какой номер?», ничего не ответили, только взглянули ему в глаза, и он кивнул, и покорно взял их одинаковые, сшитые в одном ателье пальто, и одинаковые велюровые шляпы, и с поклоном вручил жетоны, и проводил их серьезным грустно-восторженным взглядом.

Через гостиничный служебный вход они вошли в ресторан, в жаркое праздничное многолюдство и смелым шагом меж роскошных, сиявших белизной и нетронутостью, уставленных с обычным излишеством длинных пиршественных столов прошли в дальний угол, где их уже ждал отдельный маленький столик.

Они сидят, как братья-близнецы, блондины, сероглазые, с одинаковым перманентом, и чокаются чопорно, служебно, немного печально, пьют сладкий портвейн, небрежно закусывая соевыми шоколадными батонами, и загадочно, томно усмехаются, то ли тому, что они пьют, то ли тому, что они в этом зале одни знают.

Зачем они вызваны и по накладной, по перечислению выписан им портвейн и соевые батоны? Кто в первые часы Нового года отгуливает, веселится последние часы своей вольной жизни? Не за этими ли тремя, в глаженых костюмчиках, что сидят в отдалении, в одиночестве, на высоких круглых кожаных табуретах бара, активно чокаются и что-то грустно, чуть слышно бормочут друг другу?

А это были мы, у нас не было пригласительных билетов, этих длинных глянцевых билетов с разноцветными елками и готическим шрифтом. Мы тоже прошли тем же внутренним ходом, будто жильцы гостиницы, будто только с поезда, с Дальнего Востока, и, когда били куранты и взорвался оркестр, сквозь фейерверк летящего на нас конфетти, стреляющих пробок шампанского проникли за толстую портьеру, и эту минуту ликующего крика, когда внезапно и сразу забываются все прожитые годы, все несчастья, потери, боль и тоска и есть только это наступающее, видное с вершины, под гром музыки, в короне жаркого света люстр будущее, сулящее, как и всегда и вечно, надежду на счастье, эту минуту мы пережидали неприкаянно, прячась за толстой портьерой, наедине с холодным ресторанным окном, глядя на немую, метельную Манежную площадь, по которой игрушкой катился мимо мертвых фонарей одинокий, пустой, замерзший троллейбус.

Но только стих первый шквал и поднялись из-за столов танцоры, мы вышли из укрытия и втроем, в мужской компании, привольно куря сигареты, с чувством приглашенных, которым надоело веселье, стали спускаться по лестнице в бар.

И тут, сидя на высоких, круглых, обитых хрустящей вишневой кожей табуретах, чокаясь бокалами, выпили шампанское за Новый год. Мы пили за тех, которых тут нет с нами, и шепотом, скорее одними губами, одними глазами произнося тосты, выпили за тех, которых берут этой ночью прямо от елок и праздничных столов, срывая ордена и медали, с мясом срывая погоны, а потом выпили за тех, на которых только сегодня выписаны ордера, а потом за тех, на которых завтра выпишут ордера, а потом за тех, на которых только получены анонимные доносы. Так мы сидели и пили...

— Гражданин, вы кого ждете?

Передо мной стояла женщина-администратор в строгом темном костюме и батистовой блузке, резко и лишне пахнувшая духами.

— Вы кого ждете? — повторила она.

— Самого себя,— вдруг сказал я.

— Тут не положено.

— Что не положено?

— Гражданин, русским языком сказано — пройдите, а не то поговорим в другом месте.

— В каком же другом?

— Вы знаете,— сказала она.

Я встал и тихо вышел. Администратор-женщина проводила меня взглядом до самых дверей, и швейцар в фуражке с серебряной канителью, стоявший у дверей с заложенными назад руками, тоже проводил меня взглядом, и я вышел с чувством, будто я что-то украл или хотел украсть.

Глава шестнадцатая

Фольгой сверкали снежные липы в сквере на Театральной площади, и сквозь медленно падающий в темном городе снег, как на картине прошлого века, стоял Большой театр с чуть подсвеченными колоннами.

Я прошел через заснеженный сквер, вдоль железной ограды которого вытянулась колонна длинных темных ЗИСов с кремовыми занавесками.

Нет, это не был веселый вечерний хаос, театральный съезд балетоманов. Это был строгий, почти военный, через определенные интервалы строй одинаковых, зеркально-лаковых, без единой царапинки, свободных, как дворец, лимузинов. Еще издали чувствовалось поле напряжения, отделявшее их от всего окружающего мира. Это были машины, спустившиеся с высокогорных дорог, с тех разреженных пространств, где нет регулировщиков, с желтыми фарами и окантованными в рамки парольными номерами, при виде которых земная трасса отдавала честь. Это были не машины, а аппараты, если кто приблизился, мог почувствовать не горелое смазочное масло, а чистое железо, шинельное сукно, аскетизм, всесилие.

Лимузины эти подкатывали к особому запасному подъезду и выходил один о н, как бог, а потом его соратники цепочкой, как апостолы, и вокруг была пустыня улиц и стояла чуткая, намагниченная тишина.

Когда лимузины мягко сдвигались с места, рванувшись вверх желтым светом и лягушачьей сиреной, за ними с той же скоростью шли цугом «Победы» с моторами «мерседесов», и кавалькада проносилась бесшумно и молниеносно на зеленой волне спящего города.

Шофера в кожаных пальто и министерских пыжиковых шапках стояли тесным своим кружком, как члены одного ордена, намертво спаянные, крепче, чем может спаять какая-либо современная сварка, круговой порукой, подачками, привилегиями особого секретного положения. Они не были ни главными фигурами, ни их помощниками, ни даже помощниками тех помощников, они были только подсобники, но они в службе, да и вне службы жили в ином, особом, озонированном высшем мире, и разговаривали они между собой будто молча, будто не открывая рта. И такая тишина была огромная, глубокая, все окаменело, онемело, и в небе над колоннами кони застыли в полете

под темными, рваными зимними тучами; казалось, еще миг, и они не выдержат этой гнетущей тишины и улетят вместе с тучами в великую вольную вселенную неба.

Вдали, у ступеней Большого театра, вышагивало несколько сержантов милиции в добротных, несержантских шинелях, а в тени у колонн и под заснеженными липами как бы нечаянно торчали немые, темные силуэты.

Я на миг остановился, очарованный и пораженный волшебными пропорциями вечной и великой простоты коринфских колонн и подсвеченных коней Аполлона, и ко мне уже приближался силуэт в черном длиннополом пальто, и, очнувшись, я стал уходить.

Казалось, и деревья смотрели на меня хмуро и неодобрительно, и извилистая тропинка через снежный сквер вела куда-то, куда бы и незачем, совсем не надо было бы идти, и я попытался свернуть на целину, но это совсем показалось диким, и несуразным, и очень подозрительным, и я поплелся одинокой протоптанной тропинкой. Неведомая сила тянула меня между белых деревьев к колоннам, а я, стараясь не глядеть на колонны, и на машины, и сержантов в тонких шинелях, прогуливающихся по пустынному проспекту перед колоннами, и вообще не глядя ни на что, пряча глаза, как сквозь минное поле, прошел через пустое пространство у Большого театра.

Длиннополый провожал меня взглядом, и шоферы в министерских шапках очень чутко, почти все сразу взглянули на меня. Я шел, подключенный к высоковольтной линии, пересек дорогу к ЦУМу, где в больших, зеленоватых от неестественного света витринах навытяжку стояли манекены с лаково глиняными лицами, карминными, будто накрашенными губами, в пиджаках, которые распирала широкая мужественная грудь, и почему-то они тоже казались переодетыми агентами, назначенными стоять в витринах. Я шел, освещенный неоном, и еще двоилось и троилось в глазах, пока на углу Кузнецкого не попал в тень, и только тогда я почувствовал, как упало напряжение и как я устал.

Я повернул на Кузнецкий мост.

Сейчас он был мертв, тяжелые дома с кариатидами нависали над узким ущельем улицы и давили меня, и лишь легкие, изящные куклы в высоких зеркальных витринах Дома моделей легкомысленно оживляли грустную кладбищенски-пустынную улицу, говоря о тщете этой жизни и превращении всего на свете в конце концов в кукольную комедию.

Большой Гастроном уже был закрыт. Был тот последний миг, когда продавцы убирали с холодильных прилавков окорока, сыры, и в кассах кассирши считали выручку, а у входа сторож в тулупе милосердно уговаривал запоздавших: «Не будем, граждане». В это время к магазину подъехала низкая, серая машина «Связь», из нее вышел артельщик в кожанке с оттопыренным бедром, с брезентовым мешком, ключом постучал в дверь, и сторож с той стороны открыл ему.

Все было закрыто и затемнено: магазины, кафе, пельменные, пирожковые, ярко освещены были только киоски «Мороженое», да еще замерзший мужчина продавал с открытого лотка новое академическое издание Данте. Я остановился и полистал Книгу ада.

В табачном киоске на углу горел свет, за замерзшим стеклом, среди разноцветных коробочек замороченный старичок в очках отщелкивал на счетах. Я тихонько постучал, старичок даже не поднял головы. Тогда я постучал сильнее и крикнул:

— «Беломор»!

Старичок вздрогнул, словно крикнули: «Пожар!»,— и поднял на меня испуганные, печальные глаза, в которых было несчастье недостачи. Я жестами показал: «Курить хочу ради бога» —и повторил:

— «Беломор».

Старичок, как загипнотизированный, отодвинул дощечку и молча выкинул пачку с синими линиями каналов.

— Спасибо, большое спасибо,— сказал я.

Сквозь стекло я видел, как старичок опасливо встряхнул счеты и начал все сначала.

Я жадно закурил и глубоко несколько раз затянулся дымом, и сразу мне стало как будто легче, словно я поговорил со старым верным другом и тот меня немного успокоил.

Глава семнадцатая

Я шел каменно-пустыми, как во время воздушной тревоги, улицами, будто из них вынули душу, язык. Длинные старые торговые ряды в стиле ампир, все эти мануфактурные, галантерейные, железно-скобяные, москательные лавки, миллионерские особняки были сплошь заняты мелкими и мельчайшими учреждениями.

Бесконечной чередой тянулись темные, мертвые окна бесчисленных министерств и ведомств, расплодившихся, отпочковавшихся друг от друга, разделенных, и вновь соединенных, и вновь раздробленных, разбухших, страдающих водянкой, разных добровольных обществ, за которыми не было никакого общества — одна вывеска, одно штатное расписание, одна печать, затопивших, заполонивших подворья, пассажи, боярские палаты, извозчичьи кабаки, кадетские корпуса, бордели, дворцы, иллюзионы, рестораны, гостиницы, танцклассы, вникших в древние стены, башни и башенки китайгородской стены, в подвалы и подземелья Маросейки, Варварки, Солянки.

У всех подъездов, тесня друг друга, вися друг над другом, было огромное количество вывесок и табличек, высокомерно золотых, маленьких, сереньких и совсем крохотулек, с какой-то татарской вязью, разных трестов, агентств, контор, конторишек, филиалов. И в окнах видны были заляпанные чернилами канцелярские столы, стеклянные шкафы, набитые папками, железные сейфы. Столы стояли в вестибюлях, под лестницами и выпирали чуть ли не на улицу. Всюду были комендантские будки с окошечками, как в тюрьме или лагере. Со звоном открывались железные ворота, и выезжали машины или мотоциклеты с фельдъегерями.

Я вышел на площадь Ногина. Огромное здание бывшего Наркомата тяжелой индустрии, в котором некогда наркомом был Серго Орджоникидзе, и куда я приезжал еще подростком из Сибири с изотовцами — горновыми и сталеварами,— и где теперь было Министерство угля, и Министерство нефти, и Министерство черной металлургии, и Министерство цветной металлургии, и различные главки, и все, все было освещено, и пылало, и, казалось, жужжало, как пчелиный улей.

Сталин не спал, и министры не спали, и их заместители, и помощники, и референты, и секретарши, и стенографистки, и главные бухгалтеры, и главные геологи, и главные сталевары, и главные прокатчики, и главные технологи, и курьеры, и буфетчицы, и самокатчики, и фельдшера, и телефоны ВЧ, и охранники, а там, по всей Великой стране, не спали секретари обкомов, командующие военных округов,

директора заводов, начальники шахт — вся страна перестроилась, перекроила свой день, свою жизнь на распорядок по организму бессонного генералиссимуса.

И пока он не спал, он где-то там бодрствовал, и курил свою трубку, и стоял у глобуса, никому не было спокойно, у всех было тревожно на сердце, и никто не спал и ждал, иногда просто сидел за столом и смотрел на телефон.

Я пошел вверх по Солянке, потом по Покровке. Улицы были мертвы, слишком ярко светились витрины, и свет их был безжизненный, бесцельный и какой-то наигранный.

Прохожу мимо магазина «Канцпринадлежности», и в неоновом свете так ясно видны все эти прекрасные и удивительные вещи — раскрытые готовальни, и на зеленом и черном бархате циркули и кронциркули, волшебные фонари, перочинные ножики. И я с азартом мальчишки все это разглядываю, смакую, владею этим, держу в руке и маюсь.

В сущности, я никогда этого не имел. Как же так случилось? Теперь я иду по улице и думаю, сколько же великолепных, чудесных вещей прошло мимо меня. Никогда не было у меня калейдоскопа, не было ружья, фотоаппарата-«зеркалки», не летел я на велосипеде по улицам в велосипедной каскетке в мелькании солнечных миражей. А позже ни разу не держал в руках, не крутил баранки, не чувствовал дрожи восьмидесяти лошадиных сил, мягких и покорных,—и мимо ночных строений, ночных теней, по асфальту дороги, к цели и бесцелью.

И вот еще что: правда, есть на свете Мадрид, Рио-де-Жанейро, есть Канарские острова, и Болеарские острова, и Огненная Земля. Или это только на голубой карте полушарий, там, в детстве, в писчебумажном магазине...

Где-то в покровских переулках свистел милицейский свисток, вслед за тем, казалось, послышался грохот выстрела, и ночной страх, каменный ужас пустого города коснулся меня и погнал вперед к свету, на широкую, как река, магистраль Земляного вала.

Метелица кружила, как в поле, и багровые фонари уходили в туман, желтея там вдали.

Одиноко катился троллейбус со снегом на крыше, замерзший, скрипящий. Он как бы случайно залетел на эту широкую улицу, и ему было холодно, студено на свистящем, открытом ветру, и он спешил поскорее укатить туда, вниз, к Орликову, и казалось, что там, в конце пути, его ждет теплое убежище. Не может же он так без конца кружить и кружить в метель.

Улица была просторной, пустой и вольготной, новые номенклатурные дома выходили на тротуар парадными мраморными портиками, и уютно и жарко светили сквозь метелицу своими широкими оранжевыми и голубыми окнами отдельных квартир, и говорили о радости жизни, покое, и резко контрастировали рядом смутные, узкие, немытые окна коммунальных комнатушек, в которых поверх занавесок видны были тени на стене, среди старой мебели. И я узнавал свою жизнь, пропащую и тусклую.

Я зашел в одинокую забытую телефонную будку и набрал номер. Из мертвой ледяной трубки послышалось: «Да, кто там?»... Я послушал, жадно вдыхая в себя этот мирный и уютный голос, и тихо положил трубку. Я не имел сил говорить, все во мне одеревенело. Я шел дальше мимо темных витрин. И вдруг совсем рядом завыло, задребезжало. Я вздрогнул. Громадный черный железный ящик милицейского телефона на углу дико гудел, и содрогался, и вибрировал.

С поста медленно, в огромных валенках и тулупе шел на звук сирены, весь в инее, регулировщик. Он открыл железный ящик, взял трубку и искоса взглянул на меня, и я, не оглядываясь, быстро пошел, чтобы не подумали, что я подслушиваю.

Почему-то всегда, когда мне плохо, тоскливо, я иду на вокзал в станционную сутолоку, в эту насыщенную электричеством атмосферу ожидания и надежды, словно к истоку своей жизни, и мираж обновления, иллюзорные чувства, что все начнется сначала, только уедешь на поезде, что все еще будет там, за далекими верстами, будоражат и успокаивают.

Очевидно, это привычка поколения, начавшего свою жизнь с вокзала, с прощания, с разрыва в самые юные чувствительные годы со всем прошлым, с детством, с отрочеством, отчим домом, первыми учителями, навсегда, напрочь, на веки веков.

До сих пор не могу равнодушно слышать в ночной тишине дальний гудок паровоза, хотя уже знаю, прекрасно знаю, чем все это кончается. Гудок на самой высокой щемящей ноте уводит вперед, в раскрытые поля, вдаль, за леса, за горизонт, и нет сил, просто нет желания противиться, снова и снова кажется, что все только начинается, все еще впереди, что все еще будет.

Каланчевская площадь трех вокзалов, ярко освещенная, жила своей бессонной ночной жизнью. По ней шныряли прохожие, и то и дело к вокзалам подъезжали и уходили машины.

Я пошел на Казанский. Толстая контролерша у входа крикнула: «Билеты!» Я сказал, что есть билет и, не останавливаясь, прошел. Запахло паровозной гарью, хлоркой, пеленками, густым до непродыха вокзальным воздухом, почти паром.

Вокзалы, как люди, неодинаковы. И если Ленинградский, или, как он назывался раньше, Октябрьский, а еще раньше Николаевский, вокзал — пижонский, аристократический, служебно-командировочный, пуст и звонок, пассажиры прибывают на такси почти к самому отходу «Красной стрелы» с портфелями или маленькими, артистическими чемоданчиками, кинозвезды, академики, генералы, иностранцы и, никогда не задерживаясь в ресторане или буфете, проходят на платформу, и редко встретишь пассажира с тюком или мешком, то Казанский вокзал — вокзал народный, плебейский, многонациональный, вокзал пассажиров дальнего, транзитного следования с огромными плетеными корзинами или деревянными чемоданами с замочками, и они прибывают задолго, может, за сутки до поезда, и тут и живут и спят.

У главной стены нерушимо стоял пятиметровый мраморный вождь в длиннополой шинели и полувоенном картузе, заложив руку за борт, и у его подножия роился, копошился, шумел, жужжал, колупал крутые яйца и чистил апельсины, храпел, томился, засыпал, и просыпался, и мучился пассажирский народ, а он, заложив руку за борт, с высокомерно каменным лицом поверх голов глядел вдаль, только вдаль, видел то, что никто не видел и не мог видеть.

Тут были древние старики, похожие на паломников, сибирские мужики в тулупах и пимах, узбеки в пестрых ватных халатах и тюбетейках, матросы Тихоокеанского флота, рязанские бабы, калмыки, ойроты, уральские рабочие, астраханские рыбаки, волгари,— здесь была вся Россия, жаждущая перемены места, куда-то ее несло, какие-то мечты, надежды и иллюзии, как огни паровоза, светились перед ними.

Пассажиры сидели и лежали на длинных дубовых, коричневых, костлявых скамьях с гербом НКПС на высоких спинках, некоторые

спали, другие ужинали, разложив на чемоданах пропитание, третьи просто ничего не делали, оцепенело ждали.

Над спящими детьми колыхались на ниточках разноцветные воздушные шары, массы воздушных шаров, красных, синих, зеленых по всему залу. Казалось, это сны детей. И почему-то было очень много бубликов, почти у каждого второго гирлянда бубликов, и еще авоськи с оранжевыми апельсинами, а в мешках угадывались белые батоны.

В зале стояло сдержанное жужжание ночных разговоров, окна звенели и вибрировали.

Между скамьями медленно прохаживался сержант милиции, коренастенький, с сильными плечевыми мышцами мужичок, в новой, синей, аккуратной шинельке, упакованный в новенькие желтые ремни, в зеркально начищенных сапожках, с молодым, монгольского типа бдительно-напряженным лицом, не выдерживающим ответственности. Он пронзительно вглядывался в лица пассажиров. Некоторые простодушно, как кролики, смотрели прямо в его глаза, другие отворачивались, а иногда сержант время от времени останавливался и гипнотизировал кого-то специально им избранного, узнал ли он его по словесному портрету, или показался ему подозрительным, или просто решил проверить, поджарить на раскаленной сковородке подозрения. Теперь он это делал с безруким инвалидом в старой, как бы ржавой, продымленной шинели с подвернутым рукавом и в такой же старой ржавой цигейковой шапке. Инвалид не обращал на него внимания и крутил единственной рукой цигарку, заклеил ее языком, потом, прижав обрубком коробок, зажег спичку, закуривая, запыхтел, пустил густое облако дыма, которое не рассеивалось долго, как бы не желая расставаться с владельцем, стояло над ним, а он все так же и не думал обращать внимания на упрямо стоящего и гипнотизирующего сержанта, чихая на его гипноз, на его интерес, на его лычки, на его новенькие желтые ремни и кобуру с пистолетом, на его начищенные и переначищенные сапожки, на все его подозрение и бдительность, покуривал и покуривал, с наслаждением пыхтя и пуская вверх дым, который стоял уже туманом над ним, пока сержант, не нарушив своего гранитного спокойствия, сказал:

— Куда едешь?

— Куда надо, туда еду.

— Документы!

Инвалид докурил цигарку, послюнявил окурок, зажал в кулак, спрятал в карман, неторопливо полез единственной рукой за пазуху и вынул какую-то тряпку, развернул тряпку и достал оттуда мятые и перемятые серые бумажки. И глаза его глядели равнодушно и печально, глаза, притерпевшиеся ко всему, что могло бы случиться.

Сержант читал серую бумажку долго, внимательно и напряженно, как бы запоминая наизусть каждую буковку, потом перевернул — нет ли чего на обороте, сложил ее вчетверо и вернул инвалиду.

— Что, правильно, начальник? — спросил инвалид.

Сержант, не отвечая ни слова, повернулся и пошел по проходу между протянутых ног, храпящих тел, в вокзальном дыму и смраде.

Инвалид завернул бумагу в тряпку, вздохнул, запихал тряпку назад за пазуху, сел на свое место, уставившись в одну точку своими равнодушными, притерпевшимися глазами.

Теперь сержант взглянул на меня, но мельком, словно проколол и пропустил. И прошел дальше.

— Цыц, вот я тебя милиционеру отдам,— сказала баба проснувшемуся ребенку. И тот замолк, завороженно глядя на синий сон с малиновыми кантами.

Глава восемнадцатая

У теплой вентиляционной решетки метро стояла и грелась замерзшая девчушка в меховой жакетке и туфельках на микропорке, худенькая, с охальным курносым личиком, кукольно-порочным, зеленоглазая, замерзшая и веселая, продувная. Она дерзко-небрежно поглядывала на проходящих командировочных пузачей с разбухшими портфелями, разных там пижонистых чуваков, фыркала и вдруг кому-то молодому и симпатичному ликующе выдавала нежную, детскую улыбочку.

Она посмотрела на меня и как-то удивленно повела бровями, словно передала таинственный знак.

Я замедлил шаг, взглянул на часы и остановился, серьезно и озабоченно поглядел в широкое окно на улицу, будто ожидая кого-то, будто кто-то обязательно вот-вот должен подойти.

Это была одна из тех блуждающих девчонок, из того сиротского, горького легиона приезжающих зайцем и по билетам с плацкартой для поступления в кинозвезды, из которых бедные непризнанные художники подбирают натурщиц-любовниц.

Нет у них ни жилья, ни прописки, а иногда еще и паспорта нет, одна метрика. И ночуют они у случайных подруг, у случайных старушек в каморках лифтерш и татар-дворников, а то, бывает, и просто у прохожего мужчины, а иногда и на лестничной клетке, на самой верхотуре, где и квартир нет, лишь глухой проход на чердак.

Замечено, что подбираются они обычно по росту и меняются туалетами. Смотришь, жакетик или юбчонка из пледа с бахромой, или бронзовая лошадка на цепи то на одной, то на другой.

По утрам они собирались обычно скопом из разных районов города, где они продремали эту ночь, кроме тех, которые как раз в это утро были вызваны в киностудию открыткой, или шли по объявлению или личному приглашению случайно встреченного режиссера, или оператора, или директора, или ассистента, или осветителя, или просто случайного жулика, кроме тех, которые именно в это утро восседали на троне где-то в Сретенском переулке, или на Масловке, или в Измайлове, обнаженные, дрожа от холода, позируя художнику или измазанному гипсом или глиной скульптору, который по молодости лет, увлечению и горячке работы не замечал холода; кроме тех, которые в это утро толпились у дверей отдела кадров ЦУМа, или Дома моделей на Кузнецком, или же на актерской бирже на Неглинной, в этой шумной, дикой сутолоке, нанимаясь в советские герлс, в дикие мюзик-холлы, левые джазы, снегурочки, в Кимры, Арзамас, Чарджоу. Так вот остальные собирались ранним утром скопом на заранее уже договоренном месте, на Центральном телеграфе или Центральном почтамте на Кирова, или в какой-нибудь пирожковой или пельменной на Петровке, где было тепло, и собравшись и сложив выбранную, выкарабканную из всех карманов мелочь серебром, а иные даже бумажками, складывались, и пили чай с горячими пирожками, и рассуждали, и советовались, и планировали, как и где им провести сегодня день, и тут же в туалетной менялись кофточками и туфлями или джемпером.

Потом забегают в комиссионку, хотя в сумочках только пачка «Шипки» и коробочка спичек, а вечерами сидят в коктейль-холле высоко на вертящемся табурете, заложив ногу за ногу, с сигареткой в зубах, сосут из соломки зеленоватый, с плавающим желтком, коктейль и рассуждают:

— Я утончила ему образ.

— А мне завтра лицо нести,— грустно отвечает другая.

Ночью их никогда нельзя было встретить вместе, в одной компании. Они разбредались по всему городу, правда, главным образом в пределах Садовой, где в коммунальных квартирах, в комнатушках жили эти художники, режиссеры, опереточные актеры, адвокаты, либреттисты, танцоры, авторы скетчей, скульпторы, юрисконсульты, синхронные переводчики, люди свободных профессий, старые и молодые холостяки.

Я все смотрел в окно. Хлопьями падал снег, на тротуаре было пусто и дико, я искоса осторожно поглядел на девчурку, и она, как бы уже готовая к этому, как бы заранее все разыграв в своей душе, откровенно и весело улыбнулась: «И никого ты не ждешь, скорее иди сюда, поговорим, мне ведь тоже одиноко и тошно».

Я понял и той же абзукой Морзе передал: «Иду». И двинулся, как на свет светлячка.

— Здравствуйте, добрый вечер,— сказал я.

— Приветик,— ответила девчурка.

Подтаявшие, мокрые от снега ресницы потекли черным, и, глядя в зеркальце, она сделала маленький ремонт.

— Греемся? — сказал я.

— Ага.

Она вынула из кармана пару карамелек, одну кинула в рот, другую дала мне.

— Долгоиграющая,— сказала она.

Стекляшка была мятная, холодная и долго не таяла во рту.

— Как вас зовут? — спросил я.

— А вас?

Я сказал.

— А мое имя есть в опере «Евгений Онегин». Угадайте.

— Татьяна?

— Молодец,— удивилась она.

— А где вы, Танюша, живете? — спросил я.

— Любовник, мерзавец, женился,— беззлобно сказала она и рассмеялась.

— А где же вы ночевать будете?

— А вы живете один? — спросила она.

В пустынном вестибюле метро неожиданно появился какой-то белый от снега ферт в шапке «пирожком». Он сразу же, с ходу не понравился мне (только отчего шапка-«пирожок», они ведь все ходят в ушанках, а может, этот высшего разряда?).

Мокрый снежный ферт крупными деятельными шагами прошел к телефону-автомату, закрылся в будке и стал набирать какой-то номер. Он звонил ужасно долго, но ни разу не говорил. Я хорошо видел, что он даже ни разу не открывал рта, бросал монету, набирал номер, но то ли было занято, то ли просто не отвечали, вешал трубку и тут же начинал все сначала. И почему-то все казалось, что поверх диска он глядит в нашу сторону.

— Чего ему от нас надо? — сказал я.

— Плевать,— сказала Таня.

Она нагнулась и, поправляя чулок, неловко, как бы случайно чуть выше приподняла юбчонку, и над чулком синела голубая наколка: «Как мало прожито годов, как много сделано ошибок».

— Может, это за тобой? — спросил я.

Она пожала плечиками и рассмеялась:

— А я не боюсь.

Ах, если бы и я мог так же нахально, щебечуще, отвлеченно сказать: «Я не боюсь».

Нет, я боялся, я очень боялся, и все, вызванное случайной встречей, радостное возбуждение, вернувшее меня на миг в тот давний, привычный и уютно-веселый мир легкомысленной жизни, сразу остыло и растаяло, и осталась только эта круглая, уже ненавистная физиономия за стеклом автомата, как заведенная кукла, беспрерывно крутившая диск.

— Ну, однако, я пошел,— сказал я.

— Куда? — удивилась Таня.— И зачем?

— Надо.

Я сбежал вниз в метро и в конце коридора еще раз оглянулся, не увязался ли за мной ферт в «пирожке».

На самом ли деле ему надо было так экстренно ночью звонить и он не мог дозвониться и нервничал там, в кабине, или он просто разыгрывал комедию и ждал меня или же ждал ее, пока она освободится, пока я с ней договорюсь или не договорюсь, пока я не надоем ей и она увидит, что с меня нет никакого толка, и обратит внимание на него. И для этого он поворачивался там в кабине, показывал анфас и в профиль свой каракулевый «пирожок». Интересно, что было, когда я ушел, улыбнулась ли она ему той же улыбкой и глядела на него теми же родственными глазами, что и на меня, тут же начисто, навсегда забыв о моем существовании.

Метро уносило меня вдаль, за окном только вспыхивали, гасли и пропадали туннельные огни, и поезд останавливался, кто-то входил, и кто-то выходил, и проплывали освещенные платформы, белый и красный мрамор.

В метро непонятно каким образом залетел воробей и проник на платформу. Это был обыкновенный серый городской воробушек, испуганно-взъерошенный, несчастный, и дежурный в красной фуражке гикал на него и гонял сигнальной указкой, словно он грозил крушением поездов. А воробушек юрко и ловко летал между мраморными колоннами с прислонившимися к ним скульптурными символами современного общества. Испуганный, взлохмаченный, он сел сначала на фонарь шахтера, потом перелетел на круглую шляпу сталевара, потом сел на автомат пограничника, потом спрятался за собакой партизана. Пассажиры, останавливаясь, наблюдали затейливую эту охоту. Воробушек взвился наконец вверх и долго бился о каменные своды и не мог, никак не мог найти выхода в синее небо.

Я оглянулся, и вдруг бросилось в глаза чье-то внимательно глядящее на меня лицо. Так оно было или только казалось, снова я заметался, я зашел за колонну и обождал, не появится ли он, не ждет ли он меня. Потом я сел в ненужный мне поезд.

Я забрел пустыми коленчатыми переходами куда-то в странное место. Вокруг не было ни одного человека. Только мраморные колонны и за ними бесконечный мраморный коридор с голубым жужжащим светом. Неизвестно откуда подуло холодным, мертвым ветром, как из мраморного саркофага. И вдруг меня охватило чувство конца, чувство обреченности. Я поднял глаза и прочитал: «Входа нет», «Выхода нет».

Я рванулся назад, к эскалаторам. Они уже не работали. Я побежал вверх, туда, к синему свету. Я бежал и выбирался, как из колодца.

Там, наверху, стоял милиционер в толстой синей шинели. Он взглянул на меня, пошел открывать тяжелую входную дверь.

Я вышел на незнакомую, сумрачно освещенную площадь и увидел несущиеся по небу рваные, темные, хищные облака и глубоко вздохнул.

Как тоскливы эти дома, эти далекие, чужие мне дома, и этот перекресток, и вся эта жизнь, ничего не знающая обо мне и о которой я ничего не знаю.

Я сел в троллейбус. Машина катила незнакомыми улицами и остановилась в темном, забытом и глухом переулке. Вот тут я сойду. Я кинулся к двери, и вдруг мне показалось, кто-то ждет меня в нише возле дома, кто-то стоит, прижавшись спиной к стене в тени ниши, и ждет меня. И я отпрыгнул назад так неожиданно, что дверь захлопнулась перед самым лицом, и вожатый сердито оглянулся, и пассажиры усмехнулись: «Спать не надо». Сердце колотилось как барабан. Откуда же он мог знать, что я решил сойти именно на этой остановке? Или они ожидают на всех остановках? И они все знают наперед, все на свете, то, чего ты сам еще про себя не знаешь?

После этого я долго тихо сидел в углу троллейбуса и не смел сойти. Проплывали мимо загадочные ночные улицы, троллейбус много раз останавливался, заворачивал, катил мимо каких-то длинных фабричных корпусов. Люди выходили и входили, и я внимательно разглядывал их. Мелькали освещенные витрины, темные, серые спящие кварталы.

И уже кажется, что троллейбус заблудился, без цели петлял, летела улица, и улица слилась в один дом, туманный, словно разворачивался серый каменный свиток, бесконечный, безнадежный, скупой тусклый свет, немота и убаюкивающий, терпеливый сон, в который проникали сигналы, щелканье переключателя и мягкий, осторожный шорох растворяемых и затворяемых дверей.

Когда я очнулся, бежала темная лента Москвы-реки с клочьями тумана над черной водой. У каменного парапета, впаянный в береговой лед, стоял ресторан «Чайка», светя тройным огнем сквозь замерзшие стекла узких окошечек. И на миг оглушила малахольная музыка ресторанного джаза. А на том берегу открывался вольный заснеженный лес Воробьевых гор, и, как всегда, потянуло туда жить, и подумалось, как душно, как ужасно, как порочно жить в каменных ущельях города.

На какой-то остановке троллейбус опустел, и я остался один. И тут мне показалось, что кондуктор с сумкой на плече, притворяющийся спящим, на самом деле внимательно, из-под фальшиво прикрытых век наблюдает за мной. Я поднялся и пошел к выходу, стараясь не встречаться с взглядом фальшивого кондуктора. И тут я вдруг заметил, что водитель, вертя баранку, глядит в зеркальце над собой и тоже очень внимательно следит за моим продвижением к выходу. Мимо бежали дома-призраки, кондуктор и вожатый сговорились и везут меня по определенному маршруту куда надо.

Кружится, кружится троллейбус, поворачивается, как на шарнирах, входит в глухоту ночных улиц, таких пустынных, печальных, словно это не дома, а мавзолеи, надгробья, и вдруг площадь, взрыв огня, вспышка неонового света, яркая цветная городская карусель, но тоже безлюдная, грустная, бессмысленная.

Я стоял у выхода и ждал.

А троллейбус безостановочно летел вдоль длинной, бесконечной улицы, увозя меня, слышалось только ширканье шин.

Неожиданно в машине погас свет, и улица, словно срезанная, словно взорванная, отрывается, и мягко летит навстречу открытое

темное поле, с рассыпанными звездами, и троллейбус, огибая снежный сквер, внезапно останавливается.

— Ко-ня-ячная остановка,— гундосо говорит кондуктор и окончательно засыпает в своем кожаном кресле с билетной сумкой на груди.

Я вышел. Было пусто и грустно, как только может быть на конечной остановке.

Я пошел по чужой и ненужной мне улице, мимо чужих и ненужных домов, куда-то в даль, ничего не обещающую.

Все дома были похожие друг на друга, серые, тошные, и запах исходил от них казарменный, помойный. И только в одном доме на высоком этаже светилось единственное окно, как воспаленный глаз. И казалось, он следил за мной, куда я, туда и он, и некуда было деться от него, ни во тьму, ни в тень, ни за угол. Он проглядывал эту матерую, эту пропащую ночь там, на окраине, где я был не нужен, случаен, неприемлем.

А зачем я оказался на этом чужом, пустом, метельном поле...

Глава девятнадцатая

Кафе «Националь» светилось большими и яркими веселыми окнами сквозь падающий снег. Теперь кафе было открыто до трех часов ночи. Это сохранилось еще со времен коммерческих ресторанов, когда Сталин дал вдруг волю ресторанному веселью.

Бывало, в полночь и даже после, если не спалось, я вдруг вставал, одевался и ездил на метро, а если метро уже было закрыто — на ночном троллейбусе или пешком приходил сюда и словно во сне попадал в пьяную комедию, и острое чувство существования жизни вне зависимости от тебя, от того, что ты делаешь, спишь или бодрствуешь, завораживало и озадачивало.

Знакомый швейцар поприветствовал меня, не удивляясь, а я сделал утомленный вид, будто только с ночного ответственного заседания.

В кафе свет был притушен, и в полумраке, в бликах вертящегося на потолке зеркального шара, крутились в вальсе пары. Они проплывали мимо, а я будто подымался из подземелья к веселому, своевольному мотивчику и легкой пустяшной жизни.

Глушивший меня страх как-то отошел, оттаял, будто я ехал на тихом велосипеде. Казалось, я видел страшный фильм, а теперь он кончился.

Все было как всегда. Ночная жизнь кафе шла своим чередом, по своим особым законам. Тут был тот, кто должен был быть в этот час. Ежевечерне одна и та же компания из шестимиллионного города отслаивалась, просеивалась и собиралась за этими столиками.

Это было время, когда все еще жили в пр елах Садового кольца, в огромных коммунальных квартирах, и Сокол, или Сокольники, или Измайлово были дальними окраинами, а Воробьевы горы — подмосковной дачей.

Каждый вечер, зимой, часам к десяти-одиннадцати, а летом к полуночи, после гулянья по центру от памятника Долгорукому до гостиницы «Москва» и обратно, по той стороне, где «Арагви», коктейль-холл и кафе «Мороженое», которое после будет называться «Космос», каждый вечер тут собирались всегда одни и те же, и все знали друг друга, и только приходили, уже звали их к столикам из

разных уютных, симпатичных уголков, одних или с девушками, постоянными или случайными, которых подцепили только что под светом фонаря у Центрального телеграфа, и потом до трех ночи, когда все компании перемешаются и непонятно, кто с кем, и окончательно это только выяснялось, когда тушили главную люстру, оркестр играл отходную, а потом тушили и остальные люстры, и уже в сумерках между опустевшими столиками уходили последние, и ясно и резко было видно, кто с кем уходит окончательно. Неважно, совсем забыто было, кто с кем пришел, это было до, до Вавилонского столпотворения, до потопа, до выяснения отношений, и теперь смешно и нелепо.

Я и сам иногда, больше всего летом, ходил в эти компании, в эти быстро составляющиеся и так же быстро распадающиеся междусобойчики, а иногда и сабантуи с шампанским, с цыплятами-табака, с ананасами. Но скорее я грелся возле них, не кипел кипятком их страстей и интриг, слухов, и переживаний, и катастроф момента. То ли я был нелюдим и слишком одинок и не мог напрасно на всю катушку нервов сходиться с людьми, то ли было слишком скучно и вяло насыщаться одним и тем же, но никогда я не входил в компании крепко, как застрявший нож, а к тому же я еще и не пил так, чтобы забыть все на свете, кроме того, что мельтешит перед глазами в этот миг. И теперь, когда явился вдруг ночью к концу, все уже были на взводе или вовсе пьяны и растворены в этой сиюминутной жизни, словно надышались веселящего газа, и никто меня в тумане и не заметил, и не позвал к себе, и я сел в дальнем свободном углу за столик один.

И странно и невозможно было представить себя в компании. Неужели и я когда-то занимался этим, и это имело для меня значение, и, бывало, за столиком я обижался и ликовал, и полон был мелкого тщеславия и целевых мыслей.

Никто из сидящих тут не знал и не догадывался, что со мной случилось. А я из той, как бы потусторонней жизни наблюдал их, муки пережитого обострили мое зрение. И с остротой и проникновением уже умершего, с того света, я видел и прозревал, и понимал, чего каждый из них на самом деле стоит.

Здесь был некогда знаменитый, раздавленный жизнью и официальной критикой писатель с серой гривой, похожий на больного льва. Тихо и сердито, сидя за еженощной рюмкой коньяка, уже подшофе, он говорил афоризмами, вокруг него теснились почитатели, прихлебатели, а он глубоким, как львиный рык, голосом рассказывал им байки. Рядом сидел друг его детства по южному городу, человек, известный под именем «брат антрепренера Карузо». Этот не слушал своего идола, весь был занят поеданием оставшейся на столе от веселой компании куриной котлетки и еще икры. Придвинув к себе блюдечко, он ножом на тоненьком-тонюсеньком ломтике хлеба размазывал икринки и с тихой жадностью поедал, весь отдавшись процессу сосания. До него не доходило ни одно остроумное положение, ни один софизм, ни одна хохма, на лице его было написано тихое наслаждение, и он только про себя шептал: «Нет, никто так не любит икру, как я люблю»,— и крутил головой. Съев икру, он задремал, привалившись к спинке стула, и бог весть что ему снилось: градоначальник Одессы Дюк Ришелье или участковый уполномоченный, потому что он потерял паспорт и вот уже год боялся об этом заявить. Был ли он действительно братом антрепренера Карузо, и был ли его брат антрепренером Карузо, никто этого не знал, но так его звали.

Тут же сидел и жадно все слушал миниатюрный, с кукольно-пугливым личиком, скромный инженерик, приезжавший на собственном

«Москвичке», гениальный создатель трикотажной фабрички при сумасшедшем доме Краснопресненского района с использованием амортизированных станков, «левой» вискозы и дарового труда малахольных, которым была прописана трудотерапия, призрачного теневого предприятия, не зарегистрированного ни в одном титульном списке и финансовом органе, подпольный миллионер, более ловкий и жизненный, чем Корейко и Остап Бендер, портрет которого через несколько лет был напечатан в центральном органе как разыскиваемого опасного преступника и который в конце концов был захвачен в импортном платяном шкафу, где для него построено было ложное отделение с дырочками для дыхания.

Был еще налитый коньяком всех марок и звездочек, известный под именем Валентин-коньячный, бродячий скульптор, член МОСХа, разъезжавший со своей левой бригадой, шарашкой, по национальным республикам, изготавливая по шаблону высокохудожественные и высокоидейные статуи, бюсты, барельефы и горельефы Генералиссимуса, а кроме того, еще скульптурные портреты местных дважды Героев Соцтруда — чаеводов, хлопководов и свекловодов. В одном северном совхозе герой приходил к своей собственной статуе на центральной усадьбе пьяный и плакал, жалуясь своему изображению на обиды действительные и мнимые, и однажды заснул, и во сне умер от разрыва сердца, и потом его хоронили с музыкой, и у бронзового бюста говорили речи, что он навсегда сохранится в памяти и сердце, а он лежал со строгим лицом и недовольно слушал речи.

Был тут и человек с греческим профилем, уроженец «русского Марселя», сосед Мишки Япончика с Молдаванки, по прозвищу «Мацонщик», юнгой объездивший весь мир и дравшийся в кабаках Антверпена, Сингапура и Буэнос-Айреса, говорящий на арго и знавший двенадцать языков. Он медленно и серьезно поедал свой диетический судак по-польски, запивая «Ессентуками № 17», и гнусавым восторженным голосом рассказывал своим слушателям, оглохшим и обалдевшим от его баек, о своем последнем открытии сюртука Пушкина. А потом он им наизусть читал сцены из своей пьесы, где главными действующими лицами были знаки препинания: запятые, точки, двоеточия и тире, восклицательные и вопросительные знаки, многоточия и скобки, и кавычки — и которая называлась «Чернильные человечки».

Отдельно, за угловым столиком, на одном и том же, постоянно абонированном месте роскошно сидел Тим Тимыч, комфортный мужчина в модном твидовом пиджаке, в белейшей и редчайшей в те времена нейлоновой рубашке с широким цветным галстуком в полоску и манжетами с фальшивыми бриллиантовыми запонками. Он поедал шницель по-министерски и говорил чарующим голосом. Рядом с ним скучно, задумчиво пил даровую чашечку кофе некогда модный, но давно вышедший в тираж сценарист, основоположник эмоционального кино, который был должен деньги всем сидевшим в кафе, и метрдотелю, и официанткам, и буфетчицам, и служителю туалета. Нынче ночью он с Тим Тимычем договаривался о соавторстве. Тим Тимыч выплачивает ему аванс, не очень жирный, но достаточный, чтобы обедать и ужинать без коньяка, а зачинатель эмоционального кино за месяц напишет пьесу на актуальную, злободневную тему с двумя действующими лицами, с тем, чтобы ее могли поставить все театры. Основоположник предлагал Тим Тимычу даже одно действующее лицо, а выпив коньяку, сделал предложение даже о половине действующего лица, чтобы было только туловище, а ног не было видно. Тим Тимыч надеялся в итоге этой пьесы стать членом групкома драматургов, где сумеет получить справку и с не меньшим правом, чем

некоторые знаменитые драматурги, нанимавшие поденщиков, будет ходить на собрания секции драматургов, обсуждать и прорабатывать безродных космополитов, а может, получит за пьесу Сталинскую премию хотя бы третьей степени, и, размечтавшись и развеселившись проектами, Тим Тимыч заказал основоположнику тоже шницель по-министерски с яблочными пончиками.

Здесь же был и некогда многообещающий молодой писатель, создатель телеграфного стиля, четверть века назад написавший, что море пахнет арбузом, который с тех пор уже больше ничего не написал, но ежедневно играл в писательском клубе в бильярд, и выигрывал и пирамидку, и американку, и этим имел пропитание. Но с тех пор, как он написал, что море пахнет арбузом, у него сохранилась язвительная, высокомерная к остальным метафорам и сравнениям улыбка, и он никак не мог прогнать ее с лица. Он так давно и упорно ее изображал, что со временем она застыла в мучительную маску, и теперь просто казалось, что у него болят зубы или, может, воспаление желчного пузыря.

Ходил сюда и молодой, официально не признанный скульптор, похожий на борца, говорят, сработавший гениальные скульптуры, которые никто не принимал на выставку и даже не хотел смотреть.

Недавно он получил заказ на горельеф по проекту реконструкции крематория и сделал эскиз: мертвый юноша, и вокруг стоят скорбные, плачущие люди, лишь одно дитя на руках матери смеется и, ликуя, срывает яблоко на яблоньке, выросшей из сердца умершего юноши, и вокруг летают голуби, ветвистые бегут олени, плывут сказочные рыбы, сияет солнце, жизнь продолжается...

Директора крематория только назначили на этот пост, до этого он был административным полковником, ушел в отставку на пенсию, и вот его перебросили сюда, и сначала он был недоволен, а теперь ничего, привык, работа как всякая другая, не лучше и не хуже: «Выдача праха от 9 до 4», «Перерыв на обед от 2 до 3».

Директор просмотрел эскиз, и он ему не понравился.

— Безыдейно,— сказал он.

— Как раз наоборот,— сказал скульптор,— идея вечной жизни.

— Слышь-ка,— сказал директор-полковник доверительно,— ты ведь наш человек, ты воевал, слышь-ка, сидел, ты наш человек. Зачем ты крутишь, ну зачем выпендриваешься?

Скульптор ответил:

— Слушай, ты в этом мало смыслишь, ты лучше больше и чище жги.

— Аудиенция окончена,— обиделся полковник.

Через несколько дней скульптора вызвали на заседание, и директор объявил официально:

— Вот, товарищ, мы тут просмотрели ваш эскизик, посоветовались и коллегиально решили: много у вас пессимизму, пессимизму много, понимаете? А нам что надо? Нам надо людей на трудовой подвиг поднимать!

Вообще это место посещали только прорабатываемые, а те, кто прорабатывал, сюда, как правило, не заходили. Те собирались на загородной даче или на специально нанятой для этого квартире, и у них даже был свой казначей, собиравший взносы и вербовавший мессалин. Лишь главный их теоретик с щеками, как румяные пончики, иногда заходил сюда, всегда в одиночестве, выпивал свои ежедневные триста граммов, закусывая китайской сигаретой, и потом на вешалке, вручая номер, говорил: «Подготовьте материалы для одевания».

Позже всех капризно вошел, капризно сел Эгилий Сияльский, лощеный, червонный валет, с набриллиантиненными волосами, бархатными глазами мазурика, вечный мальчишка, несмотря на свои три-

дцать лет все еще ходивший в толстых капризных вундеркиндах. Некогда гадалка пророчила ему баснословное будущее, и, когда он еще учился в школе, мама ежедневно выдавала ему премию за гулянье — пирожное эклер за дорогу от памятника Гоголю до памятника Пушкину. Он немного знал по-французски и всегда ходил с номером «Париматч», немного боксировал, немного играл в пинг-понг, умел на фортепиано, несколько раз участвовал в киномассовках, однажды даже написал брошюрку и ходил со справкой, что представлен за брошюру к Сталинской премии. Он был знаком со всеми знаменитостями, знал все личные и общественные истории, переходил от столика к столику, присаживаясь, рассказывал новости и старые анекдоты и сам слушал новости и старые анекдоты и наконец присел к двум девчонкам и, приподняв широкие темные брови, с повышенной миной стал рассуждать.

Подошла официантка и спросила: «Что тебе, Эгилий?»

— Болгарские сигареты и две коробки спичек,— капризно кинул он.

— О, Эгилий шикует сегодня,— сказала одна из девчонок.

— Еще бананы,— сказала вторая.

Эгилий сделал гримасу.

— Знаете, на что они похожи? На подмороженную картошку, попрысканную одеколоном.

А я даже напиться не мог. Другие напиваются в таких случаях, и им хорошо, на один вечер хорошо. На следующий вечер они снова напиваются, и им снова хорошо. И так они делают каждый вечер, они все время во взведенном состоянии, и им всегда хорошо.

Меня мутило после второй рюмки, и ничто не заглушало, а было еще хуже. Я даже не пробовал напиваться, а только глядел, как это делали другие. И меня воротило даже от этого зрелища.

Вдруг опять повторилось то же самое, что в троллейбусе. Я заметил, что флейтист, наигрывая на своей флейте, глядит прямо на меня. Я стал увиливать от его взгляда, я закурил, я наливал воду в бокал, пил, глядел в сторону на танцующих, кому-то даже подмигивал, но когда как бы случайно взглядывал на флейтиста, он все не отводил от меня намертво уцепившегося за меня взгляда. И беспокойство охватило меня, и все подмывало встать и уйти. Я стал вспоминать, был ли он тут, когда я пришел. Но за это время флейтист стал смотреть совсем в другую сторону.

Сейчас я вдруг вспомнил, что весь день ничего не ел. Никто не подходил к столику и, когда я спрашивал: «Кто здесь обслуживает?» — на ходу отвечали: «Сейчас подойдут». Когда я снова спрашивал: «Где же официантка?» — отвечали: «Мало ли куда она могла пойти, она же человек».

И только когда потушили главную люстру и в наступившем сумраке оркестр стал собираться, подошел краснолицый официант-мужчина, на ходу жуя.

— Долго же вас не было,— сказал я.

— А что, я уже покушать не могу?

От него разило коньяком, портвейном, перцовкой, всем букетом недопитого дармового ерша.

Официант сунул мне в руки меню, но там была только карта вин. Потом он пошел куда-то, долго его не было, и, все жуя, принес меню.

— Только холодное. Кухня закрыта.
— А что есть холодное?
— Все есть.
— Ну, дайте балык,— сказал я, читая меню.
— Балыка нет.
— Тогда осетрину с хреном.
— Осетрина кончилась.
— А что есть?
— Все есть.
— Тогда лососину.
— Кета есть,— сказал он.
— Дайте кету.
— Все? — спросил он и махнул в воздухе салфеткой.
— Еще кофе по-турецки.
— Кофеварка ушла.
— Тогда чай.
— Не бывает.
— Боржом.
— Ессентуки номер семнадцать,— твердо сказал официант.
— Хоть двадцать семь.
— Двадцать семь нет.— Он поджал губы.— Семнадцать.
— Ладно.

Официант снова разгильдяйски махнул в воздухе салфеткой, и пошел разнузданной, развинченной походкой эквилибриста, и исчез на кухне.

На эстраде музыканты, шумно разговаривая, собирались домой, пианистка со стуком закрыла крышку рояля и стала рыться в своей авоське, стоявшей под роялем, скрипач спрятал скрипку в футляр и одновременно что-то жевал, ударник собрал свои колотушки, треугольнички, спрятал в деревянный ящик и закрыл на висячий замок.

Мимо замерзших окон проходили тени.

Когда официант принес порцию кеты, все скатерти уже были убраны, стулья опрокинуты и поставлены на столы, из кухни потянулись повара, мойщицы с тяжелыми авоськами, процессию завершал кухонный мужик, тоже с полной авоськой.

На вешалке висело только одно мое пальто, гардеробщик снял свою фуражку с позументом и, стоя в синей шевиотовой кепке, поджидал меня, и я его не узнал.

Он взял номерок, выдал пальто, пошел со мной к закрытой двери, отодвинул задвижку, выпустил меня. Я услышал, как он снова закрыл задвижку.

Ветер кинул мне в лицо ворох холодного колючего снега, я жадно вдохнул свежий, какой-то таинственный воздух ночного города и пошел вверх по улице Горького к Центральному телеграфу.

В пустынном и сумеречном операционном зале несколько одиноких печальных фигур писали у конторок письма и телеграммы, и непонятно было, что пригнало их в этот поздний ночной час сюда: несчастный случай, раскаяние, ужас одиночества, желание исповеди.

Я подошел к окошку, и тоже взял телеграфный бланк, и пошел к конторке, на которой лежали тонкие замызганные ручки с испорченными перьями. Кому бы послать ночную телеграмму? Кому бы протелеграфировать свой крик, свою тоску, господи боже мой!

Я тихо положил ручку, оставив чистый бланк на закапанной чернилами конторке, и ушел.

Во всей огромной стране, на всей земле от Батуми до Чукотки, казалось, негде было скрыться, спрятаться. Я мог бы уехать к сестрам, ведь у меня были четыре сестры в разных городах, но в многочисленных анкетах в отделе кадров записаны все их адреса, и меня тотчас же найдут.

Или вот родственники. Но у меня не было родственников, то есть, наверно, они были, и дяди, и тети, и двоюродные и троюродные братья и сестры, которые, наверно, уже выросли, у которых были уже, наверно, взрослые дети, но большинство их я никогда не знал, а если и знал, то давно забыл, давно не видел, не интересовался родственными отношениями, считал это отсталостью и шутил над этим. Судя по себе, мне казалось, что в стране вообще не осталось родственных связей, казалось, они были давно разорваны, рассечены, раздроблены сначала гражданской войной, когда брат шел на брата, а потом классовой борьбой, когда сын не отвечал за отца, когда сын доносил на отца, а потом многочисленными мобилизациями, эвакуациями, подрывом всех родовых устоев, и еще страхом. Страх разъединял кровных братьев и сестер, в серной кислоте страха таяло и исчезало все — любовь, привязанность, благодарность, взаимная помощь, и выручка, и совесть. Да и кому я нужен был такой, в такое острое время классового напряжения.

Глава двадцатая

Жутко мне в этой ночи, в этих замерзших переулках с тусклыми мглистыми фонарями, старыми, ободранными до костей стенами, безмолвными окнами. Только теперь видно было, какой это старый, усталый город, все переживший, все претерпевший и упрямо и терпеливо переживающий и эту холодную, пустую, безнадежную ночь. А зачем? Разве не то же самое будет завтра, и послезавтра, и через год? И через десять лет будет такая же пустая, замерзшая, метельная ночь.

Внезапно я вышел на широкую, заснеженную площадь с замерзшим прудом. Я очистил скамейку от снега и сел под деревьями. Ветер шумел над головой. Мне казалось, падали звезды.

Пламя трещало и пробегало по торфяным болотам, то огонь медленно, тускло и мертво тлел, то вдруг, взрываясь, вспыхивал и рассыпался в ночи бенгальским фейерверком. Раскаленные берега горящих торфяников обнажались, изгибались, они похожи были на лежащие в графитовом море коралловые острова, которые от ветра колебались. Партизанские кони, привыкшие к зрелищу, бодро бежали сквозь дым и то выносили на ясный простор, то снова входили в дымовую завесу. Там, где огню уже нечем было гореть, земля лежала вся обугленная, в ядовитых, желтых и серых плешинах пожарищ.

Неживой, бледно-фиолетовый свет изредка заливал болото и потом медленно угасал, и снова наступала тьма и тишина.

Под Брестом он стоял со своей бригадой в лесу за железкой и за шоссейкой, как в девятом круге ада, вокруг на тысячу верст немцы и немцы, всё забили немецкие дивизии, полевая жандармерия и СС, и гестапо, и лагеря.

В рассветном осеннем лесу низко стелился дым костров, и между деревьями ходили бородатые юноши с черными немецкими автоматами на груди.

Командир бригады Гоша, картинно красивый, юный, стройный, с белокурыми усами и зелеными жестокими глазами, жил в будане — лесном шалаше, как князек, с коврами на стенах, патефоном, личным самогонным аппаратом, личным поваром и любовницей-радисткой.

— Сбор! — приказал командир бригады.

Зазвонили в рельсу. Из шалашей и землянок по всем тропинкам шли партизаны с винтовками, автоматами, пряча гранаты в карманы, застегиваясь на ходу, и скоро на поляне стоял строй разношерстный, разномастный и гудящий, готовый все услышать, и все принять, и все исполнить.

Гоша в ярко-зеленой, цвета весенней травы, фуражке пограничника, в мягких кавказских сапожках со шпорами, вышел вперед.

— Хмуренко!

— Есть,— лихо, весело ответили из рядов.

— Десять шагов вперед!

Из рядов вышел молодой парень, в черной кожанке, с незначительным мелкокостным лицом, в картузе с красной лентой и почему-то уже без винтовки, и, отсчитав десять шагов, остановился. Все смотрели на его спину.

— Кругом! — скомандовал Гоша.

Парень повернулся и теперь стоял лицом к строю. Рядом с ним по бокам оказались два автоматчика и быстро сорвали с него пояс и выдернули звездочку из фуражки. И все так странно — поспешно и грубо, будто он мог протестовать или убежать.

Трудно сказать, в чем дело, но когда с военного снимают пояс, он уже не человек, он и сам не чувствует себя человеком, и никто уже не считает его за человека, он вне закона, и делать с ним можно все что угодно.

Хмуренко было лет двадцать пять, у него была черная лихая челка, мелкие черты лица.

В это время прибежал особист, худой, обугленный, словно сожженный в огне цыган.

— Допрос,— шепотом, одними губами, так, чтобы не слышали рядом, сказал он командиру бригады.

Гоша повернул к нему свое красивое, смелое лицо и внимательно, насмешливо взглянул на него.

— Потом.

— Когда потом? — спросил особист, чуть громче, настойчивее, и цыганские глаза его засияли.

— Там допросят,— сказал Гоша и, уже не поворачиваясь к нему, показал на небо.

— Допрос, допрос,— надоедливо повторял начальник особого отдела,— как я оформлю?

— Спишется.

— Допрос,— жестко повторил цыган, и глаза его уже горели потусторонним огнем.

— Отставить! — сказал Гоша и выругался кратко.

Все произошло очень быстро.

— За мародерство, за оскорбление звания партизана — расстрелять! — звонко прокричал Гоша.

Казалось, Хмуренко еще не понимал, в чем дело, он смотрел как-то жалко, даже чуть улыбался, будто ему поставили двойку и ему немножко стыдно.

Звякнули сразу несколько затворов, и три бойца подняли винтовки, а Хмуренко все еще стыдливо, жалко улыбался.

Он стоял у бесприютных кустов, один, и вокруг небо, облака и ветер, и три бойца целились в него.

Я отвернулся.

— Сто-ой! — дико закричали со стороны.— Там животина.

— Отставить,— сказал Гоша.

Бойцы опустили винтовки.

Из кустов позади Хмуренко вышла лошадь.

Она вышла на подогнутых, слабых ногах, взглянула на происходившее и жалобно заржала.

Начальник штаба подбежал и хлыстом прогнал лошадь.

— Давайте,— сказал он.— Можно.

Бойцы снова подняли винтовки, а Хмуренко стоял, оглядываясь, чего-то все еще ждал, как бы до конца не понимая, что хотят с ним делать.

Три винтовочных выстрела слились в один, и Хмуренко упал, и лежал неудобно, подогнув под себя ногу, и стал похож на кучу старого тряпья.

Сразу же все молчаливой толпой окружили то, что лежало на земле, скрючившись, посиневшее, фиолетовое, будто вся кровь от удара выстрелов вскипела и застыла фиолетово.

Кто-то беспорядочно и поспешно начал стаскивать с него хромовые сапоги, еще один толчком перевернул его, и обыскал карманы, и вытащил какую-то перевязанную резинкой пачку бумаг, письма, фотографии, и передал особисту, который, не глядя, спрятал их в карман, достали еще алюминиевую ложку, потом его потащили в кусты, там уже несколько партизан, стуча лопатами, рыли могилу, лопаты были в глине.

Партизаны, разговаривая, расходились в разные стороны.

Гоша зажег спичку и закурил трофейную сигарету.

— Ладно, спишется, не такое списывается.

Кому-то списывается, а ему, Гоше, юному, храброму, до безумия храброму, патриоту, неужели одна чепуховая жизнь не спишется?

— Ха! Что? Для себя это делаю? Для своей корысти? Для дела. Пример!

Мне стало как-то не по себе. Мне казалось, что он так же легко, для примера, может и меня расстрелять, и комиссара, и начальника особого отдела, и старика, и старуху, и ребенка, попа, пастуха...

Я огляделся. Вокруг мертво стояли дома, и это были странные, удивительные в своем соседстве дома, каменные барские палаты, приятные своей соразмерностью, и рядом тоскливые краснокирпичные доходные дома, закопченные копотью буржуек, и серая голая рациональная коробка Корбюзье постройки тридцатых годов, и новый мощный генеральский бетонный корпус с колоннами и башенками излишеств. На разных этажах окна то зажигались, то внезапно гасли, ночная таинственная жизнь, неизвестная мне и чужая, вспыхивала и гасла, вспыхивала и гасла, и это было похоже на азбуку Морзе, на точки и тире, тире и точки, будто огни города переговаривались между собой и что-то сообщали свое, сокровенное, уходящее в небытие. А некоторые окна стойко пылали всю ночь. Там пировали, или готовились к экзаменам, или, может, кто-то умирал, или уезжал навсегда и прощался, а может, это был обыск.

Как бесконечна ночь, когда не спишь, она длиннее всей жизни.

Я сидел на заснеженной скамейке в сквере неизвестно где. Города не было, и ночи не было, ничего не было. Какое-то безвоздушное, безвременное пространство. Что-то внутри истончилось, надломилось. Я исчерпал себя и больше не хотел думать, переживать, уклоняться.

Не было сил встать, пойти, и снег засыпал меня, и снова все ослепло и оглохло вокруг.

Пробежала мимо кошка, потом вернулась и остановилась передо мной. Черная кошка в снегу, с зелеными глазами. Ее зеленые глаза сверкали во тьме и молча что-то мне говорили. И мне вдруг показалось, что она приняла меня за кошку, которая только притворяется человеком. Я встал, и отряхнул снег, и пошел. Зеленые глаза долго и затаенно смотрели вслед.

Млечный Путь, пыля над городом, медленно двигался к рассвету, одинокий неоновый свет бесцельно мерцал и струился, алым сумраком окрашивая смежные крыши.

Я так устал, что уже ничего не чувствовал и будто бесплотной тенью двигался по тротуару, и было все равно, куда идти.

Неожиданный весенний ветерок, прилетевший откуда-то, принес запах оттепели, снеговой воды, ивовых веток, воли и всего того дорогого, что я некогда знал и от чего я уже отвык.

И мне вдруг представились тихие заснеженные улицы, желтые огоньки, кривые жестяные вывески и такая звонкая, такая свежая, великолепная глушь, что больно сжалось сердце. Неужели все это было в моей жизни? Неужели все это ушло навеки?

Улица стала медленно выходить из подводного царства, голубая и незнакомая, и дома стояли постные и как будто чего-то ожидали от меня. И словно течением вынесло меня на знакомую Арбатскую площадь, сквозь легкий с голубизной снежок, она была, как в сказке, очарованная в белом безмолвии рассвета.

Город расплывался, проступал сквозь легкий утренний снежно-голубой туман, и все было нереальным, и это утро в конце ночи, и прошедший день, и вся моя жизнь.

Это я, это я шел рассветающей, пустынной улицей, отражаясь в утренних витринах вместе с облаками, с погасшими фонарями, и это я вдыхал свежий утренний ветер. Я видел себя как бы со стороны.

Вдаль уходила улица Арбат, заснеженная, непроторенная, и лишь одни забытые фонари жили своей грустной, ночной, потерянной жизнью.

Еще не ходили троллейбусы, еще только появлялись из темных подъездов, из ворот те первые черные, робкие фигуры с авоськами, спешившие в очереди. И вот по улице проехал первый автобус, остановился на перекрестке, и из него с шутками и смехом выпрыгнуло несколько милиционеров в полушубках, а тот, кто стоял на посту в тулупе, влез в автобус, встреченный солеными шутками, крепкими словечками, смехом сидящих там, внутри, и автобус покатил дальше, и видно было, как он остановился на следующем перекрестке, и там так же выскочило несколько милиционеров, и автобус покатил дальше.

Дворники в белом, как ангелы, шли на меня, словно крыльями, размахивая метлами.

И еще эти странные горестные одиночки в бобрике и ботах маялись, и переступали с ноги на ногу в подворотнях, и курили папироски, у них были унылые и скучные лица, и в этот рассветный час они казались выставленными за дверь неверными мужьями.

Все они посматривали на меня, а мне уже было все равно. Теперь я уже ничего не боялся и нахально, с любопытством разглядывал их, и некоторые отворачивались и смотрели в другую сторону.

И вот уже снова зоомагазин и золотые рыбки в оранжевой, светящейся воде среди зеленых и фиолетовых водорослей. Им было все равно — ночь или день, век девятнадцатый или двадцатый, хорошо или худо человечеству, они вели свою молчаливую, однообразную, свою безымянную тягостную малюсенькую жизнь.

Я постоял и посмотрел на них, и мне вдруг стало жаль их. Зачем они мелькают, куда они так стремятся, к чему суетятся, и чем все это в конце концов кончится?

Я прошел мимо витрины с часами. Очень много часов, все они показывали одно и то же время, в ожидании чего-то важного и неминуемого. Потом была старая арбатская аптека, неспокойный, тревожный сумрак дежурки с красными энергичными резиновыми грушами клистиров в витрине.

Вот и серый наш дом, спокойный, будто ничего не случилось. Такой же он был и ночью, и давно в революцию, и в нэп, и в 1937-м, и в войну, живущий отдельно, независимо от судеб людей, населяющих его. Сейчас, на рассвете, особенно ясно было видно, что он каменный, нерушимый, равнодушный и не хочет, и не желает ничего о них знать.

Замерзший, умерший дом был мне дико чужд. Если бы было куда уйти, я ушел бы и никогда сюда не вернулся.

Я зашел с противоположного тротуара и взглянул на мое окно, залитое темной водой. Казалось, кто-то таится там и ждет меня. Я дошел до угла, вернулся и снова взглянул на окно, и снова мне показалось — кто-то там есть.

Пошел снежок, но уже не метельный, злой, колючий, а тихий, пушистый, нежный, как в детстве, как в сказке. И стало вдруг хорошо и спокойно. Я остановился и стал глядеть на этот волшебный снег, на рассветающее, дымящееся небо. Я снял шапку, и так стоял под снегом, отдыхая от тревог, от страха, от мятущейся этой ночи, и клялся, клялся, и клялся, если все на этот раз обойдется, то жить, жить, жить каждой минутой, каждой секундой, каждым мигом быстротекущего, прекрасного, великого и вечного времени.

Вспыхнул свет в окне Свизляка, яркий, режущий, и мое окно тоже стало белесым. Это как-то успокоило меня. Я пересек улицу, и вошел во двор, и увидел чьи-то следы на свежем снегу.

Я медленно поднялся по черной железной лестнице, и она тяжело звенела ночным чугуном.

Это был тот единственный час, когда даже в коммунальной квартире было тихо, молчало радио, молчали все патефоны, спали все мясорубки, но все равно тишина казалась обманной, казалось, все наполнено гремучим газом, и стоит только зажечь спичку или крикнуть — все проснется, вспыхнет, и взорвется, и взлетит к чертовой матери.

Я тихо на цыпочках прошел мимо молчаливых дверей, я слышал храп, и стоны со сна, и шуршанье мышей.

Спал Свизляк, спал Голубев-Монаткин, видя во сне огромные, яркие девичьи глаза, спал чернявый, кудрявый айсорский табор, храпя, сопя, плача и колыбельно подвывая, торгуя и шельмуя во сне, чистя штиблеты, гадая на картах; спала неслышно Розалия Марковна, скакала на белом адмиральском коне и одновременно вышивала кошечек мулине; спало радио, нахрипевшись частушками, наплясавшись красноармейским ансамблем песни и пляски, намаявшись и наговорившись; спали огромные кастрюли и сковородки, спали цибуля и лимитный чеснок; спали незаконченные доносы в школьных тетрадках, оставив тени на промокашках; спали в старых шкатулках похоронки, пожелтевшие и полинявшие; спали совесть, и подлость, и любовь; не спал только страх, он бушевал во сне, он выстраивал эту кошмарную мозаику сна, и люди стонали и кричали со сна, и просыпались посреди ночи, и слышали, как течет время, и каялись.

Старуха Сорока еще не умерла, она была на кухне, суп ее доваривался, и тошнотворно клеевой чад вываренных рыбных костей залепил мне лицо, и стало трудно дышать.

Старуха поглядела на меня своими голубыми, выветрившимися глазками и ничего не сказала, непонятно даже, заметила ли она меня или просто обернулась на шум, руки ее были натруженные, опухшие, багровые, как рачьи клешни, и вся она похожа была на окорок.

Я прикрыл тяжелую кухонную дверь, потом открыл большим ключом дверь в темный коридорчик, маленьким французским ключиком еще одну дверь и вошел в комнату. Она ждала меня, она всегда ждала меня, она была до ужаса пустая и голая. Казалось, что-то происходило в ней, пока меня тут не было целую вечность, наверно, какие-то тени моей прошедшей тут жизни, эхо разговоров, отражения мои в зеркале жили в ней все это время и по-своему распоряжались без меня, а теперь с моим появлением все это замерло, улеглось, утихло.

Тошнотворный туман вывариваемых рыбных костей проник в комнату сквозь щели, сквозь замочную скважину, скопляясь в удушливое облако

Было тихо, и покойницким светом горел фонарь у окна. Послышался близкий, а затем дальний бой часов. Незрячее, невидимое, удушливое облако стояло, и не уходило из комнаты, и душило меня. И не было на свете ничего, кроме этого облака.

Хорошо, что сейчас светает, что скоро подымется над крышами солнце и не будет так страшно, и, может, еще будет жизнь, завтра будет жизнь, во всяком случае, будем надеяться, надежда ведь единственное, что никто не может у нас отобрать. Надежда — это не иллюзия, иллюзия — это нечто совсем другое, призрачное, неверное, миражное, а надежда — это кремень. Так я сидел и уговаривал себя.

Теперь в совершенной ночной немоте я вдруг услышал, как, скрипя на блоках, отворилась внизу входная дверь и захлопнулась на тугой резине. Потом тишина и ясно — шаги по чугунной лестнице. Нет, шагов я не слышал, это просто казалось, что я слышу их, и я считал «раз, два, три, четыре, пять»... Я досчитал до пятнадцати, тут кто-то вошел, уже был наверху и сейчас позвонит. Я прислушался, но звонка не было, а может, звонок испортился, тогда он должен сейчас постучать. Я снова прислушался, было тихо. Может, они стоят у дверей, у них отмычка, и они сейчас сами откроют дверь...

Глава последняя

«Хранить вечно»

Почти всю сознательную жизнь, с тех пор, как он себя помнит, преследовала его какая-то тайна, какая-то неизвестная, неузнанная вина, упрятанная где-то в серой именной его папке, которую он в жизни не видел и, наверное, никогда и не увидит.

Что это было: донос товарища на странице из ученической тетради, рапорт на официальном бланке или телеграмма с красным ведомственным штампом. Или, может, так только казалось, что вина одна, а на самом деле она непрерывно обновлялась и, высохшая, изжившая себя и ставшая уже смешной, тут же заменялась новой.

Неузнанная и скрытая вина эта незримыми путями с фельдъегерской скоростью следовала за ним из города в город, и каждый раз, когда только возникала его фамилия: шла ли речь о новой работе, о воинском звании, о награде, о льготе, о пропуске или заграничном паспорте,— тотчас же включалась тревожная морзянка.

И вина эта, неузнанная и небывшая, как собственная тень, все следовала за ним, и, не старея, перешла из юности в зрелые годы, в пожилые годы, и, наверное, сопроводит его в старость, наверное, в парадном мундире пойдет за его гробом в толпе, в зимней толпе среди темных пальто и цигейковых шапок, и остановится у края могилы, и не успокоится, пока не услышит стук о крышку гроба замерзших комьев земли, лишь тогда, вздохнув, уйдет и заснет в своей дьявольски серой бронированной папке «Хранить вечно» с фотографией, на которой изображен ее хозяин, юный, веселый, полный молодой веры и мечты.

Ольга Постникова

СТИХИ

Родина

Ты в этой хлипкой тревоге хвощей,
В бросовом красном листе,
В этих мильонах стандартных плащей,
Праздной чужда красоте...

О, награди, но не гордью столиц,
Нет, не блистаньем впотьмах —
Этой беззлобностью северных лиц,
Млекопитательниц, тех молодиц,
Что исстарели в хлевах,
Тех обитательниц белых больниц
В бязи казенных рубах.

★

Я с трамвая схожу,
я гляжу за высокие рамы,
Только стекла в пыли не видны.
Отчего этот стыд,
это чувство вины
Пред румяной толпой у завода «Динамо»?

Эта полная баба в кримплене
меня не беднее —
Осчастливленная колбасой...
Отчего это совестно мне перед нею,
Пред ее пергидрольной истошной красой?

И какие помогут стихи да науки
Работяге,
коль водка до сердца прожгла!
Из грязи тротуарной ко мне узловатые руки
Протянул,
чтоб я встать помогла.

1982

Елена Полуян

САМОВАЛКИ

РАССКАЗ

Когда грязь у магазина стала белой и твердой, когда по гладкой блестящей луже можно было прокатиться из конца в конец, Катёнка сказала, облокотившись на прилавок:

— Пора валенки на печи греть, подзимок кончается.

И на самой Катёнке уже были черные покатые валенки: носки узки, голенища мысиком, по ноге. У меня таких нет... И ходила она в них неслышно, мягко, с пятки на пальцы, с пятки на пальцы... А у меня вообще никаких нет, только сапоги... И легко ей. Видно, как ей в валенках легко. Она их даже не замечает, наверное. И ловко, и быстро, как босиком. И мне обязательно такие нужны. Хочу валенки-самовалки!

— А без валенок-то, в сапожках-то, и не перезимуешь,— продолжала наставлять Катёнка.— На полу-то на холодном в магазине стоять днями!.. А идти куда!.. А ехать!.. Нет, без валенок нельзя. Я вот не помню, когда у меня и ноги мерзли. В валенки как суну, так и про мороз не думаю.

Она поставила ногу на пятку, посмотрела, оценивая, покрутила носком.

— А где их взять?—спросила я.

— Ни за что не найдешь! В валяльном-то краю!—Катёнка засмеялась.—Сначала приходи ко мне, я шерсти продам, а шерсть будет, и валенки скатают.

Хочу валенки-самовалки! Вон Катёнка как легко по улице побежала! Можно подумать, не обувь на ней, а носки мягкие. Сегодня же и пойду, и шерсть у нее куплю. Вечером.

А вечером в тот же день уже кончился подзимок, пошел большой пушистый снег. Этот снег—до весны, так в деревне сказали. Летел он плавно, не торопясь, забеляя небо, забеляя землю, обволакивая и липы у дома, и ближние избы, и дальний лес. И на застывшей луже уже перина лежит. Но можно еще прокатиться, собирая впереди себя снег. А на избах каждый черный венец белым подчеркнут, каждое бревнышко припорошено. Можно пересчитать. У бабки Дашухи—двенадцать венцов, у бабки Клавдюши—двенадцать венцов, у тракториста Николая—семнадцать. Высокий дом, и пять белых кокошников на окнах. А до Катёнки еще идти! Через сумрак, через пустырь, на мерцающий огонек. Нет, четыре огонька—еще три по фасаду, теперь видно. Темная веранда, обитое с боков до козырька на зиму крыльцо, а венцов—четырнадцать. Запорошенная избушка!

По ворчащим ступенькам я пробралась в сени. Ничего не видно! А вот стенка бревенчатая, дальше должна быть дверь. Я пошла в темноту, прилепившись руками к бревнам. Гладкие, отшлифованные, ни одной занозы... А длинные-то, длинные!.. Вот косяк и ручка дверная. Дёрг!.. Пахнуло теплом, свет ударил в глаза.

— Пришла!—Катёнка сидела посреди избы на серых пушистых облаках, и по теплому воздуху плавали под лампочкой серые хлопья.— А я шерсть щиплю. Пфу!—В рот Катёнке залетела серая шерстинка.— Как там, на улице?

— Да так же, как у тебя в избе,—засмеялась я,—только похолоднее.

— А ты иди на диван. Сядь, сядь,—предложила Катёнка.—Я сейчас нащиплю, начешу и тебе отвешу. А вот через несколько дней поеду шерсть бить,—тут в одной деревне машина есть,—и твой узелок тоже могу захватить.

— И назад уже валенки привезешь?—обрадовалась я.

— Да ну нет, только шерсть разобью, чтоб пластами лежала. Там совхозная машина есть для этого. Все ездят.—Катёнка вздохнула.— Последний раз съезжу.

Мне уже разобьют шерсть! Как хорошо... Я перепрыгнула через серый ком к дивану... И валенки потом скатают. И я буду с валенками. А почему она поедет в последний раз?

— Почему в последний раз?—спросила я.

— Овец всех сдам.—Катёнка еще раз вздохнула.

— А зачем всех сдашь?—удивилась я.

Катёнка поджала губы.

— Куда их? Все равно дохнут.—Она задумалась, потом снова заговорила:—Как же, всё велят разводить, всё им надо романовскую породу беречи, не упускать. Порода хороша! А где бы, сказали, эту породу пасти? Везде химии понасыплют, а овцы жрите да не дохните, хозяйки их берегите.—Она подумала еще.—На одно поле сыплют, а ветер не знает, на другое поле несет. У меня вон как-то по́лны сени намело по щелям, не прочи́хнешь!.. Всех сдам. Вот последний раз съезжу, шерсть для нескольких пар разобью, и мне до смерти хватит. Наготовила! Да и пасти уже тяжело, по череду пасем-то... Пфу!

Вокруг Катёнки летала серая шерсть, клубилась под ногами, под руками. Это романовская шерсть, я знаю. Мне каждый год спускают план по ее закупке. Десять рублей двенадцать копеек—за килограмм. А в деревне она стоит по двадцать рублей. Мягкая, волокнистая... Ни разу в магазин никто не сдал. Всегда план горит. Всё думали, какие меры принять. Хотят с будущего года не закупать овец у тех хозяев, которые шерсть предварительно не сдадут. Всем ведь каждую осень надо ягнят выросших продавать государству. А теперь у них, если шерсть не сдали, не примут, вот так! Уже придумали. Объявили. Катёнка тоже знает. До будущего года и овец всех сдаст.

— Ну их вовсе, и овец, и валенки,—продолжала Катёнка.—Это раньше страшно было без шерсти оставаться — из чего валять-то потом? в чем зиму ходить? во что детей обувать? А теперь уж и не надо. И детям наготовила, и внукам. А они в городе-то и валенок не признают. Чего мучиться? Было время, помучилась, больше не хочу.

Сейчас она станет рассказывать, как мучилась. Если речь заходит о валенках, тут без историй не обходится. Пусть, интересно. Наверное, про то, как их с рынка гоняли, облавы устраивали. Было время, запрещали промыслом заниматься и свои изделия продавать, я уже слышала.

Катёнка пошарила за шкафом, достала безмен, старинный, огромный,—на крюке палка чугунная подвешена, с одной стороны гирька ходит, с другого конца прицеплять можно, взвешивать. Она прикрепила безмен к низкому потолку за электропровод рядом с лампочкой.

— Тут светлее.—Налепила на нос очки, лоб наморщила. Профессор!—Тебе на валенок семьсот пятьдесят грамм надо, а на оба полтора кило всего будет.

Узелок подвесили, взвесили. А потом пили чай.

— ...И вот мать мне говорит: «Поди на рынок с валенками». Катёнка не забыла про историю. Руки об чашку греет, не торопится.—Отец всю зиму катал в баньке. Продать надо, деньжонки будут...

Она взглянула на меня, подумала, видно, что стану расспрашивать. А я и так знаю: раньше в колхозе им натурой платили, а наличные деньги они на рынке зарабатывали.

— ...Вот нас собралось несколько человек,—продолжала она,—и пошли мы на станцию, в Ленинград ехать. А большак рухнувший, весна, дорога грязнущая—двадцать километров! И мешки огромные—у кого десять пар, у кого больше.

— А сколько тогда пара стоила на рынке?—поинтересовалась я.

— Да уж не то, что теперь. Рублей двенадцать, пятнадцать, семнадцать, если на нынешние деньги считать. Кто как продаст. И на целый

год заработок после тянули... И вдруг слышим, позади вроде как треск,— снова взялась за рассказ Катёнка.— Милиция! На тракторе... Уж знали, что мы этой дорогой ходим. Куда бежать? Только что по сторонам, в лес. Ну и поскакали... А лес-то в болоте. А вода-то холоднущая да глубокая, по самые колена. Стою, леденею и шелохнуться боюсь. И трактор нарочно ползет медленно. Или уж просто думалось об этом?.. Не заметили нас, проехали. Целы наши валенки! Ох уж мы на дорогу выволоклись, да еще не сразу, всё боялись, воду из сапог вылили и дальше пошли.

Она отхлебнула чай, заела вареным сахаром. Любят в деревне помадку, сами пытаются делать — сахар с молоком варят.

Нет, эту историю не рассказывала Катёнка.

— А уж дома-то после базара встречают, как из Индии купцов! — Катёнка улыбнулась.— Ведь всё ждут, не знают: приедешь — не приедешь, пропала работа — не пропала, привезешь денег — не привезешь... А уж и рады зато! Конфеток отец купит, шалёнку новую. Как срядишься, как на гулянье пойдешь — всю ночь пропляшешь, а день в поле носом клюешь.— Катёнка засмеялась.— Веселые были времена!

Мой узелок с шерстью остался у Катёнки. Я собралась уходить. А она поджидала, пока я оденусь, и снимала с потолка налипшие шерстинки.

— Главная работа с твоими валенками впереди,— объясняла она.— Я-то что? Только овец остригу да на машину шерсть отдам бить, а потом надо к мастерам идти, к сновалям и валялам. Вместе сходим. Вместе-то повадней. Мне тоже надо.

И я ушла. По бревнышку, по бревнышку — из темных сеней в черную ночь. Ничего не видно! Только под ногами мягкая белая дорога, а над головою снежными искрами разлетелись звезды. Я вспомнила Катёнку: как звездочет в своей избе ходит и снимает, считает блестящие шерстинки,— вот еще одна, вот еще одна,— подняв голову, протянув руки... А у меня скоро будут мягкие валенки из лучшей, романовской шерсти. Буду их зимой на печке греть.

Катёнка пришла с узлами через несколько дней.

— Пойдем к сновалице.

Она подала мне увязанный платок, а в нем шерсть битая, расчесанная, слоями, свернутая в рулон.

Сновалицей оказалась бабка Дашуха. Кто бы подумал? Хорошо, я знала бабку Дашуху. А о том, что она умеет сновать, узнала только сегодня.

— Ты первая иди,— советовала Катёнка.— Она тебе не откажет. Я уж тут с ней перекинулась маленько. Говорю: как девке без валенок в зиму? Она тебя пожалела. Может, и не откажет.

— А ты?—спросила я.

— А я за тобой взойду.

В низкую Дашухину дверь я пропихнула сначала узел.

— Здравствуй, баба Даш!—Я распрямилась под низким потолком.

— Здравствуй, матушка,— выплыла из-за печки Дашуха.

Втаскивая за собой узел, запятилась и Катёнка. Мы с ней сразу заняли пол-избы. Катёнка обернулась и затараторила:

— Даш, матушка, уж ты нам, чай, не откажешь. Больше и некуда идти. Уж как надо засновать! А продавцу нашему уж как надо! На холодном-то полу стоять днями!

Дашуха молчала. Потом томно села на табурет, сложила на переднике ладони.

— Я отпираться не буду, сновать могу, ты знаешь, Катя,— проговорила она.— А вот руки-то у меня болят. И силы уж нет.— Она замолчала.

— А кто же нам тогда заснуёт?— расстроилась я.

Дашуха взглянула ласково, боязливо.

— Уж если только в последний раз...

Согласилась! Она при нас сновать согласилась, не откладывая. Вот посмотрю! Что это такое — сновать? Катёнка говорила, большой сапог из шерсти наматывать надо. Как это он будет держаться?

Мы вытащили на середину избы стол, зажгли электричество, развязали шерсть.

— Теперь прокладку надо найти и постилу,— сказала Дашуха,— сидите-ка пока... Вроде как я в сумку клала.— Она потянулась на шкаф, животом на дверцу навалилась, пальцами поверху шарит.— Нет, не найти мне сумки... Нет, ничего не попадается.

Я заглянула на шкаф.

— Баба Даш, а там вообще ничего нет.

— Как же? Или, может, я под кровать ставила? — Она взяла кочергу, стала на четвереньки, надела на голову подзор, загрохала кочергой под кроватью.— Вота, вота ведь чего! — Дашуха, наконец, начала подниматься, перехватывая железную ногу кровати, засияла улыбкой.— Уж я думала, Барсик в подпол укатил. Уже целый месяц ищу...

У нее в руках был клубок шерсти с воткнутыми в него спицами, с недовязанным носком.

— Дашух, ты же постилу ищешь,— напомнила Катёнка.

— А я знаю. Она в сумке.— Бабка покрутила головой.— Вона, сумка-то за печью висит! — Дашуха снова обрадовалась, засеменила за печь.— Нет.— Вынесла она раскрытую сумку.— С чего это я взяла, что в ней? В сумку-то я мешёчек клала под муку.

— Баба Даш, ты на печи, на печи посмотри,— пришла мне в голову мысль.

— На печи надо рыть, Дашух, на печи.— Встрепенулась Катёнка, подскочила к печке, влезла рядом с бабкой на лавку. Обе головы скрылись за занавеской.

— Нет, не должно на печи,— доносилось из-за занавески.— Я тут вчера мешёчек искала, нет... Во-та, во-та! — Дашуха вытащила сверток.

— Целый час проваландалися, Даша-растеряша! — проворчала, спускаясь, Катёнка.

— Повезло нам сегодня. Я думала, полдня проищу.— Бабка не смутилась.

Постилой оказалось обычное льняное полотно, а прокладкой — клеенка, вырезанная в виде большого валенка, вот и весь сверток. Постилу Дашуха расстелила по всему столу и начала на нее раскладывать слои чесаной шерсти.

— Лист настнлает,— шепнула мне Катёнка.

Толще, ровнее, ровнее, толще, шире, шире, еще толще... А шерсть уже развешена по семьсот пятьдесят грамм. На один сапог — целая гора! Больше половины горы настелила Дашуха. Поместила на конце прокладку, голенищем — из листа. Надорвала шерсть, завернула концы на пятку, на носок, по щиколотку будущего валенка. И перевернула голенищем — на лист. Опять заворачивает, опять настилает поверх прокладки. Ровнее, ровнее, толще, толще...

— Хорошо еще, согласилась Дашуха,— снова зашептала Катёнка.— Редко соглашается. Всё боится. Уж у ней боязнь-то в жилах с кровью перемешалась.

— Да чего она всё боится? Сейчас-то чего бояться? — также шепотом спросила я.

— Уж больно долго помнится. Сажали ее за валенки-то.

— Неужели сажали? Как это вдруг? — воскликнула я и повернулась к Дашухе.

Дашуха услышала, нахмурилась.

— Баба Даш, как это случилось? — Я не могла успокоиться.

— Так ведь валенки у меня были. Нашли,— нехотя отозвалась Дашуха.— Чего теперь говорить? Валяла. Всё думала, обойдется.

— Ты и валяла сама? — удивилась я.

А взгляд не мог оторваться от ее рук: быстрые, точные, то приглядят, то разровняют, где-то прижмут, где-то оттянут. Бабка как будто творила заговор, а руки летали, вспархивали, колдовали. Вокруг прокладки раздулся уже гигантский валенок во весь стол.

— Валяла,— подтвердила Дашуха.— Только этим и выжили. Голод-то какой был после войны! А детей-то четверо. А мужик-то погиб.— На лице появилась грустная улыбка, глаза засияли.— Вот в сорокалетие-то платком совхоз подарил, как вдову солдата. Помнят!

Она взглянула деловито на свою работу. Вся отвешенная шерсть была обложена вокруг прокладки. Наверное, уже засновала? Нет. Дашуха

завернула весь валенок в постилу, скрутила трубочкой, начала катать по столу: то вдоль свернет, покатает, то поперек свернет, покатает, разложит, пригладит и — снова катать... Лицо красное, руки красные... Уф! Надо отдышаться.

— Руки болят, силы-то не те. Бывалось, по скольку пар и сновала, и валяла. Всё сама, все одна. Девчонки старшие только успевают в печь ставить сушить да в краске кипятить. — Дашуха откинула голову, морщинки под кривым светом сделались чернее и резче. Она задумалась. Наверное, вспоминала. — Дочки у меня хороши, — проговорила, наконец. — Год без матери дом выдержали. Сами выжили. Корову не упустили. Старшей-то, правда, тринадцать уже исполнилось, а младшая еще голопупом бегала.

И Дашуха снова принялась скручивать да катать. Заблестел намокший от пота лоб. Тяжелое ремесло! Но в этом краю издревле привыкли кормиться только таким промыслом. Еще, правда, охотой и льном. Лен здесь растет. Остальное-то плохо что поспевает. Лето чаще холодное, а на земле — леса́ в болотах. Хорошо, что есть в деревнях мастера — сновали́ да валяла.

К вечеру мы с Катёнкой уносили в узелках свертки с мягкими заготовками... И у меня скоро будут самовалки, редкие в теперешнее время. Конечно, и в мой магазин иногда привозят валенки. И раскупают их здесь охотно. Но не для того, чтобы сразу надеть и носить, избавить себя от тяжелой работы. Нет, раскупают их, чтобы сэкономить шерсть. А потом заново выкатывают, пересаживают, делают несгибаемые, тяжелые валенки мягкими, легкими, теплыми. Ведь в фабричных ходить — только ноги ломать, так в деревне считают. Но у меня будут самовалки! Осталось теперь свалять. А свалять может, Катёнка сказала, тракторист и охотник Николай.

— Как вот теперь к Николаю подкатиться? — сокрушалась Катёнка. — Я пробовала спрашивать, уперся одно: не валяю больше да не валяю...

— Он что, тоже сидел? — догадалась я.

— Да нет. На других, наверное, насмотрелся. — Катёнка засмеялась. — А я знаю, что валяет. Сегодня валяет. Старая баня-валяльня топится. Мешок туда потащил. Видала, видала...

— Ну и мы пошли тоже со своими мешками, — предложила я. — На месте видней, валяет он или нет.

— Валяет, валяет. А не боишься? Я за тобой взойду, — обрадовалась Катёнка.

И мы отправились. Катёнка впереди бежит по белому снегу черными покатыми валенками — ноги ровные, походка плавная...

Дом Николая недалеко. Высокий, пять белых кокошников над окнами. Снег расчищен. Сугробы ровный квадрат у крыльца огораживают. Двор крытый с воротами свежестругаными заиндевел, из приоткрытой щели пар струится. Сено, сено на тропинке в огород — от стога к двору. А дальше — баня новая, за нею банька старая, здесь валяльня.

Я вытащила из узла сно́ванные валенки, дернула дверь, шагнула в пар. Пар, полумрак, вода... И Николай у котла, в фартуке, рукава по локоть засучены. Полоснул по двери взглядом, всмотрелся.

— Здрасьте, дядя Коль. Мне очень нужны валенки. Они у меня уже сно́ванные.

За мною втиснулась Катёнка.

Николай усмехнулся.

— Что с вами сделаешь? Уж назад не отправлю. Давайте буду валять. — Он взял у нас заготовки. — Ты что это, Катёнка, в валенках — в баню? Вон хоть «лягушки» надень.

Николай подопнул высокие, выше щиколотки, галоши.

— Я и не подумала. Ой-ой-ой!

Катёнка села на опрокинутую бочку, скинула валенки, засучила рейтузы по колено, сунула в галоши ноги в шерстяных носках. Я посмотрела на нее. Что это? Неужели у Катёнки такие ноги? Бугристые, с синими узлами, лиловыми шишками... Страшно! Я смотрела широко раскрытыми глазами. Катёнка вдруг подняла голову, а потом нагнулась, быстро раскатала рейтузы.

— Я уж пойду. У меня еще овцы не кормлены. Скоро кормить, — торопливо пробормотала она. — А ты, Николай, и без меня сваляешь. Размер-то я говорила — тридцать пятый.

Катёнка обулась и вышла. Ровные черные валенки мелькнули на белом снегу.

— Что это она ускакала? — удивился Николай.

Он подбросил еще дров в топку под котлом с водой, разложил на дощатом настиле у котла заснованный валенок.

— А какие у нее ноги больные! — покачала я головой.

— Да уж да. Дояркой сколько ходила. Все в резине и в резине, — отозвался Николай. — А может, где застудила сильно. Давно уже, слышал, мучается.

И я вспомнила: я же знаю! Знаю, где Катёнка застудила ноги. Когда она рассказывала, как пряталась в болоте, я и не подумала об этом... Страшно!

— Захотелось вот внукам скатать к Новому году, — говорил тем временем Николай. — Ну уж сперва тебе сделаю. Им-то ладно, маленькие, — быстро.

Он поливал валенок горячей водой, осторожно обкатывал. Сначала, как Дашуха, руками, потом деревянной скалкой.

Я сидела на опрокинутой бочке и всё вспоминала, думала о Катёнке, о бабке Дашухе, о Николае. Интересно, как Николай научился валять? И не боялся этим заниматься. И не сидел.

— Николай, а ты давно уже валяешь?

Он качнул головой.

— Как начал немного соображать, так отец и взялся учить. То одно покажет, то другое. Сначала-то я только помогал ему. — Он всё поливал водой и катал деревянной скалкой, теперь уже с другого боку. — Меня отец с детства учил, а отца с детства учил дед. Все поколения здесь — валяла, — продолжал Николай. — А дед-то большим слыл мастером. — Он заулыбался, подумал о чем-то. — Всё в люди ходил, валял по домам. Вернется к весне — полны кошели. И случай один вышел. Давно, до революции. Сейчас расскажу. — Николай снова перевернул валенок, полил водой, тщательно начал обкатывать пятку, носок. — Привел дед из Орловщины хорошего коня. Заработал. Бабка уже так радовалась, так радовалась! И дед радовался. И еще куча денег у него. Пошел в Троицкое... А веселое раньше было Троицкое. Несколько кабаков, даже дом игорный. И в одну ночь дед коня проиграл. Взошел в избу да спать лег. Бабка утром печь топит, вдруг стучат, за конем пришли. Она в слезы, не давать, деда будить. А дед вышел на крыльцо, махнул рукой: «Не реви, мать, еще сваляю!» Вот как было. — Николай усмехнулся.

А валенок-то под его скалкою уменьшился, сел. Увалялся! Я взглянула на работу Николая. Только сейчас вспомнила о своем валенке. Николай все поливает, катает, вода со стола обратно в котел течет. Пар!.. А вот он в валенок чураки затолкал, в носок и в голенище. И скалку уже вальком катает. Николай сказал, что это валек — длинная деревянная лопатка с вырезанными по ней зубцами. И сам валяло в пару, в поту. Вода по рукам течет, пот по вискам. Жар лоб заливает, шею... Николай сел на высокий пень, за папиросой потянулся.

— Перекур! — В водяном тумане расплылся слабый огонек. Николай несколько раз затянулся, лицо полотенцем утер, папиросу осторожно мокрыми пальцами на вытянутой руке держит. Потом заговорил: — Мальчишкой-то я только валялам и завидовал. А чуть подрос, меня — бац! — и в город, в ФЗУ колхоз определил, на механизатора. Пришли за мной, я в крик: не поеду, валялой хочу быть!.. Полгода отучился. Весна. «Ну уж, — думаю, — нет. Наши пашут, а я тут бу-бу-бу, бу-бу-бу». Сбежал. — Он замолчал. В пару сверкнул огонек. — Пришли мы с отцом с поля, — снова заговорил, — мать меня торопит: «Иди мойся, печь протоплена».

— В печи мылись? — подскочила я.

— Да. — Николай улыбнулся. — Бани-то не было. Гнилушка только старая, валяльня. В ней и мыться не захочешь. А на новую бревна́ не выпросишь. А печь знаешь какая была? Большая, высокая, внутри чистая...

Ну, это-то я знаю. В русской печи сажи внутри нет, вся в дымоход уходит над шестком.

— И вот печь протопят,— продолжал Николай,—угли, золу выгребут, на под соломы настелят — залезай с веником да парься. Шайку воды с собой затаскивай... Потом только у шестка над корытом ополоснешься—и готово дело. Залез я в печь,—глаза у Николая прищурились, веселыми искрами брызнули,—и вдруг слышу, дверь входная за перегородкой хлопнула, мать в избе заохала. Что такое? К печи милиционер подходит. «А ну, вылазь, дезертир!»—Николай засмеялся.—Так и увезли из печи.

— И ты стал механизатором?

Мне тоже это показалось смешным: из печи—в город, с милицией посылают!

— Потом стал. Когда артель ликвидировали. Сперва-то в артель загоняли, работать всё было некому. Валяльная артель.

— Так ты и валялой работал? Сбылась мечта? — Я спохватилась: — А почему загоняли?

Николай помолчал, пожевал папиросу.

— Приехал я из училища, а тут как раз организовали артель. Тогда на них мода пошла.—Он зябко передернул плечами, накинул телогрейку. Вода в котле перестала кипеть, и по стенам пополз холод.—Мечта-то, она была,—продолжал Николай,—а на деле—платят гроши, а работа—ох и тяжела! План—семь, восемь валенок за день. Ни рук не чуешь, ни спины, один пар водяной грудь распирает. В колхозе хоть и вообще не платили, все ж время оставалось себе повалять, деньжонок подзаработать. А тут уж—нет, мочалкой выжмешься. Скотину обиходить, и то на хозяйку сваливается. Потом артель ликвидировали.

Да, вот тебе и мечта! Я заерзала на бочке, какая она сделалась влажная, скользкая и холодная! Посидеть на ней еще или уж встать лучше?.. Да, вот тебе и любимое дело! Любимое, а делать не захочешь. А возьмешься, и любовь пройдет. Как это у Николая всё странно получилось? И у Дашухи. И у Катёнки... У Катёнки—какие у нее ноги! А в валенках такие ровные, такая походка плавная... Я подперла голову рукой, на платке вода, тонкий слой воды. А на телогрейке? Тоже водяная пленка. Холодная! И как вдохнешь, полная грудь воды. Я в рыбу здесь скоро превращусь. Когда только Николай закончит?.. А вот так целыми днями валять, до ночи, по семь-восемь валенок...

А Николаю жарко! Красный, потный, изо рта пар. Валенок—в котел, валенок—из котла! Покатает, снова в котел.

— Отец в бане валяет, мы с матерью в избе сидим...

Николай опять рассказывает. Я и не слышала. Думаю о своем. О чем он начал говорить? Да о чем же еще? О валенках!

— Мать смотрит в окно и вдруг как закричит: «Колька, милиционер к нам!»—Николай всё катал вальком скалку... Нет, не скалку, а четырехгранную спицу чугунную, прокатку. И валек другой—без зубцов. Чурки то вынет—катает, то заложит—катает. Изделие в котел окунает. И валенок уже на нормальный валенок похож: уселся, твердый стал.—Слышим, на крыльце грохает.—Николай дальше рассказывает.—Я матери говорю: «Задержи его, как можешь, заболтай». А сам—в кухню—и в окно. Бегу огородом в баню. Открыл дверь. Сказал отцу. Он—всё в охапку, я—в мешок. И—в лес... Хорошо, лес-то на задах... В болоте утопили. Милиционер еще и туда ходил, не нашел, утонула наша работа. Мать жалела потом, слезы лила.

Да ну сколько ж у них этих историй валеночных? Как пар из котла, так и вьются одна за другой, нескончаемо.

— Николай, а сейчас-то как? Ведь по-другому уже,—не выдержала я.

— Сейчас лучше,—согласился валяло.—Так не гоняют.

— Да чего, не гоняют! Наоборот хотят, чтобы люди промыслами разными занимались, чтобы развивалось это дело,—возразила я.

— Так и раньше можно было развиваться, только зарегистрируйся и налог плати,—ответил Николай.—А заплатишь и думаешь: для чего же я валяю-то, для налога?

Он насупился, уселся на скребницу. Нет, не хочет больше продолжать этот разговор. Кончились валеночные истории. Прихлопнулась крышка над котлом. Николай усиленно скреб скатанный валенок. Такая интересная скребница! Ко́злы, и на них—стоймя—дощечки с заостренными концами—плотно сбитый ряд. Валенок с заложенными в него чураками на этой скребнице надо изо всей силы скрести. Только все-таки какой-то он еще не очень ладный. Неужели такие у меня валенки и будут?

— Николай, уже все?

— Нет.

— Так разве ты мне сейчас валенки не отдашь?

— Нет.—Он все еще был насупленный. Или просто задумчивый?—Через день приходи. Я их в печи буду сушить на колодке. Тебе голенище не широкое надо?—Он взглянул на мой сапог.—Значит, носок всажу, а в голенище только передушку и задник. Выкрашу потом, пемзой потру, будут гладкие.

Я вышла на снег. Скорее, скорее надо бежать к печке! Сейчас ледяной коркой покроюсь и снаружи, и внутри. Закрыла варежкой рот. Скорее к печке!

А через день отправилась за валенками. Время было предновогоднее, но не морозное: зимнее тепло, мягкий снег...

На крыльце улыбающаяся Настя, жена Николая, разговаривает с Катёнкой.

— Поди, поди,—приглашает она.

— И твои готовы,—вторит ей Катёнка.

У нее на ногах новые валенки, еще лучше прежних. Уже надела! Я открыла в избу дверь и вдохнула хвойный запах. Елка! Небольшая, ветвистая, стоит на столе. А на ёлке-то! Нет, игрушек у Николая, видно, нет. Вот куница притаилась, вот норка. А лиса сидит—хвост трубой, как шпиль, поднимается. Шкурки! Настоящие! Ведь Николай—охотник. А под ёлкой! Раз, два, три... по росту три пары валеночек. Маленькие. Может, игрушки?

— Подарки внучатам. Навалял вот. Теперь жду, когда приедут,—улыбается Николай.—И твои тоже готовы.

И мои—игрушки. Только большие. Я осторожно взяла в руки, посмотрела. Хороши! Мягкие, носки узкие, голенища мысиком. А легкие-то, легкие! Гладкие, черные...

Ходить, ехать, на холодном полу стоять и морозов не бояться...

— Вот уж теперь всё,—вздохнул Николай.—Больше валять не буду. И овец сдали.

— Да что ты! Тебе вообще нельзя бросать это дело. А сейчас тем более. Всё будет по-другому. Тебе можно та́к этот промысел поставить...

— Нет,—оборвал Николай.—Чего мне ставить?—Он нахмурился, сжал губы. Все мышцы на лице напряглись.—Сил уже нет. Тяжело.—Он махнул рукой, отвернулся.—Чего говорить? Чего растравляешь-то?

— Николай, у тебя сыновья есть,—уже тише сказала я.—Сколько у них сил...

Валяло обернулся, полоснул взглядом.

— Мы их учить даже боялись. Сами думали, как бы позабыть. Легче уж и не знать. А теперь у них другая жизнь и другое дело.

Он замолчал, посмотрел в окно на дорогу... По белому снегу мелкими шажками плыла Катёнка в ровных покатых валенках, мягко, ловко, легко.

Нина Гаген-Торн

СТИХИ

Нина Ивановна Гаген-Торн родилась в 1900 году. Старейший советский этнограф, кандидат исторических наук, автор полусотни научных работ. После окончания Института народов Севера много работала в экспедициях, занималась изучением народов Севера, народов Поволжья, а в последующие годы — русских в Сибири. Стихотворения Нины Гаген-Торн одобряли Андрей Белый, Анна Ахматова, Борис Пастернак.

Андрею Белому

Положи мне на лоб ладонь,
Помоги как всегда:
Дрожит, упираясь, конь,
Чернеет в провалах вода.
А мне надо: идя во льдах,
Слушать твои стихи.
Только кони впадают в страх
Перед разгулом стихий.

Возвращение

Как странно тем, кто видел смерть,
Вернуться в жизнь опять.
Вложить персты в земную твердь
И вкус и запах ощущать.
Тяжелых бревен слышать вес,
На стеклах — тонкий пар,
В снегу от окон светлый крест,
И тюль, и самовар.
И кем-то мытый лак полов,
И чей-то отчий дом.
А ты пришел из страшных снов
С котомкой за плечом.
Был сдвинут вес привычных дел,
Шел бой. И в пустоте
Ты даже думать не умел
О том, как жили те,
Кто оставался за чертой,
В спокойном лёте лет...
Как странно тем прийти домой,
Кто видел смерти свет!

Публицистика

Светлана Семенова

СЕМЬЯ ИДЕЙ

К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ВЕРНАДСКОГО

Владимира Ивановича Вернадского (12 марта 1863 — 6 января 1945) справедливо называют Ломоносовым XX века. Редкая синтезирующая способность, универсализм отличают его творческий гений. Он основал и развил несколько новых научных дисциплин: геохимию, биогеохимию, радиогеологию, стал создателем новаторского учения о биосфере и переходе ее в новое качество — ноосферу. Академик Петербургской АН, а затем АН СССР, первый президент АН Украины, член многочисленных зарубежных академий, Вернадский проявил себя и как общественный деятель, выдающийся организатор науки в нашей стране. Он стоял у истоков Комиссии по изучению естественных производительных сил России, был директором организованных им Радиевого института, Биогеохимической лаборатории. Великий естествоиспытатель-мыслитель, Владимир Иванович стремился вникнуть в историю научного знания, дать философское обобщение, предвидеть будущие пути развития человека разумного. Мировоззренческая, гуманитарная сторона его наследия особенно ценна для нашего времени, озабоченного поисками нового мышления, которое откроет горизонты коллективной, планетарной надежде.

В речи, посвященной памяти философа Сергея Николаевича Трубецкого (март 1908 года), Владимир Иванович Вернадский назвал его «одним из первых оригинальных, чисто русских философов» и в заключение добавил: «В то самое время, как в искусстве и науке русское общество давно уже явилось огромной всечеловеческой культурной силой, — в философии эта работа лишь начинается». Произнеся такую общую оценку, за которой сквозила надежда на достойную реализацию начавшейся работы, Вернадский, очевидно, меньше всего полагал, что он будет среди тех не только ученых, но и м ы с л и т е л е й, которые дадут миру глубоко своеобразное направление общечеловеческого значения: активно эволюционную, ноосферную, космическую философию.

Когда вы войдете в разнообразный мир духовного наследия Вернадского (в тексты его монографий и статей, речей и записок, дневников и писем), вас поразят многие вещи, и среди них чрезвычайная бережность, я бы сказала, настоящий пиетет к чужой мысли, чужому научному достижению и предвидению. По всем важнейшим вопросам Вернадский выстраивает досконально прослеженные генеалогии идей и догадок, эмпирических обобщений и теорий. За этим встает и скрупулезная научная честность, но главное — чувство живой причастности к единой семье строителей мировой культуры, проходящих через поколения и народы. Его учителя и коллеги, его товарищи и собеседники не только современники, рядом живущие и работающие: В. В. Докучаев и А. П. Павлов, А. Н. Краснов и И. М. Гревс, Леруа и Тейяр де Шарден, А. Е. Ферсман и Б. Л. Личков.., но и духовные труженики веков человеческой истории: Аристотель и Кант, Ломоносов и Тютчев, Гёте и Рамакришна, Гюйгенс и Пастер, не говоря уже о плеяде геологов, химиков, биологов, особенно близких русскому создателю биогеохимии.

Уже зрелым ученым Вернадский обнаружил удивительную способность «открывать» забытые или не понятые в прошлом научные явления и факты. Без обобщающего видения истории науки, глубокого вникания в логику ее развития в целом и эволюционных идей в частности этого быть не могло. Владимир Иванович не только умел вывести «на солнышко» яркого осмысления затертую в темный угол еретическую научную идею, но и строить от нее дальше, в новой, современн[illegible] перспективе. Среди находок-озарений Вернадского была одна, особенно ему дорогая. Почти в каждой своей работе он в разном контексте считает необходимым раскрыть ее.

КУДА ДВИЖЕТСЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЖИЗНИ И ЧЕЛОВЕКА?

В 1920 году, работая над созданием биогеохимии, призванной изучать «влияние жизни на историю земных химических элементов», Вернадский, к тому времени уже известный минералог, геолог и химик, исследует огромную литературу по первой составляющей этого нового синтеза — биологии (дисциплины, которой прежде он прямо не касался). И тут его умный взгляд и чуткая интуиция великого натуралиста-мыслителя выхватывают среди теорий и догадок одно неоцененное открытие. Речь идет об открытии американского ученого Джеймса Дана (1813—1895), известного в свое время геолога и минералога. Этот современник Дарвина, состоявший с ним в переписке, на восемь лет ранее выхода в свет в 1859 году эпохального «Происхождения видов...» выдвинул положение, которое он назвал энцефализом, или цефализацией (от греческого «цефале» — «голова»). Излагая современным языком эту идею, которую он охарактеризовал как эмпирическое обобщение, Вернадский писал: «В наших представлениях об эволюционном процессе живого вещества мы недостаточно учитываем реально существующую направленность эволюционного процесса». С эпохи кембрия, когда появляются зачатки центральной нервной системы, и далее идет медленное, пусть с остановками, но неуклонное (без откатов назад) усложнение, «уточнение, усовершенствование нервной ткани, в частности мозга». Убедительно доказывают это палеонтологические данные, прослеживаемые за последние пятьсот миллионов лет, хотя сам процесс уходит намного дальше в глубь геологического времени. От моллюсков до гомо сапиенс это нарастающее движение неотразимо обнаруживает себя. Удивительно, замечал Вернадский, что не только Дарвин не оценил идеи своего североамериканского коллеги, но она вообще выпала из научного обихода биологии. Впрочем, были тут свои причины. Свой вывод Дана, профессор Йельского университета в Нью-Хейвене, развивал больше на территории философии и теологии, а уж сюда направлялась особая «идейная» бдительность пуритан Новой Англии. Результатом стал острый конфликт этой идеи с суровым религиозным догматизмом, царившим в штате, и «цефализация» была утоплена для научного обсуждения и развития почти на семьдесят лет. Вернадский извлекает ее из забвения, осмысливает в четкой эволюционной перспективе и вводит в науку под именем «принцип Дана».

Не забывает он отметить и заслуги современника и соотечественника Дана геолога Джозефа Ле-Конта, который тот же процесс особой направленности эволюции, отсчитываемый от возникновения нервной системы у живых существ до появления человека, назвал «психозойской эрой». «Принцип Дана», «цефализация» — это не теория, но и не гипотеза, которая может быть доказана, а может и нет. Тут мы имеем дело с эмпирическим обобщением, то есть большой суммой точных фактов, не имеющих случаев опровержения. Спорить против эмпирического обобщения бесполезно, его можно лишь по-разному истолковать, ставить в те или иные ряды объяснения. Сам Вернадский четко формулирует характер и смысл такой «кривой прямой линии» развития живого. Это объективный природный процесс, закономерно длящийся в полярном векторе времени, устремляясь постоянно в одном, необратимом направлении.

В теории эволюции, как известно, выдвигались различные причины происхождения, смены и развития животных видов, в основном их можно свести к тому или иному сочетанию изменчивости и наследственности, пластичного приспособления организмов к среде и сложных генетических, мутационных законов. Последовательное же усложнение нервной системы животного ряда по меньшей мере намекает на некие спонтанные импульсы самой эволюции, на ее внутренние закономерности, которые не зависят от внешней среды. Пока нет окончательной научной концепции, объясняющей это совершенствование нервной, мозговой ткани, приведшее к созданию человека. Вернадский лишь высказывал предположение, что революционные изменения в морфологии живых существ соотносимы с так называемыми критическими периодами геологической истории планеты, движущие пружины которых выходят за пределы только земных явлений. Речь, возможно, идет о каком-то пока не понятом и не исследованном космическом воздействии.

Интересно, что именно геологи впервые научно выразили и представление о колоссальном значении человека, его трудовой, творческой деятельности в активном преобразовании планеты. Независимо друг от друга американец Чарлз Шухерт и Алексей Петрович Павлов, оба геологи, в начале нашего столетия пришли к выводу, что с появлением человека историю Земли необходимо выделить в особую геологическую эру: Шухерт вслед за Ле-Контом определяет ее как психозойскую, Павлов — как антропогенную. Вернадский вспоминает и их предшественников: основатель современной гляциологии Агассис в середине прошлого века говорил об эре человека, а прежде, в XVIII веке, Бюффон — о царстве человека.

Но в философии и до них Вернадский видит мысли, предчувствия, связанные с пониманием жизни, ее места и роли во Вселенной, которые могут быть соотнесены с современными научными выводами о живом веществе, об «антропогенной» геологической эре, о будущей роли человека. Достаточно вспомнить двух замечательных мыслителей XVIII века, которые задолго до Дарвина и Дана были движимы в своих размышлениях о судьбе и предназначении человека глубинными эволюционными интуициями и приходили при этом к новым, смелым выводам. Откроем основное философское произведение Александра Николаевича Радищева «О человеке, его смертности и бессмертии». Для него человек — верхняя ступень лестницы постепенного совершенствования природных существ. В нем все стихии и возможности природы сошлись вместе, чтобы создать ее венец. Человек отличается от всех прочих природных тварей прежде всего творческим характером своей природы, тем, что он сам себя создает, начиная с первого акта своей самодеятельности — когда принимает вертикальное положение. Само несовершенство его физической организации становится мощнейшим побуждением к развитию. Глубоко прочувствовав и выразив восходящий характер эволюции от низших ко все более высоким формам, русский мыслитель исторгает замечательный риторический вопрос, которому никогда не даст иссякнуть человеческое сердце: «Но неужели человек есть конец творению? Ужели сия удивления достойная постепенность, дошед до него, прерывается, останавливается, ничтожествует? Невозможно!..» И такие обретенные человеком уникальные, высшие свойства, как разум, духовность, сердечность, большей частью поглощаясь неизменной борьбой за материальные условия жизни, не достигают ни настоящего развития, ни полного истинного применения. А ведь именно эти драгоценные способности определяют человека как особое существо в мире. Немецкий просветитель XVIII века Гердер в сочинении «Идеи к философии истории», повлиявшем на взгляды Радищева, писал: «Странно поражает нас, что из всех обитателей Земли человек — далее всего от достижения цели своего предназначения». Объективная неизбежность дальнейшего развития самого человека для обретения им высшей, «богоподобной гуманности» вытекает для Гердера и для Радищева из того импульса к совершенствованию, который пронизывает становление мира жизненных форм. Субъективная же необходимость диктуется тем ощущением смертного человека, что за время своего существования он только починает свои духовные возможности, для которых впереди мог еще расстилаться бесконечный путь. Внутренние, душевно-духовные силы человека как будто требуют для себя иного, по слову Гердера, «органического строя». Преображенная новая природа, считают и русский, и немецкий философы, не может не ждать человека, в ней-то, наконец, и распустится медленно созреваемый «бутон человечности». В этих размышлениях и активное неприятие промежуточной, противоречивой, бесконечно двоящейся между данным и должным натуры человека, и призыв к нему «обрести необходимую ступень света и уверенности, положив на это свой труд...» (Гердер).

Эта же эмоциональная мысль, эта же мечта, движимая сходной эволюционной логикой, звучит в трезвом научном контексте и у Вернадского. Объективно констатируемая направленность развития живого не может прекратить свое действие на человеке в ныне существующей, еще далеко не совершенной природе. «Мы могли бы это предвидеть из эмпирического обобщения из эволюционного процесса. Homo sapiens не есть завершение создания, он не является обладателем совершенного мыслительного аппарата. Он служит промежуточным звеном в длинной цепи существ, которые имеют прошлое и, несомненно, будут иметь будущее».

Научные идеи Вернадского о живом веществе, о космичности жизни, о биосфере и ноосфере своими дальними творческими корнями уходят в новую, начавшую активно создаваться с конца XIX — начала XX века философскую традицию осмысления Жизни и задач человека как вершинного ее порождения. Эволюционные идеи, получившие научную основу начиная с Дарвина и Уоллеса, стали толчком к существенной переориентации мышления. Раздумывая о возникшей в то время атмосфере «неудовлетворения узкими размерами Земли и даже солнечной системы, искания мировой космической связи», выразившейся, в частности, в утопических романах, Вернадский заметил, что это неудовлетворение «сказывается в увеличении значения этих идей в некоторых философских исканиях конца XIX — начала XX века у философов совершенно различной подготовки, например, с одной стороны, у Бергсона, а с другой — у таких искателей истины, как, например, Н. Ф. Федоров».

Вовсе не становясь пленником метафизических или идеалистических рамок философской системы Анри Бергсона, Вернадский увидел в ней ценные «зародыши... будущего развития науки». В книге «Творческая эволюция» Бергсон выдвинул новую в западной философии идею: жизнь — такая же вечная составляющая бытия, как материя и энергия, а разворачивание жизни — процесс космический, движимый внутренним творческим «порывом». Такое видение было особенно близким Вернадскому. Французский мыслитель развивал только еще начавшее утверждать себя положение о фундаментальном антиэнтропийном качестве живого. Более того, у него была

«странная» идея, что по мере ослабления напряженности жизненного потока жизнь разлагается и, распадаясь, превращается в неодушевленное вещество, в материю. Интересно, что это, казалось бы, сугубо метафизическое предположение нашло реалистическое, научное развитие в биогеохимических идеях Вернадского. Он показал, что вещество планеты (а оно то же и в космосе) образуется в круговороте мертвое—живое—мертвое, что «биогенные породы (т. е. созданные живым веществом) составляют огромную часть ее (биосферы.— С. С.) массы, идут далеко за пределы биосферы... они превращаются, теряя всякие следы жизни, в гранитную оболочку», то есть, условно говоря, косное во многом и биокосное вещество — как бы «труп» живого. «Геохимия доказывает неизбежность живого вещества для этого круговорота для всех элементов и тем ставит на научную почву вопрос о космичности, вселенности живого вещества». Впервые в философии Бергсон поставил вопрос и о качественном отличии «живого» времени («длительности») от физически-механического, что было особенно высоко оценено Вернадским.

Автор «Творческой эволюции» разворачивает грандиозную панораму нарастающего эволюционного вала жизни. Поэтическими красками представлена картина того, как энтропийным силам упрощения, дезорганизации, распада, царящим в мировой материи, противостоит тенденция к увеличению порядка, организации, связанная с потоком жизни и сознания. Разумная деятельность человечества при этом выходит в авангард зоны накопления энергии, творческой мощи, стремящейся к одухотворению и преображению мира: «Все живые существа держатся друг за друга и все подчинены одному и тому же гигантскому порыву. Животное опирается на растение, человек живет благодаря животному, а все человечество во времени и пространстве есть одна огромная армия, движущаяся рядом с каждым из нас, впереди и позади нас, способная своею мощью победить всякое сопротивление и преодолеть многие препятствия, в том числе, может быть, и смерть».

Бергсон ввел новое определение человека, которое впоследствии широко употреблял Вернадский: homo faber — человек-ремесленник, человек, созидающий искусственные вещи и орудия. А искусственное есть тот исключительно человеческий вклад в наличность мира, который расширяет способности и возможности самого человека, как бы продолжает его органы и дает ему новые: автомобиль — быстрые ноги, микроскоп и телескоп — невероятно усилившееся зрение, а самолет, ракета заменяют несуществующие крылья и т. д. «Потребность в творчестве», по Бергсону, определяет жизненный порыв в целом, а в человеке достигает своего апогея. Человек — «исключительный успех жизни», но так же, как у Вернадского, еще не ее венец. Творческие способности человека должны обернуться и на него самого, раздвинуть его еще ограниченное, преимущественно рациональное сознание. Пределы им не поставлены.

В те же годы, когда появилась «Творческая эволюция», в России первый русский физик-теоретик Николай Алексеевич Умов (1846—1915), о котором Вернадский писал как о «крупном, недостаточно оцененном ученом-мыслителе», по-своему развивает близкие идеи о «силе развития», направляющей живое ко все большему совершенствованию сознания, об антиэнтропийной сущности жизни (он даже предлагал ввести третий закон термодинамики, приложимый к областям жизни и сознания), наконец, о творческой природе человека. Предложенное им объяснение роста творческого потенциала эволюции просто и остроумно. Чем создание элементарнее, тем оно, так сказать, комфортабельнее, «блаженнее» слито со средой. По мере же развития для него во внешней природе обнаруживается все более «препятствий и недочетов», она все менее удовлетворяет нужды усложнившегося в своих функциях и строении организма, и он вынужден все усиленнее приспосабливать эту среду к себе, начинать «работать», вначале инстинктивно, с веществом мира, формировать, строить его (да хоть гнезда и норы!). «С возрастающим в ряде живых существ усложнением жизни должна поэтому возрастать и способность к творчеству и ее последовательный переход от бессознательных к сознательным актам». В человеке этот процесс — уже его определяющая родовая черта. В недрах человечества, считает Умов, вызревает новый эволюционный тип, «homo sapiens explorans» («человек разумный, исследующий»), стоящий на гребне эволюции, девиз которого «Твори и созидай!».

Со своим призывом к творческой регуляции эволюционного процесса Умов был в России не одинок. Родоначальником активно эволюционной, космической мысли был «искатель истины» Николай Федорович Федоров (1828—1903) с его учением «общего дела». В его взглядах, отмеченных консервативно-патриархальными иллюзиями, утопизмом, отразились сложная атмосфера второй половины столетия, различные мировоззренческие ориентации. Но в них сильно и перспективное, творческое начало, направленное в будущее. «Изумительным философом» назвал Циолковский Федорова в своих воспоминаниях, написанных незадолго до смерти (основоположник практической космонавтики вспоминал «необыкновенного библиотекаря», своего первого учителя по московским «университетам» самообразования, заронившего живые семена космической мечты). Среди глубоко заинтересованных учением Федорова были и такие его современники, как Достоевский и Лев Толстой. Признавая внутреннюю направленность природной эволюции ко все большему усложнению и наконец к появлению сознания, Федоров сделал следующий решительный шаг: человечество призвано овладеть стихийными, слепыми силами вне и внутри себя, выйти в космос для его активного освоения и преображения, обрести новый бессмертный космический статус бытия, причем в полном составе прежде живших поколений («научное» воскрешение). В основе его идеи «регуляции природы» лежит убеждение, что человечество начинает новый этап эволюции мира, когда, отказавшись быть лишь пассивным агентом этого развития, оно направляет его в новую сторону, берет, так сказать, штурвал эволюции в свои руки. Для исполнения этой грандиозной цели русский мыслитель призывает ко всеобщему познанию, опыту и труду в пределах реального мира, реальных средств и возможностей при уверенной предпосылке, что эти пределы будут постепенно расширяться, доходя до того, что пока кажется еще нереальным и чудесным.

До сих пор свое место в мире, господство над его стихийными силами человек расширял прежде всего за счет искусственных орудий, продолжавших его органы, одним словом, при помощи технических средств и машин. На этом пути достигнуты колоссальные успехи, осуществились сказочные мечтания о сапогах-скороходах, коврах-самолетах и т. д. Развивая технику, человек не покушается на собственную природу, он священно блюдет ее норму и границу, оставляя себя самого ограниченным и физически, и умственно. Сила его увеличивается за счет внешних орудий и машин. Разрыв между мощью техники и слабостью самого человека все растет и потому все более ошеломляет, даже начинает ужасать (отсюда современные мифы-фобии «восстания машин», порабощения людей будущими киборгами, могучими роботами и т. д.). Нельзя отрицать значения техники, нужно только понять ее место. Технизация, считает Федоров, может быть только временной и боковой, а не главной ветвью развития. Нужно, чтобы человек обратил всю силу ума, выдумки, расчета, озарения не на искусственные приставки к своим органам, а на сами органы, их «улучшение», развитие и конечное радикальное преображение (так, скажем, чтобы человек мог сам летать, видеть далеко и глубоко и т. д.). «Человеку будут доступны все небесные пространства, все небесные миры только тогда, когда он будет воссоздавать себя из самых первоначальных веществ, атомов, молекул, потому что тогда только он будет способен жить во всех средах, принимать всякие формы». Федоров часто говорит о необходимости глубокого исследования механизма питания растений, по типу которого возможны перестройки и у человека (предвосхищение идеи Вернадского об «автотрофности» человека). Человек должен войти в протекающие в природе естественные процессы так, чтобы можно было по их образцу — но на более высоком сознательном уровне — обновлять свой организм, строить для себя новые органы, иными словами, овладеть направленным естественным тканетворением. Эту способность человека в будущем создавать себе всякого рода творческие органы, которые даже будут меняться в зависимости от среды обитания, действия, наш философ-мечтатель называет полноорганностью.

В связи с этим вспоминается одна из центральных идей Бергсона о двух путях развития, по которым пошла жизнь: путь бессознательного инстинкта и путь интеллекта. Главное качество инстинкта «есть способность пользоваться и даже создавать орудия, принадлежащие организму» (пример трансформизма такого рода — превращение куколки в бабочку). А человек, homo faber, созидает орудия, свои искусственные «органы», что ведет к развитию интеллекта, а с ним, в определенном смысле, механистического подхода к миру. «Интеллект,— подчеркивает французский философ,— характеризуется природным непониманием жизни». Инстинкт же, напротив — органичен, он изнутри, интимно чует мир. Если бы инстинкт мог озариться сознанием, то проник бы в самые недра жизни, в ее тайное тайных,— ведь сам он «продолжает ту работу, посредством которой жизнь организует материю». В человеке есть неразвитые зародыши такого рода «инстинкта», это — интуиция; через нее можно скорее и глубже если не осознать, то смутно почувствовать самую суть вещей, суть жизни, а действует интуиция через симпатию, со-чувствие, как бы слияние с предметом, через мгновенное преодоление того раскола на субъект — объект, который развился в ходе орудийного отношения человека к миру. Недаром у Бергсона человек по-настоящему еще не соответствует определению «sapiens», он только «faber», что как раз указывает на его нынешнюю ограниченность. Путь интеллекта, только технического развития ведет, как считает Бергсон, по существу, к порабощению материальным миром. Освободиться возможно будет тогда, когда сознание человека сумеет «обратиться вовнутрь и разбудить те возможности интуиции, которые еще... спят». Так вот, если вернуться к идеям Федорова, то творчество самой жизни, «органический» прогресс, к которому он призывает,— это и есть расширение интеллекта за счет разбуженных и развитых ресурсов интуиции, сознательное овладение тем «органосозиданием», которое доступно «творящему стану» самой природы на уровнях инстинкта. Движет такой прогресс мечта о бессмертии.

Интересно, что почти одновременно с Федоровым еще один его современник

разрабатывал такую философию, о которой мечтал Гердер. Речь идет о знаменитом драматурге Александре Васильевиче Сухово-Кобылине (1817—1903). Удалившись в свое родовое имение, более двадцати лет он отдал построению оригинального философского синтеза, основанного на эволюционном учении Дарвина и диалектике Гегеля. Когда огромный труд был написан, в 1899 году в Кобылинке разразился пожар — погибла библиотека и все рукописи ее владельца. Мир так и не узнал «Учения Всемира» (как называл свою философию сам автор). Случайно сохранившиеся остатки рукописей Сухово-Кобылина, а также более поздние авторские попытки восстановления текста нуждаются в тщательном исследовании. Их публикация и анализ могут обнаружить потерянное звено русской мысли конца прошлого века, причем той ее линии, которая относится к активно эволюционной, космической философии.

Сейчас человечество, считал Сухово-Кобылин, находится в своей земной (теллурической) стадии развития. Ему предстоит пройти, завоевать собственным усилием еще две: солярную (солнечную), когда произойдет расселение землян в околосолнечном пространстве, и сидеральную (звездную), предполагающую проникновение в глубины космоса и их освоение. Это и будет Всемир, «всемирное человечество» — «вся тотальность миров, человечеством обитаемых во всей бесконечности вселенной». Такое звездное будущее возможно лишь при колоссальном эволюционном прогрессе человечества, творчестве им своей собственной природы. Дальнейшее одухотворение человека связано в мечте Сухово-Кобылина, в частности, с достижением способности «летания», которое есть как бы отрицание пространства, победа над ним. Изобретение таких средств передвижения, как велосипед, локомотив, для философа — первые шаги к этой будущей свободе и силе, «почин, зерно будущих органических крыльев, которыми человек несомненно порвет связующие его кандалы этого теллурического мира». «Человека технического» сменяет «человек летающий»; «высший, т. е. солярный человек просветит свое тело до удельного веса воздуха... и для этого выработает свое тело в трубчатое тело, т. е. воздушное, более того в эфирное, т. е. наилегчайшее тело». В результате преобразовательного действия, направленного на собственную природу, человек как бы сбрасывает свою «тяжелую» телесную оболочку и превращается в некое бессмертное духовное существо. Это и есть радикальное переосмысление гегелевского «абсолютного духа», тут обернувшегося реальным человечеством в его грядущей судьбе. Но все развитие этого человечества идет у Сухово-Кобылина путем довольно жесткого отбора, куда попадают целые периоды истории, особенно ранней (в таком видении «эволюционного» процесса он опирается на дарвиновские идеи селекции и борьбы за жизнь, перенесенные им на человеческое общество). Когда философ в самое начало человека помещает только зверообразного антропофага, а в конец его «экстрем» — лучезарную духовную личность, бессмертное звездное человечество, то все этапы, ведущие к этому блистательному финалу (человек «чувственный», «рассудочный» вытесняется «разумным»), а уж тем паче самое начало движения (дикарь), идут спокойненько на перегной. Любая философская теория направляется в своих посылках и выводах тем или иным нравственно-ценностным импульсом. Федоров в своих футурологических построениях в отличие от Сухово-Кобылина всегда опирается на сверхприродные, духовные задатки человека, предвосхищая будущее их развитие с полным вытеснением всего животного, «дарового» в нем. Усматривая в первоначальном, так сказать, человеке сыновнее чувство, нравственное потрясение от осознания смерти, одаривая его сердцем, может быть, чище нашего, Федоров как бы выдвигает теоретическую философскую предпосылку его равноценности нам (как, впрочем, и всем жившим на земле людям) и необходимости л и ч н о г о присутствия в будущем всемирном человечестве.

Подводя итоги всплеску новых философских идей, во многом стимулированных естественнонаучными открытиями середины прошлого века, можно отметить следующее. Идея эволюции словно дала воздух человеческой надежде: раз идет все усложняющееся преемственное развитие форм жизни, то и человек получает естественный шанс для совершенствования. Исходя из общего желания превзойти, перерасти нынешнюю противоречивую, «промежуточную» природу человека, проективная мысль начала работать в двух направлениях. В одном из них чувствовалось сильнейшее воздействие дарвиновских идей естественного отбора, борьбы за существование как двигателей прогресса. Дальнейшее восхождение гомо сапиенс виделось на путях борьбы и вытеснения слабых и неприспособленных форм. Но любая даже самая утонченная селекционная идея, перенесенная на человека, всякого вида природно-биологические идеалы усовершенствования высших рас и экземпляров рода человеческого приводят в конце концов лишь к новому виду «антропофагии». И горло антропофага первобытных времен вырастает в громаднейшую глотку, жерло, в котором должны бесследно исчезнуть миллионы неудачных, неполноценных и «недостойных». Так, французский философ Эрнест Ренан, представляя блистательное эволюционное будущее — и торжество науки, и бесконечно умножившееся сознание человечества, познавшего все свое прошлое, тайные пружины мира и ставшего всемогущим властелином материи,— договорился до выделения «небольшой части аристократов ума», которых масса сделала бы «хранилищем своего разума», и до создания настоящего «научного ада» как карательной меры для непокорных. Наиболее яркий и крайний пример такого подхода — идея «сверхчеловека» Ницше, столь страшно и кроваво опошленная в известных попытках ее исторической реализации.

В более гуманных вариантах логическая и душевная установка на «селекцию» прослеживается и в таких явлениях эволюционно-философского синтеза, как «учение Всемира» или даже некоторых идеях Умова. При всем пафосе творчества, одухотворения мира и человека в их построениях звучат жесткие, «аристократические» нотки: как я уже отмечала, у первого в труху бытия попадают наши «зверообразные» дикие предки, несовершенные расы, у второго — дается внутреннее согласие на неизбежность вымирания неких людей-«автоматов», не сумевших подняться на гребень эволюции.

Другая нравственно-философская тенденция, обосновывая самодостаточную и высшую ценность человеческой личности, солидарно-родственно связанную цепь поколений, была одушевлена идеей всеобщности. Вернадский высказывался однозначно: «Геологический эволюционный процесс отвечает биологическому единству и равенству всех людей — Homo sapiens и его геологических предков Sinanthropus и др... Нельзя безнаказанно идти против принципа единства всех людей как закона природы». Кстати, недаром это направление эволюционной мысли всегда подвергало сомнению преувеличение роли селекции и борьбы за существование в самой природе. Реальности больше отвечал, писал тот же Вернадский, обратный закон — «принцип солидарности», выдвинутый двумя русскими учеными независимо друг от друга — сначала зоологом Карлом Кесслером, а позже П. А. Кропоткиным. Утопическим выразителем этого направления был Федоров, его «Философия общего дела»; к нему принадлежат и создатели концепции «ноосферы». В наиболее трезвом, позитивно-научном, убедительном виде такое осмысление задач эволюции дал Вернадский.

РЕАЛЬНОСТЬ И ИДЕАЛ НООСФЕРЫ

Каждый более или менее образованный человек нашего времени, к какой бы сфере деятельности он ни был причастен, слышал это несколько таинственное слово: н о о с ф е р а. Для второй половины нашего века концепция ноосферы — нередко такая же премудрая и туманная знаменитость, какой для первой половины была теория относительности. Попробуем же в очередной раз разобраться в этой идее, столь тесно связанной с именем и научно-философским наследием Вернадского.

Точно известны непосредственный автор и год ее появления на свет. Впервые слово «ноосфера» прозвучало в стенах старейшего учебного учреждения Франции — парижском Коллеж де Франс на лекциях 1927/28 учебного года из уст последователя А. Бергсона — философа и математика Эдуарда Леруа. При этом соавтором ноосферной концепции был объявлен его друг и единомышленник Тейяр де Шарден, палеонтолог и философ. Оба строят свою мысль, опираясь на понятия биосферы и живого вещества в том духе, как они были развиты Вернадским в его знаменитых лекциях в Сорбонне в 1922—1923 годах. Сам Владимир Иванович так представлял духовную последовательность возникновения нового учения: биогеохимический подход к биосфере, предложенный им парижской аудитории, оп. одотворил мысль французских философов, сделавших следующий шаг, принятый уже в свою очередь им самим. С конца 30-х годов в теорию ноосферы стягивается самая суть оптимистического мировоззрения ученого. Недаром последней его опубликованной работой, своеобразным символом веры и духовным завещанием одновременно стала небольшая статья «Несколько слов о ноосфере» (1944 год).

Но вернемся на время к Леруа и Шардену. В чем же заключались их идеи? Появление человека в ряду восходящих жизненных форм означает, по их мнению, что «эволюция переходит к употреблению новых средств чисто психического порядка». Действительно, эволюция произвела принципиально новое орудие своего дальнейшего развития, подготовленное длительным процессом совершенствования нервной системы. Речь идет об особом духовно-психическом качестве, какого прежде в природе не существовало, — разуме рефлективного типа, обладающем самосознанием, способностью глубинно познавать самого себя и мир (как точно определил Тейяр де Шарден, «не просто знать, а знать, что знаешь»).

В более поздней работе «Место человека в природе» Тейяр де Шарден ввел происхождение и сущность жизни, а затем и человека в общий космический процесс усложнения материи. Там, где материя кажется нам «мертвой», она в действительности лишь «до-жизненна», в ней брезжит потенция стать живой. В этом смысле жизнь — космическое яв-

ление, поскольку ее нить тянется из самых недр материи. Очеловечивание (гоминизация) жизни для Леруа и Шардена — следующий, такой же великий скачок планетарного и космического развития, как оживотворение (витализация) материи. Иначе говоря, появление человека — дальнейшее, качественно новое развертывание «задач» самой биосферы, а за ней и космического процесса. Возникает, по мысли Леруа, «выше чем животная биосфера, следующая за ней,— человеческая сфера, сфера рефлексии, сознательного и свободного изобретения, короче говоря, мысли: собственно сфера разума или ноосфера». (Ноос по-гречески — разум, дух.) Развивается трудовая, социальная, творческая активность человека, расселяется он по всей земле, совершенствуются средства сообщения, способы хранения и передачи самой разнообразной информации (а ведь в основе основ всех этих достижений всего одна духовная сила — разум!). И вот человеческая специфичность все более выражается в особой «сфере разума», новой «оболочке» Земли, как бы наложенной на биосферу, но не слитой с ней и оказывающей на нее все большее преображающее воздействие. Через преемственное, из поколения в поколение распространение знаний и умений, через философский, нравственный поиск, искусство, науку уже идет своего рода коллективная цефализация, увеличивающая объем общеземного мозга. Но не только все большее планетарное единство и умножение коллективной творческой мощи включает Тейяр де Шарден в эволюционные перспективы ноосферы, но и преображение природы каждой отдельной личности, развитие ресурсов ее мозга, расширение сознания. «С возникновением «личности», наделенной путем «персонализации» способностью к бесконечной индивидуальной эволюции, ветвь перестает нести будущее исключительно в своем безликом целом». Принцип *родового* триумфа в ущерб отдельной особи, торжествовавший в животной эволюции, на стадии человека уже анахронизм, и анахронизм трагический, требующий отмены.

Почти идентичное «ноосфере» понятие предлагал философ и ученый Павел Флоренский в письме к Вернадскому конца 20-х годов, когда тот обнародовал свое учение о биосфере: «Со своей стороны хочу высказать мысль, нуждающуюся в конкретном обосновании и представляющую скорее эвристическое начало. Это именно мысль о существовании в биосфере, или, может быть, на биосфере, того, что можно было бы назвать пневматосферой, то есть о существовании особой части вещества, вовлеченной в круговорот культуры или, точнее, круговорот духа». Впрочем, уже в трактовке Федоровым регуляции как «внесения в природу воли и разума» видны начатки учения о ноосфере.

В неуклонно пробивающемся усилии породить разум можно усмотреть как бы некое стремление самой эволюции прийти к самосознанию. Человек — кульминация «спонтанной», бессознательной эволюции (первого ее периода), но вместе с тем и некое *начало*, сосредоточившее в себе предпосылки для нового, разумно направленного этапа самой эволюции. Предпосылки, которые, в свою очередь, длительное время развиваются, по существу, полубессознательно, с неудержимостью природного закона; им еще только предстоит прийти к истинному самосознанию, а человечеству, следовательно, к действительному управлению эволюцией мира и самого себя.

Итак, уже у французских авторов ноосферной идеи было два, на первый взгляд несколько несводимых подхода. С одной стороны ноосфера возникает с самого появления человека как процесс сугубо объективный, стихийный, а с другой — только сейчас, в наше время, биосфера начинает переходить в ноосферу — собственно ноосфера еще где-то впереди, на совсем другом, далеко не достигнутом уровне планетарного сознания и деятельности человечества. Такое же двойственное определение ноосферы встречается у Вернадского. Настойчиво напрашивается простейший выход из противоречия: разделить создание ноосферы на два периода. Так, современные авторы различают «предноосферу» и будущую собственно «ноосферу», некоторые из них эту «предноосферу» дробят на более мелкие части: антропосферу, социосферу, выделяют техносферу, а собственно ноосферу опять же отсылают в прекрасное далёко.

Тем не менее ноосфера — это реальность. С первой мысли человека о мире и себе, с первого самого малого практического изобретения, идея и «проект» которого стали передаваться (устно, в предании, затем письменно, в документе и книге), совершенствоваться, зачался опоясавший ныне всю планету информационный поток сведений, знаний, концепций, проектов. Он-то и дает нам наиболее образно близкое представление именно о некоей специфической оболочке Земли. Человек, существо, наделенное разумом и волей, действует в мире с самого своего появления как творец и преобразователь, как вольный или невольный зодчий «сферы разума». Она потому так и называется, что ведущую роль в ней играют разумные, «идеальные» реальности: творческие открытия, духовные, художественные, научные идеи, которые материально осуществляются в преобразованной природе, постройках, орудиях и машинах, научных и технических комплексах, произведениях искусства и т. д. Никуда не денешься — на Земле создана новая искусственная оболочка — ноосфера, радикально преобразованная трудом и творчеством человека. Но, как всем нам хорошо известно, это преобразование тем не менее далеко не всегда было по-настоящему разум-

ным, зачастую носило хищнический, неукротимо и жадно потребляющий природу, ее ресурсы характер. Да и ноосферный информационный поток содержит в себе идеологии и концепции антигуманные и ложные, осуществление которых или уже приносило колоссальные бедствия Земле, или грозит еще большими, вплоть до гибели самого человечества и биосферы.

Человек в своих антропологических, социальных, исторических гранях — существо еще далеко не совершенное, в определенном смысле «кризисное». Вместе с тем существует идеал и цель высшего, духовного Человека, тот идеал, который и движет им в стремлении превозмочь собственную природу. Так и создание человека — ноосфера есть и еще достаточно дисгармоничная, находящаяся в состоянии становления *реальность* и вместе с тем высший *идеал* этого становления. Ученый-натуралист, Вернадский много сделал для объективного изучения складывающейся в геологическом и историческом времени *реальности* ноосферы; выдающийся мыслитель, он провидел сущность «ноосферы *как цели*», задачи и движущие силы ее.

Мы уже знаем общефилософское представление его предшественников о том, какое колоссальное изменение порядка вещей производит вторжение человека в природу. Это представление Вернадский ставит на точную научную основу, введя понятие культурной биогеохимической энергии. В целом биогеохимическая энергия — это свободная энергия, образуемая жизнедеятельностью природных организмов (живого вещества); она вызывает миграцию (перемещение) химических элементов биосферы и тем формирует ее историю. С возникновением человека разумного живое вещество явило такой небывалый по сложности и силе вид энергии, который стал вызывать несравнимую с иными формами миграцию химических элементов. Обычная биогеохимическая энергия живого вещества производится прежде всего путем размножения. Однако отличительным «видовым признаком» человека стала форма энергии, «связанная с разумом», настолько неудержимо растущая и эффективная, что, по мнению ученого, несмотря на свое относительно земных эпох колыбельное, можно сказать, «младенчество», эта энергия уже «является основным фактом в ее (всей планеты.— С. С.) геологической истории». Создалась, по сильному выражению Вернадского, «новая форма власти живого организма над биосферой», дающая возможность «целиком переработать всю окружающую его природу», переработать — в смысле преобразить и одухотворить.

В XX веке созрели значительные *материальные* факторы перехода к ноосфере, к осуществлению идеала сознательно активной эволюции, считает ученый. *Первый* из них — *вселенскость* человечества, то есть «полный захват человеком биосферы для жизни». Вся Земля не просто до самых труднодоступных и неблагоприятных мест преобразована и заселена, но человек проник во все ее стихии: землю, воду, воздух, а сейчас, как мы знаем, способен длительно жить и в околоземном, космическом пространстве. *Второй*, может быть, решающий для создания ноосферы — *единство* человечества. Многие привыкли относиться к идее единства, равноправия и братства всех людей как к благородной нравственной идее, начавшей пробиваться в относительно недавней истории — с мировых религий, великих философских систем, литературных произведений и утопических построений... Вернадский укореняет ее значительно глубже, представляет как природный факт. «Биологически это выражается в выявлении в геологическом процессе всех людей как единого целого по отношению к остальному живому населению планеты». Взгляд на историю ученого-натуралиста поражает уважением уже к самым далеким нашим предкам, вплоть до других ветвей вида homo. Это единство человечества, как мы знаем, идейно осознается значительно позже, но в наше время, считает Вернадский, оно во многом стало «двигателем жизни и быта народных масс и задачей государственных образований». Будучи еще весьма «далеким от своего осуществления», это единство как стихийное, природное явление пробивает себе путь, несмотря на все объективные социальные и межнациональные противоречия и конфликты. Созидаются общечеловеческая культура, сходные формы научной, технической, бытовой цивилизации, самые отдаленные уголки Земли объединяются быстрейшими средствами передвижения, эффективными линиями связи и обмена информацией. *Третий* фактор — «народные массы получают все растущую возможность сознательного влияния на ход государственных и общественных дел».

И, наконец, то, что было в центре раздумий и надежд ученого,— *рост науки*, превращение ее в мощную «геологическую силу», главную силу создания ноосферы. Научная мысль — такое же закономерное, естественное явление, возникшее в ходе эволюции живого вещества, как и человеческий разум, развивается она все в том же полярном векторе времени и не может, по глубочайшему убеждению Вернадского, ни повернуть вспять, ни остановиться, таит в себе потенцию развития фактически безграничного. Вера в науку у Владимира Ивановича также, по существу, безгранична. Он убеждает нас, что «научное знание, проявляющееся как геологическая сила, создающая ноосферу, не может приводить к результатам, противоречащим тому процессу, созданием которого она является».

Это было написано непосредственно перед второй мировой войной, а ее опыт, как известно, сокрушительно показал, что наука может прекрасно служить и темным, антиноосферным силам. Впрочем, Вернадский был свидетелем того, как уже первая мировая война явила «невиданное ранее применение научных знаний» в целях «военного разрушения». Он предвидел, что найденные и использованные наукой и техникой к тому времени смертоубийственные средства «едва начинают проявляться в этой войне и сулят в будущем еще большие бедствия, если не будут ограничены силами человеческого духа и более совершенной общественной организацией». Последние десятилетия развития науки подтверждают это предсказание. Одновременно с рукотворными светлыми научными чудесами сейчас, как никогда, множатся и изощряются столь же фантастические средства убийства и уничтожения. Образец «научно построенного человечества» начинает не столько притягивать, сколько вызывать опасение и даже отталкивать, ведь на счету науки уже и атомные, и нейтронные бомбы, и корыстные генетические манипуляции. Почему же успехи ноосферы, рост созидательных достижений не могут не идти одновременно с накоплением такого же, если не большего количества разрушительных возможностей, которые грозят вообще взорвать всю зону жизни?

Вернадский считал необходимым создать «интернационал ученых», который культивировал бы «сознание нравственной ответственности ученых за использование научных открытий». А в уже цитированной статье 1915 года «Война и прогресс науки» он выдвинул весьма оригинальную идею: обезвредить, так сказать, «негативную» науку, все ее кошмарные плоды наукой же защитительного и охранительного свойства. Но достаточно ли этого и не глубже ли здесь противоречие? Ведь и науку, и ноосферу в конечном итоге строит человек.

Кризис гуманизма, широко развернувшийся в нашем веке (теоретически его предсказывали проницательные умы прошлого столетия) после тех страшных злодейств невиданного исторического масштаба, на которые оказался способен человек, по-новому остро поставил вопрос о его природе. Можно ли на ч е л о в е к е (в его нынешней противоречивой, несовершенной, подвластной губительным импульсам природе) основать абсолют? Не виноват ли в кризисе гуманизма во многом тот фундаментальный выбор, который явственно проступает в идеале потребительского общества с его «обожествлением» природной данности человека, ее естественных границ, в идеале человека, пробующего и утверждающего себя во все измерения и концы своей природы, признающиеся одинаково правомочными? Может ли осуществиться идеал обретения солнечной полноты, цветущей гармонии, в которой счастливо бы сопрягались полярности распаленной плоти и «культурного» духа, света и тьмы, добра и зла? И не таит ли он в себе все растущую взрывоопасную силу? Потому-то и работающая в поле такого «языческого» идеала наука — одновременно и созидательная сила современного мира, и с равным циничным успехом разрушающая, дающая выход «законным» темным, «демоническим» задаткам человеческой природы.

Активно эволюционная мысль, начавшая складываться еще в прошлом веке, предлагает другой выбор: выбор человека как существа сознательно-творческого, «растущего», призванного преобразить не только внешний мир, но прежде всего собственную природу.

Только единственно верным у з к и м п у т е м отказа от безграничной «низшей свободы» следовать всем своим побуждениям и желаниям возможно дальнейшее развитие человеческой природы (таким же путем род людской и достигал наибольших результатов, вырываясь из животности, преодолевая первобытное кровосмесительство, антропофагию и т. д.). Следующим фундаментальным запретом, который должно наложить на себя человечество, запретом спасительным даже от реально грозящего самоуничтожения рода, но главное, решительно воздымающим людей к новой природе, должен стать запрет н е у б и й; н е у б и й (для начала) такого же человека, как ты сам, не убий ни при каких обстоятельствах, никогда и никак. Этот запрет будет таким же безусловным для нас, как и «не ешь человеческое мясо». И воспитывать его надо всем с самого раннего детства, с «чистой доски» только что родившегося ребенка; на ней постепенно и все глубже должно быть оттиснуто родовое самоопределение: ты появился на свет как представитель «человека разумного и неубивающего».

До сих пор нередко утверждается мнение, в том числе и деятелями науки, что любой нравственный критерий ограничивает якобы сам принцип свободы научного поиска. Нравственности отводят место лишь в практическом приложении научных результатов, добытых в поле неограниченной, неориентированной свободы. Между тем само существование страшных призраков будущего — от всеобщего атомного уничтожения до чудовищных биологических экспериментов — связано с отсутствием рефлекса высшей цели в самих недрах научного исследования, четкого понимания, для чего оно идет, к чему стремится. Ноосферный идеал как раз вносит в научное познание и поиск столь необходимую высшую цель. Вместе с тем этот же идеал должен быть раскрыт настолько конкретно, чтобы он смог увлечь действительно всех. Высшим благом нельзя признать просто исследование и бесконечное познание неизвестно для чего или лишь для созидания материального комфорта,

высшим благом может быть только жизнь, жизнь личностная, сохранение, продление, развитие ее. Такое благо, такая цель и такой предмет касаются всех без изъятия. Поэтому наука, исследование и преобразование мира должны быть делом буквально каждого. Потребность и способность познавать, исследовать и преображать призваны стать такими же родовыми определениями человека, как сейчас — «смертный» (что вполне оправдывается) и «разумный» (что только еще должно в полной мере оправдаться, тогда отпадет и первое определение).

Именно в этом направлении работает вся активно эволюционная мысль — от мечты, выраженной в «Философии общего дела», до трезвых, учитывающих реальную последовательность дел и задач ноосферных идей Вернадского. Когда Вернадский говорит о принципиально новых «общечеловеческих действиях и идеях», которые возникли в XX веке как одна из предпосылок перехода от биосферы к ноосфере, он имеет в виду «проблему сознательного регулирования размножения, продления жизни, ослабления болезней для всего человечества», считая при этом, что тут только начало и «остановлено это движение быть не может». Действительно, это уже ноосферного характера задачи, касающиеся внутренне-биологического прогресса человека.

Вспомним еще одного советского ученого, долгие годы возглавлявшего Академию наук Белоруссии, Василия Феофиловича Купревича, который незадолго до кончины выступил на страницах нашей периодической печати со своими заветными идеями о жизни и смерти. Эти его идеи, безусловно, принадлежат к активно эволюционной, ноосферной отечественной мысли. Именно профессиональное знание мира животной и растительной природы подвигло этого выдающегося биолога усомниться в фундаментальной неизбежности смерти, ее неотъемлемой принадлежности жизни. Купревич стоит на точке зрения, что смерть не изначальна в природе, она появилась как приспособительное средство, выработанное в процессе эволюции для более быстрого совершенствования рода под действием естественного отбора. Как будто природа в процессе своей эволюции стремилась к созданию какого-то высшего существа и не жалела для этого мириады индивидуальных животных жизней, роды и семейства. Таким существом стал человек, в нем впервые оформилось то, что мы называем л и ч н о с т ь ю — неподменимое и неразложимое телесно-духовное единство, уникальное самосознание, включающее чувство, что возможности развития личности безграничны, если бы не роковые материально-природные границы существования. В человеке этот эффективнейший механизм усовершенствования рода — через смену поколений — не просто исчерпывает себя, им уже не достигается невольный прогресс, ибо вступает активная преобразующая себя и мир сила — разум, по самой своей сути требующий бесконечного личностного восхождения. Возникает впечатление, что работает этот механизм уже вхолостую, по инерции. Природа, раз включив его, уже как бы не может остановить. Вместе с тем, именно породив сознание, она создает предпосылки остановки этого механизма — уже творчеством и трудом самого носителя сознания. Ценность выступления Купревича в научной постановке проблемы, в подчеркивании того, что нет теоретических запретов долгожительства и бессмертия. «Придумав смерть, природа должна подсказать нам и пути для борьбы с нею». Он выдвинул положение, имеющее глубокий общефилософский смысл для понимания жизни: не в р е м я, отмеренное для индивидуального существования каждому виду живых существ, является сущностью жизни. Это исторически сложившаяся форма жизни целого, рода, вида, через смену индивидуальных особей. Но сам основной механизм жизни — обмен со средой и беспрерывное обновление организма — не указывает на обязательный конец этого процесса. Более того, на самом первичном, элементарном уровне жизни существует статус практического бессмертия (периодически омолаживающиеся одноклеточные). На высоком уровне этот статус утрачен, но нет принципиальных запретов на его сознательное обретение. Как во всяком деле, а особенно новом и смелом, тут нужны энтузиасты, и к ним взывал Купревич в статье с характерным названием «Приглашение к бессмертию». Важно преодолеть своеобразный психологический барьер, мешающий большинству живущих даже внутренне, в желании и мечте, покуситься на смерть. Как Медуза Горгона, смерть пока приводит в каменное оцепенение всех, и «не ученых» и «ученых», говоря словами того же Федорова.

Купревич твердо верит, что наступит эра долгожителей, а затем и практически бессмертных людей. Пока трудно вообразить, какие блага принесет человечеству победа над старостью и смертью. С развитием общества человеку будет все теснее в рамках его видового жизненного предела. Кстати, белорусский академик писал, что для настоящего освоения космоса нужен практически бессмертный человек: «Человек, живущий несколько десятилетий, так же неспособен преодолеть межзвездные пространства, как бабочка однодневка не может перелететь океан». К тому же, пока человек смертен, сохраняется самый глубокий исток зла и страдания, приводящий к вражде, разделению, соперничеству, вытеснению на всех уровнях. Даже постепенное увеличение видовой продолжительности жизни должно вести к нравственному подъему человечества. Если прогресс научный, технический идет неуклонно, то в нравственной области, как известно,

нет такого последовательного возрастания. Одна из глубоких причин этого — частая смена поколений, причем каждое поколение и каждый человек начинают буквально с «нуля», и только в длительном процессе воспитания и образования они должны «по идее» овладеть достигнутым к их рождению духовным и нравственным уровнем человечества, не говоря уже о том, чтобы продвинуть его дальше. Но овладевает ли им каждый человек? И не избирает ли он зачастую в оставленном наследии несовершенное, ложное, вредное? Исправлять горькие плоды неверной духовно-нравственной ориентации часто попросту не остается времени жизни. И, умудренный опытом, знанием, просветленный осознанными заблуждениями, человек уже уступает место детям, которые начинают повторять или даже усугублять старые ошибки. Так что продление жизни это не только столь важное для общества продление наиболее активного, деятельного, богатого опытом и умением возраста человека, но и предоставление ему большей возможности обозреть исторический, культурный опыт человечества, испробовать различные установки отношения к людям и жизни, найти наиболее гуманные и эффективные, выпестовать и развить свою уникальную личность, для которой тем более станет неприемлемым уничтожение.

Кстати, весьма обоснован взгляд тех, кто видит в борьбе против смертности ту глобальную задачу, которая — наряду с другими — способна служить альтернативой гонке вооружений, угрозе войны. Возможно простейшее рассуждение: если признавать смерть обязательной для каждого индивидуума, обязательной в природном и нравственном порядке, то в том же порядке и целое (народ, государство, человечество), состоящее из этих смертных, неизбежно должно вставать перед такой же ситуацией смерти. Ею является война. Народонаселение все растет — растут и материальные средства эту ситуацию разрешить. Пиками, дрекольем, даже пушками с нынешними миллиардами людей не справиться. Пока человек остается существом смертным (по преимуществу смертным во всей природе, ибо он один ее осознает), он свою смертность будет не просто осознавать, но и эффективно эксплуатировать как инструмент защиты, нападения, экспансии, социального и прочего подавления.

Радикальное продление жизни человека, преодоление видового барьера (над этим в последние годы начинают серьезно работать биология и медицина) возможны только через регуляцию физической природы человека, раскрытие механизмов старения и смерти. Замечательная мысль Вернадского о будущем автотрофном человечестве принадлежит к этому кругу идей.

АВТОТРОФНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

То была не просто одна из самых любимых его идей, но и одна из поистине оригинальных. Мы уже знаем, насколько тщательно отмечал Владимир Иванович вклад других в разработку тех понятий, которые сам он переосмыслял и развивал далее: знаменитая «биосфера», столь неотделимая в нашем сознании от имени Вернадского, оказывается, была введена еще Ламарком и австрийским геологом Зюссом, «ноосфера» — Леруа и Шарденом, «геохимия» — немцем Шенбейном... Но вот что сообщает Вернадский Ферсману из Парижа 20 июня 1925 года: «Сейчас написал статью об «автотрофизме человечества»; к сожалению, может быть, придал ей такую форму, что она не подойдет к здешним издательским журнальным нравам. Но это дальнейшее развитие геохимических идей, и я попытался выразить в ней возможно ясно последствия, вытекающие для будущего человечества. Мне кажется, этого круга идей никто не касался, по крайней мере я не знаю». Эта идея, прежде чем быть впервые обнародованной на французском языке в парижском научном журнале в 1925 году, занимала мысли Владимира Ивановича несколько лет.

Как «огромный геологический переворот» оценивает он «создание автотрофного позвоночного» за год до первой публикации в письме к Личкову: «Последствия его будут огромны. Как видите, тут я выхожу за пределы точного знания».

Мне кажется неслучайным, что эта идея, выходящая «за пределы точного знания», относится именно к двадцатым годам. Надо вспомнить о направлении чувств и умов того времени, которое наиболее взволнованно и утопически дерзновенно выражала поэзия. В ней в это время настойчиво зазвучали еще неслыханные ранее темы всеобщего труда, радикального преобразования мира и человека, борьбы со смертью[1], овладения

[1] Подобное направление поисков — яркая черта эпохи. Известный историк-марксист Н. А. Рожков в книге «Смысл и красота жизни» (Пг.-М., 1923) писал о своей уверенности, что «в отдаленном будущем для человечества открывается возможность всемогущества в полном смысле этого слова, вплоть до общения с другими мирами, бессмертия, воскрешения тех, кто жил прежде, и даже создания новых планет и планетных систем». Валериан Муравьев, экономист и философ, отправляясь от новых достижений в биологии, а также физики и математики (теория относительности, теория множеств) в своей книге «Овладение временем» (М., 1924) стремится к обоснованию той же идеи индивидуального бессмертия человека.

космосом. При этом возникали и такие «философские» мотивы, которые эмоционально напряженно (как и полагается поэзии) приближают нас к пониманию особого нравственного смысла этой идеи Вернадского. Вспомним глубоко философскую «Песнь о хлебе» (1921) Есенина, не песнь, а настоящий плач над «крестным путем» хлебного колоса. Поэт создает неожиданной силы образ: человек, вынужденный пожирать чужую жизнь, притом, что «Никому и в голову не встанет, что солома — это тоже плоть...», отравляется «трупными ядами» убиваемой им жизни. На самом первичном, натуральном уровне здесь лежит «первородный грех» людей, рождающий в них зло и смерть:

И свистят по всей стране, как осень,
Шарлатан, убийца и злодей...
Оттого что режет серп колосья,
Как под горло режут лебедей.

Несколько позднее эта тема станет одной из центральных в раннем творчестве Николая Заболоцкого; он, по существу, первым введет в поэзию такой уровень отношений человека к природе, который возможен при принципиально новом, активном осознании эволюции, когда человек признается ответственным за ее дальнейший ход. В его ранней поэзии человек становится последней инстанцией пожирания, царящего в мире, поистине «наивеличайшим убийцей на Земле», как выражался Гердер. Пища, ее приготовление, поглощение, «кровавое искусство жить» становятся чуть ли не основным «поэтическим» предметом Заболоцкого в эти годы. Уж поистине такого еще в поэзии не бывало! Причем это не «фламандская» роскошная снедь, оправданная гедонистической, эстетической ее подачей. Пища у Заболоцкого всегда представлена буквально как трупы, препарированные убитые животные. Почти шокирующая необычность «Столбцов», первого сборника поэта, во многом задавалась какой-то фантасмагорической точкой зрения — увидеть страдание и убийство там, где тысячелетняя привычка лишь предчувствует вкусную еду:

Там примус выстроен, как дыба,
На нем, от ужаса треща,
Чахоточная воет рыба
В зеленых масляных прыщах.
Там трупы вымытых животных
Лежат на простынях холодных
И чугуны, кипели слез,
Венчают зла апофеоз.

Недаром древние индусы всю материю и все ее живые формы представляли как пищу. Такое же видение образно выражено у Заболоцкого. Идет бесконечный круговорот живых существ: корова «убивает», пожирает траву, а мы убиваем, едим корову — и не только ее: «В желудке нашем исчезают звери, Животные, растения, цветы...», а завтра человек сам превращается в перегной, из которого растет жизнь...

Однако в биосфере выделяются хлорофильные растения, которые, по слову ученого, независимы от других организмов в своей жизнедеятельности, «сами могут вырабатывать вещества, необходимые для их жизни, пользуясь косными, с жизнью не связанными химическими продуктами земной коры. Они заимствуют газы и водные растворы из окружающей среды и сами строят бесчисленные азотистые и углеродные соединения, сотни тысяч различных тел, входящих в состав их тканей». Немецкий физиолог В. Пфеффер первым произвел классификацию живого по принципу питания: автотрофными (самопитающимися) он назвал растения, гетеротрофными — собственно, все остальные существа, кроме третьей, довольно многочисленной промежуточной формы организмов, так называемых миксотрофных (как пример приводится омела). Следующее уточнение произвел русский биолог С. Н. Виноградский в 1887 году, доказавший существование автотрофных бактерий, лишенных хлорофилла.

Нельзя забывать об основном факторе, позволяющем осуществиться растительному фотосинтезу: солнечном свете, рассеянной лучистой энергии космоса. Это, собственно, и есть главное питание растений. Только, добавим, при помощи чудесного хлорофилла (а ведь недаром это восхищенное определение так накрепко приросло к нему). Автотрофные растения находятся в авангарде — и одновременно в фундаменте — великого космического процесса образования и развития зоны жизни. Они как бы средостение между двумя потоками: потоком энергетических явлений неживой материи, неизбежно приводящих к затуханию (второй закон термодинамики), и потоком эволюции живого вещества, идущим с увеличением энергии, организации, сложности (антиэнтропия, как бы третий закон термодинамики живого). Более того, если энтропия, по определению Макса Планка, «мера необратимости», то жизнь, начиная буквально, физически с хлорофиллового «фокуса»,— это как раз грандиозная попытка «обратимости». Иначе говоря, необозримые энтропийные остатки эволюции неживой материи (лучистая энергия, рассеянная в мировом пространстве теплота) трансформируются в новые, более высокие формы энергии жизни, сознания, духа, трудовых его порождений — культуры, науки, техники, которые возникают на вершине природной эволюции — в человеке.

Человек — существо гетеротрофное и может, как пишет Вернадский, «строить и поддерживать существование и неприкосновенность своего тела только усвое-

нием других организмов или продуктов их жизни». Первая и важнейшая связь человека с целым жизни — это его включенность в последовательно разворачивающийся ряд живых форм и, наконец, в ту цепь человеческих поколений (а их ученый насчитывает более десяти тысяч) «от отца к сыну, вида Homo sapiens, которые по существу своему не отличаются от нас ни своим характером, ни своей внешностью, ни полетом мысли, ни силой чувств, ни интенсивностью душевной жизни». Вот она, замечательная убежденность в человеческой равноценности нам (и нашим потомкам) всех когда-либо живших людей, вот чувство уважения к ним и благодарности за то, что они передают нам все — от жизни до материальной и духовной культуры! Таково истинно эволюционное и гуманистическое сознание! Но второй тип связи человека с живым веществом через питание не есть, по мнению Вернадского, такой же «глубокий природный процесс, неизменный и необходимый для жизни», как первый. Разум человека, «устремленная и организованная воля его, как существа общественного», активно перестраивающие мир вокруг, могут и должны регулировать и собственную природу в том направлении, которое диктует глубокое нравственное чувство.

Дальнейшее развитие человечества состоит «наряду с разрешением социальных проблем, которые поставлены социализмом, в изменении формы питания и источников энергии, доступных человеку». Вернадский имеет в виду овладение новыми источниками энергии, в том числе энергией солнца, а также «непосредственным синтезом пищи, без посредничества организованных существ». Этот колоссальный эволюционный поворот человечества означает умение поддерживать и воссоздавать свой организм, как растение, за счет самых элементарных природных, неорганических веществ. («Пользуясь непосредственно энергией Солнца, человек овладеет источником энергии зеленых растений».)

В поэме Заболоцкого «Торжество земледелия» представлена мечта о таком будущем, когда человек преображает природу, «подтягивает» до себя отставших по лестнице эволюции своих меньших братьев, устанавливает новый закон бытия, закон истинного родства, связующий все существа Земли. Этот закон высится на новой натуральной основе жизни, из которой изгоняется принцип взаимного пожирания и вытеснения. И на этом особенно настаивает поэт в своих ликующих сценках «нового питания»:

Там кони, химии друзья,
Хлебали щи из ста молекул...
Корова в формулах и лентах
Пекла пирог из элементов,
И перед нею в банке рос
Большой химический овес.

У Заболоцкого автотрофность утопически предельно распространяется на весь мир. Эта замечательная идея, с которой поэт встречался и в философских сочинениях Циолковского, в «Торжестве земледелия» оборачивается детски задорной, весело торжествующей поэзией.

Сама идея автотрофности простирается дальше химического синтеза пищевых продуктов. Имеется в виду творчески-трудовое обретение такого принципиально нового способа обмена веществ с окружающей средой, который может не иметь конца. Уже в растении, писал Вернадский в «Очерках геохимии», солнечная энергия «перешла в такую форму, которая создает организм, обладающий потенциальным бессмертием, не уменьшающим, а увеличивающим действенную энергию исходного солнечного луча». В автотрофном человеке, сознательно и активно осуществляющем свое творческое самосозидание, эта потенциальная возможность должна перейти в действительную. Сам Вернадский прямо об этом не писал. Но уже у Федорова задача превратить питание в «сознательно творческий процесс — обращения человеком элементарных, космических веществ в минеральные, потом растительные и, наконец, живые ткани» не только была поставлена, но и осмыслена как одно из направлений в деле реального овладения человеком бессмертной природой, как одно из условий обретения им «причины самого себя». Циолковский также писал о будущем человеке, «животном космоса», прямо ассимилирующем в своем питании солнечные лучи и элементарные вещества среды и могущем быть бессмертным. Прочное нравственное совершенствование возможно только вместе с физическим усовершенствованием, освобождением от тех природных качеств, которые заставляют человека пожирать, вытеснять, убивать и самому умирать.

Вернадский высочайшим образом оценивал будущую реализацию идеала автотрофности для всего человечества: «Последствия такого явления в механизме биосферы были бы огромны. Это означало бы, что единое целое — жизнь — вновь разделилось бы, проявилось бы третье, независимое ее ответвление... В конце концов будущее человека всегда большей частью создается им же самим. Создание нового автотрофного существа даст ему доселе отсутствующие возможности использования его вековых духовных стремлений...».

СЕМЬЯ ИДЕЙ

Известное определение Вернадским себя как философского скептика носило явно выраженную защитную окраску. С начала 30-х годов он подвергся поверхностным разносам со стороны ряда философов, в том числе А. М. Деборина, грубо искажавших суть его научно-философских представлений. Владимир Иванович уничтожающе точно охарактеризовал авторов подобной критики (в жанре доноса): «...они занимаются розыском и вычитывают в думах ученого, занимающегося биосферой, злокозненные философские построения. Такое, с моей точки зрения, комическое и банальное, но очень неблагонадежное «новое религиозно-философское мировоззрение» имел смелость приписать мне академик Деборин в результате своего розыска». «Опека представителей философии» того времени, опека догматическая и невежественная, далекая от понимания революционных достижений науки, в том числе и биогеохимии, была не просто тягостной и лично оскорбительной для нашего выдающегося ученого, но и обличалась им как тормоз в развитии научной работы в целом, вредящий «пользе дела, государственному благу». Философский скептицизм стал той оборонительной «башней», в которую он ушел, защищая свое право на исследовательскую автономию, свободу профессионального мышления.

Редко кто из ученых, подобно Вернадскому, не просто понимал, но и испытывал на себе «неизбежное и постоянно наблюдаемое питание науки идеями и понятиями, возникшими как в области религии, так и в области философии». Он улавливал в истории и современности и «обратный процесс»: «религия и философия, восприняв достигнутые научным мировоззрением данные, все дальше и дальше расширяют глубокие тайники человеческого сознания». Поэтому даже в столь ответственном (учитывая время) ответе официальному критику Вернадский смело ставит вопрос о том, не будет ли плодотворнее для науки не какая-то отдельная философия, а скорее «совокупность их всех в данный момент существующих. Или всех существовавших в тысячелетнем историческом ходе философской мысли?» А заканчивает он свое протестующее заявление надеждой на свежие философские подходы, «понимающие язык и мысль новой науки».

Довольно часто мировоззрение основателя биогеохимии определяют как «антропокосмизм». Впервые это понятие ввел ученик Вернадского, украинский академик Николай Григорьевич Холодный в небольшой философской работе, изданной для узкого круга (Ереван, 1944), кстати, тут же посланной им Владимиру Ивановичу. В ответ Вернадский писал: «Получил Вашу книжку «Мысли дарвиниста о природе и человеке», сейчас ее кончаю. Хочу ответить Вам тем же путем «на правах рукописи», веду переговоры с издательством. Я считаю, что обсуждение этих основных вопросов в науке является чрезвычайно важным в настоящее время, в данный исторический момент». Очевидно, «Несколько слов о ноосфере» и были этим ответом. Антропокосмизм у Холодного противопоставляет себя антропоцентризму, этому «первородному греху» человеческой мысли, не только ставящей человека в центр мироздания, но и отрывающей его от природы, от своих «меньших братьев» по эволюции, от космоса. Антропокосмическое понимание сводит человека с его трона исключительности, видя в нем «одну из органических составных частей» и этапов развития космического целого. Утверждая родство человека с другими жизненными формами и силами, даже своеобразный «долг» перед ними (выносившими его к бытию), антропокосмическая установка отвергает гордынное покорение этих сил. Да, человек не есть некое суверенное и автономное существо в мироздании, он неотделим от судеб космического развития, но возникает и обратная зависимость: человек «становится одним из мощных факторов дальнейшей эволюции природы в обитаемом им участке мироздания и притом фактором, действующим сознательно». В сознательную эволюцию Холодный включает и «биологический (а следовательно, и психологический) прогресс человечества», который «в настоящее время более чем когда-либо раньше неотделим от прогресса социального».

Идея космичности жизни и человека близка всей активно эволюционной мысли XX века — и К. Э. Циолковскому, и А. Л. Чижевскому, и В. И. Вернадскому. В докладе 1931 года «Изучение явлений жизни и новая физика» Вернадский поставил вопрос об остром противоречии, возникшем между «сознанием мира», лежащим в глубине человека, и «его научной картиной», господствовавшей ряд столетий, которая была основана на физико-химических явлениях и к ним же пыталась в конечном итоге свести и жизнь, и сознание. Только религия и философия в разной степени и каждая по-своему если не разрешали, то как бы утоляли это противоречие, отвечая устремлениям человеческого сердца, внутреннему убеждению в особом значении жизни, уникального «я». Новый импульс своему развитию философская и религиозно-философская мысль получила от эволюционной теории, но эта теория тем не менее не вошла в «научную картину Космоса, так как в последней нет места жизни». Вернадский признает огромное значение этой мысли. Тут и идеи «Творческой эволюции» Бергсона, и ноосферные концепции Леруа и Тейяра де Шардена, и построения Сухово-

Кобылина и Умова, и проекты «общего дела» Федорова. Сюда же надо отнести и «космическую философию» Циолковского с представлением о таком космосе, в котором жизнь буквально кишит в разнообразных формах (до самых невероятных) и на различных ступенях развития, вплоть до самых совершенных, высокосознательных и бессмертных существ. Это, конечно, не научное, а натурфилософское видение. Циолковский представлял себе Вселенную единым материальным телом, по которому бесконечно путешествуют атомы, покинувшие распавшиеся смертные тела, атомы, которые и есть неразрушимые «первобытные граждане», примитивные «я». По-настоящему блаженная жизнь для них начинается в мозгу высших, бессмертных существ космоса, при том что огромнейшие промежутки «небытия», нахождения в низшем материальном виде, как будто и вовсе не существуют. Гарантией достижения бессмертного блаженства для мозговых атомов становится уничтожение в масштабах Земли и космоса несовершенных, подверженных страданию форм жизни, в которые эти атомы могли бы попасть. (Для Циолковского это приложение теории «разумного эгоизма» к своей «научной этике».) Сильное влияние на Циолковского как мыслителя, оказанное Писаревым и в известной степени Чернышевским, неожиданно и причудливо проявилось в этической стороне его космической утопии, в которую также вплелись наивно трансформированные буддийские мотивы переселения душ (на «атомном» уровне) и отталкивания от «низких» форм телесного воплощения. Такой атомный трансформизм, нечувствительность к проблеме личности, некоторые «селекционные» мотивы были бы совершенно чужды, скажем, тому же Федорову, но их с Циолковским сближает другое — общая для всей активно эволюционной мысли убежденность: разумная преобразовательная деятельность — важнейший фактор эволюции, призванный вести мир к большему совершенству и гармонии. «Калужский мечтатель» боролся с пессимистическими выводами из энтропийных постулатов науки его времени, утверждая неуничтожимость жизни во Вселенной, возможность ее «вечной юности» при условии гигантской творческой активности разумных сил.

Вернадский выдвинул перед учеными задачу «ввести в той или иной форме науку о жизни в картину мироздания». Эта картина должна включить в себя и жизнь, и человека, и его разум как геологические, космические явления. То, что пока делала лишь философия, то, **как** она это делала, не может удовлетворить науку. О вкладе Вернадского в разрешение этой задачи здесь говорилось достаточно. Другой крупный ученый, Александр Леонидович Чижевский, уже с начала 20-х годов обработав огромный статистический материал, показал, что периоды стихийных бедствий, эпидемических и инфекционных заболеваний совпадают с циклами солнечной активности. В ходе же дальнейших исследований и экспериментов обнаружил: биологические и психические стороны земной жизни связаны с физическими явлениями космоса; подобно чуткому нервному узлу биосфера в целом и буквально каждая клетка реагируют на ту «космическую информацию» (термин, введенный Вернадским), которой «большой космос» пронизывает все живое. Сама жизнь на Земле — продукт деятельности всего космоса, в ней как в фокусе сосредоточились и преломились его творящие лучи. Исследователь земно-космических взаимосвязей, Чижевский уже не как философ или натурфилософ-мечтатель, а как строгий ученый способствовал разрушению такой, по существу, не научной, а умозрительной и метафизической картины мира, в которой жизнь и человек были отделены от космоса.

Выступая против «примата математических, астрономических и физико-химических наук, вытекающего из современного научного построения мироздания», Вернадский выдвигал на первое место науку о жизни в самом широком ее значении. Тем самым совершалась как бы гуманизация научной картины мира, причем в ноосферном ее смысле. И свою биогеохимию Вернадский недаром включал в то течение мысли, которое видит «признаки гегемонии биологических наук в научных построениях в ближайшем будущем». Развитие знаний о жизни, биологии, утверждение критерия нравственности, признание высшего регулятивного идеала — вот некоторые из важнейших черт науки, работающей на сознательный этап эволюции. Активно эволюционные мыслители сумели соединить заботу о целом, о земле, биосфере, космосе с пониманием запросов высшей ценности — конкретного человека, носителя разума. Вернадский не раз подчеркивал необходимость включить в систему наук о жизни гуманитарные дисциплины, науку о человеке как центральном агенте ноосферы и высшей цели ее развития. Гуманизм не прекраснодушный, а основанный на глубоком знании, вытекающий из целей и задач самой природной, космической эволюции, мировоззренческий оптимизм свойствен всему этому семейству идей.

Не случайно деятели русской культуры, призывавшие к интеграции всех сил и способностей человека для осуществления его высшей эволюционно-космической цели, сами являли в своей личности исключительную степень развития самых разных знаний и талантов. В самом деле: Федоров — подвижник и новатор книжного дела в России, по свидетельству современников, знал содержание буквально всех книг Румянцевского музея (ныне библиотека имени Ленина), был мыслителем-энциклопедистом по размаху и глубине познаний. Энциклопедизм отличает и Циолковского, ученого и инженера-изобретателя, писателя и философа; Чижевского, основателя гелио- и космобиологии, мыслителя, поэта, художника и музыканта; Вернадского, гениального ученого, философа и науковеда.

Сила Вернадского как активно эволюционного мыслителя в том, что он обосновывает строго природный, объективный характер ноосферы. Это не просто благородное пожелание гармонизации мира, свойственное утопистам. Ноосферное направление избрано самой эволюцией глубинным законом развития мира, выдвинувшим разум как свое орудие. Пессимизм рождается из личного опыта каждого; наша активность, стремление к жизни и благу постоянно наталкиваются на непреодолимые пределы: материальное сопротивление мира, наше рабствование плоти, закон борьбы и вытеснения и нашу конечность. Ощущение собственной слабости и бессилия перед лицом Рока не просто уныло-безобидное: именно в нем пускают свои ядовитые корни цинизм и даже такие извращения, как злодейство, садизм, «сатанизм» разного рода. Собирание энергий, талантов, знаний отдельных людей в единство отчасти погашает индивидуальную немощь, ограниченность и горечь от них — так происходит в истории и культуре, в преемственной цепи свершений человечества. Но слишком хорошо известно, что синтезирование сил может, увы, великолепно служить и злу, и разрушению. Вся система больших и малых объединений, придающих особую, часто гигантскую степень возможностям каждого, нередко выводит на свет лишь новых страшилищ социального Рока, гипнотически обессиливающих надежды личности и духа в мире сем. А сколь сильны страх и чувство безнадежности у многих людей в нынешнем мире, поставившем себя на грань самоуничтожения! «Все страхи и рассуждения обывателей, а также некоторых представителей гуманитарных и философских дисциплин о возможной гибели цивилизации связаны,— считает с полной уверенностью ученый,— с недооценкой силы и глубины геологических процессов, каким является ныне нами переживаемый переход биосферы в ноосферу». И это было написано в те годы, когда «силы варваризации» явно набирали мощь и размах, готовясь развязать ужасы второй мировой войны. Известно, что с первых дней войны Вернадский в своем дневнике выражал неколебимую убежденность в поражении этих сил, ибо действуют они против ноосферных процессов, против объективного закона развития мира. Научными фактами, эмпирическими обобщениями Вернадский доказывает: идти против эволюции, против нового и объективно неизбежного, сознательного, разумного ее этапа, преобразующего мир и природу самого человека, неразумно и бесполезно. Он дает обоснованную надежду на будущее. Но чтобы *жить* дальше и выполнять свою великую космическую функцию авангарда живого вещества, человек не должен стоять на месте ныне обретенного им «промежуточного» физического и духовного статуса. Он должен *восходить*, следуя в этом закону эволюции.

А. Изюмов,
кандидат экономических наук

КИТАЙСКИЙ ВАРИАНТ

ОПЫТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ В КНР

«Социалистическая модернизация» в Китае началась в 1979 году, по многим направлениям реформы китайцы продвинулись довольно далеко. И хотя различия между китайской и советской экономикой очень велики как в количественном (валовой национальный продукт СССР примерно в 4 раза больше китайского), так и в качественном отношениях, опыт экономической реформы в Китае небезынтересен и для нас. В известном смысле то, что происходит в Китае, представляет собой крупномасштабный экономический эксперимент. Критически изучать ход и последствия этого эксперимента — первейший долг наших экономистов.

I

Короткая история экономической реформы в Китае делится на два этапа: период 1979—1984 годов, официальной точкой отсчета которого считается III пленум ЦК КПК одиннадцатого созыва (декабрь 1978 года), и второй, начавшийся III пленумом ЦК КПК двенадцатого созыва (октябрь 1984 года) и продолжающийся по настоящее время.

Первый этап принес значительные успехи экономике в целом. В шестой пятилетке (1981—1985 годы) были достигнуты ближайшие цели — вывести хозяйство страны из застоя, в котором оно пребывало в годы культурной революции, ускорить экономический рост, обеспечить подъем уровня жизни населения. Радикальные преобразования в сельском хозяйстве (подробнее о них ниже) сыграли здесь ключевую роль. Они помогли снять остроту продовольственной проблемы, помогли резко увеличить производство сырья для промышленности. Аграрная реформа оказалась тем звеном, потянув за которое китайскому руководству удалось переломить тяжелые негативные тенденции предшествующего экономического развития страны. («Накануне реформы,— говорил в беседе с нами зам. директора Центра по развитию деревни Госсовета КНР кандидат в члены ЦК КПК товарищ Чжан Гэншэн,— мы находились на грани экономической катастрофы. Обострились трудности с продуктами питания, одеждой. Это заставило многих людей задуматься о том, существуют ли вообще у социализма экономические преимущества. В таких условиях реформа стала для нас необходимостью».)

Преобразования в сельском хозяйстве были главной и наиболее успешной частью первого этапа экономической реформы. «Народные коммуны» и «производственные бригады» заменила система индивидуального подворного подряда. Сельскохозяйственное производство в стране стало расти небывалыми в истории Китая темпами (около 8 процентов в год против 3 процентов в 1957—1978 годах). Сборы зерновых увеличивались в 1980—1985 годах на 20 миллионов тонн ежегодно и достигли уровня 380—400 миллионов тонн (в 1983 году по урожайности зерновых Китай догнал США), сбор хлопка вырос вдвое, производство мяса в полтора раза. Доходы крестьян удвоились. Удалось в основном

насытить рынок продовольственных товаров и резко сократить карточную систему.

В деревне в рекордно короткие сроки — и это главное достижение первого этапа реформы — был сформирован новый, значительно более эффективный механизм взаимоотношений между сельскохозяйственными производителями (крестьянами) и государством. Этот механизм представляет собой своеобразную трехзвенную систему: индивидуальное крестьянское хозяйство — кооператив (сбытовой, потребительский, производственный) — государство, выступающее как главный заказчик и покупатель сельхозпродукции. Связи между всеми звеньями товарно-денежные. Государство планирует квоту (объем) сельхозпродукции, которую каждый крестьянин должен продать по твердым ценам, а взамен предлагает ему по твердым же ценам необходимые промышленные товары (удобрения, топливо, сельхозинвентарь и т. д.).

Вся продукция, произведенная крестьянином сверх квоты, может продаваться на свободном рынке. Функцию сбыта часто берет на себя кооператив, существующий за счет взносов крестьян и имеющий средства производства (склады, амбары, грузовые автомашины), большинству индивидуальных крестьян пока недоступные.

На конец 1986 года в сельском хозяйстве Китая было занято 370 миллионов человек (с членами семей — около 850 миллионов); средний размер крестьянского надела 0,5—0,8 гектара; обычный срок арендного договора с волостным комитетом — 15 лет; средний размер крестьянской семьи — 5 человек, из них работают 2—3 человека. Земля выделяется с учетом количества едоков и работников в семье. Право собственности на землю остается при этом за волостными комитетами, заменившими собой печально известные коммуны.

В октябре 1984 года на III пленуме ЦК КПК двенадцатого созыва китайское руководство, провозгласив цель дальнейшего углубления и развития «социалистического товарного производства» в деревне, выдвинуло программу, основные положения которой следующие: замена системы единых плановых квот системой индивидуальных контрактов; ограничение номенклатуры закупаемых государством сельхозпродуктов и отмена обязательства государства закупать по повышенным ценам любую продукцию, произведенную сверх контракта; стимулирование кооперативного движения в деревне; поощрение развития местной промышленности в сельской местности; стимулирование научно-технического прогресса в сельском хозяйстве.

Теперь договоры купли-продажи государство заключает с крестьянами не на несколько лет, а перед началом каждого сезона, и условия их могут меняться. Объемы закупок по контрактам меньше, чем были по квотам, а в номенклатуре остались главным образом зерно и хлопок. Изменена политика цен на сельхозпродукцию. Теперь государство покупает ее у крестьян сверх контракта только в том случае, если рыночная цена упадет ниже контрактной.

Расширяется практика изменения закупочных цен. Так, в сезоне 1985 года для ликвидации излишних запасов хлопка, образовавшихся после рекордного прошлогоднего урожая, государство снизило закупочную цену на хлопок. Крестьяне отреагировали уменьшением производства хлопка на треть, и проблема «рассасывания» запасов была решена.

Сокращая объем и номенклатуру закупок, государство сознательно снижает степень своего прямого контроля сельскохозяйственного производства и дает большой простор регулирующему действию товарно-денежных, рыночных отношений. Государственные сельскохозяйственные ведомства от планирования и администрирования все больше переходят к прогнозам оценок спроса и предложения. Регулировать же масштабы и структуру сельскохозяйственного производства стремятся, маневрируя объемами государственных закупок, ценами, мерами в области кредитной и налоговой политики.

Важнейшую роль в реализации второго этапа аграрной реформы отводят в Китае кооперативному строительству. Сейчас (данные Центра по развитию деревни Госсовета КНР) в сельской местности насчитывается около полумиллио-

на различных кооперативных объединений. Это сбытовые, потребительские кооперативы, это и производственные объединения, за плату осуществляющие агротехническую обработку крестьянских наделов. Такие кооперативы имеют сельскохозяйственную технику, покупаемую на свободном рынке. Растет и число центров научно-технической информации, оказывающих крестьянам помощь в применении передовой аграрной технологии. К концу нынешней 7-й пятилетки их будет около пятисот. В последние годы в деревне появился еще один вид кооперативов — сберегательные кассы и банки. Сеть таких финансовых кооперативов быстро расширяется, причем сфера их действия не ограничена кредитованием крестьянских хозяйств, но распространяется на местную промышленность и торговлю.

Существенно, что почти все действующие сейчас на селе кооперативы созданы самими крестьянами при минимальной помощи государства. «Наша политика,— заявил в беседе с нами товарищ Чжан Гэншэн,— состоит в том, чтобы крестьяне сами искали необходимые им новые формы организации и самоорганизации. Происходящие в данной области процессы мы определяем как «кооперацию снизу» в отличие от «кооперации сверху», характерной для аграрного строительства в прошлом и доказавшей свою неэффективность».

Одна из важнейших особенностей пореформенного развития сельскохозяйственных регионов Китая — стремительный рост местной (сельской) промышленности. С 1980 по 1986 год число ее предприятий (кооперативных, государственных и частных) выросло с 1,42 до 12,2 миллиона, а объем выпуска продукции достиг 330 миллиардов юаней. В 1986 году продукция местной промышленности впервые превысила по стоимости продукцию собственно сельскохозяйственного производства и составила более пятой части всей промышленной продукции страны. Стремительно расширялся ассортимент товаров местной промышленности. Начав с переработки сельскохозяйственного сырья и мелкомасштабной добычи полезных ископаемых, ее предприятия стали изготавливать одежду, обувь, другие виды потребительских товаров, а также детали и узлы машин, даже осуществлять сборку современной электронной техники. Согласно данным, предоставленным нам в Центре по развитию деревни, в настоящее время на предприятия местной промышленности приходится 20 процентов производимой в Китае ткани, треть одежды, 28 процентов обуви, 30 процентов бумаги и 53 процента строительных материалов. Некоторые из сельских предприятий работают по контракту с иностранными фирмами (нам довелось посетить находящуюся неподалеку от Шанхая швейную фабрику, изготавливающую костюмы на экспорт по заказу австралийской торговой фирмы).

Быстрое развитие местной промышленности помогает решать сразу несколько задач. Прежде всего оно обеспечивает занятость части крестьян, вытесняемых из сельскохозяйственного производства. По некоторым оценкам, уже сейчас в сельском хозяйстве Китая местная промышленность ежегодно «впитывает» по 6—8 миллионов человек; к 2000 году, по прогнозам, в ней будет занято 180—200 миллионов работников (в 1987 году было 80 миллионов).

Другое важное достоинство местной промышленности в том, что она дает крупные финансовые средства для развития сельского хозяйства, а также инфраструктуры и социальной сферы в аграрных регионах. По данным Центра развития деревни Госсовета КНР, в 1978—1986 годах прибыли местных предприятий ежегодно увеличивались на 17 процентов. За счет налогов с этих прибылей удалось значительно расширить закупки сельхозтехники, ирригационные работы, строительство коммуникаций, жилых и общественных зданий. Кроме того, налоги с прибылей местной промышленности пополняют бюджеты местных органов власти, что способствует развитию системы образования, здравоохранения и социального обеспечения и снима . соответствующую нагрузку с государственного бюджета. Следует отметить, что централизованные государственные вложения в сельское хозяйство вообще относительно невелики и по своему объему приблизительно вчетверо уступают вложениям, реализуемым отдельными крестьянами и кооперативами.

По словам товарища Чжан Гэншэна, развитие местных предприятий позволило создать в Китае «новое, более гармоничное соединение города и деревни, промышленности и сельского хозяйства».

Наряду с несомненными достижениями осуществление аграрной реформы принесло с собой немало проблем. В их числе: обострение дефицита удобрений, сельхозтехники, топлива и запчастей; усиление экономического расслоения среди крестьян; рост цен на продукты питания.

Хотя количество применяемой сельхозтехники и удобрений в китайской деревне выросло за годы реформы в несколько раз, эффективность их использования весьма низка. Эти ресурсы неравномерно распределены по регионам и хозяйствам, и, кроме того, значительная часть (около трети) сельского населения неграмотна, недостает специалистов сельского хозяйства. При том, что крестьянским семьям принадлежит уже почти 5 миллионов тракторов, малы размеры крестьянских наделов, и это ставит объективные пределы использованию наиболее мощной и производительной техники (впрочем, кооперативное техническое обслуживание крестьянских дворов позволяет выйти из положения).

Чтобы стимулировать увеличение производства сельхозпродукции, государство уже в первые годы реформы значительно подняло на нее цены. В сочетании с повышением роли свободного рынка это привело к значительному росту розничных цен на продукты питания.

С 1979 по 1983 год закупочные цены на сельхозпродукцию были подняты почти в полтора раза, а розничные увеличились более чем на 30 процентов. Однако рост цен на продукты питания не вызывал в Китае ощутимых протестов населения, поскольку одновременно увеличивалось количество и расширялся ассортимент этих продуктов, опережающе росли личные доходы.

Одним из наиболее сложных в аграрной реформе является вопрос экономического расслоения в деревне. Наши собеседники в Пекине признавали, что расслоение действительно происходит, однако подчеркивали (вслед за китайским руководством), что на данном этапе это естественный и даже полезный процесс, так как зажиточные крестьяне хозяйствуют наиболее эффективно и показывают хороший пример. Кроме того, отмечали сотрудники пекинского Центра по развитию деревни, масштабы расслоения не так велики, если учесть «подтягивание вверх» наиболее бедных крестьянских хозяйств (по их данным, доля беднейших, так называемых «голодных», дворов снизилась за годы реформы с 40 до 10 процентов).

Китайские ученые констатируют еще одну весьма любопытную особенность процесса. Оказывается, по достижении определенного уровня дохода (от 350 до 1000 юаней на члена семьи в год) большинство (до 70 процентов) китайских крестьян резко теряет интерес к дальнейшему расширению производства. Удовлетворив «стандартные» потребности, они «успокаиваются» и довольствуются сравнительно более медленным материальным прогрессом, но зато и работают менее напряженно. И лишь один процент сельского населения составляют люди, «всегда готовые на новые рискованные предприятия». По мнению члена комиссии советников ЦК КПК Ли Шэня, «удовлетворенность крестьян достигнутым ростом уровня жизни превратилась в одно из главных препятствий развитию товарного производства в деревне». Справедливости ради к этому следует добавить, что многие крестьяне недоиспользуют резервы роста производства и по другой причине — из-за боязни прослыть «чересчур богатыми» в глазах своих односельчан и местных руководителей.

Другое важное препятствие на пути утверждения новой системы хозяйствования в китайской деревне — неподготовленность широких масс крестьян-производителей к действиям в условиях неопределенности свободного рынка. По мере ухода государства с рынков сельхозпродукции крестьяне оказываются наедине с рыночной стихией и вынуждены на свой страх и риск планировать объемы производства и цены. Для многих это оказывается тяжелым испытанием, тем более, что информация о конъюнктуре рынков практически отсутствует. Впрочем, уже есть примеры того, как крестьяне пытаются решать эту проблему своими

силами. Так, с 1986 года в уезде Вэньчжоу успешно действует кооперативный информационный центр, за плату снабжающий своих клиентов прогнозами конъюнктуры сельскохозяйственных рынков.

Нетрудно заметить, что проблемы, с которыми сталкивается аграрная реформа в Китае, являются неизбежным результатом развития товарно-денежных отношений в тесных для них рамках отсталого, полуфеодального крестьянского хозяйства, изуродованного к тому же «казарменным коммунизмом» времен «большого скачка» и «культурной революции».

Из наших бесед с китайскими товарищами и изучения партийных документов КПК следует, что по крайней мере в течение ближайших пяти лет упор предполагается делать на распространение кооперативов и на укрупнение «передовых» крестьянских хозяйств за счет земельных наделов «менее производительных крестьян». (В 1987 году в КНР принят закон, согласно которому крестьян, систематически не выполняющих условия государственного контракта, будут лишать права пользования наделом.)

Существенно, что на вопрос «Не опасаются ли в Китае «кулацкой опасности?» — наши китайские собеседники отвечали отрицательно, ссылаясь, во-первых, на факт общественной собственности на землю и иные средства производства, во-вторых, на то, что государство абсолютно доминирует в промышленности и, в-третьих, на существование достаточно гармоничных рыночных связей государства и крестьян в настоящее время.

Что касается госхозов — государственных сельскохозяйственных предприятий,— структура управления этих хозяйств за годы реформы существенно изменилась. По данным, опубликованным в китайской печати, в подавляющем большинстве из действующих двух тысяч госхозов сельскохозяйственные угодья и другие средства производства поделены и переданы на подрядной основе рабочим. Таким образом, на данном этапе развитие крупных государственных хозяйств признается нецелесообразным.

Китайское руководство ставит сейчас перед сельским хозяйством страны достаточно серьезные задачи, утвердив высокие показатели роста. В седьмой пятилетке (1986—1990 годы) среднегодовые темпы увеличения сельскохозяйственного производства должны составить шесть, а продукции местной промышленности — семь с половиной процентов; урожаи зерна планируется довести до 400 килограммов на человека (425—450 миллионов тонн в год).

II

Экономические преобразования в промышленности начались в КНР позже, чем в сельском хозяйстве, и полным ходом пошли лишь после третьего пленума ЦК КПК двенадцатого созыва (октябрь 1984 года). На этом пленуме было принято решение «распространить реформу на города» путем освобождения государственных предприятий от чрезмерного централизованного контроля, повышения стимулирующей роли прибыли и зарплаты, отказа от жесткой системы цен и уменьшения субсидий. В течение 1985—1986 годов многие из этих и других мер были претворены в жизнь, в результате чего хозяйственный механизм, действующий в китайской промышленности, стал приобретать новые черты.

Основные направления промышленных реформ связаны друг с другом. Это — снижение роли централизованного плана и ослабление контроля предприятий со стороны министерств; перевод предприятий на полный хозрасчет и расширение «горизонтальных» связей между ними; внутри предприятий — развитие системы материального стимулирования и расширение полномочий хозяйственных руководителей. В соответствии с установкой на создание нового соотношения между планом и рынком происходит постепенное сужение объема и номенклатуры продукции, «жестко» планируемой из центра. В настоящее время, по словам наших китайских собеседников, централизованный план охватывает примерно треть всей промышленной продукции. Остальные две трети примерно поровну делятся между направляющим планом и свободным рынком. В перспективе имеется в виду перевести на рыночное регулирование до 70 процентов промышленного производства. В централизованный государственный план сейчас «закладывают» лишь около 60 показателей выпуска важнейших видов промышленной продукции плюс примерные объемы капиталовложений и еще некоторые обобщенные показатели.

Меняются и функции министерств. В новых условиях они призваны, по словам одного из наших пекинских собеседников, «отказаться от оперативного управления предприятиями и стать штабами научно-технической и рыночной стратегии своих отраслей». На пути к этой цели предприятия постепенно выводят из-под контроля министерств, а число и аппарат министерств сокращают. За 80-е годы ликвидирована половина центральных министерств (с примерно 100 до 50). В директивах седьмой пятилетки прямо говорится, что «министерства при Госсовете за исключением тех немногих ведомств и отраслей, у которых имеются особые обстоятельства.., больше не будут осуществлять непосредственное управление предприятиями».

По мере ослабления административных рычагов централизованного планирования возрастает роль косвенных методов регулирования производства. С начала 1986 года рост налогов и урезание кредитов были впервые применены в масштабах всей промышленности с целью притормозить чрезмерно высокие темпы роста производства и инвестиций, составившие в 1985 году соответственно 18 и 39 процентов. «Охлаждающие» меры возымели действие — в 1986 году рост промышленного производства составил уже 9, а инвестиций — 17 процентов.

В настоящее время план каждого предприятия включает 3 показателя: объем производства с учетом ассортимента, выполнение контрактов и договоров, прибыль. С прибыли взимается налог, от тридцати до семидесяти процентов, в зависимости от местных условий. Всю сверхплановую продукцию можно продавать на свободном рынке по плавающим или свободным ценам.

С централизованного распределения производственных ресурсов через министерства (фондирования) предприятия переводятся на рыночное снабжение. По данным китайской печати, уже в 1984 году в централизованном порядке распределяли лишь половину угля, металла и деловой древесины и всего четверть цемента. В 1985—1987 годах — еще меньше. В сфере финансирования централизованные инвестиции из государственных фондов постепенно уступают место самофинансированию предприятий, в том числе с помощью выпуска займов, продажи акций и обращения к банковскому кредиту. Выпускать собственные ценные бумаги предприятиям разрешили в широком масштабе только в 1986 году, но очень быстро эта практика получила распространение. В настоящее время уже многие предприятия привлекают таким путем весьма значительные суммы. Вероятно, наиболее крупным примером в этом смысле можно считать проект этиленового завода в Шанхае. Для его финансирования в течение 5 лет будет выпущено облигаций на полтора миллиарда юаней. Первая партия облигаций на 9 миллионов юаней была реализована среди населения менее чем за неделю.

Для удобства продавцов и покупателей ценных бумаг в Китае организуются биржи (они существуют уже в шести городах, включая Пекин). Но в целом финансовые рынки в стране пока еще находятся в зачаточном состоянии и не способны заменить централизованное финансирование.

По мере ослабления вертикальных связей типа «министерство — предприятие» упор в китайской промышленности переносится на горизонтальные связи между предприятиями. Это означает, с одной стороны, всемерное расширение договорных, контрактных отношений, с другой — развитие конкуренции и борьбы за потребителя. В таких условиях, когда предприятия уже не находятся под плотной опекой министерств и сами начинают отвечать за производственные и финансовые показатели, выбор партнеров и т. д., резко возрастает значение правовых норм, прежде всего хозяйственного законодательства.

В этой связи большое значение в Китае придается трем новым законам — Закону о банкротстве, Закону о государственных предприятиях и Закону о найме.

Закон о банкротстве был впервые представлен на обсуждение Всекитайского

силами. Так, с 1986 года в уезде Вэньчжоу успешно действует кооперативный информационный центр, за плату снабжающий своих клиентов прогнозами конъюнктуры сельскохозяйственных рынков.

Нетрудно заметить, что проблемы, с которыми сталкивается аграрная реформа в Китае, являются неизбежным результатом развития товарно-денежных отношений в тесных для них рамках отсталого, полуфеодального крестьянского хозяйства, изуродованного к тому же «казарменным коммунизмом» времен «большого скачка» и «культурной революции».

Из наших бесед с китайскими товарищами и изучения партийных документов КПК следует, что по крайней мере в течение ближайших пяти лет упор предполагается делать на распространение кооперативов и на укрупнение «передовых» крестьянских хозяйств за счет земельных наделов «менее производительных крестьян». (В 1987 году в КНР принят закон, согласно которому крестьян, систематически не выполняющих условия государственного контракта, будут лишать права пользования наделом.)

Существенно, что на вопрос «Не опасаются ли в Китае «кулацкой опасности?» — наши китайские собеседники отвечали отрицательно, ссылаясь, во-первых, на факт общественной собственности на землю и иные средства производства, во-вторых, на то, что государство абсолютно доминирует в промышленности и, в-третьих, на существование достаточно гармоничных рыночных связей государства и крестьян в настоящее время.

Что касается госхозов — государственных сельскохозяйственных предприятий,— структура управления этих хозяйств за годы реформы существенно изменилась. По данным, опубликованным в китайской печати, в подавляющем большинстве из действующих двух тысяч госхозов сельскохозяйственные угодья и другие средства производства поделены и переданы на подрядной основе рабочим. Таким образом, на данном этапе развитие крупных государственных хозяйств признается нецелесообразным.

Китайское руководство ставит сейчас перед сельским хозяйством страны достаточно серьезные задачи, утвердив высокие показатели роста. В седьмой пятилетке (1986—1990 годы) среднегодовые темпы увеличения сельскохозяйственного производства должны составить шесть, а продукции местной промышленности — семь с половиной процентов; урожаи зерна планируется довести до 400 килограммов на человека (425—450 миллионов тонн в год).

II

Экономические преобразования в промышленности начались в КНР позже, чем в сельском хозяйстве, и полным ходом пошли лишь после третьего пленума ЦК КПК двенадцатого созыва (октябрь 1984 года). На этом пленуме было принято решение «распространить реформу на города» путем освобождения государственных предприятий от чрезмерного централизованного контроля, повышения стимулирующей роли прибыли и зарплаты, отказа от жесткой системы цен и уменьшения субсидий. В течение 1985—1986 годов многие из этих и других мер были претворены в жизнь, в результате чего хозяйственный механизм, действующий в китайской промышленности, стал приобретать новые черты.

Основные направления промышленных реформ связаны друг с другом. Это — снижение роли централизованного плана и ослабление контроля предприятий со стороны министерств; перевод предприятий на полный хозрасчет и расширение «горизонтальных» связей между ними; внутри предприятий — развитие системы материального стимулирования и расширение полномочий хозяйственных руководителей. В соответствии с установкой на создание нового соотношения между планом и рынком происходит постепенное сужение объема и номенклатуры продукции, «жестко» планируемой из центра. В настоящее время, по словам наших китайских собеседников, централизованный план охватывает примерно треть всей промышленной продукции. Остальные две трети примерно поровну делятся между направляющим планом и свободным рынком. В перспективе имеется в виду перевести на рыночное регулирование до 70 процентов промышленного производства. В централизованный государственный план сейчас «закладывают» лишь около 60 показателей выпуска важнейших видов промышленной продукции плюс примерные объемы капиталовложений и еще некоторые обобщенные показатели.

Меняются и функции министерств. В новых условиях они призваны, по словам одного из наших пекинских собеседников, «отказаться от оперативного управления предприятиями и стать штабами научно-технической и рыночной стратегии своих отраслей». На пути к этой цели предприятия постепенно выводят из-под контроля министерств, а число и аппарат министерств сокращают. За 80-е годы ликвидирована половина центральных министерств (с примерно 100 до 50). В директивах седьмой пятилетки прямо говорится, что «министерства при Госсовете за исключением тех немногих ведомств и отраслей, у которых имеются особые обстоятельства.., больше не будут осуществлять непосредственное управление предприятиями».

По мере ослабления административных рычагов централизованного планирования возрастает роль косвенных методов регулирования производства. С начала 1986 года рост налогов и урезание кредитов были впервые применены в масштабах всей промышленности с целью притормозить чрезмерно высокие темпы роста производства и инвестиций, составившие в 1985 году соответственно 18 и 39 процентов. «Охлаждающие» меры возымели действие — в 1986 году рост промышленного производства составил уже 9, а инвестиций — 17 процентов.

В настоящее время план каждого предприятия включает 3 показателя: объем производства с учетом ассортимента, выполнение контрактов и договоров, прибыль. С прибыли взимается налог, от тридцати до семидесяти процентов, в зависимости от местных условий. Всю сверхплановую продукцию можно продавать на свободном рынке по плавающим или свободным ценам.

С централизованного распределения производственных ресурсов через министерства (фондирования) предприятия переводятся на рыночное снабжение. По данным китайской печати, уже в 1984 году в централизованном порядке распределяли лишь половину угля, металла и деловой древесины и всего четверть цемента. В 1985—1987 годах — еще меньше. В сфере финансирования централизованные инвестиции из государственных фондов постепенно уступают место самофинансированию предприятий, в том числе с помощью выпуска займов, продажи акций и обращения к банковскому кредиту. Выпускать собственные ценные бумаги предприятиям разрешили в широком масштабе только в 1986 году, но очень быстро эта практика получила распространение. В настоящее время уже многие предприятия привлекают таким путем весьма значительные суммы. Вероятно, наиболее крупным примером в этом смысле можно считать проект этиленового завода в Шанхае. Для его финансирования в течение 5 лет будет выпущено облигаций на полтора миллиарда юаней. Первая партия облигаций на 9 миллионов юаней была реализована среди населения менее чем за неделю.

Для удобства продавцов и покупателей ценных бумаг в Китае организуются биржи (они существуют уже в шести городах, включая Пекин). Но в целом финансовые рынки в стране пока еще находятся в зачаточном состоянии и не способны заменить централизованное финансирование.

По мере ослабления вертикальных связей типа «министерство — предприятие» упор в китайской промышленности переносится на горизонтальные связи между предприятиями. Это означает, с одной стороны, всемерное расширение договорных, контрактных отношений, с другой — развитие конкуренции и борьбы за потребителя. В таких условиях, когда предприятия уже не находятся под плотной опекой министерств и сами начинают отвечать за производственные и финансовые показатели, выбор партнеров и т. д., резко возрастает значение правовых норм, прежде всего хозяйственного законодательства.

В этой связи большое значение в Китае придается трем новым законам — Закону о банкротстве, Закону о государственных предприятиях и Закону о найме.

Закон о банкротстве был впервые представлен на обсуждение Всекитайского

собрания народных представителей (ВСНП) в августе 1986 года. Он сразу вызвал острые дискуссии, несколько раз отвергался депутатами ВСНП и возвращался на доработку. В начале декабря Закон о банкротстве был наконец принят, однако с тем, что действовать он будет пока на временной основе и окончательно вступит в силу только после принятия Закона о государственных предприятиях. Что же касается Закона о предприятиях, то его, судя по последним сообщениям китайской печати, планируется принять на ближайшей сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая состоится в марте 1988 года.

Закон о государственных предприятиях должен закрепить за ними статус «социалистических товаропроизводителей», обладающих широкой независимостью во всех хозяйственных вопросах, определить права руководителей предприятий, нормы договорных обязательств, «правила» конкуренции и т. д. Китайские экономисты обоснованно считают, что говорить о справедливой конкуренции и «заслуженном» банкротстве можно лишь тогда, когда производители находятся примерно в равных условиях.

Важным шагом на пути уравнивания условий деятельности государственных предприятий стал Закон о найме, принятый ВСНП в октябре 1986 года. Этот закон вводит конкурсный отбор вновь принимаемых работников; систему временных трудовых контрактов вместо пожизненного найма; пособия для «временно ожидающих работу». Пособие выплачивают в течение 6 месяцев после потери работы, и оно составляет 75 процентов зарплаты. По истечении этого срока его заменяют социальным пособием в размерах, зависящих от числа членов семьи. Реализация Закона о найме призвана придать гибкость рынку рабочей силы, обеспечить предприятиям бóльшую свободу действий в маневрировании трудовыми ресурсами.

Этим целям служит и введение на предприятиях так называемой «системы директорской ответственности».

Система директорской ответственности на практике означает превращение руководителя предприятия из наемного служащего в лицо, прямо отвечающее за результаты деятельности своего предприятия. Материальная ответственность выражается прежде всего в «привязке» жалованья директора к росту или падению прибыли и активов предприятия. Кроме того, от кандидата на директорский пост могут потребовать денежный залог (например, в размере 10-месячной зарплаты). Директора либо назначают компетентные органы, либо выбирают на собрании рабочего коллектива. Срок его работы в этой должности составляет три — пять лет, но может быть сокращен, если предприятие будет убыточным. В китайской прессе приводятся следующие данные: за рост прибыли на один процент в год директор получает пятипроцентную прибавку к зарплате, за рост активов на один процент — пятнадцатипроцентную. Если прибыль снижается на один — десять процентов, его зарплата урезается на треть; за снижение прибыли больше чем на 10 процентов директора снимают с должности.

Принимая на себя полную материальную ответственность за предприятие, директор получает право решать практически все оперативные вопросы: выбор технологии производства, поставщиков, покупателей, численности рабочей силы, оплаты труда, цен на готовую продукцию (для определенных ее видов) и т. д. Полномочия директора закреплены юридически и не должны оспариваться вышестоящими государственными органами. Отношения между предприятием и государством в случае отсутствия плана на его продукцию сводятся к выплате налогов и оплате коммунальных услуг. Таким образом, по существу, система директорской ответственности является еще одним примером реализации принципа разделения права собственности и права хозяйствования.

Для того, чтобы уменьшить возможность злоупотребления со стороны директоров попадающей в их руки большой властью, постановление о директорской ответственности содержит пункт о создании на предприятиях так называемых «комитетов управления», в состав которых, кроме директора, должны входить его заместители, главные специалисты, руководители ячеек КПК, комсомола и профсоюза, а также выборный представитель от рабочего совета. В свою очередь, рабочие советы (создание которых предусматривается отдельным постановлением

особо) избираются непосредственно рядовыми рабочими и призваны осуществлять «демократический контроль» над администрацией.

Весьма сложным является вопрос о роли партийной организации. Если до начала реформы партийные комитеты играли на предприятии главенствующую роль, доминировали над хозяйственными руководителями, то в 80-е годы роль парторганизаций в управлении постепенно стала снижаться, а партия все больше стала переключаться на идеологические и кадровые проблемы. Сентябрьское (1986 года) постановление ЦК КПК и Госсовета закрепляет названные тенденции. Партийные организации на предприятиях призывают «осуществлять контроль за выполнением решений ЦК КПК», готовить кадры, вести воспитательно-идеологическую работу и не вмешиваться в дела администрации.

Наша делегация, посетив несколько китайских промышленных предприятий, имела возможность узнать некоторые подробности о новом механизме управления. В частности, представляет интерес практика выбора директоров: голосование тайное, причем часто кандидатов не выдвигают, а вписывают сами голосующие в бюллетени. Человек, чье имя упомянуто в бюллетенях наибольшее количество раз, в результате выборов и становится директором.

Избранный директор имеет право в значительной мере по своему усмотрению формировать управленческий аппарат. В его интересах подбирать людей прежде всего по деловым, а не иным качествам, так как через 3—4 года его и его «команду» будут переизбирать и судить о них будут по экономическим результатам деятельности предприятия, от которых теперь прямо зависит зарплата рабочих.

В новых условиях хозяйствования зарплата персонала тесно привязана к прибыли, от которой зависит 30—50 процентов ее средней величины (остальное — гарантированная часть). «Базовая» зарплата директоров примерно в два раза выше зарплаты рабочих, но ниже зарплаты ведущих специалистов.

Несмотря на несомненные успехи, в развитии промышленной реформы встречается немало трудностей. Это неудивительно. От прошлого китайская промышленность получила запущенное и устаревшее оборудование, рабочая сила — низкой квалификации, не развита инфраструктура. Возникают острые диспропорции. Те отрасли, в которых уже «заработали» товарно-денежные стимулы, вырываются вперед; другие же отстают. Это порождает дефицит, с одной стороны, и рост цен и издержек — с другой. Не отрегулирована система заработной платы. На большинстве государственных предприятий она по-прежнему формируется по принципам уравниловки, тогда как на ряде заводов, работающих по новым правилам, директора допускают непропорциональное повышение ставок и окладов.

Рост расходов на оплату ставших дефицитными сырья и энергии и быстрое увеличение зарплаты ведут к значительному увеличению общих издержек, что, в свою очередь, порождает феномен уменьшения прибылей в условиях высоких и сверхвысоких темпов роста объема производства. По имеющимся данным, с 1984 по 1986 год количество убыточных промышленных предприятий выросло с 10 до 18 процентов их общего числа. Китайские экономисты считают, что снижение прибылей в 1986 году на 60 процентов было обусловлено увеличением цен на сырье и энергию и на 40 — повышением ставок зарплаты и жалованья.

Немало конфликтов возникает и внутри предприятий — в частности, далеко не все рабочие готовы принять систему зарплаты, ведущую к устранению привычной уравниловки и резкому росту доходов их наиболее способных и трудолюбивых коллег. С другой стороны, некоторые партийные работники проявляют недовольство снижением роли парткомов в хозяйственных делах предприятий.

Эти и другие сложности следует, вероятно, оценивать как неизбежные издержки промышленной реформы, проводимой к тому же на фоне высоких темпов экономического роста.

III

Важнейшую роль в создании системы «социалистического товарного рынка» отводят в Китае реформе в области финансов. Ее основными направлениями являются реформа цен и реформа кредитно-банковской системы.

До 1979 года ценообразование осуществлялось централизованно, цены были жесткими и пересматривали их редко. По мнению китайских экономистов, плановые цены, как правило, не отражали ни стоимости, ни соотношения между спросом и предложением различных товаров и услуг. В частности, постоянно заниженными были цены на продукцию сельского хозяйства, сырье и материалы, на жилье и услуги транспорта. В результате некоторые отрасли систематически получали крайне низкую норму прибыли или несли убытки, тогда как в других рентабельность была неоправданно высокой. Цены на жилье и многие продукты питания далеко не покрывали издержек, следствием чего был высокий уровень государственных субсидий, поглощавших до четверти государственного бюджета.

«Старый механизм ценообразования,— отмечал вице-президент Академии общественных наук Китая Лю Гоуцзян,— препятствовал рациональному использованию ресурсов и планомерному пропорциональному развитию национальной экономики».

На первом этапе экономической реформы была поставлена задача начать совершенствовать систему цен, с тем чтобы ликвидировать наиболее острые диспропорции, сблизить уровень рентабельности в различных отраслях народного хозяйства и сделать цены более чувствительными к динамике спроса и предложения. К 1985—1986 годам эта задача в значительной степени была выполнена. В частности, были повышены закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию, на сырье и услуги транспорта. Розничные цены также были повышены, а многие виды товаров и услуг вообще выведены из сферы государственного ценового контроля. Кроме того, наметилась тенденция к уменьшению роли централизованного ценообразования и увеличению роли провинций. В результате к середине 80-х годов в Китае сформировалась своеобразная трехъярусная система цен, сочетающая твердые плановые, свободно-рыночные и их гибрид — «плавающие» цены (в последнем случае государственные органы устанавливают пределы, в которых цена на тот или иной товар может колебаться под воздействием спроса и предложения). Сфера действия твердых цен охватывает прежде всего плановую продукцию промышленных предприятий, тарифы на коммунальные и транспортные услуги, а также контракты по государственным закупкам сельскохозяйственной продукции у крестьян. «Плавающие» и рыночные цены действуют для сверхплановой продукции государственных предприятий, сверхконтрактной продукции крестьянских дворов, а также потребительских товаров и услуг, с которых снят ценовой контроль.

Развитие трехъярусной системы повысило гибкость ценообразования, «оживило» ее. В то же время действующая система имеет ряд серьезных недостатков. Во-первых, в условиях нехватки многих видов ресурсов велик разрыв между твердыми и рыночными ценами на один и тот же товар. По зерну, например, он составлял в начале 1987 года 88 процентов. Разница в ценах побуждает производителей уклоняться от плановых поставок, чтобы спекулировать плановой продукцией на свободном рынке. Во-вторых, дерегулирование цен ведет к их общему росту — инфляции.

По имеющимся оценкам, полная отмена государственного контроля привела бы к удвоению уровня потребительских цен в КНР. Для смягчения негативного эффекта роста цен на товары первой необходимости государство вынуждено постоянно вводить «компенсирующие» субсидии, ложащиеся тяжелым грузом на государственный бюджет.

В сложившихся условиях китайские экономисты и хозяйственники ставят вопрос об усовершенствовании нынешней трехъярусной системы цен. Ближайшие задачи ценовой реформы сформулированы в Седьмом пятилетнем плане экономического и социального развития КНР на 1986—1991 годы. Речь идет о создании системы цен, «более или менее соответствующих стоимости и отражающих соотношение спроса и предложения»...

В ходе дальнейшей реформы системы ценообразования предполагается сделать упор на расширение сферы действия свободнорыночных цен при одновременном повышении уровня «плавающих» и твердых цен. Имеется в виду, что в конечном счете эти меры должны привести к насыщению спроса и фактическому слиянию всех трех типов цен.

IV

Принципы многоукладности и отделения права собственности от права хозяйствования находят в КНР практическое выражение в развитии частно-индивидуальных и кооперативных предприятий промышленности, торговли, услуг и транспорта (о роли таких предприятий в сельском хозяйстве сказано выше). За годы реформы значение негосударственных предприятий сильно выросло. Так, в промышленности на долю кооперативов приходится в настоящее время около четверти продукции и 30 процентов рабочей силы. В сфере услуг и торговли частно-индивидуальные предприятия охватывают около половины всех занятых. Всего в 1986 году в Китае насчитывалось 11,5 миллиона частных несельскохозяйственных предприятий, на которых работало около 18 миллионов человек.

Частные предприятия в подавляющем большинстве случаев создают граждане, вкладывающие в «дело» собственные средства. Взаимоотношения таких предприятий (будь то ремонтная мастерская, парикмахерская или магазин) с государством ограничиваются приобретением патента (лицензии) и уплатой налогов. Кооперативные предприятия могут создавать отдельные граждане и кооперативы (на паях).

Наряду с этим существует практика создания кооперативных и частных предприятий на базе государственной собственности. В подобных случаях государство либо сдает предприятие (например, ресторан) в аренду, либо передает его на коллективный подряд, как правило, работникам этого же предприятия, либо устраивает аукцион и продает его в руки частных хозяев или кооператива.

Для частных предприятий установлен лимит наемной рабочей силы — 7 человек. И хотя на практике этот лимит не всегда соблюдают, в среднем в частном секторе приходится полтора человека на предприятие. Иными словами, хозяин типичного частного предприятия является, как правило, его главным работником, то есть, по существу, такие предприятия правильнее называть не частными или частно-индивидуальными, а индивидуальными или семейными предприятиями.

Товары и услуги, производимые «частниками» и кооператорами, во-первых,— немаловажная прибавка к продукции государственного сектора; во-вторых, они «закрывают» сегменты экономики, которые трудно или нерентабельно обслуживать крупным государственным предприятиям; в-третьих, они создают определенное конкурентное «давление» на государственные предприятия, способствуя повышению качества товаров и услуг; наконец, в-четвертых, они создают рабочие места, что в условиях Китая с его избытком рабочей силы весьма важно (с 1979 по 1987 год численность занятых в частно-индивидуальном секторе экономики выросла со 140 тысяч до 18 миллионов человек).

Разумеется, развитие сектора негосударственных предприятий происходит не без трудностей. Многие из этих трудностей связаны с тем, что в КНР лишь в 1987 году приняли единый закон о налогах от частной деятельности и ее регулирование до последнего времени осуществлялось главным образом на базе местных постановлений и правил. Отношение же местных властей к частным ремесленникам и торговцам подвержено изменениям, нередко в худшую сторону. Так, в 1986 году в ряде провинций был затруднен процесс выдачи лицензий, повышены налоги и сокращены возможности получения займов частными «бизнесменами». Наряду с другими причинами это привело к временному уменьшению числа частных предприятий и падению занятости на них.

С другой стороны, частные предприниматели пытаются уклоняться от регистрации и налогов, многочисленны случаи жульничества, продажи некачественных товаров, завышения цен и т. д. В директивах седьмого пятилетнего плана сказано, что государство будет «ликвидировать незарегистрированные компании и склады, пресекать спекулятивное взвинчивание цен, изымать из обращения товары с

подделанным товарным знаком, товары низкого качества и товары, не отвечающие санитарным требованиям».

Наконец, в отличие от государственных предприятий, банкротства которых пока — исключения, частные хозяева разоряются в Китае тысячами. Любопытно, что многие из них, убедившись в своей неспособности выдержать конкуренцию, переходят (или возвращаются) на «более спокойную» работу в государственном секторе.

С целью упорядочить деятельность частно-индивидуальных предприятий и урегулировать их отношения с государством, потребителями и между собой в провинциях и в масштабах страны созданы Федерации частных предпринимателей, которые, по словам одного из руководителей экономической администрации в провинции Гуандун, помогают делать частных бизнесменов «более дисциплинированными и культурными».

V

Одним из основополагающих принципов китайской экономической реформы является принцип «открытой внешнеэкономической политики». Наиболее радикальные реформы в этой области связаны с созданием в Китае компаний с участием иностранного капитала.

Привлекая иностранный капитал, Китай преследует четыре основных цели: 1) повысить научно-технический уровень отечественной промышленности; 2) освоить прогрессивные методы управления производством; 3) наращивать валютные поступления; 4) получить более широкий доступ к международной экономической информации. (Именно на таком порядке перечисления настаивали китайские ученые и официальные лица, с которыми доводилось обсуждать этот вопрос.)

С другой стороны, для иностранных инвесторов в Китае существуют такие благоприятные условия, как достаточно емкий внутренний рынок, относительно низкий уровень заработной платы, арендной платы, ренты и платы за услуги. К перечисленному добавляют и фактор довольно высокой политической стабильности Китая.

Юридическая основа для привлечения в КНР инвестиций из-за рубежа — «Закон о совместных предприятиях, использующих китайский и иностранный капитал», принятый в 1979 году. С момента начала действия этого закона до настоящего времени в Китае было принято еще несколько десятков дополнительных законов, постановлений, правил и др., разъясняющих, дополняющих или корректирующих положения этого главного закона. Кроме того, в каждой провинции и крупном городе, где действуют компании с иностранным капиталом, имеются некоторые местные правила, регламентирующие деятельность таких компаний или предоставляющие им дополнительные льготы.

Закон допускает создание в Китае трех основных типов компаний с участием иностранного капитала: смешанных или совместных компаний; контрактных смешанных компаний; полностью иностранных компаний. Отличие компаний первого типа от компаний второго типа состоит в том, что в первом случае компания имеет общий капитал и прибыль выплачивается пропорционально взносам партнеров, а во втором случае партнеры юридически независимы и раздел прибыли осуществляют в соответствии с заключаемым между ними договором.

Действующее законодательство предусматривает льготы иностранным инвесторам, оперирующим в так называемых специальных экономических зонах (СЭЗ) и «открытых городах» (в настоящее время в Китае четыре СЭЗ и четырнадцать «открытых городов», расположенных на восточном побережье страны; аналогичный статус имеет остров Хайнань в Южно-Китайском море). В СЭЗ и «открытых городах» налог на прибыль составляет для смешанных компаний лишь пятнадцать процентов, отсутствуют пошлины на сырье и товары, ввозимые из-за границы, ниже обычного плата за землю, аренду и иные услуги.

За семь с половиной лет «политики открытых дверей» (с 1979 по 1986 год) в Китае, по данным Министерства внешних экономических связей и торговли, было основано 7738 проектов компаний с иностранным капиталом — в основном смешанных и контрактных смешанных. Полностью принадлежащих иностранцам — два процента из них. Реализовано пока около третьей части всех проектов.

Общий размер иностранных инвестиций в КНР составляет, по последним данным, 31 миллиард долларов, в том числе 8 миллиардов прямых капиталовложений. Среди ведущих инвесторов — США, Япония, Австралия, ФРГ, страны Юго-Восточной Азии. Более семидесяти процентов вложенных капиталов принадлежит иностранцам китайского происхождения («хуацяо»).

Распределение иностранных инвестиций по отраслям весьма неравномерное. Непропорционально большая их часть вложена в сферу туризма, гостиничный бизнес и международную торговлю. В то же время действует ряд крупных промышленных проектов, например, китайско-западногерманский завод по производству легковых автомобилей «Сантана» в Шанхае (к 1990 году там ожидается выпуск ста тысяч машин в год), завод «джипов» в Пекине (с участием фирмы «Америкэн моторз»), заводы цветных телевизоров и бытовой электроники с участием японских фирм... (С помощью иностранных партнеров Китай, в частности, выпустил в 1986 году более 30 тысяч персональных компьютеров.) В 1986 году в Китае открылся первый смешанный банк (в Сямэне), что ранее было запрещено, а также три филиала иностранных банков.

Подавляющее большинство смешанных и иностранных компаний оперирует в СЭЗ и «открытых городах». В ходе командировки мы имели возможность более подробно ознакомиться с крупнейшей в стране специальной экономической зоной Шэньчжэнь в провинции Гуандун близ Гонконга. За 7 лет существования эта зона «впитала» свыше миллиарда долларов иностранных инвестиций; с 1979 по 1986 год промышленная продукция зоны выросла примерно в 50 раз.

В конце 1986 года в СЭЗ Шэньчжэнь действовало около тысячи компаний с иностранным капиталом (не считая трех тысяч компенсационных соглашений), примерно четверть которых давала продукцию. Большая часть этих компаний получала прибыли, остальные терпели убытки.

СЭЗ Шэньчжэнь гордится промышленной зоной Шэкоу. Здесь сосредоточено около двухсот смешанных и иностранных компаний, производящих главным образом современную высокотехнологичную продукцию, около 70 процентов которой идет на экспорт.

Уровень жизни китайских рабочих и служащих, живущих в СЭЗ, значительно выше, чем за ее пределами. Достаточно сказать, что средняя зарплата рабочего здесь вдвое выше, чем «на материке» (однако в 4—5 раз ниже, чем в соседнем Гонконге). Вопросами труда и заработной платы ведает в СЭЗ, как нам объяснили, специальная государственная Комиссия по трудовым вопросам, входящая в администрацию СЭЗ. Она же занимается наймом рабочей силы для смешанных и иностранных предприятий. Работу в СЭЗ могут получить только те, кто обладает достаточно высокой (по китайским масштабам) квалификацией и прошел специальный конкурс.

Все китайские граждане, работающие по контракту в смешанных и иностранных компаниях, пользуются социальным обеспечением и живут, как правило, здесь же, в СЭЗ, в государственных домах с низкой квартплатой. В случае потери работы по окончании контракта они имеют право на пособие — 70 юаней в месяц. Все издержки на социальные расходы и инфраструктуру (школы, жилье и т. д.) покрываются из отчислений с заработной платы и прибыли совместных предприятий.

Говоря о значительных достижениях СЭЗ Шэньчжэнь, представители ее администрации в беседах с нами не скрывали серьезных трудностей, возникающих в ходе осуществления политики «открытых дверей» у них в зоне и в Китае в целом. К числу таких трудностей относится, во-первых, нежелание иностранных партнеров ввозить в Китай новейшую технику и технологию. С одной стороны, это объясняется естественным стремлением западных корпораций «пристроить» в Китае морально устаревшее оборудование, с другой — их боязнью превратить Китай в мощного конкурента на мировом рынке (как уже случилось с Гонконгом, Сингапуром, Южной Кореей и др.).

Вторая проблема — хроническое невыполнение сектором смешанных и иностранных предприятий планов валютных поступлений. В частности, при создании СЭЗ предполагалось, что 70 процентов их продукции пойдет на экспорт и 30 — на внутренний рынок. На практике соотношение пока ближе к обратному.

Немалый ущерб государству приносят многочисленные злоупотребления и спекуляции, возникающие вокруг предприятий иностранного сектора, особенно в специальных зонах. В беседе с нами члены администрации СЭЗ Шэньчжэнь жаловались, в частности, на распространение коррупции среди китайских чиновников и уклонение от налогов, практикуемое иностранными бизнесменами. «В настоящее время,— говорили нам,— в Китае остро не хватает квалифицированных юристов и экономистов, которые могли бы пресекать подобные экономические преступления».

Со своей стороны, зарубежные вкладчики капитала предъявляют немало претензий к китайским хозяйственным и государственным органам. Говорят о чрезмерной жесткости законов, регулирующих наем и увольнение рабочей силы; о низком уровне квалификации китайских рабочих; обложении смешанных и иностранных компаний на местах «несправедливо высокими» платежами и налогами; обилии бюрократических проволочек в работе государственных органов. По мнению западных бизнесменов, перечисленные факторы в значительной степени препятствуют повышению международной конкурентоспособности товаров, производимых с участием иностранцев.

С целью исправить создавшееся положение Госсовет КНР принял в октябре 1986 года важное постановление, недвусмысленно названное «Положения по стимулированию иностранных инвестиций». Оно предоставляет действующим в КНР смешанным и иностранным компаниям «набор» новых прав и привилегий. В частности, отныне они смогут без вмешательства государственных органов определять состав, структуру и уровень оплаты своего персонала, а также увольнять нерадивых работников (раньше это было затруднено). Существенно облегчены некоторые бюрократические процедуры, связанные с учреждением новых компаний — срок рассмотрения соответствующих документов законодательно ограничен 3 месяцами (ранее это иногда тянулось 1—2 года). Кроме того, компании освобождены от обязанности получения импортных лицензий на сырье и оборудование, необходимое им для производственной деятельности, и могут в законном порядке оспаривать платежи и налоги, накладываемые на них местными органами власти.

В начале 1987 года в нашей стране принято Постановление о совместных предприятиях (Постановление Совета Министров от 13.01.1987 года). Интересно сравнить его с законодательными актами, регулирующими деятельность совместных предприятий в Китае. В целом наше законодательство предлагает иностранным инвесторам более жесткие условия, чем китайское. Достаточно отметить, что наше постановление не допускает создания на территории СССР полностью иностранных предприятий, а для смешанных определяет долю иностранного партнера в пределах 49 процентов. (В Китае она должна быть не ниже 25 процентов.) По этому поводу в беседе с нами высокопоставленный работник Госсовета КНР, кандидат в члены ЦК КПК товарищ Чжан Гэншэн, заметил: «В первые годы действия политики «открытых дверей» мы тоже настаивали на преобладании китайской стороны в капитале смешанных компаний. Потом, однако, мы сняли это требование, поскольку поняли, что, во-первых, иностранные компании не представляют угрозы экономическому суверенитету Китая (их вес для этого слишком мал) и, во-вторых, их собственность в конечном счете все равно перейдет в наши руки по истечении срока контрактов».

Осуществляемая Китаем реформа внешнеэкономических связей не ограничивается привлечением в страну иностранного капитала. Другие важные ее направления — перестройка внешнеторговой деятельности, развитие экспортных услуг, расширение иностранного туризма.

На смену старому механизму внешней торговли приходит новый, предоставляющий значительную самостоятельность в экспортно-импортных операциях отдельным предприятиям, в том числе некоторым кооперативным и частным компаниям. Право непосредственного выхода на внешний рынок получили, например, 260 машиностроительных предприятий, чей экспорт в 1986 году составил два миллиарда долларов. Согласно действующим положениям, предприятия, осуществляющие экспортные поставки, могут оставлять себе до 30 процентов валютной выручки (с условием использовать ее на развитие производства).

С другой стороны, в 1985—1987 годах значительно (почти вдесятеро) сокращена номенклатура товаров, торговля которыми подлежит централизованному планированию; увеличено число и расширены права местных и отраслевых внешнеторговых компаний (их в настоящее время около тысячи).

В директивах Седьмого пятилетнего плана КНР ставится задача «и впредь расширять права хозяйствования местных органов и ведомств, в особенности предприятий по производству экспортных изделий, с тем, чтобы в полной мере выявить их активность в деле развития внешней торговли».

Сформулирована также задача постепенно переходить от административных к экономическим методам регулирования внешнеторговой деятельности. Отмечается, что в этой области необходимо применять макроэкономическое регулирование, делая упор на таможенные пошлины, налоги, валютный курс и экспортный кредит.

Реформа механизма внешнеторговой деятельности уже приносит свои плоды. В частности, она сыграла определенную роль в увеличении темпов роста китайского экспорта: в годы Шестой пятилетки экспорт рос вдвое быстрее, чем валовая продукция народного хозяйства, что свидетельствует об улучшении использования экспортного потенциала страны. За это время по объему внешней торговли Китай передвинулся с 32-го на 16-е место в мире.

Существенным источником валютных поступлений обещает стать туризм. После 1990 года Китай рассчитывает принимать в год свыше 5 миллионов иностранных туристов.

Значительное ускорение экономического роста явилось одним из главных, если не главным достижением хозяйственной реформы. Обратной стороной этого успеха стало, однако, появление новых типов диспропорций между различными отраслями и сферами экономики и различными регионами страны. Отраслевые диспропорции проявляются прежде всего в неразвитости инфраструктуры, отставании транспорта, добывающих и базовых отраслей. Это ведет к перебоям в снабжении, к нехватке сырья и электроэнергии.

Остра проблема энергоснабжения. Из-за недостатка электроэнергии в стране регулярно простаивает 20—30 процентов производственных мощностей. Сельскому населению не хватает топлива для своих домов. При этом, по оценкам китайских специалистов, дефицит топлива и энергии вряд ли будет преодолен до 2000 года. (На нескольких предприятиях легкой промышленности, которые мы посетили в провинции Гуандун, представители администрации жаловались на частое отключение электричества, влекущее за собой простои, невыполнение заказов, штрафы и т. д.)

Быстрый экономический рост обострил диспропорции в кредитно-денежной сфере. Ослабление централизованного контроля над кредитами в сочетании с низкой дисциплиной предприятий в их использовании привели к неоправданному росту банковского кредитования, распылению капиталовложений, определенному расстройству денежного обращения и росту инфляции. Так, в первой половине 1987 года розничные цены в крупнейших городах выросли на 9 процентов, в связи с чем государство вынуждено было временно заморозить цены на некоторые товары и услуги.

Одним из негативных результатов активизации стимулов производства, достигнутых реформой, стал систематический «перегрев экономики» страны, что находит свое выражение в ускоренном износе оборудования, увеличении числа травм, быстром загрязнении окружающей среды и т. п. С другой стороны, в условиях высоких и сверхвысоких темпов роста качество продукции китайских пред-

приятий улучшается весьма медленно, а иногда даже падает. По мнению китайских экономистов, слишком медленно происходит на предприятиях обновление технологии и ассортимента товаров.

Несоответствие между количеством и качеством производимых товаров — один из показателей того, что товарно-денежные отношения в китайской экономике еще не достигли зрелости. К настоящему времени стимулирующая функция товарно-денежных отношений проявилась в Китае вполне ощутимо (экономический рост был большим), однако регулирующая функция, в том числе влияние на качество, пока ощущается слабее. Для того, чтобы дисциплина качества усилилась, необходимо более плотное, чем сейчас, соревнование производителей, уничтожение монопольного положения некоторых из них, оставшегося от «дореформенных» времен, и превращение «рынков продавца» в «рынки покупателя». Для Китая все это пока дело будущего.

К числу важнейших социальных последствий реформы, вызывающих беспокойство китайского руководства, относится усиление дифференциации доходов населения, увеличение экономической преступности, рост инфляции и усиление идеологического влияния Запада.

За годы реформы уровень жизни в Китае значительно повысился (в 1,5 — 2 раза в реальном исчислении). Однако это повышение было неравномерным: больше всего от реформы выиграли крестьяне, работники различных кооперативных предприятий и частные хозяева; меньше — рабочие и служащие государственного сектора, пенсионеры, студенты и др. В результате перестройки системы материального стимулирования начал также увеличиваться разрыв в доходах внутри одних и тех же профессиональных групп. На смену уравниловке стала приходить оплата, учитывающая качество и количество вложенного труда. Эти тенденции не были стихийными: столкнувшись в самом начале реформы с извечной дилеммой экономического развития: «уравнивание доходов или эффективность», китайское руководство сделало выбор в пользу эффективности. В своих выступлениях руководители КПК и правительства недвусмысленно заявляют, что «для общего процветания некоторым людям и районам страны надо разрешить обогащаться первыми».

Сделанный выбор в целом экономически оправдывал себя, однако налицо социальные издержки. Многие китайские трудящиеся оказались не готовы принять новые, более конкурентные условия, в которых хороший работник может заработать в несколько раз больше, чем плохой. Традиции уравниловки и иждивенчества настолько сильны, что на государственных предприятиях, например, иногда доходит даже до избиения рабочих-передовиков и представителей администрации, ответственных за введение новой системы оплаты труда. Городские рабочие и служащие остро завидуют сельским жителям, чьи денежные доходы в годы реформы росли много быстрее (хотя в абсолютном выражении они, согласно китайским данным, по-прежнему значительно ниже). Зависть к чужим доходам в переводе с китайского звучит как «болезнь горящих глаз».

Признавая наличие подобных настроений, китайские руководители пока что не снимают лозунг дифференциации доходов. В частности, директивы Седьмого пятилетнего плана призывают «продолжать поощрять часть районов, предприятий и отдельных лиц стать зажиточными раньше других» и «уделять особое внимание искоренению уравниловки».

Другая важная социальная проблема — сохранение безработицы. Хотя по сравнению с дореформенным периодом число безработных значительно снизилось, оно все же составляет, по оценкам, 20—25 миллионов человек. Особенно сложное положение в деревне, где скрытая безработица охватывает третью часть рабочей силы, то есть около 120 миллионов человек, причем по мере дальнейшего повышения эффективности сельского хозяйства эта безработица может возрасти и приобрести более открытые формы.

Острой проблемой является и усиление идеологического влияния Запада, про-

никающего в Китай вместе с импортом иностранного капитала, а главным образом — с импортом западной культуры. При этом «вестернизация» Китая происходит не столько по вине реформы и Запада, сколько из-за отсталости китайского общества эпохи Мао. По выражению китайских руководителей, борьба с влиянием буржуазной идеологии осложняется тем, что еще не искоренено до конца «злое наследие феодализма».

Одна из наиболее сложных социальных и политических проблем, связанных с осуществлением реформы,— проблема преодоления бюрократизма.

Новому руководству КПК, пришедшему к власти после смерти Мао, достался в наследство гигантский жестко регламентированный и централизованный чиновничий аппарат. По некоторым оценкам, общая численность руководящих кадров («ганьбу») сейчас свыше двадцати миллионов человек. Из них около половины — это аппарат КПК, остальные — чиновники в хозяйственной, государственной, военной и иных сферах деятельности.

Занятие номенклатурных постов, как правило, пожизненное; движение внутри номенклатуры, как правило, только вверх или по горизонтали. Назначение на посты и должности до сих пор осуществляется в большинстве случаев сверху вниз. Кадровый корпус характеризуется также довольно-таки низким уровнем образования, что является следствием пренебрежительного отношения к специальным знаниям, бытовавшего в период «культурной революции».

Формировавшаяся десятилетиями при Мао и несущая в себе и тому же сильную печать старого общества китайская кадровая номенклатура в значительной своей части встретила экономическую реформу настороженно.

Привычные ей принципы — жесткий централизм, командное управление экономикой, игнорирование демократических процедур и слепое следование маоистским идеям — резко противоречили прагматическим принципам новой реформы. Что еще более важно — в реализации этих принципов многие кадровые работники видели ощутимую угрозу своей личной власти и материальному благополучию.

Различные слои кадрового корпуса по-разному проявили себя в ходе развертывания реформы. В то время, как большинство сознательно или бессознательно (в китайской номенклатуре сильны традиции слепого повиновения руководству) присоединилось к линии, проводимой Дэн Сяопином, другие поспешили извлечь для себя из реформы материальные выгоды и еще часть оказывала реформе скрытое сопротивление.

Действия противников перемен принимают различную форму. Так, например, в ответ на децентрализацию управления промышленностью и уменьшение числа и роли министерств хозяйственная бюрократия стала развивать так называемые «административные компании». Первоначально созданные для облегчения сбыта производимой предприятиями продукции (наподобие синдикатов в СССР в годы нэпа), эти компании пытаются перехватить контроль над предприятиями, теряемый министерствами. Сходная картина наблюдается и на уровне предприятий, где введение системы «директорской ответственности» тормозится нежеланием парткомов передавать контроль сферы производства в руки хозяйственных руководителей.

Превращение старого аппарата из тормоза в орудие реформы представляет собой сложную задачу. Чтобы сломить сопротивление недовольных, преодолеть коррупцию и заменить пассивных бюрократов эффективными администраторами, китайское руководство применяет целый комплекс мер, включая «чистки», ужесточение наказаний за провинности, омоложение кадров, повышение образовательного ценза на занятие должностей и др.

Со времени XII съезда КПК (1982 год) до Всекитайской партийной конференции в 1985 году исключено из партии 1,1 миллиона человек (главным образом «левых уклонистов»), заменено 25 из 29 секретарей комитетов КПК провинций, 20 процентов членов ЦК и 40 процентов членов Политбюро ЦК КПК. Введены максимальные возрастные нормы на занятие должностей. Например, 65 лет для ми-

нистра, 60 лет для заместителя министра, 50 лет для руководителей на провинциальном уровне (правда, эти нормативы не всегда соблюдаются).

В практику проводится лозунг: «Кадровые работники не должны быть кадровыми всю жизнь». Причем для решения сложной и болезненной проблемы обновления кадров применяются такие специфические способы, как назначение ветеранов в аппарат советников («перевод на вторую линию фронта») и сохранение за ними при выходе на пенсию всех или почти всех привилегий («золотое рукопожатие»). Аппараты советников или консультантов имеются сейчас на всех высших уровнях номенклатуры и в важнейших учреждениях провинциального уровня. Размеры же пенсий кадров, по словам одного из наших китайских собеседников, могут достигать 150 процентов жалованья.

Названные меры приносят определенные плоды. В частности, средний возраст руководителей провинций удалось понизить на 7 лет, хозяйственных руководителей — на 5 лет. В то же время, по имеющимся сведениям, общие размеры номенклатуры не уменьшились, а эффективность ее функционирования заметно не выросла. Сохраняется система привилегий, по-прежнему кое-где действуют принципы кумовства и личных связей. Кроме того, содержание системы советников и выплата щедрых пенсий ветеранам требуют больших средств.

Понимая, что в долгосрочном плане кадровые перестановки не могут быть надежной гарантией продолжения курса экономических преобразований, в Китае в последние годы стали говорить о необходимости широкой реформы политической системы страны.

За время осуществления экономической реформы в политической системе Китая уже произошли определенные сдвиги: были приняты Конституция и ряд новых законов, сделаны шаги по разделению партийных и хозяйственных органов и по отмене принципа пожизненного занятия должностей. Больше власти получили местные органы, в том числе партийные.

В последнее время, однако, стали обсуждаться более широкомасштабные изменения, такие, как: повсеместное введение демократической системы выборов (с выдвижением нескольких кандидатов); реформа правовой системы; дальнейшая децентрализация управления. В партийных документах КПК и выступлениях ее руководителей подчеркивалось, что «без развития демократии не может быть социалистической модернизации».

Вопросы политической реформы и ее связи с преобразованиями в экономике заняли центральное место в работе последнего, XIII съезда КПК.

XIII съезд КПК проходил в Пекине с 25 октября по 1 ноября 1987 года. На съезде была дана оценка результатам, достигнутым за девять лет развертывания реформы, намечена долгосрочная стратегия дальнейшего экономического развития, состоящая из трех «шагов».

В отчетном докладе Генерального секретаря ЦК КПК Чжао Цзыяна отмечалось, что к настоящему времени Китай, выполнив задачу удвоения валового национального продукта по сравнению с 1980 годом, успешно осуществил «первый шаг» хозяйственного строительства и приступил ко «второму шагу», задача которого состоит в том, чтобы к 2000 году вновь добиться двукратного увеличения объема производства товаров и услуг. (Заметим, что в 1987 году валовой национальный продукт на душу населения составил в Китае около 500 долларов США.) Цель «третьего шага» — к середине XXI века завершить в основном модернизацию экономики и добиться уровня жизни, соответствующего «среднеразвитым странам».

На съезде было подчеркнуто, что основное противоречие развития Китая на нынешнем этапе — это противоречие между растущими материально-культурными потребностями народа и отсталым общественным производством. Чтобы разрешить это противоречие, необходимо не только всемерно развивать народное хозяйство, повышать производительность труда и модернизировать промышленность и сельское хозяйство, но и перестраивать «ту часть производственных отношений и ту часть надстройки, которые не отвечают требованиям развития».

В отчетном докладе были сформулированы основные направления хозяйственной реформы, соответствующие современному этапу социалистического строительства в стране: оживление предприятий общенародной собственности на основе принципа отделения права собственности от права хозяйствования; дальнейшее развитие «горизонтальных» экономических связей между предприятиями; ускоренное создание социалистического рынка, включающего в себя не только рынки потребительских товаров и средств производства, но также рынок финансовых ресурсов, техники, технологии и недвижимого имущества; совершенствование системы макроэкономического управления, ведущая роль в котором должна принадлежать косвенному регулированию посредством экономических рычагов; поощрение развития предприятий, основанных на различных формах собственности (кооперативных, индивидуальных, частных, иностранных и смешанных) при сохранении ведущей роли общенародной собственности; осуществление многообразных форм распределения доходов при сохранении приоритета распределения по труду. В докладе подчеркивается, что необходимым условием успеха социалистического строительства является широкая свобода в поиске экономических решений. «Все, что благоприятствует развитию производительных сил, отвечает интересам народа, а потому диктуется социализмом и допускается им»,— говорится в выступлении Чжао Цзыяна.

Большое внимание на съезде, так же как во многих предсъездовских выступлениях руководителей партии и правительства КНР, было уделено перестройке политических структур. Характеризуя существующую в Китае политическую систему, Чжао Цзыян отметил на съезде, что она не отвечает ведущемуся ныне в мирных условиях современному строительству в экономической, политической, культурной и других областях, не отвечает развитию социалистической товарной экономики.

В период пореформенного развития в стране возник определенный перекос между темпами экономических и политических преобразований в результате того, что демократизация экономики в известном смысле обогнала демократизацию политической жизни. Программа политических преобразований, предложенная на XIII съезде КПК, призвана, как представляется, выправить этот перекос, гармонизировать общественное развитие.

Важнейшие положения этой программы предусматривают разграничение функций партийных, хозяйственных и государственных органов, предоставление бóльших прав низовым организациям, перестройку кадровой системы с внедрением «состязательности, демократического и гласного контроля» и ряд других мер.

В ближайшее время, отмечается в Отчетном докладе ЦК КПК XIII съезду, задача перестройки политической структуры состоит в том, чтобы заложить «надежный фундамент для социалистической политической демократии», тогда как конечная цель — осуществить демократию «более действенную, чем в капиталистических странах».

Главное впечатление, вынесенное многими, кто побывал в последние годы в Китае,— страна находится в движении. Экономическая реформа высвободила гигантский человеческий потенциал. Энергия великого народа, еще не так давно бездумно расходовавшаяся на бесконечные политические кампании, уводившие с пути плодотворного развития, направлена в полезное русло — русло экономического и культурного строительства. Разумеется, не все на этом пути идет гладко — радикальные преобразования такого масштаба вряд ли возможны без издержек, однако результаты реформы, достигнутые за исторически столь короткий срок, показательны. Основным залогом дальнейшего прогресса реформы служит то, что подавляющее большинство китайского народа успело на практике ощутить и оценить достоинства нового пути и ни при каких условиях не хочет возврата к прошлому. Один из моих пекинских собеседников выразил это короткой формулой. «Движение назад,—сказал он,—обошлось бы нам дороже, чем движение вперед».

Наталья Иванова

СМЕХ ПРОТИВ СТРАХА

«Смешное обладает одним, может быть, скромным, но бесспорным достоинством: оно всегда правдиво. Более того, смешное потому и смешно, что оно правдиво».
Фазиль Искандер. «Начало».

О замысле повести «Созвездие Козлотура», опубликованной в журнале «Новый мир» в августовском номере 1966 года и сделавшей малоизвестного автора знаменитым, Фазиль Искандер рассказывает так: «До этого были скитания по газетам со статьей против кукурузной кампанейщины. Я сам вырос на кукурузе, но я видел, что она не хочет расти в Курской области, где я тогда работал в газете. И я попытался своей статьей остановить кукурузную кампанию. Статью, правда, не напечатали, но писатель должен ставить перед собой безумные задачи!» С кукурузной кампанией Искандеру справиться не удалось. Но социальный темперамент молодого автора был неудержим: Искандер вскрыл и обнародовал механизм любой кампании, противоречащей здравому смыслу, ибо, как он дальновидно понимал, кукурузой деятельность активных пропагандистов по нововведениям ограничиться не может. В «Созвездии Козлотура» Искандер живописал такую кампанию в подробном развитии: от радужных перспектив (поддержанных одним чрезвычайно высоко поставленным лицом — «интересное начинание, между прочим!») до бурного провала. Следуя эстетике уходящего времени, в финале драматического по накалу страстей произведения должен был забрезжить рассвет, герой — обретать свежие силы, а автор — усиленно намекать читателю на его грядущие победы. В финале повести Искандера брезжит новая кампания.

О вещах печальных и более того — социально постыдных — автор повествовал в манере крайне жизнерадостной. Парадоксальный этический закон этой прозы — постараться из неудачи извлечь как можно больше творческой энергии. По принципу «для мест, подлежащих уничтожению», делать единственное, что можно: «стараться их писать как можно лучше».

После появления «Созвездия Козлотура» прозаик был обвинен в «плачевном отсутствии сынолюбия по отношению к отчему краю».

Через двадцать лет он скажет в беседе с корреспондентами «Литературного обозрения»: «Сатира — это оскорбленная любовь: к людям ли, к родине, может быть, к человечеству в целом».

Но сатира молодого автора производила странное впечатление.

Смех автора был не только и не столько уничтожающим (хотя резкая социальная направленность его очевидна), но и жизнеутверждающим. Смех словно говорил: смотрите, до чего могут дойти люди, бездумно следующие начальственным указаниям. И сколь, напротив, замечательно и удивительно жизнестойка природа, в том числе человеческая, этим указаниям сопротивляющаяся!

В «Созвездии Козлотура» неожиданно звучит и лирическая интонация, окрашенная ностальгией воспоминаний о днях детства, о родовом доме в горном селе. Автор переносится воображением в мир, где царствует подлинная жизнь, торжествует здравый смысл, где слову отвечает дело. «Детство верит, что мир разумен, а все неразумное — это помехи, которые можно устранить, стоит повернуть нужный рычаг». Сказано с грустью. Вера молодого писателя уже поколеблена. Козлотуризация противоречит здравому смыслу, но идет полным ходом. Крестьянина никто не спрашивает — он полностью отстранен от обсуждения сельскохозяйственных «нововведений».

Многое объединяло Искандера с авторами «иронической» молодежной прозы начала шестидесятых. Отрицали они одно и то же, противник был общий. Но что решительно ставило прозу Искандера в особое положение — это дух созидания. Герои-шестидесятники, как правило, пытались вырваться из своей среды, уйти, улететь, уехать из опостылевшего гнезда, гневно рассориться с омещанившимися родственниками. Молодой герой-бунтарь того времени гневно сокрушал полированную мебель в родительском

доме. Мысль Искандера о крове совсем иная: «Мне не хватает дедушкиного дома с его большим зеленым двором, со старой яблоней (обнимая ее ствол, лезла к вершине могучая виноградная лоза), с зеленым шатром грецкого ореха, под которым, разостлав бычью или турью шкуру, мы валялись в самые жаркие часы».

Время в рассказах Искандера тоже было совсем другим, чем в «молодежной» прозе, где оно как бы совпадало с процессом чтения, действие происходило сейчас, в настоящем, «герой-бунтарь» был близок по возрасту и читателю, и автору. Возраст героев рассказов Искандера иной, и время действия — другое: предвоенные годы, война, после войны. Мир был увиден двойным зрением: глазами ребенка и глазами взрослого, вспоминающего из «сегодня» свое детство.

Переезд Искандера в Москву, полагаю, сыграл в выборе такой оптики решающую роль. Нет, ничего «разоблачающего» городские нравы Искандер не пишет. Интонация рассказов о Москве остается весело-спокойной. Сам облик города, климат, напряженный трафик, вечное беспокойство и суета, определяющие во многом и характер горожан, описаны чрезвычайно корректно, но с явным чувством ностальгии по теплу и солнцу родной Абхазии, шуршанию волны по гальке, духу братства и добрососедства, духу двориков и кофеен. «И уже нет мамы, нет ничего,— так заканчивается «Большой день большого дома» — рассказ о семье своей матери, чувстве рода, расцветающей красоте девичьей жизни.— Есть серое московское небо, а за окном, впиваясь в мозги, визжит возле строящегося дома неугомонный движок. И машинка моя, как безумный дятел, долбит дерево отечественной словесности...» В мире «серого неба», в атмосфере бесконечной тревоги москвичей по поводу завтрашней погоды (рассказ «Начало») — тревоги, закономерно ставившей абхазца в тупик, ибо не в поле же им завтра выходить,— естественным было внутреннее движение к самому ценному, самому святому времени, к оставленному там, к «раю», то есть к миру детства. Глаза, душа ребенка позволили писателю и сказать горькую правду о времени, и не утратить ощущение красоты жизни. Искандер вернулся в мир детства — «непомерного запаса доверия к миру», отрицая тем самым явное недоверие «неправильного» мира к человеку. Искандер не только «разоблачал» неправильность реальных обстоятельств, а противопоставил им устойчивый мир, утверждая тем самым свое миропонимание.

Его «сквозной» герой Чик живет не просто в городе, доме, квартире. Жизнь вынесена во двор, где готовят пищу, пьют кофе, ведут беседы и философские дискуссии, спорят, ссорятся и мирятся, отдыхают. Здесь квохчут куры, сюда залетает ястреб, заезжают лошади, приходят коровы. Своеобразный Ноев ковчег. И побережье, и город Мухус, в названии которого легко прочитывается перевернутый Сухум,— лишь продолжение того же двора. Здесь перемешаны языки — это «котел» языков, малый «вавилончик»: рядом живут абхазцы, русские, грузины, греки, персы, турки. Даже сумасшедший дядя Коля говорит на «затейливом языке из смеси трех языков». Уважение к другой нации здесь складывается естественно.

Действие повестей и рассказов о Чике живет и пульсирует в одной точке. «У меня такое впечатление («Долги и страсти»), что все мое детство прошло под странным знаком заколдованного времени,— моя тетушка за все это время никак не могла выскочить из тридцатипятилетнего возраста». Это волшебное время детства: один длинный-длинный, непрекращающийся день с короткой южной ночью («Ночь и день Чика»), лишь подчеркивающей по контрасту радость ожидания грядущего дня. Этот день чрезвычайно подробен, богат происшествиями, приключениями, событиями, открытиями.

Мухусский двор — неформальная община, неофициальное государство в государстве, вырабатывающее свои законы, свою конституцию. Здесь жизнь собрала изгоев, «бывших», отверженных, отброшенных, не принятых властью или ущемленных ею. Пата Патарая репрессирован. Богатый Портной, день-деньской работающий, вынужден скрывать стук своей швейной машинки. Бедная Портниха еле сводит концы с концами. Алихан, чья история более подробно рассказана в романе «Сандро из Чегема»,— бывший коммерсант, потом нэпман, окончательно разоренный. Даша — в прошлом жена офицера, «бывшая» красавица, сумасшедший дядюшка Коля... «Отброшенные» создают маленькую республику, в которой правит справедливость. Здесь никто не обладает полнотой власти, не стремится к диктаторству, все равны. Жизнь во дворе в отличие от жизни за его пределами не приемлет унижения слабого, осмеяния убогого. Сумасшедший дядюшка Чика живет здесь не только в безопасности, но в атмосфере любви и приязни. Даже добродушные шлепки, которые отпускает ему портниха Фаина, в которую он безнадежно влюблен, свидетельствуют более о чуткости, нежели о равнодушии.

Жизнь семьи существует вне замкнутого пространства комнаты, вне четырех стен: она как бы вынесена — через балкончики, распахнутые окна, веранды и галереи — на воздух, на площадку двора. Она открыта всякому взору, не отчуждена, не занавешена. Жизнь дворика в Мухусе — народная жизнь, а фиговое дерево, растущее в саду, перевитое виноградом, дерево, на котором, как обнаружил Чик, так славно и удобно сидеть,— становится священным древом

жизни, как бы перевитым судьбами людей, здесь обитающих.

Чик — истинное дитя народа. Он жизнелюбив и стоек, справедлив и совестлив, не приемлет предательства в самых разных и утонченных его проявлениях. Нравственное чувство Чика развито необычайно. Он, например, ощущает неловкость, если драка несправедлива, не может серьезно драться с мальчишкой, если тот слабее его. Чик готов поделиться всем, что у него есть. Он «никогда не будет чувствовать себя счастливым, пока собаколов в городе». Он остро реагирует не только на несправедливость, но и на глупость, фальшь. Перипетии жизни Чика и его друзей, разговоры и горячие споры взрослых о пустяках изложены автором подробно. Автор входит в положение каждого, стремится к полноте изображения любой ситуации, как бы комична она ни была. Вот Чик и его дядя «пойманы с поличным»: пасли корову в границах города, а это «не положено».

«— Шпионы ходят по стране,— сказал милиционер.

— Знаю,— согласился Чик.

— В том числе и под видом сумасшедших,— сказал милиционер.

— Знаю,— согласился Чик, потрясенный тем, что милиционер подозревает дядю в том, в чем Чик сам подозревал его когда-то.— Но он настоящий сумасшедший. Его доктор Жданов проверял.

— Этот номер не пройдет,— сказал милиционер,— я вас всех забираю в милицию. Там все выяснят... Корова не бодается?

— Нет,— сказал Чик,— она мирная.

— Вот и хорошо,— сказал милиционер и отобрал у Чика веревку, за которую была привязана корова.— Я ее поведу.

...Они вошли во двор милиции, и милиционер крепко привязал корову к забору. Там росла густая трава, и корова тут же начала ее есть...».

Смех Искандера естествен, как реакция самой жизни на неестественную формальность официальности. Смех вскрывает и убивает фальшь, глупость и самодовольство тех, кто мнил себя наделенным властью над детьми, блаженными и коровами. Но этот смех лишен назидательности, нравоучительства. Если хотите — плутовской смех, веселый обман лжи, надувательство лицемерия. Он уничтожает, утверждая. Этот смех целителен и спасителен, ибо трагические обстоятельства времени столь сильны, что человека без ободряющего присутствия смеха охватили бы отчаяние и безнадежность. Смех побеждает ложь, предательство, даже смерть. Смех священен и потому побеждает все застывшее, мертвое, догматическое. В смеховом мире Искандера ощущается животворное влияние народного комизма, связанного с изображением тела и всех его забот: приготовления пищи, ее поглощения, удовольствия, отдыха, купания, обнажения. Героев Искандера словно преследует безмерный аппетит и неутолимая жажда: во дворе бесконечно что-то жарится или варится; тетушка Чика прекращает свое вечное чаепитие, только если оно переходит в кофепитие; в почти райском саду Чика вечно зреют какие-то фрукты (Чика радует сам круговорот поспевающих ягод и фруктов: земляника, вишня, черника, абрикосы, персик, груша, айва, орехи, хурма, каштаны). Это поедающий, плодящийся, растящий детей, радующийся жизни мир, одушевленный бесстрашным и ясным смехом. Это смех, звучащий почти на краю бездны. Смех против страха.

На оплакивании покойной подруги тетушки Чика сидящую с ним за столом конопатую девочку так и разбирает смех. («Чик идет на оплакивание»). За поминальным столом начинается игра и веселье. И взрослые, пришедшие попрощаться с покойной, тоже втягиваются в совершенно не приличествующую событиям атмосферу застольных баек. Развязываются языки, старики вспоминают любовные приключения покойницы — смех у гроба, сама смеющаяся смерть, забывшая о своих прямых обязанностях... Вспоминают они и небезопасные легенды... Начинается праздник, и вместе с ним торжествует освобождающаяся от страха смерти (да и страха перед жизнью тридцатых годов) стихия раскрепощенной вольности и народного веселья.

Мудрость народа состоит не только в том, чтобы победить врага, это не всегда возможно, но — осмеять его. Бригадир Кязым из одноименного рассказа, неграмотный крестьянин (лукавый повествователь замечает, однако, что неграмотный Кязым свободно говорил на пяти языках) дознается-таки, кто украл из колхозной кассы сто тысяч рублей. Кязым остроумно загоняет вора в ловушку, но рассказ был бы не вполне «искандеровским», если бы в финале жена вора не побежала — под общий хохот чегемцев — за милиционером, дабы он вернул полотенце, в которое были завернуты злополучные деньги...

Горное село Чегем — это тот «большой дом», родовое гнездо, из которого вышли и знаменитый дядя Сандро, и Чик, приходящийся ему племянником. Родом отсюда и мать в лирическом повествовании («Большой день Большого дома»).

Повествование о Чегеме — своего рода национальные мистерии. Это мир вечно становящийся, праздничный, полный жизненных соков. Комическим эпосом исторической народной жизни стал роман «Сандро из Чегема».

Оговорюсь сразу. Искандер при всей любви к своему народу лишен гнетущего и сковывающего пиетета по отношению к национальному характеру. Писатель не только не боится комизма в изо-

бражении своего героя или истории народа — он опирается на него. Смешное и трагическое, веселое и драматическое существуют слитно. В дяде Сандро уживаются и герой, и плут, и защитник чести, и обманщик, и бездельник, и праздничный «Великий Тамада», и труженик, и по-восточному горделивый глупец (выглядит так, словно держит на привязи не обычную корову, а зубробизона), и хитрец («Он остановился в таком месте, где колхозы уже кончились, а город еще не начался»), и истинный сын своего народа (первым пришел к высокому должностному лицу с предложением вернуть древние абхазские названия рекам и горам). Прозаик словно спаял в нем противоречивые черты национального характера — он и бесстрашный рыцарь, получающий пулю за прекрасную княгиню (которая, кстати, отлично справляется с дойкой коров), и крестьянин, в поте лица своего обрабатывающий землю; и танцор, выступающий в знаменитом ансамбле Паты Патарая, и мудрец, стремящийся спасти свой народ от братоубийственной войны. Дядя Сандро стар (ему «почти восемьдесят лет, так что даже по абхазским понятиям его смело можно назвать старым человеком») и вечно молод.

Авторская интонация по отношению к дяде Сандро богата оттенками: от осмеяния до восхищения, любования «его величественной и несколько оперной фигурой, как бы иронически осознающей свою оперность и в то же время с оправдательной усмешкой кивающей на тайное шутовство самой жизни». Роман Искандера строится как система новелл, объединенных героем (хотя и не во всех новеллах он является главным действующим лицом — иногда словно отходит в тень, на периферию повествования).

Трагикомически транспонируется в романе история. «В те далекие времена,— эпически повествуется в романе,— носа не высунешь, чтобы не шмякнуться в какую-нибудь историю». Народ не только смеясь расстается со своим прошлым — смеясь, он воссоздает свою историю. Так комически-серьезно рассказано о принце Ольденбургском, «просветителе» абхазского народа, благодаря которому «цивилизация края шла полным ходом, хотя иногда и натыкалась на неожиданные препятствия».

Искандер гротескно рисует портрет отменной глупости, застывшей в своем высокомерии («Дикарь, а как свободно держится»,—думает принц снисходительно о дяде Сандро), не подозревающий о точной оценке, которая естественно складывается в народе. В отличие от лукавого хитреца Сандро, готового при случае вместе со всеми посмеяться над самим собой, принц Ольденбургский надут и титанически серьезен по отношению к самому себе, а потому и окончательно смешон: «Принц Ольденбургский, задумавшись, стоял над прудом гагринского парка, как Петр над водами Балтийского моря». Явная пародия. Но глубоко пародиен и весь роман, только пародия присутствует здесь не как разрушение, отрицание жанра, нет — как возрождение его через воскрешающую смеховую стихию.

На глазах дяди Сандро, гостившего у своего друга в селе Анхара в первые майские дни 1918 года, «история сдвинулась с места и не вполне уверенно покатилась по черноморскому шоссе». «История сдвинулась с места» — общий языковой штамп, в силу своей стертости не задевающий нашего сознания. Но история, которая, сдвинувшись, «*покатилась*» именно «*по черноморскому шоссе*», да еще и «*не совсем уверенно*» — это уже осмеяние штампа и переосмысление слова. На «атомарном» уровне языка действует принцип, характерный для смеха Искандера вообще — завоевывать, осмеивая. Ведь история-таки выросла в Историю — несмотря на то что вначале «покатилась по черноморскому шоссе».

«Битва на Кодоре» (так называется эта глава) кончается трагически — гибнет сын несчастного Кунты, не чуявшего, чем закончится «история». То, что казалось забавным, почти потешным, оборачивается кровью. Думалось, что обойдет, минует — «в тот день сражение окончательно перекинулось на ту сторону, и когда до вечера оставалось два-три часа, жители Анхары решились выпустить на выгон проголодавшийся скот», но нет, не минуло, не обошло. Остаться сторонним наблюдателем «истории» (Сандро рассматривает все происходящее в подаренный принцем Ольденбургским цейсовский бинокль), не присоединиться, не участвовать? Сандро ведь не разбирается ни в политике, ни тем более в ее оттенках... Так и не стал он «героем» битвы на Кодоре, хотя и ездил ночью к большевикам, чтобы объяснить им, откуда лучше стрелять. Положение крестьянина — дяди Сандро — поистине драматично: он думает о скоте (напоен ли, накормлен), об урожае, о земле — но история втягивает его в свой водоворот и лишь от случая зависит, пойдет он с меньшевиками или большевиками.

Так, оказавшись в доме богатого армянина, Сандро сначала пытается защитить его от налета меньшевиков — не потому лишь, что он, Сандро, гость и должен — по кодексу чести — защищать хозяина. Более того: он отрицательно относится к меньшевизму, ибо считает, что «все меньшевики эндурского происхождения. Конечно, он знал, что у них есть всякие местные прихвостни, но сама родина меньшевиков, само осиное гнездо, сама идейная пчеломатка, по его мнению, обитала в Эндурске». Но когда дядя Сандро убеждается, что сопротивление вряд ли увенчается успехом, он усаживается за стол хозяина вместе с меньшевиками и все сообща

пьют вино и доедают барана, поднимая тосты «за счастливую старость хозяина, за будущее его детей», что не мешает меньшевикам, уходя, забрать трех хозяйских быков, а Сандро, вслед за ними,— и последнего — не оставлять же его в одиночестве...

Роман о Сандро из Чегема, как и цикл рассказов о Чике, из которого выросла повесть «Старый дом под кипарисом», принципиально не замкнут, открыт, готов к росту, к саморазвитию. В сущности, повествование о Сандро можно продолжать бесконечно — и герой, и композиция романа практически неисчерпаемы. Жизнеутверждающая авторская идея заключена в свободе, с какой движется сюжет. Да и сюжет ли это? Повествование о Сандро не имеет ни завязки, ни развязки — оно может двигаться снова с любой точки, обозначенной в жизни героя. Поэтому дядя Сандро еще и в этом смысле герой народный, ибо он бессмертен. Тем более, если мы уже побывали на его «псевдопоминках» — на пире в честь его неожиданного выздоровления...

«Чтобы овладеть хорошим юмором,— заметил писатель в рассказе «Начало»,— надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться, что и там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно. След, оставляемый этим обратным путем, и будет настоящим юмором». То, что Искандер называет «хорошим юмором», не просто подтрунивание над героем или обнаружение смешных и нелепых черт в той или иной ситуации, не «приправа», добавленная к сюжету. Автор не только смеется над героем, но и бесконечно любит его, любуется им. В самом деле, ну разве не хорош дядя Сандро — и как Великий Тамада, без которого не может состояться ни одно застолье, и как замечательный рыцарь и любовник, без которого не может жить прекрасная княгиня-сванка, и как настоящий друг, перелетающий верхом на лошади через стол, где проигрывается в пух и прах известный табачник Костя Зархиди? В то же время все эти подвиги и деяния являются лжеподвигами и лжедеяниями; ибо уехавший князь доверил дяде Сандро честь сванки, а проявлять мужество в прыжках над карточным столом — занятие ли это для подлинного героя? При этом надо учесть происхождение комических историй — ведь все они, как утверждает повествователь, рассказаны *самим* дядей Сандро. Поэтому и героизм, и комизм вступают в сложное соединение, которое можно назвать комической героикой.

Не только сам дядя Сандро, но и его родные и близкие наделены богатырской мощью. Дочери тети Маши, соседки Сандро по Чегему «юные великанши», лежа на козьих шкурах, образуют «огнедышащий заслон»: «Если присмотреться к любой из них, то можно было заметить легкое марево, струящееся над ними и особенно заметное в тени». Для того, чтобы окончательно подтвердить реальность юных великанш, повествователь отмечает, что «собака их, зимой спавшая под домом, выбирала место для сна прямо под комнатой, где спали девушки. По мнению чегемцев, они настолько прогревали пол, что собака под домом чувствовала тепло, излучаемое могучим кровообращением девиц». Торжествуют цветение и роскошь телесного — будь то могучие юные великанши, или волоокая, по-южному томная, великолепная красавица Даша, чья рука лениво свешивается с балкона, как цветущая гроздь, или сам дядя Сандро с его подчеркнутой физической красотой, или прекрасная княгиня-сванка. Если любимая дочь дяди Сандро, красавица и лучшая на свете низальщица листьев табака Тали рожает, так обязательно двойню! Для Искандера не существует отдельно «духовности» и отдельно «телесности» — радость здорового чувства, как тяга, возникающая между Багратом и Тали, естественна и потому законна по высшим законам природы, и они не могут ей не подчиниться, несмотря на негодование и запрет родни. А кедр, под которым они провели свою первую ночь, считается теперь в Чегеме священным, способствующим деторождению, плодоносности.

«В шутливой форме,— замечает автор,— чегемцы умели обходить все табу языческого домостроя. Я даже думаю, что бог (или другое не менее ответственное лицо), вводя в жизнь чегемцев суровые языческие обычаи, в сущности, применял педагогическую хитрость для развития у своих любимцев (чегемцы в этом не сомневаются) чувства юмора». В этом мире нет места унынию, пессимизму, меланхолии. Мир Чегема — мир деятельный, и смех здесь так же сопровождает труд, как труд сопровождает смех.

Смеховое начало в этой прозе органически соединено с лирическим. Это лирическое начало выражено прямо, через лирического героя-повествователя, от лица которого были написаны многие рассказы о детстве. Искандер всегда сопротивлялся роли юмориста-развлекателя, от которого публика вечно требует чего-нибудь веселенького. Легче всего было бы закрепиться в этой роли в сознании читателя, поддаться «социальному заказу» на эдакий среднекавказский анекдот — с набором обязательных хохм, приключений, ситуаций и благополучно ехать на таком коньке до окончания дней своих.

Что может быть, скажем, забавнее, чем анекдотический рассказ про сумасшедшего, но вполне безобидного дядюшку, которого вечно поддразнивает юный племянник? Про дядюшку, любимым лакомством которого является лимонад с двойным сиропом? Распевающего свои песенки без слов, называющего и кошек, и собак одним словом «собака», и радостно кричащим им — «брысь»? Дя-

дюшку, безнадежно влюбленного в самую некрасивую женщину двора? Дядюшку, который восторженно принимал фотографию всем известного лица в газете или памятник ему же в сквере — за изображение самого себя? Дядюшку, которого племянник-пионер, отравленный книгами о майоре Пронине, какое-то время считал-таки диверсантом? «Мальчик сумасшедший,— сказал дядюшка с некоторым оттенком раздражения».

В этот только на самый поверхностный взгляд могущий показаться юмористическим рассказ, при чтении которого, однако, вы не можете удержаться и от смеха, и от тяжких размышлений о времени конца 30-х годов, Искандер вложил всю силу лирического чувства. От самых смешных и нелепых ситуаций он резко переходит к судьбе и оценке своего нелепого героя, который *оставался человеком* — а это, по шкале Искандера, самое ценное и великое.

Смех Искандера не направлен «сверху вниз», от автора или лирического повествования — к герою. Он «работает» на всех уровнях: направлен даже на само авторское «я». Дядя Сандро посмеивается над богатым армянином, который дрожит над своим добром. Но и армянин, несмотря на все свои потери, смеется над важничающим дядей Сандро. Молодой повествователь, познакомившийся с дядей Сандро, прячет в углах губ усмешку по поводу того, что старик требует новые галоши, дабы не ударить в грязь лицом перед газетчиком. Но ведь и дядя Сандро не скрывает своей насмешливости и по отношению к повествователю, владеющему лишь чернилами в собственной ручке. Читатель смеется и над дядей Сандро, и над рассказчиком, но ведь и они смеются над читателем, принимающим эти приключения за чистую монету!

Большинство глав романа либо повествуют о пире, либо рассказаны на празднике, на пиру, либо завершаются праздником. Богатый армянин вынужден устроить застолье, перерастающее в пир, на котором грабители соревнуются в тостах с защитником Сандро. Дядя Сандро, устраивая ужин для рассказчика, сам собирается на свадьбу («Дядя Сандро у себя дома»). Помощник лесника устраивает походный пир прямо на крышке радиатора («Хранитель гор»). Когда смертельно больной дядя Сандро чувствует себя чуть получше, устраивается большой пир, а постель больного перетаскивается к пирующим («Дядя Сандро и его любимец»). Наконец, во время соревнования-праздника за честь лучшей низальщицы листьев табака «умыкают» Тали («Тали — чудо Чегема»). Новеллы, составляющие роман, по характеру и тону близки веселой народной дьяблерии: недаром и красавицу Дашу называют «дьяволос», да и смеющаяся Тали с гитарой, сидящая на яблоне, уподоблена колдунье, завораживающей путников. Веселая праздничность жизни смеется над смертью, над болезнью, побеждая и укрощая их, недаром веселье у постели больного укрепляет его дух и поднимает в конце концов на ноги. А сны, которые видит тетя Катя, «свежие, как только что разрытая могила»? «Нигде не услышишь столько веселых или даже пряных рассказов о всякой всячине», как на поминках, утверждает автор, «вероятно, влюбленным вот так бывает особенно сладостно целоваться на кладбище среди могильных плит». Непринужденной атмосферой поминального праздника, оказывается, «довольны и родственники покойного, и соседи, и сам покойник, если ему дано оттуда видеть, что у нас тут делается»!

Один из самых блестящих рассказов Искандера, написанных в лучших традициях народной смеховой культуры — «Колчерукий». История о том, как Колчерукому еще при жизни выкопали могилу, за которой он любовно присматривал, пересекается историей из его молодости — Шаабан Ларба стал Колчеруким, получив пулю от князя за острый язык, опять-таки за насмешку над его козлиными любовными «подвигами».

Колчерукий обманул свою смерть. После звонка из больницы о мнимой кончине за его телом прислали из колхоза машину, а родственники по обычаю привели всякую живность для поминальной тризны. Колчерукий же с комфортом вернулся на собственные похороны, а гостинцы пришлись по вкусу «покойничку», устроившему по случаю своего воскрешения угощение. Он пережил или предотвратил свои похороны, правда, оставив за собой могилу в «полной готовности», и сажает около нее персиковые деревья, и даже успевает — до своей истинной смерти! — собрать урожай. Смерть соотнесена с рождением, могила — с плодородием жизни. Не отдает Колчерукий родственнику и телку, приведенную на несостоявшиеся поминки. «Время шло, а Колчерукий, судя по всему, умирать не собирался. Чем дольше не умирал Колчерукий, тем пышнее расцветала телка, чем пышнее расцветала телка, тем грустнее становился ее бывший хозяин». Колчерукий переживает и наскоки грустного родственника и анонимный донос, пришедший в связи с тем, что он посадил на своей могиле тунговое деревце (это растение насаждалось тогда в Абхазии, навязывалось колхозам, несмотря на то, что плоды его были ядовитыми,— вечная тяга к козлотуризации!). Однако приходит все-таки смерть и к Колчерукому, но и тогда он разыгрывает последнюю, уже загробную, шутку, заставляя все село на похоронах громко смеяться над лошадником Мустафой.

Бессмертен герой, способный посмеяться из-за гробовой доски, побеждающий смерть жизнью своего духа; бессмертен и народ, рождающий такого героя и весело смеющийся на его похо-

ронах: «Когда умирает старый человек, в наших краях поминки и проходят оживленно. Люди пьют вино и рассказывают друг другу веселые истории... Человек завершил свой человеческий путь, и, если он умер в старости, дожив, как у нас говорят, до своего срока, значит, живым можно праздновать победу человека над судьбой».

Установка на слово произнесенное принципиальна для Искандера. И рассказы о Чике, и новеллы о дяде Сандро сохраняют свежесть устного слова, ориентированного на доброжелательного слушателя. «Поговорим просто так. Поговорим о вещах необязательных и потому приятных». На равных с читателем, то бишь со слушателем. Позиция собеседника, рассказчика, не подавляющего своими знаниями, а спокойно делящегося своими наблюдениями и историями.

За очарованием ранних рассказов серьезной мысли еще не ощущалось. Как правило, это был рассказ-шутка, рассказ с забавным сюжетом. В «Письме» речь шла о том, как еще в школе повествователь получил от девочки письмо с признанием в любви, о его внезапно вспыхнувшем чувстве, о ее «коварстве» и в конечном счете равнодушии к бывшему предмету своего увлечения. В рассказе «Моя милиция меня бережет» поведана комическая история об обмене одинаковыми чемоданами — один из «вечных», банальных сюжетов юмористики. «Лов форели в верховьях Кодора» — рассказ о приключениях студента в походе, о рыбной ловле. «Англичанин с женой и ребенком» — о том, как забавен восторженный иностранец, не понимающий особенностей нашего образа жизни, и как комичны в своей серьезности ребята, окружившие его своей заботой.

Но в то же время в прозе Искандера подспудно развивалась другая линия — за внешней забавностью и искандеровскими «шуточками» таилась глубокая, трагическая мысль. И даже тогда интонация Искандера сохраняется. Так, в рассказе «Летним днем» действие происходит в одном из приморских кафе, и повествователь, беседующий с немцем из ФРГ, «боковым» слухом слышит умопомрачительно смешную беседу местного пенсионера («чесучового») с курортницей о литературе — беседу, достойную саму по себе отдельной новеллы.

Немец рассказывает историю о том, как его вербовали в гестапо. Речь немца (рассказ в рассказе, излюбленная искандеровская композиция) постоянно перебивается ручейком диалога пенсионера с курортницей, и рассказ — по контрасту — обретает неожиданную объемность. «В наших условиях,— говорит рассказчик,— условиях фашизма, требовать от человека, в частности от ученого, героического сопротивления режиму было бы неправильно и даже вредно». Человеческая порядочность — единственное, что помогает выстоять и в конце концов даже победить в условиях тоталитарного режима, в окружении «ловцов душ».

В этом рассказе разговор о нравственности человека, о том, предоставлен ли ему выбор и каков этот выбор, о моральной стойкости и внутренней независимости ведется открыто. Но этот рассказ высвечивает собою и другое, казавшееся по первому чтению столь непритязательно-забавным: в каждом из них Искандер отстаивает опорные ценности человеческого поведения: порядочность, мужество, стойкость, способность к милосердию и состраданию, стремление прийти на помощь к ближнему своему. За «болтовней», за «поговорим просто так», за игрой ума (скажем, за историей о поступлении молодого повествователя-медалиста в библиотечный институт) скрывается полная боли и мысль об оскорблении личности «разнарядкой», например.

Рассказы, повести, роман Искандера образуют, несомненно, художественное единство. Повествование от первого лица сменяется объективным повествованием, однако и топография, и детали, и герои детства остаются теми же самыми: мухусский дворик, чегемский дом. Маленькая «вселенная» Искандера практически неисчерпаема, ибо история каждого и каждой семьи уходит в глубь времени, и там у каждого есть своя драма; с другой стороны, подрастают дети, а детские взаимоотношения, их открытия тоже бесконечны. Искандер продолжает разрабатывать свой мир, над которым, как мы помним, еще в начале его пути засверкало неведомое ранее созвездие Козлотура.

Да, мир Искандера растет и ширится, и каждый второстепенный герой в конце концов обретает свою судьбу, свою историю. И в этой особенности прозы Искандера, казалось бы, чисто формальной, заложен высокий смысл — право личности на свою судьбу. Жизнь — и ее создатель, демиург, роль которого в данном случае исполняет Искандер — дает личности высокое право на самоопределение, а там уж посмотрим, кто как этим правом распорядится... Собаколов выбрал свой путь — ловить собак, а, скажем, независимый и свободолюбивый, острый на язык Колчерукий — свой. Герои наделены равными возможностями человеческого осуществления — или неосуществления. Так светло, как прожил свою жизнь несчастный сумасшедший дядюшка Чика, Богатый Портной, озабоченный прежде всего материальными проблемами, прожить не сможет.

Что «хорошо», а что «плохо» в поведении человека, что нравственно, а что нет, определяет торжествующая в рассказах народная этика. Герой рассказа «Запретный плод» доносит родителям на родную сестру, которая, оказывается,

в нарушение мусульманского запрета съела кусочек свиного сала. Ошеломленный тем, что его героический порыв не понят, юный доносчик потрясен выражением брезгливой ненависти, появившейся на лице отца. Но урок не прошел даром. «Я на всю жизнь понял, что никакой принцип не может оправдать подлости и предательства, да и всякое предательство — это волосатая гусеница маленькой зависти, какими бы принципами она ни прикрывалась». Рост души мальчика направляется моралью, которая помогла абхазскому народу выстоять, сохранить себя, несмотря на труднейшие испытания и исторические условия. Экспансия «эндурства» идет, но сопротивление ей достаточно сильно и глубоко. И дитя Чегема, дитя мухусского дворика Чик — лучшее тому доказательство.

Возникает вопрос: не повторяется ли Искандер в своих рассказах? «Опять про Чика» — я сама не раз слышала такие раздраженные постоянством привязанности автора к своему герою мнения профессионалов и читателей. Должна сразу признаться, что не разделяю этих опасений и этого раздражения. Не однажды, а несколько раз писатель осуществлял попытку вырваться за пределы своего опыта, своей манеры. В повести «Морской скорпион», написанной в традициях сюжетной беллетристики, проза Искандера сразу поскучнела, как будто цветовое изображение переключили на черно-белое. Герой метался на фоне курортной жизни, но сопереживать ему почему-то не хотелось. Вполне выдерживающая стандарты «бытовой» прозы психологическая описательность никакого успеха — и, к счастью, продолжения — в дальнейшем творчестве Искандера не имела.

Другим отходом писателя в сторону от своего стиля, от своей интонации был «Джамхух, Сын Оленя, или Евангелие по-чегемски» — сказка, выполненная на основе абхазского фольклора, пронизанная притчами, мудрыми наставлениями. Здесь маятник качнулся не в сторону беллетризма, а, напротив, в сторону нарастания условности. Джамхух — выкормленный в лесу оленями человеческий детеныш становится затем самым проницательным и мудрым из всех абхазцев и отправляется на поиски прекрасной Гунды, из-за которой сложили свои головы немало юношей. По дороге к Джамхуху присоединяются Объедало, Опивало, Скороход, Ловкач, Слухач и Силач. Прекрасная Гунда завоевана, но у нее, оказывается, пустое сердце, и Джамхух не нашел с ней счастья.

Да, нельзя не согласиться с Джамхухом, что рабство развращает не только рабов, но и рабовладельцев; что хуже всех поступает человек, который пакостит душу другого, что «неблагодарность — это роскошь хама», а «благородство — это взлет на вершину справедливости, минуя промежуточные ступени благоразумия». Джамхух то и дело изрекает мысли верные и афористически оформленные, но делает это с таким напыщенным пафосом, что следовать ему не хочется. Поэтому сказка остается сказкой, а поучения Джамхуха, как бы верны и справедливы они ни были, выглядят как избыточная, если можно так выразиться, передозированная на единицу текста мораль.

По контрасту с основным повествованием особенно ярок и полнокровен двухстраничный финал, где Искандер словно с чувством облегчения возвращается к Искандеру. Сказочных и мифических героев, несколько литературно-жеманных, сменяют подлинные герои Чегема, озаренные душою десятилетнего мальчика, увиденные его чистыми сияющими глазами: на сельских игрищах девушки бегут «от табачного сарая до каштана», соревнуясь в скорости. Действительность схвачена двойной оптикой: и вечной памятью детства, и зрением скорбным, сегодняшним, видящим родные могилы на холме: «А они пробегают мимо своих могил, не замечая их, притормаживают у каштана, шлепают мелькающей ладонью по стволу и назад, назад в порыве азарта, снова не замечая своих могил, уже убегая от них все дальше и дальше, радостно закинув головы, победно, невозвратимо».

Последние рассказы Искандера («Чегемская Кармен», «Бармен Адгур») показывают новый поворот его творчества. Герои этих рассказов — тоже бывшие чегемцы, молодые обитатели Мухуса. Однако сколь изменились и сами мухусцы, и жизнь в городе! Прежняя родовая сплоченность, взаимопомощь сменились порочной спайкой уголовного мира с местной властью. Патриархальность вытеснена пропитавшей общество мафиозностью, в которой легко ориентируются головокружительно «свободные» (а на самом деле — повязанные по рукам и ногам) герои.

Это и Зейнаб, чегемская Кармен, лихо меняющая возлюбленных. Красавица-абхазка не прочь и шампанское распить с незнакомым мужчиной, и наркотиками побаловаться. Особый романтический шик придает ей — в ее же глазах — связь с «честным» бандитом, живущим по лозунгу «грабь награбленное». И отец, не выдержавший ее приключений, убивает дочь — прямо перед родовым домом в Чегеме...

Это и бармен Адгур, не расстающийся с парабеллумом, как должное воспринимающий не только ежедневные перестрелки, бандитизм, поднадоевшие ограбления, но и то, что подкуплена милиция, адвокатура, врачи в больнице, которые делают или не делают операцию в зависимости от указаний главаря.

«Неофициальная» жизнь Мухуса, запечатленная Искандером сегодня, совсем иная, чем неофициальная жизнь послевоенного дворика. Знаменитый исканде-

ровский смех резко меняется. Юмор окрашивается в мрачные тона, сменяется черным сарказмом; теплая улыбка, свойственная ранее интонации рассказчика, постепенно застывает от горечи правды, о которой поведано столь откровенно и с такой болью. Мы не обнаружим здесь прямых выплесков авторского гнева в духе «Пожара» или «Печального детектива», резких инвектив в духе «Плахи». Не найдем открытой публицистичности и бичевания пороков, низко павших нравов, а также откровенных картин торжества «бриллиантовой» жизни. Искандер все-таки остается Искандером — прежде всего художником. Но гротеск его меняется — становится трагическим. Свой мир превратился в чужой мир. Кругом та же красота Черноморского побережья, цветущие олеандры, уютные кофейни, но все это теперь представляется лишь декорацией.

Теперь торжествует геройство совсем иного рода — не ради спасения, защиты человека, не ради утверждения великих ценностей, справедливости, совести,— нет, ради защиты своих денежных интересов. Прежние богатыри вытеснены в уважительном сознании массы «богатыми богатырями».

«Наш род», «наша семья», «клянусь мамой», «клянусь своими детьми»—это лишь обесцвеченные и обесцененные знаки, скелеты тех великих смыслов, которые когда-то эти слова обозначали. Все обесценено и обесчещено: и жизнь, и смерть, и продолжение рода, и семейные связи. Содержание умерло, остался ритуал, а его исполнение выглядит фальшиво-напыщенным («Сейчас какое настроение пить, когда в Чегеме бабушка лежит мертвая...»). Да если уж совсем по правде, то и ритуала не осталось; чегемская Зейнаб способна сегодня позволить своему ухажеру размозжить голову родной бабушке, случайно заставшей ее на любовном свидании пятнадцатилетнюю внучку.

Распад человечности, забвение веками складывавшейся народной этики, гибель и разрушение рода, равнодушие людей к будущему народа — вот что жестко и нелицеприятно пишет сегодня Искандер.

Искандер был и остается остро социальным писателем. Но его социальность не в ущерб художественности. Вот, скажем, он исследует корни подчинения, холопской, рабской зависимости «кроликов» от гипнотизирующих их «удавов» («Кролики и удавы»). Если в этой конформистской среде неожиданно появляется свободолюбивый кролик, чьей смелости хватает на то, чтобы, уже будучи проглоченным, упереться в животе,— то об этом «бешеном кролике» пятьдесят лет потрясенные удавы будут рассказывать легенды...

Однако на самом-то деле и кролики, и удавы стоят друг друга. Их странный симбиоз, главным законом которого является закон беспрекословного проглатывания, основан на воровстве, пропитан ложью, социальной демагогией, пустым фразерством, постоянно подновляемым лозунгами (вроде главного лозунга о будущей Цветной Капусте, которая когда-нибудь украсит стол каждого кролика!). Это — сообщество скрепленных взаимным рабством — рабством покорных холопов и развращенных хозяев. Хозяева ведь тоже скованы страхом—попробуй, скажем, удав не приподнять — в знак верности — головы во время исполнения боевого гимна... Немедленно лишат жизни как изменника!

В «Кроликах и удавах» смех Искандера приобретает грустную, если не мрачную, окраску. Заканчивая эту столь удивительную и вместе с тем столь поучительную историю, автор замечает: «...я предпочитаю слушателя, несколько помрачневшего. Мне кажется, что для кроликов от него можно ожидать гораздо больше пользы, если им вообще может что-нибудь помочь». Искандер смотрит на реальность трезво, без иллюзий, открыто говоря о том, что, пока кролики, раздираемые внутренними противоречиями (а удавам только этого и надо), будут покорно идти на убой.

И в то же время философская эта сказка удивительно смешна в каждой своей детали. Например, вдруг — из нутра удава! — стал дерзить Великому Питону проглоченный кролик. И Великий Питон обобщает: «Удав, из которого говорит кролик, это не тот удав, который нам нужен...» Искандер головокружительно свободно пародирует социальную демагогию. Освобождением от ее догм и оков и звучит раскрепощающий смех автора.

Но на что же надеяться в этом мире, если он состоит из удавов, кроликов и обворованных тупых туземцев, если судить по искандеровской сказке?.. «Очеловечивание человека» — так определяет сам писатель задачу литературы. Он не оставляет у читателя ощущения безнадежности и пессимизма. Вспомним «Утраты» — рассказ, повествующий о смерти сестры писателя-сатирика Зенона. Узнав о ее внезапной кончине, Зенон летит из Москвы на родину — и как много хорошего узнает он о людях, которые бескорыстно помогали обреченной больной. Что объединяло всех этих людей — разных национальностей, разных профессий — в этом порыве милосердия? «Цель человечества — хороший человек,— формулирует Искандер,— и никакой другой цели нет и быть не может».

Тайная свобода

Читатель этого романа поначалу может себя почувствовать участником литературной викторины. Пролог здесь называется «Что делать?», затем следуют разделы «Отцы и дети», «Герой нашего времени», «Бедный всадник» («Медный всадник», помноженный на «Бедных людей»). Десятка три эпиграфов — от Баратынского до Федора Сологуба. Это только открытые, откровенные отсылки к классике, а сколько еще неоговоренных! Ведь главного героя, молодого филолога Одоевцева зовут Львом Николаевичем не просто так — в честь князя Мышкина. А имя его ветреной возлюбленной Фаины (с виду особы довольно прозаичной) тянет за собою длинный блоковский шлейф: и лирический цикл «Фаина», и пьеса «Песня судьбы». Реминисценции на каждом шагу. Цитата на цитате сидит и цитатой погоняет...

Не слишком ли много литературы? Для жизни-то останется место?

Останется. Более того — расширится пространство жизни обыденной, сиюминутной, отчетливее проступят в нашей современности те ее черты, о которых писали русские классики. Да, да, о ней они тоже писали; благодаря чему и подтвердили свою высшую квалификацию. «В мой жестокий век...» Это еще надо разобраться, какой век жестокий. В каком столетии умные, честные и талантливые люди вдруг оказались «лишними», а инициативу захватили «глуповцы». Когда горе от ума стало неизбежной ситуацией. Когда тургеневские девушки и чеховские невесты испили свою горькую чашу до дна. Когда так повсюду закружились «бесы разны», что пути стало не видно. Классики писали о нас — и в глобальном, главном, и даже в частностях. Хоть вспомнить, к примеру, классика «коллективного» — Козьму Пруткова: ну, где в девятнадцатом веке вы укажете хотя бы одного чиновника-графомана с «централизованным» идейно-поэтическим мышлением?

Классика для нас — эталон правды, общая для всех святыня. Чьим именем можем мы, не кривя душой, поклясться друг перед другом? Именем Пушкина в первую очередь. Потому-то автор романа безо всяких туманностей сразу поясняет смысл заглавия: Пушкинский дом — это Россия. Да, идут годы, меняется язык, переименовываются улицы и города, потом им возвращают старые названия — и все это время мы живем в стране имени Пушкина.

Итак, герой романа — филолог, пушкинист, потомственный интеллигент с довольно типичной родословной: репрессированный дед, отрекшийся от него, то есть от своего отца, отец... Нелегкое наследство — сомнения, муки совести, непосильные вопросы. Плюс к тому — вечные и неизбежные ошибки молодости, мучительные романы с любимой, но вероломной Фаиной, с преданной, но нелюбимой Альбиной. Под стать всему этому и Лёвины духовно-профессиональные свершения: все какие-то задумки, заявки, недоказанные (да и, пожалуй, недоказуемые) гипотезы—выйдет ли изо всего этого какой-нибудь толк? Как быть автору с таким вот героем, нескладным, путаным, ненадежным? Героем, единственное бесспорное и очевидное качество которого — жизненная достоверность.

Тут было два готовых пути. Один — умилиться Лёвиной интеллигентностью, залюбоваться семейным альбомом Одоевцевых и выдать герою авторскую индульгенцию за саму его причастность к высоким материям и к бесконечным поискам смысла жизни. Другой типовой взгляд — снисходительная издевка над интеллигентской беспомощностью и бесхарактерностью, житейской непрактичностью и органической неспособностью к хамству — даже в тех ситуациях, когда таковое, что называется, жизнь требует.

Собственно, две такие заданные «концепции» российского интеллигента имеют у нас хождение не только в литературе, но и в жизни самой. Причем преклонение и презрение каким-то непостижимым образом могут соединяться. Вот и постоянный спутник Одоевцева, его друг-враг со школьных лет Митишатьев — он то пресмыкается перед Лёвой, то высокомерно его третирует, то словно пытает-

Андрей Битов. Пушкинский дом. Роман. Новый мир, №№ 10—12, 1987.

ся набраться Лёвиной душевной утонченности, то эту же утонченность норовит осмеять. Характерная ситуация, не правда ли? У нас с самим понятием интеллигентности обращаются, как с языческим божком: то молятся на него, то бросают как ненужную вещь.

А что же автор? Он своего героя не возвышает и не принижает; Лёва для него **нормальный** человек, не лучше других и не хуже. Если автор иронизирует над героем, то лишь в тех случаях, когда иронический тон единственно возможен. Если пристально всматривается в его причуды и странности, то потому лишь, что эти странности и причуды общеинтересны, ведомы каждому из нас. Может быть, в этом и главная соль романа «Пушкинский дом» — в таком вот **на равных** разговоре автора с героем. Не осуждать, не прощать, а понимать человека. Это нелегко — даже по отношению к человеку вымышленному, сотворенному авторской же фантазией.

Здесь, однако, возможен упрек в объективизме, в отсутствии четкой авторской позиции. Но таковая все же в романе имеется и наиболее ясно выражена в сцене, когда Лёва, выйдя вместе с неотступным Митишатьевым после пирушки на ленинградские улицы, пытается оседлать того самого льва, на коем во время рокового наводнения сидел пушкинский Евгений. Вынесем за скобки пародийно-фарсовый оттенок эпизода — символ перед нами вполне серьезный. Так под пушкинским знаком видится Битову российский интеллигент нашего века — «бедный всадник». Мы ведь не спрашиваем, «положителен» ли Евгений из «Медного всадника», надо ли брать с него пример, не надо ли его осудить. Мы видим в его судьбе большую общую беду — и этого довольно. Так почему же нам не исполниться пушкинской широты и великодушия, осмысляя нелегкую участь интеллигенции в масштабе всего нашего века? Не о том ли говорит нам судьба Модеста Платоновича Одоевцева, в цвете лет оторванного от любимого дела и отнюдь не осчастливленного «поздним реабилитансом», «дяди Диккенса», который «воевал во всех войнах, а в остальное время, за небольшими промежутками,— сидел»? Не заслужил ли российский интеллигент в этих безжалостных испытаниях права именоваться **простым человеком** и оцениваться **наравне** со всеми униженными и оскорбленными мира сего? И не достоин ли скромный филолог, ищущий в пушкинских текстах новые, не замеченные прежде кристаллы разума и добра,— не достоин ли он такого же нормального к себе отношения, как почитаемые нами мудрые деревенские старухи и вызывающие общее сочувствие их перебравшиеся в город сыновья?

Немногого запрашивает автор для своего героя. Особенно если учесть, что с такой же спокойной непредвзятостью рисует он и Лёвиного антипода, этакого ярко выраженного антиинтеллигента — Митишатьева. Малосимпатичный этот субъект показан без карикатурных красок, с глубоким проникновением в мотивы его поведения. Митишатьеву время от времени сопутствует запах серы, но этот дьявольский знак, пожалуй, дан в пародийно-ироническом плане: Лёвин приятель не Мефистофель, конечно, а так, довольно мелкий бес.

Митишатьевы с давних пор мельтешат возле отечественной словесности и культуры. Они цепко держатся за высокие фразы, но внутренне, душевно они непреодолимо далеки от проповедуемых идеалов, сумрачны, злы, подозрительны. Они дружно ненавидят всякую незаурядность и неутомимы в изобретении оскорбительных ярлыков. Впрочем, их любовь не менее тягостна, чем ненависть. Если они кого-то хвалят и поднимают на щит, то уж будьте уверены: это наверняка направлено **против** кого-то другого. Чувствуя собственную несостоятельность, они всегда нуждаются в привлечении истинных авторитетов и имен. Подобно тому, как Петр Верховенский у Достоевского настойчиво «обрабатывал» Ставрогина, так Митишатьев жаждет, чтобы к нему духовно присоединился Лёва.

А к чему присоединяться-то? За душой у Митишатьева ни концепций, ни проектов. Единственная его пламенная страсть — повышенный интерес к анкетным данным, к национальному происхождению всех и каждого. На этот счет он и просвещает наивного Лёву, который ввиду своей фамильной рафинированной деликатности всегда был совершенно равнодушен к подобной проблематике. Спорить ли с Митишатьевым? Да это было бы довольно нелепо: «анкетный» подход к литературным ценностям едва ли нуждается в научном опровержении. У русской музы никогда не было отдела кадров, подлинная русская культура строилась на иных основаниях. Но Митишатьевым руководит не стремление к истине, а какое-то выматывающее болезненное чувство. Недуг, которого причину давно бы отыскать пора... А причина куда как проста — ощущение своей (заметим: именно своей, индивидуальной) неполноценности. Человек, причастный к культуре в силу своего таланта, ума, душевного склада, не нуждается ни в каких дополнительных подпорках. А тот, кто своего места в культуре найти не смог, у кого житейской энергии оказалось больше, чем таланта и позитивных идей,— тот иной раз не прочь всю картину культуры переделать, чтобы все-таки себя там нарисовать. Ну, и понятно, митишатьевы на этой почве легко соединяются, в отличие от интеллигентов-индивидуалов они, что называется, ходят стаями.

Выделив Митишатьева из стаи, сведя его один на один с Одоевцевым, автор романа наглядно показал изначальную бессмысленность активности своего «антигероя». Ибо нигде не взять Митишатьеву того, чем при всех своих недостатках и при всей своей инфантильности наделен Лёва,— внутренней свободы. Именно эта свобода и есть вещество интеллигентности. А происхождение Одоевцева тут ни при чем. Внутренняя свобода наследуется не по прямой: не досталось же ее Лёвиному отцу. Как говорили в старину: дух веет, где хочет. И осеняет этот дух свободы людей самых разных, не спрашивая, из города ты или из деревни, кто твои родители и все такое.

Автор романа не проповедует свободу — он живет ею. Битовская неповторимая интонация, гибкая и остроумная фраза устремлены к самой сути характеров и ситуаций, но нормативности и заданности в романе нет нигде. Вот как, к примеру, рисует автор один из многочисленных пустоватых «интеллектуальных» разговоров, традиционный треп, которым все мы время от времени грешим: «Как странно они говорили! Словно раздав всем поровну ровненькие дощечки и обмениваясь ими, одинаковыми. Словно это было такое детское домино: на одной половинке груша, на другой яблоко, и яблоко приставлялось к груше. Митишатьев дуплился, мечтая сделать «рыбу»; Лёва ехал «мимо». Пластинчатая эта дорожка ловко изгибалась, выделывая коленца и все не обрываясь. Беседа ровненько бежала по шатким этим мосткам. Это было такое детсадовское домино, но какие жуткие картинки повторялись в небольшом количестве на этих досочках-матричках для узнавания!.. Вместо яблока и груши — милиционер и голая баба». Авторская ироничность не уедает и не обижает нас — она раскрепощает, без усилия отбивает охоту к «детсадовским» разговорам, к «доминошным» штампам мышления.

Битов не боится высказывать мысли новые, непривычные для слуха. Ему чужды всяческие штампы — в том числе и либеральные. Свободный автор пишет о свободном герое для свободного читателя: «Мы воспитались в этом романе — мы усвоили, что лично для нас самое большое зло — это жить в готовом и объясненном мире». Действительно, окончательное «верное» и принудительное объяснение мира неизбежно ведет к несвободе и подавлению личности.

У романа «Пушкинский дом» нелегкая судьба. Но жалостливый тон был бы в данном случае неуместен. Роман был событием, когда являлся нам в крайне усеченном виде цикла новелл, стал он событием и в новомировской публикации: ничто здесь не устарело и не проржавело. Самостоятельность, независимость авторской мысли—самое надежное средство от коррозии.

В финале «Пушкинского дома» «цитируются» очень важные размышления Модеста Платоновича Одоевцева о пушкинском понимании свободы. Одоевцев-дед прав: *тайная* свобода у Пушкина (а потом и у Блока в стихотворении «Пушкинскому дому») — это не тайные намеки, не кукиш в кармане, а внутренняя раскрепощенность личности: «Ведь не «дорога свободы», а дорога — свободна!.. Дорогою свободной — иди! Иди — один! Иди той дорогой, которая всегда свободна,— иди свободной дорогой. Я так понимаю, и Блок то же имел в виду, и Пушкин...»

Импульсивная мысль героя здесь полемически заострена, направлена прямиком в душу каждого читателя. И мы, обитатели бессмертного Пушкинского дома, сходимся в одном: только тогда общество идет «дорогой свободы», когда каждый человек в нем шагает «свободной дорогой».

Вл. Новиков

Простота и загадка

Не моя это сила — метафора.
Я люблю простоту и загадку
Переулка, читаленки, тамбура
И хвоста в овощную палатку.
Вот — мой век и моя биография.
Вот — моя стихотворная школа...
О, не знай ни вранья, ни
тщеславия,
Нагота городского глагола!

Сказано с угловатой пластичностью, с суеверной осторожностью самоограничения, хотя Татьяна Бек с метафорой и с другими тропами накоротке. Просто она им не дает воли, возможно, из-за опаски закружиться в вихре стиха и пропустить главное. Вот почему метафоры и все остальное в сборнике всегда по делу:

О, предощущение конца,
Но без ощущения предела!
(Об осени, но еще и о поэзии и вообще о жизни);
...стихию толкущая в ступе...
(О себе);
Но была свежа гроза,
Как урок в начальной школе.
(О памяти);
...Это в духе
Любви — синонима разрухи...

Примеры можно множить, но дело, разумеется, не в них. Куда важнее сказать, что речь Татьяны Бек при всей

Татьяна Бек. Замысел. Стихи. М., Советский писатель. 1987.

честности и ясности целомудренно-скрытна, иронична, порой лукава — словом, это живая речь. И потому-то из стихов составилась книга — событие не столь уж частое. Когда время в самом деле проходит через душу, то душа возвращает это время в стихе, пусть даже стих касается на первый взгляд явлений мелких и незначительных:

В благостной неразберихе
На Песчаной, на Палихе
Мы росли — пока не выросли,
Выехали, вещи вывезли
На пустых грузовиках...

Не знаю, как кому, а мне эти строки дороги. Среди оголтелого вещизма не так уж просто повторить вслед за Цветаевой, но на свой лад: «Только душу и спасшим из фамильных богатств». Правда, «фамильных богатств» не было, но душа и высшие ценности живы, хотя беречь и приумножать их — и это понимает Татьяна Бек — нелегко.

Снова рушится карточный домик.
А когда-то — Незыблемый Дом.
Неужели святыню на свалку?
Неужели не вечен оплот?
...Пенелопа забросила прялку,
С женихами хохочет и пьет.

Любовь не защита. Но зато стих выручит, особенно если не вносить в него обиду на всеобщее обозрение, как в жалобную книгу.

Стих не становится на ходули и жив прежде всего своей недосказанностью. Но при этом лирический голос «не отклеивается» от слова, а интонация — от жеста. Вот почему «Замысел» — книга, при всей своей камерности, естественная и отважная.

Что греха таить, ведь считается: стыдно быть городским поэтом. Дескать, все городское оторвано от живых корней, и, стало быть, каждому городскому литератору следует вечно испытывать комплекс неполноценности.

Между тем уже давно три пятых народонаселения живет в городе, и город создал замечательную литературу.

Татьяна Бек — тоже дочь города, и этого не стыдится: «...Не озлоблюсь вовеки, юность нескладная на городском перекрестке!»

Жить, не хныкая, не обижаясь, что тебя чем-то обошли или чего-то недоплатили, а принимать бытие с улыбкой, с усмешкой, с иронией и — еще важней — с самоиронией. Мне кажется, в этом немалая мудрость. Вот последнее стихотворение книги:

Я буду старой, буду белой,
Глухой, нелепой, неумелой,
Дающей лишние советы,—
Ну, словом, брошка и штиблеты.
И все-таки я буду сильной!
Глухой к обидам и двужильной.
Не на трибуне тары-бары,
А на бумаге мемуары.
Да! Независимо от моды
Я воссоздам вот эти годы
Безжалостно, сердечно, сухо...
Я буду честная старуха.

Здесь и «нагота городского глагола», и прямота, и — хочется еще раз повторить — угловатое изящество. Вообще поэтессы (а зачастую и писательницы малого дарования) сообщают в своих вещах, какие они очаровательные, тонкие и неземные, красивые снаружи и изнутри, и только тупоголовые мужчины этого, видите ли, не понимают. Татьяна Бек ничего не приукрашивает, наоборот, подтрунивает над собой. Комично? Ну, и что с того? Все равно это жизнь, а жизнь выше стихов и насмешек. Не в этом ли воспитанность и интеллигентность?

А вот эти стихи вызвали у меня легкую досаду.

Главных дел — неисполненный
список.
И сутулится жизнь, как швея.
Хоровод напомаженных кисок,
Не приманивай, я не твоя!

Нигде раньше поэтесса не предъявляла никому перечня «взаимных болей, бед и обид», а тут вдруг сорвалась и проявила больше женской раздражительности, чем поэтического прозрения. А раздражительность не самое плодотворное чувство, и не стоит ее эксплуатировать. «Напомаженных кисок» впору пожалеть. Да и вряд ли заслуживает любая из «кисок» сравнения с песенным черным вороном, который вьется над «моею головой». И совсем неудачна концовка: «Я порою счастливее вас!» Соревноваться поэту с непоэтом по меньшей мере странно.

Но это у Татьяны Бек случайный сбой. Уже на следующей странице — жизнь снова трудна и серьезна, и дело жизни столь же серьезно:

Я думала про музыку свою,
Которой шарлатанства не привью;
Все остальное музыке во благо:
...И лай собачий по ночным садам,
И ужас умереть — не по годам...
— Кому, уйдя, наследство передам?

Но до ухода и даже до старости с мемуарами Татьяне Бек еще далеко. А пока с ней книга, исполненная простоты и загадки.

Владимир Корнилов

Идти до конца

На фотографии — три еще достаточно молодых человека, не старше сорока лет: А. Алов и В. Наумов, знаменитый кинематографический «тандем», создатели «Тревожной молодости», «Павла Корчагина», «Мира входящему», и Л. Зорин, драматург и прозаик. Они веселы, полны надежд. Снимок лета 1964 года. Сделан в Болшеве во время работы над сценарием «Закона». До октября 1964 года оставались считанные месяцы,— но кто же властен угадывать судьбу?..

«Закон» был напечатан в середине 1987 года, когда была уже прочитана проза, написанная в середине 70-х и в начале 80-х, после «Белых одежд», «Зубра», «Детей Арбата»...— Казалось бы, что рядом с ними старый киносценарий?! Но он это испытание выдержал. И кто знал, что он станет одним из последних драматургических произведений 60-х годов, авторы которого отважились погрузиться в тему, официально именуемую «культ личности Сталина и его последствия».

В эту тему они погружались вместе со своим героем Андреем Луниным, бывшим фронтовиком, бывшим помощником районного прокурора, а ныне следователем из отдела, подчиненного Управлению по делам спецподсудности, который занимается реабилитацией людей, невинно осужденных в годы сталинского правления. Быть может, герой по чистой случайности получил фамилию Лунин, однако его обостренная совестливость, повышенная готовность проникнуться страданием других заставляет вспомнить о знаменитом декабристе, возвышенном и таинственном герое русской истории. Лунину образца 1955 года явно недостает несгибаемого величия, но умения не закрывая глаза смотреть правде в глаза не занимать. Для него каждая человеческая судьба — проблема, каждый человек — целый мир, в котором спрессованы конфликты и противоречия времени.— Бесценный мир!

Именно поэтому авторы кинороманa и отличили Андрея Лунина от многих его коллег. Избрали героем.

Сценарий «Закона», как уже явствует из названия,— о законе и о тех, кто служит закону. Но не только и не столько об этом.

«Вот еще проблема! — воскликнул Воронцов.— Мы служим закону, закон — нам, и дело с концом, Что это вы вдруг?

— Ничего, — сказал Лунин, — я устал от единства противоположностей».

Л. Зорин, А. Алов, В. Наумов. Закон. Кинороман в двух частях. Искусство кино, №№ 6—7, 1987.

Конечно, Л. Зорину, А. Алову и В. Наумову было далеко не безразлично, кому служит закон и кто способен служить ему. Но для них нет загадки в том, можно ли подминать и подменять закон волей отдельных людей, даже если эти люди безупречны, и можно ли ждать от закона сиюминутных выгод, пусть и общественно необходимых. Они отвечают однозначно: «Нельзя!» И не пытаются комментировать свой ответ. Они не испытывают юридическое понятие «закон» на прочность, не рассматривают в сложных социально-правовых связях. Закон в кинороманe — это внятная оппозиция беззаконию и синоним социальной справедливости. В 1964 году еще не ставилась под сомнение, как, скажем, сегодня, общественная гуманистическая ценность тех или иных законоположений, статьи уголовного кодекса как такового,— сценаристы попросту извлекали закон из пучины беззакония.

Но все же, думаю, авторам диалога между Воронцовым и Луниным, одного из ключевых диалогов кинороманa, важен не вопрос, а ответ их героя. Кажется, что создателям сценария хочется стряхнуть с себя усталость от постоянной необходимости помнить об этом единстве противоположностей. Как и Лунину, им самим жизненно важно продраться к высшей ясности в понимании трагических конфликтов бытия. Ради этого они и задумали свой фильм.

1964 год — время расцвета исповедальной прозы, поэзии, кинематографа. По нынешним меркам, может быть, что-то сегодня в этом исповедальном искусстве покажется наивным и неумелым, чуть провинциально претенциозным, но ему не отказать в искренности. Не лишить достоинства существенного, необходимого лирического документа времени. Порой, захлебываясь от чувств, упиваясь полнотой пробуждающейся жизни, герои исповедальной прозы словно вырывались из коллективной анонимности, отстаивали человеческое право на свободу мысли и поступка, переживаний и действия, искали возможность выходить на очную ставку с историческим бытием; своим внутренним чувством, внутренним нравственным законом поверять историческую целесообразность и социальную необходимость.

Авторы кинороманa не скрывают своей привязанности к исповедальной манере: Андрей Лунин во сне и в грезах перевоплощается в разных героев жизненных трагедий, которые воскресают из небытия судебных дел, завершенных до марта 1953 года.

«На двадцать лет раньше родился, только и всего»,— гвоздит мозг, душу злое обвинение бывшего коллеги, ретиво

исполнительного майора юстиции, готового состряпать любое обвинение,— следователя, который в конце 40-х вел дело Татьяны Самариной и других студентов МГУ, осужденных за мифический, заведомо сфабрикованный антисоветский заговор.

Андрея Лунина не назовешь «розовским мальчиком», он не обладает индульгенцией беспорочности, которой были наделены подростки, вступившие в жизнь в начале 50-х годов. В 1941-м ему было 18 лет. Тогда-то он, по существу сверстник своих создателей, и стал взрослым. А потому все примеривает на себя. До боли. До галлюцинаций.

Он живет в причудливом мире отражений. Отражается и в услужливом следователе Тимофееве, и в Пиотровском, блестящем юристе, вынужденном жить под чужой фамилией Ивантеев, обучающем детей в подмосковной школе; и в трусливом муже Татьяны Самариной, отрекшимся от нее в момент ареста. И, конечно, в самой Татьяне, сникшей, но выстоявшей. Примеряя на себя чужие страдания, чужие вины и беды, делая их своими, испытывая их невыносимую тяжесть и тягостность, Андрей Лунин решает для себя коренной вопрос частного и общего бытия: хватит ли сил пережить вину и беду, достанет ли честности, воли, мужества начать все сызнова. Детское воспоминание мучает его, перемежаясь калейдоскопом картин «взрослого» прошлого и настоящего: он силится затащить в море, вернуть к жизни выброшенного на берег, задыхающегося, засыпающего дельфина... Силится превозмочь себя, обрести исскающую надежду... Этот по нынешним временам не бог весть какой художественный символ, навеянный мировыми кинематографическими образами рубежа 50—60-х годов, сегодня, как ни странно, обретает живой современный нерв. Достанет ли людям воли, трудолюбия, честности, мужества, терпения в желании вернуть к полноценной жизни общество, страну, самих себя?

После похорон немолодого, по-видимости, совестливо-безупречного следователя Деева, замначальника отдела (он покончил с собой, не вынеся бремени вины), в жестокое время подписавшего приговор своему другу Пиотровскому, Андрей Лунин, погрузившись в «судебное зазеркалье», измученный моральными испытаниями, попросит об отставке: «Устал от единства противоположностей». От самого себя. От груза исторической и человеческой безнравственности, свалившегося на него в одночасье. От груза невидимых миру слез.

...Всякий раз, когда открываешь книгу, написанную десятилетия назад, или смотришь снятый с полки фильм, хочется понять доводы тех, кто ретиво оберегал от «идейной порчи» широкие читательские или зрительские массы. Хочется проверить и осторожных чиновников и самого себя. В случае «Закона» ответ кажется очевидным. Сцена встречи Рыжова, начальника отдела, в котором работает Лунин, с человеком, известным «всем и каждому», чье «некрасивое простонародное лицо» «газеты миллионными тиражами ежеутренне разносили по миру», выражает политические взгляды авторов, их общественный пафос и темперамент. Они не называют фамилии этого человека, в пору создания сценария ее как-то неловко было называть — речь о Н. С. Хрущеве. Но диалог Рыжова и известного «всем и каждому» человека (около здания ЦК партии) — один из самых существенных.

— Вон, гляди, на стене портреты,— человек усмехнулся,— видишь?

— Вижу.

— Так ведь... заговорили портреты: «Опомнитесь, остановитесь... Что скажет народ? Что скажут враги? Нас не поймут братские партии. Уж коли приспичило — амнистируйте». Просек? Пусть доживают на волюшке да кланяются за такую милость. Тихо, неслышно, с нестертым клеймом. И — все в порядке. И все довольны. Не Деевы... Тут нервы как тросы.

На губах его появилось недоброе выражение.

— Идешь коридором,— проговорил он,— спиной чувствуешь, как тебя расстреливают. До сих пор навытяжку перед покойником. А я настоялся. Двадцать лет. По стойке «смирно». Вспомнить тошно. Нет уж, наш грех — нам отмывать... Пойдем до конца...

Понятно, что после 14 октября 1964 года, когда Пленум ЦК КПСС освободил Н. С. Хрущева от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС, сохранить этот эпизод не отважился бы и самый отчаянный редактор. Но «под нож» пошел не только этот эпизод — весь кинороман. Ибо наступало время исторического беспамятства, праздничной невиновности, нравственные муки Андрея Лунина, выстраданная уверенность в том, что «наш грех — нам отмывать», на долгие годы оказались не в чести.

Как правило, герои исповедальной молодежной прозы в конце повестей и романов покидали насиженные места, родные города и отправлялись «за туманами тайги», где их волею авторов ожидало самоопределение. Кажется, что в подобное путешествие Л. Зорин, А. Алов и В. Наумов решили отправить и своего уставшего Андрея Лунина. Он едет в приморский городок своего детства, чтобы встретить первую любовь Танюшу Шалагину, с которой его так и не соединила судьба. Она работает на почте и живет с мужем-пенсионером, отставником из органов НКВД. Озлобленная пьяная исповедь Дичко, мужа Тани, почти дословно совпадает с аргументами тех, кто в ведомственных коридорах «расстреливает» в спину человека с «некрасивым простонародным лицом»: «Ну, были ошибки, перекос — допускаю. Поправлять поправляйте. Но с умом. С

головой. Есть милое слово — амнистия. Амнистируйте на здоровье. Но зачем из зека героя делать? Зек — это зек. А герой — герой. Когда все смешалось — добра не жди. Сами еще наплачетесь».

Сцена Лунина и Дичко впрямую перекликается с предфинальным эпизодом разговора в бане из романа Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая», написанного в 1981 году. Перекличка эпох, повторяющийся знак беды и тревоги, поданный разными писателями через десятилетия, требует быть увиденным, расслышанным. «Наш грех — нам отмывать». Без осознания этой собственной греховности не отмыть, не переделать ничего, не выбраться с ложного пути. В этом были уверены создатели кинороамана еще четверть века назад.

Авторы вернули своего героя в Москву, героя, сумевшего возродить дельфина к жизни.

Но впереди их ждали еще многие испытания: «Закон» был положен под сукно. На полку легла следующая совместная работа «Скверный анекдот» по Ф. М. Достоевскому. Соавторство Л. Зорина с А. Аловым и В. Наумовым распалось... Их развела жизнь, которую каждый из них прожил как умел. А. Алов так и не дождался выхода в свет их общих «запрещенных», или, выражаясь эвфемизмом 70-х годов, «закрытых работ».

«Пойдем до конца». На этом настаивал один из героев кинороамана «Закон». В этом единственно верная логика исторических поступков.

М. Швыдкой

Единомышленники

С волнением и печалью читала я эту неожиданную для меня книгу. Неожиданную не по ее содержанию и смыслу, а самым фактом своего появления: автора ее уже несколько лет нет среди нас, и вдруг мы снова слышим его негромкий голос, усиленный объединением в целое его разрозненных, но веских высказываний. Я уверена, что, радуясь выходу этой книги, выражаю чувства многих, кто знал Льва Алексеевича Шубина, и тем более тех, кто имел счастье с ним работать. Я думаю, что все мы, встречавшиеся с ним и как авторы, и как редакторы издательства «Советский писатель», и как вольные собеседники на литературные и прочие темы, все мы в той или иной степени испытали на себе воздействие независимого ума Л. Шубина, его терпимой убежденности, его скромности и широкой образованности. И вот стараниями составителя книги Е. Д. Шубиной и издателей сборника настал момент выразить свою запоздалую признательность.

Сделать это тем проще (и тем труднее!), что книга Л. Шубина обнаружила новые черты в даровании критика для тех, кто знал немногие опубликованные при жизни литературоведческие и критические работы этого автора, кто как будто неплохо представлял себе и общую систему взглядов этого литературоведа-философа. Я часто вспоминаю тридцатилетней давности реплику молодого Л. Шубина (ему-то самому не было тогда тридцати!) о том, что не у каждого писателя есть мировоззрение. У Л. Шубина оно было в высшей степени осознанное, определенное и ответственное. Вышедшая в 1987 году книга, несмотря на неизбежную фрагментарность ее посмертного составления, представляет главные черты этого мировоззрения в большой полноте и ясности: принципиальный историзм в отношении и к прошлому, и к настоящему, уважение к вершинам мировой культуры как к кладовым духовного опыта человечества, демократизм и гуманность в качестве определяющих ориентиров для поведения человека, ответственного перед своим народом. Взгляды преждевременно ушедшего от нас литератора оказались очень своевременными сегодня.

Полнее всего взгляды Л. Шубина выразились в его исследованиях творчества Андрея Платонова. До конца все еще нами не разгаданный, влекущий к себе своим причудливым словесным обаянием мир этого писателя был главной областью критических раздумий Л. Шубина. В Платонове критик нашел старшего единомышленника, в его прозе — неисчерпаемый материал для исторических и филологических исследований. И книга критика точно озаглавлена составителем словами самого Платонова: «Поиски смысла отдельного и общего существования». Именно так: каждого отдельного, но не отъединенного от общего, и общего, не поглощенного и не растворяющего отдельного. Такова краткая формула этического идеала и прозаика, и посвятившего ему свой труд критика.

С. Бочаров в предисловии к книге Л. Шубина пишет о входящей в нее статье «Андрей Платонов»: «Сейчас, двадцать лет спустя, нужен некоторый исторический комментарий, для того чтобы точно оценить эту роль статьи Л. Шубина 1967 года — роль, какую она сыграла не только в творческой судьбе ее автора, но в нашем общем осмыслении

Л. Шубин. Поиски смысла отдельного и общего существования. М., Советский писатель. 1987.

истории советской литературы. Надо не забывать вот о чем. Сейчас у нас в литературоведении есть целое платоноведение, с немалым уже числом ценных работ и своей накопленной традицией. Но в том, 1967 году платоноведения не было — оно и пошло от статьи Л. Шубина». И дальше С. Бочаров продолжает свою мысль: «Наследие Андрея Платонова доходило до читателей в 60-е годы... Исторические и философские проблемы творчества Платонова еще предстояло открыть; работа Л. Шубина и явилась таким открытием... Для самого же автора статья «Андрей Платонов» стала программой долголетнего жизненного труда».

Параллельно углубленному и подвижническому изучению творчества Платонова, пребывавшего долгое время для широкого читателя за семью печатями, шло проникновение автора книги в эстетические теории М. М. Бахтина. В 1965 году Л. Шубин опубликовал статью «Гуманизм Достоевского и «достоевщина», в которой обнаружил себя тонким толкователем идей Бахтина, защитником их от вульгаризации, которая сопутствовала быстрорастущей на них моде, но также и оппонентом абсолютизации романной полифонии, свойственной книге М. М. Бахтина 1929 года «Проблемы творчества Достоевского». Главным для Л. Шубина в эстетике Бахтина был глубокий демократизм одного из центральных ее положений. Оно сформулировано автором рецензируемой книги следующим образом: «Истина принципиально невместима в одно сознание». Изучая Бахтина, Л. Шубин делал глубокие теоретические выводы общего смысла и ставил интересные задачи для современного литературоведения. В заключение статьи «Гуманизм Достоевского и «достоевщина» Л. Шубин писал: «Сопоставление стремлений и Достоевского, и Л. Толстого поразному проникнуть в диалектику души и сознания... помогло бы... воссоздать период напряженного самосознания нации, схваченный Достоевским и Толстым в противоречиях духовного сознания личности. Художественное мышление писателя... необходимо должно соотноситься с историей духовной культуры народа». Сам Л. Шубин всегда был озабочен точностью такого соотношения.

Критические раздумья над идеями Бахтина дали Л. Шубину методологию подхода к конкретным литературным явлениям прошлого и настоящего. Как уже говорилось, на первом плане для автора книги в течение последних двух десятилетий оставался Андрей Платонов. Но творчество этого писателя воспринималось исследователем в контексте современной литературы, никак не ограниченном теми все-таки достаточно случайными поводами, которые читатель обнаружит во втором разделе книги Л. Шубина, слагающейся из двух частей: «Об Андрее Платонове» и «Работы разных лет». Этот второй раздел, кроме постоянно ощутимого общего взгляда автора на жизнь человеческую и на историю человечества как на противоречивый органический процесс, отличает еще одна и внешняя примета: трудность исследуемого предмета. Да, Л. Шубин никогда не искал легких путей, его могла привлечь лишь возможность разгадки сложного. Так, в круг интересов критика, кроме Платонова и Бахтина, входили проза М. Цветаевой, эстетические теории В. Шкловского, первые у нас опыты изучения поэзии В. Хлебникова, первые исследования творческого пути М. Булгакова... Постоянно занятый созданием надежного основания для фундаментального труда об Андрее Платонове, Л. Шубин и в оцениваемых им работах других авторов искал плодотворных способов сочетания конкретной биографии писателя с рождением его самобытной поэтики.

И все-таки сегодня особенно ценным представляется серьезный и ответственный историзм Л. Шубина. Его книга самим своим существом противостоит ширящейся моде на экзотические поделки, так сказать, туристско-«березковского» стиля, всяким «портативным» укороченным идеям» (собственное определение автора книги). Считая, что «прожитая жизнь...— это тоже реальность, ничуть не меньшая, чем сегодняшняя», что каждый из нас живет в силовом поле истории, в котором «мы творим будущее» сообразно своим историческим представлениям, что «деформация прошлого... может изменить будущее», Л. Шубин различал временны́е периоды в жизни народа и по его отношению к истории: «Эпохи творческие и революционные, обращаясь к прошлому, видят в нем множество разнонаправленных и противоборствующих сил и тенденций и потому открывают в истории новое, восстанавливают забытое или разрушенное или сознательно искаженное. И, наоборот, периоды эпигонские и прямо реакционные видят в прошлом только свое отражение и старательно уничтожают или фальсифицируют все то, что противоречит их сегодняшним концепциям и воззрениям».

Читатель рецензируемой книги (а я верю, что у нее будет и уже есть серьезный читатель), вероятно, обратит внимание на сходство некоторых исторических размышлений Л. Шубина и В. Тендрякова, как автора посмертно опубликованного романа «Покушение на миражи» («Новый мир» №№ 4—5, 1987). Оба литератора были глубоко думающими современниками и в поисках выразительного символа «обратной связи» прошлого и настоящего использовали один и тот же образ — известный образ Рея Бредбери — случайную бабочку, нарушившую своим появлением ход земной эволюции. Л. Шубин хорошо знал: «Народ не может воспринимать свою жизнь как эксперимент, который еще неизвестно чем кончится, его «плаванье во время и историю — плаванье безвозвратное».

Ответственное отношение к «бабоч-

кам» исторической эволюции продиктовало исследователю творчества Платонова скрупулезность при сборе фактов его биографии. И неизмеримость пространств степной России, и далекое прошлое родного Платонову Воронежа, и практические трудовые навыки молодого мастерового — все мелкие и крупные подробности жизни писателя были важны для исследователя. Добывая их из старых газет и архивов, сводя воедино найденное предшественниками, Л. Шубин реконструировал путь «интеллигента, не вышедшего из народа», соотнося его с широкой перспективой прошлого России и ее настоящего 20—30-х годов. Л. Шубину удалось показать, что страстные поиски истины, необычный писательский голос, суровая судьба Платонова были выражением драматических процессов русской революции — не просто отражением конкретных ее этапов, а именно выражением логики диалектического процесса. Так от жестокого рационализма идеи всевластного насилия над природой Платонов через собственное же творчество, через своего героя, «размышляющего, одаренного свойством сопереживания», раньше многих других, опередив нас на десятилетия, пришел к мысли, которую его критик выразил следующими простыми словами: «Без проникновения в сокровенные тайны природы, без трепета душевного перед ее величием не может человек покорить природу». «Права разума следует ограничить сердцем»,— так уточняет Л. Шубин общий итог ищущей мысли своего любимого писателя.

Читатель этой книги убедится, что в своей разносторонней деятельности воронежского паровозного машиниста, тамбовского мелиоратора, журналиста, поэта, критика, но, конечно, в первую очередь оригинального мастера прозы Платонов воплотил могучую, неостановимую устремленность своего народа к неведомой, небывалой и, как мечталось, сознательно-ответственной жизни. Находясь внутри общенародной устремленности в будущее, Платонов, как это свойственно истинным поэтам, концентрировал в своем таланте и своей судьбе и крайности максимализма своей эпохи, и ее детскую наивность, и ее утопические чаяния, и ее убежденный, в крови растворенный демократизм, продиктовавший Платонову во время голода в Поволжье в 1921 году статью с удивительным названием «Равенство в страдании». Человек с таким этическим идеалом не мог пойти на компромисс с противоположными тенденциями, которые также нес в себе железный поток революции. Недоумение перед губительной бюрократической бессмыслицей, вырастающей на почве, казалось бы, такого чистого энтузиазма и такого беспредельного самопожертвования, и породило сатиру Платонова конца 20-х годов. «Сатира его была направлена против тех, кто пытался присвоить себе право «думать за пролетариат»,— пишет и цитирует Л. Шубин. Сатира Платонова была роковым поворотом в его личной писательской судьбе.

Наиболее трудную область изучения творчества Платонова представляет его стиль. Опираясь на исследования своих предшественников, Л. Шубин успел лишь наметить общие ориентиры для проникновения в тайну «неправильной» гибкости языка Платонова, «прекрасного косноязычия» его. Но важно, что в этих неподробных прикосновениях к стилистике писателя критик обозначил внутренние связи своеобразного языка писателя и его особой позиции в народной жизни своей эпохи. «Андрей Платонов,— пишет Л. Шубин,— и его герои учились думать при революции, а тогда думали глубоко, космически... Мысли героя и мысли автора... совпадают... Незаконченность мысли, ее незавершенность — это не только формальная особенность.., но содержательное ее свойство. Мысль только стремится схватить предмет». Подход Л. Шубина к языку писателя дает увидеть и нам, как покоряющая трогательность «прекрасного косноязычия» Платонова не идеализировала застывшие свойства речи и души народа, а запечатлевала их трудное движение, задумчивое устремление к еще не понятой до конца, но непременно долженствующей осуществиться истине.

Л. Шубин не успел дать последовательный анализ всего творческого пути Платонова. Большой фрагмент книги о Платонове, носящий то самое название, которое так удачно, так многозначительно вынесено на обложку сборника, заключает в себе в основном подробный рассказ о раннем этапе жизнедеятельности писателя. Статья «Андрей Платонов» — обзор особенностей его дарования с птичьего полета. Две другие статьи посвящены критической прозе писателя и роли творчества Платонова для подрастающего поколения. Но удивительное дело: и через отдельные фрагменты проглядывает многое, не дописанное автором, который, кажется, даже и не назвал «Котлована» и лишь мельком упомянул «Ювенильное море». Объяснение такого эффекта незримого присутствия неназванного простое: цельность мировоззрения автора книги дает читателю возможность найти место и вычислить основные качества «пропущенных» фактов, как постепенно находили свое место неизвестные элементы в периодической системе Менделеева. Была бы верна система, а частности при добросовестных усилиях приложатся. Система взглядов Л. Шубина и проделанная им работа служат надежной основой для продолжения изучения Андрея Платонова, для заполнения белых пятен в истории советской литературы, для углубленного понимания и ее современных явлений.

Е. Старикова

Советуем прочитать

Прометей. Историко-биографический альманах. Серия Жизнь замечательных людей. т. 14, М., Молодая гвардия, 1987.

Иллюстрированный уникальными фотографиями альманах открывается рассказом о редких изданиях работ В. И. Ленина, о большевике-ленинце Н. П. Лепешинском. Здесь приводятся малоизвестные факты из жизни замечательных людей русской культуры и искусства — Д. С. Бортнянском, М. Ю. Лермонтове, И. А. Бунине, новые материалы о Пушкине и его окружении. Статья Т. Грум-Гржимайло «День музыкальной эры...» посвящена 150-летию первой постановки оперы «Иван Сусанин». О великом русском певце («Шаляпин за рубежом») рассказывает Г. Коршунов. Ю. Томашевский публикует материалы о Михаиле Зощенко и Александре Блоке («Конец рыцаря Печального Образа»). Знаток истории альпинизма Е. Симонов («Эльбрус начинается...») знакомит с тем, как в 1829 г. генералом от кавалерии Г. А. Эмануэлем, героем 1812 года, была организована первая экспедиция на легендарную Шатгору. Ю. Шапошников вспоминает о борцах и тяжелоатлетах конца минувшего века в статье «Богатыри России».

И. Червакова. Кров. Документальное повествование. Новый мир № 12, 1987.

Школа-интернат в заполярном поселке неподалеку от Норильска — основное место действия повествования И. Черваковой, работавшей там воспитателем в 70-е годы. Она рассказывает о тяжелой, несправедливо тяжелой судьбе воспитанников интерната — детдомовцев. По разным причинам остались они без родительской опеки. Но в данном случае мысль автора устремлена не на осуждение матерей-пьяниц и отцов-преступников. С ними, как говорится, все ясно. В силу особого местоположения детдома (норильский горно-металлургический комбинат возведен руками тысяч заключенных) автору яснее, может быть, чем многим, видна определенная связь между народной бедой тридцатых годов, породившей, помимо всего, поколение детей-сирот, насильно разлученных с родными, и той социальной несправедливостью, которая, как круги от брошенного в воду камня, захватывает все новые и новые поколения детдомовцев.

Автор старается сдержать эмоции. Но обилие фактов, документальных свидетельств, датированных 1930—1980 годами,— это крик о помощи, необходимой для того, чтобы разорвать печальный круг сиротства, отбрасывающего на обочину жизни.

«Наука русской истории стоит на решительном моменте своего развития». Наука и жизнь № 12, 1987.

Эти слова В. О. Ключевского вынесены в заголовок публикации, а ведь написаны они в мае 1868 года. Подумать только — более века назад, но как актуальны нынче — ведь людям свойственно на крутых поворотах общественного развития обращаться за советом к прошлому, к отечественной истории. Знает ли сегодняшний читатель, страстно жаждущий иметь в своей домашней библиотеке многотомные собрания сочинений Н. М. Карамзина, В. О. Ключевского, С. М. Соловьева и готовый выстоять огромную очередь, чтобы стать счастливым обладателем подписного издания,— знает ли он, что ждет его в случае удачи? В состоянии ли он преодолеть архаику языка, свойственного авторам и документальным источникам, которые обильно используются в этих работах? Сможет ли осилить подробности изложения, интересующие, как правило, лишь специалистов? Не станут ли собрания сочинений в домашних библиотеках мертвым грузом, респектабельно украсившим золочеными корешками интерьер жилища, к которому после одной-двух неудачных попыток не прикоснется рука хозяина?..

«Наука и жизнь» предлагает вниманию читателей полезную во всех отношениях публикацию — знакомит с фрагментами из «Истории Государства Российского» Карамзина, «Истории России с древнейших времен» Соловьева и «Курса русской истории» Ключевского, посвященных одной теме: царствованию и личности царя Ивана Грозного. Чтение фрагментов, интересное и само по себе, дает возможность ощутить индивидуальность творческой манеры в трудах историков разных поколений.

Михаил Чулаки. Прощай, зеленая Пряжка. Повесть. Нева № 6, 7, 1987.

Честно ли оставаться врачом, когда не очень-то веришь, что приносишь пользу подчас неизлечимым больным, можешь лишь иемного облегчить их страдания? Этот вопрос задает себе Виталий Сергеевич Капустин, главный герой повести, врач городской психиатрической больницы, что стоит на берегу реки Пряжки.

Нравственные поиски молодого доктора и душевные страдания его пациентов показаны автором сдержанно, а сам материал повести полон драматизма.

В итоге Капустин решает уйти из клиники в Институт биохимии, в «чистую» науку. Правда, «он ни о чем не жалеет...» Но все же хочется вновь ощутить жизнь клиники, поговорить с больными, почувствовать, что он здесь все-таки нужен. Как сложится его судьба?

Хрестоматия по этике и психологии семейной жизни. Составители И. В. Гребенников, Л. В. Ковинько. М., Просвещение, 1987.

«Воспитание — великое дело: им решается участь человека»,— писал В. Г. Белинский. Основы воспитания закладываются в семье.

Семья и ее роль в жизни человека и общества — эта проблема вызывает немало дискуссий. Составители сборника стремятся помочь молодым читателям ответить на многие вопросы, у них возникающие. В книгу включены отрывки из произведений основоположников марксизма-ленинизма, партийных и государственных документов, а также высказывания классиков литературы Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, Н. Г. Чернышевского. Названия разделов «Хрестоматии...» говорят сами за себя: «Семья и общество», «Любовь и брак», «Готовность к семейной жизни», «Гармония семейных отношений», «Мать и отец в жизни человека». Читатель найдет здесь отрывки из работ известных педагогов, ученых, общественных деятелей, писателей, журналистов: В. А. Сухомлинского, Ю. Б. Рюрикова, В. И. Белова, Р. Гамзатова, А. П. Платонова, В. П. Астафьева, З. Балаяна.

Уильям Фолкнер. Реквием по монахине. Роман. Перевод с английского Д. Вознякевича. Подъем №№ 6—9, 1987.

Роман необычен сочетанием жанров — прозы и драмы: вступления, преамбулы к отдельным главам сменяются психологически насыщенным, динамичным диалогом. «Мне казалось, что так лучше всего рассказать эту историю»,— говорил У. Фолкнер в одном из интервью,— трагическую историю двух женщин — проститутки Нэнси Мэнниго и аристократки Темпл Дрейк.

Темпл берет в дом Нэнси потому, что «черномазая наркоманка и проститутка» единственное существо в Джефферсоне, нашедшее с хозяйкой общий язык. Темпл сама достаточно пострадала в жизни от несправедливости. Рок преследует ее внешне благополучную семью.

Через глубокие страдания (Нэнси приговорена к смертной казни) обе женщины приходят к мудрости и очищению. «...При всем своем смутном понимании вещей Нэнси оказалась способной на акт полного, почти религиозного отречения от мира... Использование слова «монахиня» по отношению к ней парадоксально, но мне казалось, что слово это как-то оттенит ее трагедию»,— так объяснял Уильям Фолкнер название своего романа.

Советский юмористический рассказ 20—30-х годов. Предисловие народной артистки РСФСР Рины Зеленой. М., Правда, 1987.

Виктор Ардов, Александр Зорич, Михаил Зощенко, Илья Ильф, Евгений Петров, Валентин Катаев, Михаил Кольцов, Пантелеймон Романов... Очень разные люди, с разными судьбами, характерами, вкусами, творческими манерами. Все они болезненно переживали несовершенства жизни, обличали зло, разъедающее общество,— бюрократизм и все то, что порождало это уродливое явление: пошлость, головотяпство, приспособленчество, мздоимство, чванство.

Двадцатые годы — неповторимая пора расцвета политической, бытовой, литературной сатиры,— число журналов в те годы достигало нескольких сотен! Писатели-сатирики жили интересами молодой Советской республики, но не льстили народу, не заигрывали с ним. Смешные и вместе с тем полные боли и горечи рассказы писателей-сатириков и сегодня читаются с вниманием и заинтересованностью, а многие проблемы, в них затронутые, увы, и по сей день актуальны.

Декабристы. Биографический справочник. Издание подготовлено С. В. Мироненко. Под редакцией академика М. В. Нечкиной. М. Наука, 1987.

Кажется, мы знаем о декабристах много: постоянно выходят книги, статьи и исследования, все богаче и глубже становится социальное осмысление подвига поколения первых русских революционеров. Но «Биографический справочник» — явление в истории декабризма последних десятилетий исключительное. Недаром работа над ним складывалась столь долгой и кропотливой — началась она еще в 1978 году. Наконец-то декабристское каре собрано под одной обложкой так полно и стройно, как позволяют современные методы исторической науки. И то, что в книге появились имена доселе неизвестные — двадцать один «новый» декабрист! — говорит о многом.

Казалось бы, «всего-навсего» справочник. Но читается он как хорошая проза.

Дневник Павла Пущина. 1812—1814. Издание подготовил В. Г. Бортиевский. Л., Издательство Ленинградского университета. 1987.

Павел Сергеевич Пущин — знакомец Пушкина, офицер в войну 1812 года, позднее масон и декабрист. Вот страница его дневника, посвященная всесильному Аракчееву:

«...Государь со всей свитой поместился за нашими линиями, и, пока казаки конвоя строились для своей лихой атаки, граф Аракчеев, отделившись от группы, проехал к батальону, с которым я стоял, подозвал меня и завел приятельскую беседу. Как раз в этот момент французские батареи приблизились к нам, и одна из гранат разорвалась шагах в 50-ти от места, где мы беседовали с графом. Он, удивленный звуком, который ему пришлось услышать впервые в жизни, остановился на полуслове и спросил меня, что это означает? «Гра-

ната»,— ответил я ему, приготовившись слушать прерванную так неожиданно фразу, но граф при слове «граната» переменился в лице, поворотил свою лошадь и большим галопом удалился с такого опасного места, оставив меня в печальном положении. Сопровождал графа в этой знаменательной поездке адъютант Клейнмихель, который только пожал плечами, когда генерал поворотил свою лошадь и дал ей шпоры».

Солдафоны и деспоты в бою нередко празднуют труса. Одной такой страницы было бы достаточно для внимания к этой книге, а ею не исчерпывается интерес первой научной публикации дневника.

Елена Холмогорова. Улица Чехова, 12. Биография московского дома. М., Московский рабочий, 1987.

Особняк на улице Чехова, 12, построенный в первоначальном виде в первые годы прошлого века, «помнит» по крайней мере два этапа освободительного движения в России. Здесь М. Ф. Орлов — добрый знакомый Пушкина, просветитель, человек, близкий к декабристам,— вынашивал смелые замыслы о восстании против самодержавия. Здесь же в двадцатые годы нашего столетия кипела бурная жизнь Государственного института журналистики, здесь размещался художественный класс — предтеча Московского художественного института имени В. И. Сурикова и училище драматического искусства; именно в этих стенах возникла идея театра «Синей блузы».

Трудно перечислить все имена, с которыми так или иначе связана история этого дома, прослеженная кропотливым автором до наших дней с давних пор, когда тут хозяйничала безвестная «Петра Артемьева сына Аврамова жена Ирина Петрова дочь». Рекомендуя читателю эту книгу, хочется вспомнить слова А. П. Чехова, также бывавшего в этом старинном особняке, о Москве: «Что ни песчинка, что ни камушек, то и исторический памятник!»

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, Тверской бульвар, 25.
Телефоны: главный редактор и ответственный секретарь — 202-04-49, секретариат и заместители главного редактора — 202-30-29 и 202-73-10, отдел прозы — 202-71-97, отдел публицистики — 291-04-43, отдел критики и библиографии — 202-67-79, отдел поэзии — 202-98-80.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 11.01.88. Подписано к печати 08.02.88. А 05319. Формат 70 × 108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Учетно-изд. л. 23.27. Тираж 500 000 экз. Заказ № 1877.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.